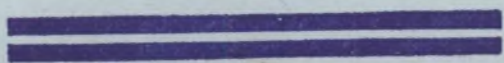


НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ МИР

1980

6



1980



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1980 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. НИНОВ — Олимпийская тетрадь	3
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ — Из неопубликованной лирики. Публикация В Тихоновой	36
ВЛАДИМИР ПОПОВ — Тихая заводь, роман	41
ЛЕВ ОЗЕРОВ — Новые стихи	121
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Уже написан Вертер	122
АНИСИМ КРОНГАУЗ — Отцы, стихи	157
ИВАН КИУРУ — Баллада о старой ели, стихи	159
ИЗ ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ — Габдулла Тукай, Муса Джалиль, Хасан Туфан, Сибгат Хаким (перевел Р. Бухараев); Шаукат Галиев, Ильдар Юзеев (перевела Э. Блинова); Ренат Харис (перевели Вяч. Баширов и Э. Блинова); Р. Файзуллин (перевели Э. Блинова, Вяч. Баширов и М. Аввакумова); Рустем Кутуй; Разиль Валеев, Фаннур Сафин, Марсель Галеев (перевел Р. Бухараев)	161
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — Через всю жизнь	168
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
Б. ПАСТЕРНАК — Начало прозы 36 года. Предисловие Е. Б. Пастернака	175
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО — На дорогах и за ними	206
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛЕСЬ АДАМОВИЧ — О войне и о мире... Статья первая	226
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	241
А. Устинов. В контексте истории.— Ст. Рассадин. Советоваться с Пушкиным. — Владимир Огнев. Неузнанная любовь.	

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	256
Ю. Игрицкий. Борьба идей в современном мире.— Д. Биленкин. Эволюция и разум.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Владимир Санин.— Геннадий Пациенко. Зал ожидания. Рассказы, повести. ♦ Ксения Бродер.— Русская сатирическая сказка. ♦ В. Непомнящий.— А. Крейн. Жизнь музея. Художник В. Кошмин. ♦ Г. Павлова.— А. С. Пушкин. Эпиграммы. Художник Н. В. Кузьмин. ♦ А. Румянцев.— С. В. Мелихов. Количественные методы в американской политологии. ♦ В. Елисеева.— К. Моисеева. Люди ищут забытое царство. Рассказы об археологических открытиях. ♦ Вадим Рабинович.— Фарли Моуэт. Кит на заклание. ♦ Эрнст Генри.— П. П. Черкасов. Агония империи. ♦ А. Княжицкий.— Н. И Пруцков. Русская литература XIX века и революционная Россия. ♦ Ю. Бессмертный.— А. Л. Ястребицкая. Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм. ♦ А. Андреев.— М. Т. Иовчук, Л. Н. Коган. Советская социалистическая культура: исторический опыт и современные проблемы	263
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

А. НИНОВ



ОЛИМПИЙСКАЯ ТЕТРАДЬ

РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

Основатель и философ современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен полагал целью олимпийского движения расцвет тех прекрасных физических и моральных качеств, которые приобретаются «в соревнованиях на дружеских полях любительского спорта и в объединении молодежи мира раз в четыре года на великом спортивном празднике, создавая тем самым международное доверие и добрую волю и способствуя созданию лучшего и более спокойного мира».

Мы не однажды еще вернемся к этой центральной идее Олимпийской хартии, заключающей в себе суть современного олимпизма. Но прежде всего, для начала, задумаемся о времени, о происхождении и смысле олимпийского цикла, согласно которому великий спортивный праздник мира повторяется раз в четыре года. Не реже и не чаще!

Именно с такой периодичностью проводились состязания греческих атлетов в священной Олимпии; так когда-то отсчитывали время древние греки...

По преданию, честь устройства первых Олимпийских игр принадлежит Гераклу. Победив тирана Элиды Авгия, Геракл посадил в Олимпии священное оливковое дерево и устроил состязание для своих братьев. Их было четверо, и атлетические игры в Олимпии проводились раз в четыре года во славу Зевса. Участники должны были соревноваться в беге на 600 ступеней, или одну стадию (то есть одну длину стадиона). Потом состязания включали уже несколько видов — бег, метание копья и диска, борьбу, а также конные ристания на колесницах. Победитель получал венок со священной оливы, посаженной Гераклом.

Во времена Троянской войны согласно гомеровскому эпосу среди греков были уже популярны такие виды соревнований, как кулачный бой, бег с оружием (хиплитодромос) и древнее пятиборье (пентатлон). Когда Одиссей во время своих странствий от берегов Малой Азии до Итаки оказался на острове Корфу у феакийцев, их царь Алкиной пригласил гостя после пиршества принять участие в атлетических состязаниях, имевших, как мы бы сказали теперь, комплексный характер:

Время отсюда пойти нам и в мужеских подвигах крепость
Силы своей оказать, чтоб наш гость, возвратясь, домашним
Мог возвестить, сколь других мы людей превосходим в кулачном
Фое, в борьбе утомительной, в прыганье, в беге проворном.

И в войнах и в атлетических состязаниях, порой достаточно жестоких, герои гомеровского эпоса руководствовались одновременно и кодексом силы и нормами этики, без которой греческая цивилизация лишилась бы одной из самых мощных своих опор. Знаменитый афинский оратор Лисий, выступая перед участниками Олимпийских игр во времена Коринфской войны, напомнил присутствующим о возвышенных целях, которыми был воодушевлен когда-то легендарный основатель этих соревнований:

— Много славных подвигов, эллины, совершил Геракл, за которые мы должны помнить его, но особенно мы должны помнить его за то, что он первым установил это состязание по своей любви к Элладе. До этого времени государства относились враждебно друг к другу, а когда он сокрушил власть тиранов и смирил насильников, то он устроил состязание в телесных способностях... дал возможность показать духовные дарования в прекраснейшем месте Эллады, чтобы мы ради всего этого сходились сюда — посмотреть одно, послушать другое: он надеялся, что здешнее собрание положит начало взаимной дружбе между эллинами.

С тех пор как в 776 году до новой эры Олимпийские игры были впервые отмечены в исторических хрониках, их периодичность превратилась в единицу календарного измерения и полных четыре года, включая високосный год, стали называться Олимпиадой. Летосчисление по Олимпиадам ввел греческий историк Тимей; великий праздник в Олимпии повторялся через каждые 1417 дней с первого полнолуния после летнего солнцестояния. Чтобы выработать такую меру времени, надо было обладать солидными астрономическими познаниями и сложившейся исторической концепцией... С практикой древнегреческих Олимпиад связана особая формула политического соглашения, так называемая э к и х и р и я — общее священное перемирие на время подготовки и проведения Олимпийских игр.

В 884 году до новой эры царь Элиды Ифит заключил союз с законодателем древней Спарты Ликургом, и они учредили первую экихирию на время атлетических соревнований между городами. Олимпия была объявлена нейтральным священным местом. Никто не мог войти сюда силой с помощью оружия. Храм богу Зевсу должен был стать доступным для поклонения делегатам всех греческих государств.

По свидетельству греческого историка Павзания, на одном бронзовом диске, которым пользовались участники Олимпийских игр, было начертано: «Олимпия — священное место, и кто посмеет посетить его с вооруженной силой, будет заклеен как хулитель богов. Безбожник и тот, кто, обладая силой, не мстит за злодеяния».

Начиная с 776 года до новой эры, когда в хрониках была отмечена первая Олимпиада, общегреческие экихирии превратились в закон, уважавшийся всеми. Священное перемирие объявлялось за три месяца до начала игр в Олимпии. Попытки нарушить его беспощадно карались общими силами. Глашатаи из Афин объезжали все города Греции и со специальных помостов объявляли о предстоящем празднестве. Путники, направлявшиеся в Олимпию, почитались неприкосновенными. Войны и грабежи на время экихирии прекращались, это были самые благословенные месяцы за целых четыре года.

После окончания Олимпийских игр прерванная война могла возобновиться снова — так чаще всего и случалось в истории древнегреческих городов, жестоко соперничавших друг с другом. Но продолжение военных действий было необязательным. Война могла и остановиться, если к этому склонялись обе стороны. Олимпийская экихирия была единственной в своем роде паузой, чтобы одуматься, остыть от пролитой крови и попытаться выйти из общего тупика, когда все первоначальные мотивы и цели конфликта отброшены и война продолжается лишь по инерции взаимного ожесточения.

Экихирия создавала почетную возможность для обеих сторон с достоинством разойтись или по крайней мере еще раз взвесить все доводы за и против продолжения боя.

Все без исключения греческие города были заинтересованы в сохранении этого политического инструмента, поскольку любой из них мог оказаться в безвыходном положении. Потому-то за соблюдением экихирии так ревниво следили тысячи глаз и мало кто решался нарушить священный древний обычай. Политическая потребность стала нравственно-религиозной привычкой, характеризующей одну из граней греческой цивилизации.

Олимпийские перемирия не устранили войны из жизни греческих государств (это оставалось недостижимой мечтой), но они вносили определенный регламент в политические страсти и периодически возвращали военные конфликты на суд разума самих воюющих.

Счет по Олимпиадам не нарушался в течение 1170 лет, за это время общегреческие игры проводились 293 раза, пока римский император Феодосий I специальным указом, изданным в Милане, не прекратил в 394 году новой эры Олимпийские игры как неподобающее языческое празднество. Религиозно-политические соображения римского императора, насильственно насаждавшего христианство, положили конец благороднейшим атлетическим состязаниям древности.

Возобновленные в 1896 году на Мраморном стадионе в Афинах, Олимпийские игры современной эпохи сохранили традиционную четырехлетнюю периодичность. Патриарх Олимпийских игр современности французский ученый-археолог барон Пьер де Кубертен за несколько лет до этого события прочел в Сорбонне специальный доклад «Возрождение Олимпиады», в котором всесторонне обосновал идею международного олимпийского праздника спортсменов-любителей всех стран. Осуществление этой идеи, вызвавшей сочувствие во многих странах и поддержанной Первым олимпийским конгрессом, стало делом всей жизни Пьера де Кубертена, и вместе с греческим поэтом Викеласом Деметриусом он был первым руководителем Международного олимпийского комитета (МОК).

XX век многократно ускорил темпы исторического развития. Возникли и упрочились всемирные связи, соединившие народы и континенты, когда каждый регион так или иначе зависит от остальных, а судьба общего мира зависит от каждого. Социальный, научно-технический и культурный прогресс изменил и продолжает менять привычный облик цивилизации с быстротой, которая еще в конце XIX века показалась бы фантастической. В этих условиях четырехлетний олимпийский цикл стал куда более плотным, весомым, вмещающим в себя колоссальное содержание современной всемирной истории.

Убыстрившийся в XX веке ритм общей жизни человечества поднял значение каждой Олимпиады как своеобразной меры времени. Именно поэтому и великие общественные потрясения XX века, войны и кризисы, так глубоко отозвались на характере и судьбах современного олимпийского движения.

Стоит напомнить, что последняя Олимпиада 1976 года в Монреале — XXI по новому олимпийскому календарю и XVIII по числу фактически проведенных международных спортивных игр.

Первый пропуск падает на 1916 год, когда новый стадион в Грюневальде под Берлином так и не дождался ни одной спортивной делегации. Олимпийская хартия, провозглашенная в 1896 году, через двадцать лет была залита кровью и отравлена ядовитыми газами, впервые примененными тогда на полях сражений. Разделенные фронтами народы не могли в тот момент и помыслить о дружеском общении и честной спортивной борьбе за олимпийские трофеи. Только мир создает для олимпийского движения реальную почву, и его собствен-

ный смысл в том, чтобы утверждать идеи мира и дружбы в сознании человечества.

На VII Олимпиаде в Антверпене, собравшейся в 1920 году, мирный белый флаг, предложенный еще до войны Пьером де Кубертенном, был впервые поднят как официальный флаг международного олимпийского движения. Тогда же на нем появились пять сплетенных цветных колец, означавших содружество Европы (голубое кольцо), Азии (желтое), Австралии (зеленое), Америки (красное) и Африки (черное).

Равенство человеческих рас и народов в условиях дружбы и прочного мира между ними — вот к чему зовет олимпийский флаг. Но белый флаг мира не должен означать флага капитуляции перед силами национально-расовой нетерпимости и войны. К этой истине олимпийское движение также приходит на собственном опыте.

Игры 1940 и 1944 годов не проводились по той же причине, что и в 1916 году: Европа была в пожарищах и руинах и бороться приходилось не на дружественных полях любительского спорта, а на заминированных и опутанных колючей проволокой полях второй мировой войны.

Таким образом, VI, XII и XIII календарные Олимпиады не числят за собой ни участников, ни победителей. Это самые мрачные Олимпиады в истории человечества, и память о временах, когда были попорнены олимпийские принципы, остается для молодежи наших дней грозным предупреждением и уроком.

Прав был древний оратор Лисий:

«Грядущее время не лучше настоящего: на несчастья погибших падо смотреть не как на чужие, а как на свои собственные».

Для нашего поколения заря олимпизма занялась в Хельсинки.

То было трудное, сложное и противоречивое время. «Сороковые, роковые» постепенно уходили в прошлое, хотя тогда только понастоящему стали осознаваться масштабы пережитой трагедии и размеры общечеловеческих бед и несчастий. Хиросима явилась предупреждением о новых опасностях, не соизмеримых с прошедшими. Начавшиеся 50-е годы удесятирили атомную опасность.

Мир готовился к Олимпиаде в Хельсинки в условиях прямой конфронтации военных блоков, расколовших антигитлеровскую коалицию; к тому времени уже вполне сформировалась политика атомного шантажа со стороны империалистических держав, стремившихся отбросить социализм от новых исторических рубежей, завоеванных Советским Союзом, странами Восточной Европы и Азии в справедливой освободительной борьбе против немецкого фашизма и японского милитаризма.

Человечество снова стояло перед выбором, сохраняющим свой драматизм до сегодняшнего дня. Мирное сосуществование, международное сотрудничество или взаимная изоляция и «холодная война», грозящая при каждом новом кризисе общей ядерной катастрофой, — вот альтернатива, возникшая перед большими и малыми державами, не успевшими еще расчистить развалины и обезвредить мины, оставленные в наследство от второй мировой войны.

Наш выбор определился сразу — полная поддержка демократических и миролюбивых устремлений народов; безусловное содействие всемирному движению сторонников мира; практическое сотрудничество с международными профсоюзами, молодежными, женскими, научными, спортивными и другими организациями, объединяющими людей в борьбе за мир, демократию, социальный и культурный прогресс. Этот постоянный и неизменный ленинский курс Коммуни-

стической партии и Советского правительства с полной отчетливостью проявился и в отношении к олимпийскому движению.

На протяжении трех с лишним десятилетий после Октябрьской революции между спортивными организациями Советского Союза и Международным олимпийским комитетом не существовало каких-либо официальных отношений. И не по нашей вине.

Дореволюционная Россия, как известно, входила в число 12 стран — учредителей современных Олимпийских игр. Представители России участвовали в 1894 году в Первом международном спортивном конгрессе в Париже, принявшем решение о возрождении современных Олимпиад. Русский генерал А. Д. Бутовский был избран членом МОК, насчитывавшего первоначально всего лишь 14 представителей.

При полном равнодушии царского правительства к судьбам организации физического воспитания и спорта в стране спортсмены России приняли участие в IV и V Олимпийских играх 1908 и 1912 годов. Успехи русской команды на V Играх в Стокгольме в 1912 году оказались более чем скромными: ни одного олимпийского чемпиона и пятнадцатое место (вместе с Австрией) в неофициальном командном зачете. Следует заметить, что многие сильнейшие спортсмены-любители России тех лет не вошли в национальную олимпийскую команду по организационным причинам и из-за недостатка средств.

После Октябрьской социалистической революции 1917 года Международный олимпийский комитет долгое время занимал позицию непризнания СССР в качестве равноправного члена олимпийской семьи. До 1933 года членом МОК «для России» числился князь Леон Урусов, потерявший какие-либо связи с отчизной и не представлявший никого, кроме самого себя. Негативная позиция, занятая МОК в довоенные годы, обнаруживала преобладание консервативно-аристократических, изоляционистских взглядов среди большинства его членов; она нанесла несомненный моральный урон олимпийскому движению и его принципам.

Абсолютная бесперспективность подобной позиции в послевоенные годы стала очевидной для всех. В качестве великой державы, делающей главную ответственность за судьбы мира, Советский Союз занял в числе стран-учредителей неотъемлемо принадлежащее ему место в ООН и других авторитетных международных организациях. Впечатляющие успехи спортсменов СССР и молодых социалистических стран на крупнейших международных соревнованиях по основным видам спорта уже в первые годы после войны обнаружили несостоятельность консервативных концепций, мешавших развитию олимпийского движения. Без СССР и социалистических стран Олимпийские игры явно утратили бы свой универсальный всемирный характер и потеряли необходимый престиж. Эта истина постепенно возобладала в МОК.

Решение провести XV летние Олимпийские игры 1952 года в столице Финляндии Хельсинки благоприятствовало практическому приобщению спортивных организаций Советского Союза к олимпийскому движению. Образованный в апреле 1951 года Олимпийский комитет СССР был официально признан МОК и занялся подготовкой советской спортивной дружины для выступлений в Хельсинки.

Подтвердив свою верность Олимпийской хартии, Советский Союз вошел в олимпийское движение, обладая огромной спортивной мощью, о которой дореволюционная Россия не могла и мечтать. За сорок лет, истекших между V Олимпийскими играми в Стокгольме и XV Играми в Хельсинки, физическая культура и спорт в Советском Союзе развивались несравненно быстрее, чем где-либо в мире, и этот факт нашел объективное отражение в таблице общекомандных результатов стран-участниц по окончании Игр в Хельсинки.

С пятнадцатого места, занятого командой России в 1912 году, олимпийская сборная СССР передвинулась в Хельсинки высоко вверх, набрав равное количество очков с командой США (по 494) и разделив с нею первое и второе места в неофициальном командном зачете. Советские спортсмены завоевали при этом 22 золотые, 30 серебряных, 19 бронзовых медалей и установили 13 олимпийских рекордов. Победы первых советских олимпийцев — Виктора Чукарина, Юрия Тюкалова, Ивана Удодова, Марии Гороховской, Нины Пономаревой, Галины Зыбиной и многих других, прославивших себя и свою страну на Играх в Хельсинки, ознаменовали собой новый этап в развитии олимпийского спорта. Личное соперничество спортсменов теперь неизбежно рассматривалось не только в национальном разрезе, но и сквозь призму общественной системы, которую они представляли на всемирных Играх.

Для социалистической страны, впервые заявившей о себе на арене международного олимпизма, почетная ничья в сражении с превосходно подготовленной и многоопытной олимпийской командой США была равнозначна победе. Еще выше был моральный и психологический результат Олимпийских состязаний, организованных дружественной Финляндией, избравшей после войны путь мира и неприсоединения.

В американской печати, хорошо знакомой с нравами маккартизма, одержимого призраками подрывной антиамериканской деятельности в масштабе вселенной, по следам Олимпиады в Хельсинки раздались насмешливо-саркастические, чтобы не сказать крамольные, голоса.

«Мы обращаем внимание сенатора Маккарти и Маккарэна на скандально дружественные отношения американских спортсменов к их советским соперникам,— не без удовольствия констатировал в 1952 году журнал «Нейшн».— Действительно, все это не только скандально, но и поистине ужасно. События в Хельсинки, показывающие, что мы и русские можем существовать мирно в области спорта, могут вызвать у широкой общественности подозрение, что и в других областях можно было бы добиться того же самого. Что бы тогда случилось с холодной войной? С заказами на вооружение? С внешнеполитическими разделами программ республиканской и демократической партий? Мы почтительно просим включить Олимпийский комитет в список подрывных организаций».

Стоит подчеркнуть, что эти трезвые соображения отнюдь не прокоммунистического журнала были высказаны за два десятка лет до совместной космической программы «Союз» — «Аполлон», задолго до того, как стала возможной выработка соглашений об ограничении стратегических вооружений и когда было еще очень далеко до важнейших советско-американских документов, подписанных в 70-е годы. Олимпийские контакты и сотрудничество прокладывали в умах идею большей терпимости друг к другу и тем самым содействовали грядущим переменам политического климата.

И действительно, дух и буква Олимпийской хартии, устанавливающей справедливый характер отношений между спортсменами разных стран, несовместимы с идеологией «холодной войны» и полностью совпадают с общепризнанными нормами мирного сосуществования между народами и государствами с различным общественным и политическим строем.

Первый принцип Олимпийской хартии устанавливает равные для всех и справедливые условия международных соревнований без различия расовой принадлежности, политических и религиозных убеждений. Между странами и отдельными лицами, участвующими в олимпийском движении, не допускается расовая, религиозная и политическая дискриминация. Строгое соблюдение этого принципа требует доброй воли, последовательной национально-религиозной и по-

литической терпимости, оправданных и необходимых, пока не станут под угрозу общие основы международного мира, равноправия стран и достоинства человека.

Олимпийское движение призвано защищать общие права всех народов, стремящихся к сохранению спокойствия на земле. Оно зовет враждующие стороны хотя бы к временному примирению, но не к войне.

В истории послевоенной Европы именно Хельсинки стали местом учреждения беспрецедентной по своему масштабу современной международной экихирии, объявленной на неограниченный срок.

После XV Олимпийских игр столица Финляндии вновь привлекла к себе внимание миллионов людей, когда летом 1975 года в Хельсинки собрались руководители 35 стран для подписания Заключительного акта Сопещения по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целая эпоха уместилась между этими двумя событиями, хотя и разными по своему значению и смыслу, но тем не менее связанными между собой исторической логикой и местом действия.

Состоявшаяся в разгар «холодной войны» Олимпиада 1952 года в Хельсинки была, несомненно, одним из первых шагов по направлению к широкому международному сотрудничеству в области культуры и спорта. Успех Олимпиады обнаружил не только извечное стремление народов жить в мире и дружбе, но и огромные возможности для практической реализации этих стремлений во всех областях. Однако чтобы сдвинуть в том же направлении главную ось мировой политики, понадобилось более двух десятилетий, или по олимпийскому исчислению пять Олимпиад.

Подписанный в Хельсинки Заключительный акт Сопещения по безопасности и сотрудничеству в Европе закрепил политические итоги второй мировой войны и сделал во многом необратимой политику разрядки — по крайней мере на европейском континенте.

Победа разума и миролюбия, продемонстрированная в Хельсинки, явилась также выигрышем для современного олимпийского движения, возможного только в условиях общего мира и добрососедских отношений между странами. Вступив более четверти века назад на олимпийскую арену в Хельсинки, Советский Союз сделал все от него зависящее, чтобы придать глобальный характер политике разрядки и тем самым утвердить справедливые принципы Олимпийской хартии в качестве нормы равноправных отношений между всеми государствами и народами земли.

ПРИНАДЛЕЖАТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!

Важнейшим новшеством современных Олимпийских игр по сравнению с древними играми стала практика проведения всемирных состязаний не в одном месте, а поочередно в городах разных континентов и стран. Эта идея Кубертена получила поддержку не сразу. После первой Олимпиады 1896 года в Афинах Национальный олимпийский комитет Греции настойчиво добивался признания за Афинами статуса постоянной столицы всемирных спортивных игр, подобно тому как Олимпия оставалась постоянным местом наиболее популярных спортивных соревнований древности. Эта аналогия, однако, не была признана достаточно основательной. Огромная дистанция между Олимпийскими играми древности и всемирными Играми современной эпохи побуждала к поиску новых идей и новому практическому подходу к организации соревнований.

Дань всеобщего признания Греции как колыбели современного олимпизма выражена в торжественной церемонии Олимпийских игр: олимпийский огонь, по традиции, зажигается раз в четыре года у

стен Олимпии и доставляется к месту проведения очередной Олимпиады в любую часть света; национальная олимпийская команда Греции открывает парад стран-участниц в день открытия Игр и замыкает шествие спортсменов в день закрытия всемирных соревнований. Право же организации Игр является общим для всех участников и по решению МОК предоставляется раз в четыре года городу и стране, которые заявят о своем желании провести очередные всемирные Игры и будут удостоены этой чести.

Такой порядок, предложенный Кубертенем и поддержанный спортивной общественностью многих стран, оказался наиболее демократичным и справедливым: он в наибольшей мере обеспечивает всемирность великого спортивного праздника молодежи, способствует популяризации идей олимпизма на всех пяти континентах земного шара, служит развитию олимпийского спорта в тех странах, которые поочередно принимают олимпийскую эстафету.

Глубокая и дальновидная идея Кубертена, сохранившего четырехлетний циклический характер Олимпиад во времени и придавшего им полицентричный характер в пространстве, на первых порах осуществлялась далеко не так последовательно, как этого хотелось бы основателю современных всемирных Игр.

Для проведения такого грандиозного праздника, каким являются современные Олимпийские игры, недостаточно одного только желания или формального права. При соблюдении общих положений Олимпийской хартии, которая обязывает страну-организатора обеспечить свободное, равное и справедливое участие в Олимпийских играх для спортсменов всех стран, признающих и уважающих принципы олимпизма, столица каждой очередной Олимпиады должна удовлетворять возрастающим требованиям МОК по ряду важнейших условий.

Город, принимающий почетную обязанность устройства Олимпийских игр, должен взять на себя также и нелегкую материальную ношу. Это прежде всего создание комплекса спортивных сооружений, отвечающих всем новейшим техническим требованиям современной олимпийской программы. Это способность наилучшим образом принять и разместить тысячи спортсменов-участников, тренеров, судей, журналистов, официальных лиц, а также десятки или даже сотни тысяч туристов, гостей Олимпиады. Это образцовая организация транспорта, связи, питания, торговли, сферы услуг в экстремальных условиях одновременного наплыва в страну и город огромного количества приезжих. Это обширная и разнообразная культурная программа, способная заинтересовать и увлечь людей, съехавшихся в один город со всего мира.

Опыт всех современных Олимпиад, и в особенности последних, проведенных в эпоху НТР, спутников и межконтинентальной телевизионной связи, свидетельствует, что ни один город, располагающий самой развитой спортивной базой, не может принять за проведение Олимпийских игр без обширного специализированного строительства и крупных материальных вложений во все отрасли городского хозяйства и особенно в сферу обслуживания.

Важнейшая обязанность МОК как раз и заключается в том, чтобы из всех городов-претендентов, объявивших о своей готовности провести очередную Олимпиаду и представивших соответствующие гарантии, выбрать наиболее достойного кандидата. При этом должна учитываться вся совокупность обстоятельств, влияющих на развитие международного олимпийского движения в целом.

Самый беглый обзор десяти олимпийских столиц, избранных МОК до начала второй мировой войны, доказывает, что на протяжении первых сорока лет география Олимпийских игр была ограничена пределами Западной Европы и Соединенных Штатов Америки.

За океаном до войны Игры проводились дважды: в Сент-Луисе (1904) и Лос-Анджелесе (1932); Западная Европа в то время восемь раз подымала флаг всемирных Олимпиад: Афины (1896), Париж (1900), Лондон (1908), Стокгольм (1912), Антверпен (1920), снова Париж (1924), Амстердам (1928), Берлин (1936). Непаритетность такого выбора по отношению к пяти континентам, участвующим в олимпийском движении, была очевидна и тогда, при жизни Кубертена, сделавшего эмблемой олимпийского флага пять сплетенных цветных колец. Не все цвета этого флага, однако, пользовались равным влиянием в МОК, да и фактическое развитие спорта в пяти частях света являло собой самые резкие диспропорции.

Колониальные и полуколониальные страны Азии, Африки, Латинской Америки не могли и помыслить о том, чтобы на равных вести спортивный спор с метрополиями. У них для этого не было ни сил, ни средств. Предпринятая Кубертенем в 20-е годы попытка организовать Олимпийские игры в Африке кончилась полной неудачей. Колониальный барьер, воздвигнутый между черным континентом и остальным миром, был слишком высок, а богачи и аристократы, имевшие тогда преобладающее влияние на олимпийские дела, отнюдь не стремились преодолеть этот барьер.

Вопреки декларациям олимпийское движение до второй мировой войны оставалось во многом принадлежностью элитарной культуры развитых капиталистических стран, прежде всего Западной Европы и США, определявших географию, социальный состав, политическую направленность этого движения, его общую стратегию и тактику.

Только в послевоенные годы вместе с необратимыми революционно-демократическими и социальными переменами Олимпийские игры постепенно обрели действительно всемирный характер и по количеству стран-участниц, и по месту проведения соревнований, и по числу зрителей, так или иначе наблюдающих за ходом соревнований.

Если XIV Олимпийские игры 1948 года в Лондоне собрали 59 национальных флагов, то через двадцать лет на стадионе Олимпико в Мехико их было уже 112 — почти столько же, сколько в Организации Объединенных Наций. Олимпийскую эстафету после Хельсинки 1952 года впервые приняли столица далекой Австралии Мельбурн (1956) и вечный город Рим (1960), одержавший в результате баллотировки победу над 15 другими городами-претендентами.

Олимпийские игры в Токио (1964) и в Мехико (1968) ознаменовали качественный рост олимпийского движения в межконтинентальном масштабе. Впервые в разряд ведущих олимпийских держав вошли страны Азии и Латинской Америки, экономически наиболее развитые в своих регионах и выразившие неодолимое стремление народов этих континентов к общечеловеческой культуре и современному научно-техническому прогрессу. Японская и мексиканская Олимпиады несомненно повысили международный престиж Олимпийских игр в качестве самого универсального всемирного форума молодежи!

70-е годы XX века прошли под знаком закономерного и всестороннего усиления в олимпийском движении позиций социалистических и неприсоединившихся стран.

20 ноября 1969 года Исполком Моссовета предложил провести XXI Олимпийские игры 1976 года в Москве и обратился к Олимпийскому комитету СССР с просьбой поддержать это решение и сообщить о нем Международному олимпийскому комитету. После состоявшихся в Мюнхене XX Олимпийских игр 1972 года за право проведения следующей Олимпиады уже боролись несколько кандидатов: Монреаль, Лос-Анджелес и Флоренция. Москва была зарегистрирована в штаб-квартире МОК четвертым претендентом, имевшим по авторитетным оценкам самые серьезные шансы на победу в конкурсе городов.

По получении официальной заявки от Олимпийского комитета СССР тогдашний президент МОК Эвери Брендедж подтвердил из Лозанны в беседе с советским корреспондентом: «Я воочию убедился, что Советский Союз может хорошо организовать Олимпийские игры, когда присутствовал на Спартакиаде народов СССР в Москве и когда наблюдал за некоторыми другими крупными соревнованиями в вашей стране. Все эти соревнования были превосходно организованы. Как президент, я должен сохранять нейтралитет, но с уверенностью могу сказать, что Москва будет одним из главных претендентов на Олимпиаду 1976 года».

Кандидатура Москвы тогда же получила поддержку со стороны важнейших организаций, участвующих в международном олимпийском движении, а также от лица многих выдающихся спортсменов, хорошо сознававших преимущества советской столицы в качестве основной арены для проведения всемирных спортивных Игр.

На сессии МОК в Амстердаме, где 12 мая 1970 года должен был решиться вопрос о столице XXI Олимпийских игр, первый тур голосования не принес достаточного перевеса ни одному городу. Москва получила 28 голосов, Монреаль — 25, Лос-Анджелес — 17. Во втором туре тайного голосования последняя кандидатура согласно правилам была снята. Москва сохранила свои 28 голосов, а члены МОК, которые сначала поддерживали Лос-Анджелес, отдали свои голоса Монреалю. Олимпиада 1976 года на этот раз должна была отправиться за океан, в Канаду, а Москва в случае серьезности ее намерений сохраняла возможность продолжить спор за право проведения XXII летних Олимпийских игр 1980 года.

Тут следует сказать несколько слов о характере и традициях руководящего органа, которому принадлежит высшая власть в международном олимпийском движении.

МОК создан в 1894 году под счастливой звездой возрождения современных Олимпиад. До 1966 года его члены избирались пожизненно, для тех, кто избран в МОК после 1966 года, существует возрастной ценз — лицам, достигшим почтенного семидесятидвухлетнего возраста, полагается уходить в отставку. Число членов МОК возрастает: в 1970 году их было 74, в 1974-м — 78, в 1979-м — 81. Однако многие страны, имеющие свои Национальные олимпийские комитеты и активно участвующие в олимпийском движении, никак не представлены в МОК. Это и не считается обязательным, так как, по традиции, члены МОК являются посланцами комитета для своей страны, а не представителями своих стран в МОК.

Президент МОК избирается тайным голосованием из числа его членов сроком на восемь лет (потом он может быть переизбран еще на четыре года). Вместе с тремя вице-президентами и пятью избранными членами президент формирует исполком МОК, имеющий большую практическую власть во всех делах и решениях.

МОК проявил и незаурядную энергию, и организационный размах, и достаточную дипломатическую гибкость в осуществлении программных целей Олимпийской хартии и практической организации всемирных спортивных соревнований. Хорошо освоивший преимущества компромиссов, неторопливый в реформах и весьма ревниво охраняющий свой статут закрытого ареопага, МОК не может не прислушиваться сегодня к общественному мнению тех сил и организаций в спортивном мире, без которых нельзя эффективно руководить современным олимпийским движением. Такими силами в первую очередь являются Международные спортивные федерации и Национальные олимпийские комитеты отдельных стран. Доля их участия в подготовке всемирных Игр ширится с каждой Олимпиадой.

Повторное выдвижение кандидатуры Москвы на проведение летних Олимпийских игр 1980 года подтвердило глубокую привержен-

ность советской общественности идеям международного олимпизма и готовность удвоить усилия, необходимые для того, чтобы московская Олимпиада состоялась в наше время и прошла наилучшим образом.

В октябре 1973 года Президиум Верховного Совета СССР обратился к новому президенту МОК лорду М. Килланину со специальным посланием, в котором были предоставлены самые прочные гарантии будущей Олимпиаде, если она соберется в Москве. На этот раз аргументы Москвы были услышаны, тем более что созданный в начале 1974 года Подготовительный комитет сделал все необходимое, чтобы в МОК, в международных спортивных федерациях и у международной общественности сложилось полное и объективное представление о реальных возможностях Москвы в организации Олимпийских игр 1980 года.

Президент МОК М. Килланин, как в свое время и его предшественник, высоко оценил готовность Москвы к проведению Олимпиады и ее шансы при новой баллотировке, которая предстояла в Вене: «Москва имеет все возможности для того, чтобы быть хозяйкой XXII Олимпиады, в чем я воочию убедился, побывав в столице Советского Союза,— заявил лорд Килланин в феврале 1974 года, находясь в Нью-Йорке.— Мне как президенту МОК не хотелось бы отдавать кому-либо предпочтение до осенней сессии Олимпийского комитета в Вене, хочу только подчеркнуть, что Москва имеет все необходимое и вполне может проводить такие крупномасштабные соревнования, как Олимпийские игры. Советский олимпийский комитет проявил большое гостеприимство. Мне особенно запомнилась встреча с Председателем Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным, который проявил интерес к олимпийскому движению. Мне понравилась организация больших спортивных мероприятий в Москве. Если венская сессия МОК решит проводить Олимпиаду-80 в Москве, я с удовольствием приеду в советскую столицу».

Основной вопрос, который должны были решить тайным голосованием члены МОК на венской сессии 1974 года,— кому отдать предпочтение, Лос-Анджелесу или Москве, при выборе места для летней Олимпиады-80. Только эти два города направили в МОК свои заявки и дали определенные гарантии на случай их избрания столицей Олимпиады.

Относительно зимних Олимпийских игр 1980 года на сессии в Вене не было спора: американский город Лейк-Плэсид оказался единственным претендентом на организацию зимних соревнований и его кандидатура была утверждена без долгих дискуссий. Что же касается другого американского города, жаркого Лос-Анджелеса в Калифорнии, который в 1932 году уже провел одну из самых неудавшихся по организации Олимпиад, то его позиции с самого начала были ослаблены.

23 октября 1974 года в присутствии многочисленного корпуса спортивных журналистов и официальных лиц лорд Килланин объявил с трибуны Гербового зала венской ратуши решение МОК: «Организатором Двадцать вторых летних Олимпийских игр избрана Москва!»

В истории международного олимпийского движения с этой минуты началась новая эпоха.

МОСКОВСКИЕ КУРАНТЫ

Олимпийские игры принадлежат человечеству, но печать неповторимости каждой новой Олимпиаде сообщают не только ее порядковый номер и год, но прежде всего город и, конечно, страна, избранные для проведения самых крупных международных атлетиче-

ских состязаний. Под эгидой города-организатора формируется конкретная программа Олимпийских игр, определяется их содержание и масштаб, соответствующие их всемирному значению.

Регламент каждой Олимпиады задан традициями, закрепленными в Олимпийской хартии, своде основных принципов МОК; он зависит от развития отдельных видов любительского спорта, имеющих олимпийский статус и руководимых международными спортивными федерациями, и, наконец, корректируется количеством национальных олимпийских флагов, принимающих участие в Играх.

Задача города-организатора — наилучшим образом соединить условия, коллективно выработанные тройственным союзом (МОК — МСФ — НОК), в котором каждая составная часть олимпийского движения имеет свои особые обязанности и права.

МОК в этом союзе обладает всей полнотой прав общего руководства — он определяет место, сроки, торжественный ритуал Олимпийских игр, утверждает перечень олимпийских видов спорта и отдельных спортивных дисциплин, которые включаются в программу Олимпиады.

Международные спортивные федерации обеспечивают под руководством МОК всю техническую, спортивную и судейскую сторону соревнований; МСФ являются законодателями и арбитрами в своем виде спорта.

И наконец, НОК — национальные олимпийские комитеты — регулируют все вопросы на уровне олимпийских сборных команд своих стран; они представляют в международном олимпийском движении законные национальные интересы.

Совершенно ясно поэтому, что работа Оргкомитета по подготовке и проведению Олимпиады требует регулярных консультаций и самого тесного сотрудничества на всех трех уровнях руководства олимпийским движением в его международных, национальных и спортивно-технических аспектах.

На XXII Олимпийских играх спортивные сражения развернутся по 21 виду спорта, каждый из которых требует особой материально-технической основы, специальных спортивных сооружений и инвентаря, удовлетворяющих самым высоким современным требованиям.

Потребности спортивной программы, развернутой не только по видам, но и по отдельным дисциплинам внутри каждого вида спорта, являются исходными для реконструкции и строительства новых спортивных сооружений, где будут состязаться атлеты.

20 видов олимпийской программы обеспечивает Москва с ее колоссальной спортивной базой, модернизированной и созданной заново к открытию Олимпиады. Игры предварительного олимпийского турнира по футболу, как известно, состоятся на обновленных стадионах Ленинграда, Киева и Минска, а парусная регата целиком пройдет в Таллине.

Один из основных факторов, определяющих облик и масштаб Олимпиады, — это число ее главных действующих лиц, спортсменов — участников во всех видах программы, а также судей и технического персонала, обеспечивающих безупречное проведение соревнований. К ним надо добавить официальных лиц, тренеров, врачей и т. д., многотысячный корпус прессы, радио и телевидения, благодаря усилиям которого информация об Олимпийских играх быстро становится достоянием всего мира. И наконец, надо иметь в виду огромную армию гостей Олимпиады, туристов и зрителей-москвичей, составляющих ее публику в самом широком смысле слова.

По расчетам специалистов во время Олимпийских игр москвичам и гостям столицы будет предложено одновременно 360 тысяч мест на трибунах, а вместе с местами в парусном центре Таллина и на

футбольных стадионах Ленинграда, Киева и Минска общее число мест на трибунах составит почти 600 тысяч.

Эти общие цифры (пока, конечно, расчетные и приблизительные) определяют в то же время огромные размеры уже завершеного строительства специальных спортивных сооружений, Олимпийской деревни, временных и постоянных гостиниц, служб транспорта, связи, сферы обслуживания и т. д. Принять, разместить и сделать олимпийский праздник приятным и радостным для каждого, для участников, гостей и хозяев,— вот едва ли не самая ответственная и трудная задача всех служб Олимпиады и городских властей в условиях пиковых нагрузок на олимпийских объектах и трассах.

Облик Олимпиады в огромной степени зависит от того, насколько успешно решается комплекс проблем, связанных с многообразными запросами всех категорий ее «народонаселения».

И наконец, важнейшее объективное обстоятельство — в р е м я, то есть сроки проведения Олимпийских игр и организация соревнований по дням и часам. Тут возникает проблема р и т м а Олимпиады, и при колоссальной насыщенности ее спортивной программы эта задача также вырастает в одну из сложнейших.

История современных Олимпиад знает печальный опыт лондонских Игр 1908 года, которые продолжались 184 дня, то есть тянулись с перерывами добрых полгода. Всемирный спортивный праздник превратился тогда в бесконечное будничное мероприятие, и жители английской столицы успели привыкнуть к постоянным олимпийским соревнованиям в их городе, как к ежедневному лондонскому дождю.

Почти три месяца — 88 дней — продолжались Олимпийские игры 1928 года в Амстердаме; организаторы соревнований еще не научились тогда укладывать разнообразную и обширную программу в оптимальные, то есть достаточно сжатые сроки. Не было для этого и развитой спортивной базы — соревнования по всем видам программы проводились на считанных спортивных объектах поочередно. Однако уже с начала 30-х годов почти все летние Олимпийские игры, несмотря на возрастающее количество видов олимпийского спорта и отдельных дисциплин, стали укладываться в 16 дней.

Таким образом, современные Олимпиады можно представить как грандиозное массовое действие, необыкновенно плотное по числу одновременно происходящих спортивных и других событий и четко организованное во времени и пространстве. Успешная «режиссура» такого действия требует кропотливой предварительной работы. И Оргкомитет Олимпиады-80 проявил в этом отношении особую энергию и инициативу.

Впервые в практике подготовки Олимпиад детальная разработка спортивной программы Игр осуществлена Оргкомитетом на год раньше традиционных сроков!

Как это удалось сделать, мы решили поподробнее расспросить одного из «главных виновников» столь своеобразного достижения — Владимира Сергеевича Родиченко, члена исполнительного бюро Оргкомитета, возглавляющего Управление спортивных программ. Владимиру Сергеевичу и предоставляем слово:

— Прежде всего о редчайшем совпадении (а точнее — это первый случай и истории современных Олимпиад): Игры в Москве пройдут точно в те же сроки, что и двадцать восемь лет назад в Хельсинки,— с 19 июля по 3 августа. Но по более насыщенной программе: медали разыгрываются по 203 дисциплинам 21 вида спорта. Дисциплин на пять больше, чем было в Монреале.

На 79-й сессии МОК в Праге к монреальской программе был добавлен хоккей на траве для женских команд, введена новая кате-

гория (до 100 кг) для штангистов в тяжелой атлетике. В легкой атлетике восстановлена ходьба на 50 километров. Две новые весовые категории введены в дзю-до.

В нашей стране накоплен богатый опыт организационной работы по проведению спортивных соревнований самого крупного масштаба. Общеизвестны и наши достижения в сфере культуры проведения международных турниров. Однако при организации Олимпийских игр в действие вступают более высокие требования и критерии. Потребовалась разработка единой комплексной целевой программы подготовки и проведения соревнований.

Проект этой программы мы согласовали со всеми международными спортивными федерациями. Большинство руководителей федераций отметили, что впервые в практике подготовки к Олимпийским играм Оргкомитет столь заблаговременно начал с ними совместную работу. К примеру, почетный генеральный секретарь ФИНА — Международной федерации любителей плавания — Роберт Хелмик (он же — президент Национального любительского атлетического союза Соединенных Штатов Америки) отметил, что за время своего пребывания в Москве он пришел к такому выводу: свойственная советской системе практика планирования является благоприятным фактором при подготовке Олимпийских игр. И добавил, что на него произвел большое впечатление размах планирования, уже полностью завершено к 1977 году, вплоть до деталей.

Кстати, в марте 1980 года Роберт Хелмик снова побывал в Москве и при встрече в Оргкомитете с его председателем И. Т. Новиковым откровенно заявил, что он лично не одобряет предпринятую администрацией США кампанию за бойкотирование московской Олимпиады.

— Мы хотим участвовать в Олимпийских играх, — подтвердил генеральный секретарь ФИНА, — и наш Национальный олимпийский комитет не прекращает подготовку к ним американских спортсменов, разворачивая активную кампанию за приезд атлетов США в Москву на Олимпиаду. Нельзя свободное спортивное движение подчинять политике, поэтому ФИНА сделает все, чтобы московская Олимпиада прошла на высоком уровне.

— Позиция Роберта Хелмика в олимпийских делах вполне понятна, — продолжил нашу беседу Владимир Сергеевич Родиченко. — Это позиция подавляющего большинства серьезных и ответственных деятелей международного спортивного движения, знающих, какой колоссальный труд вкладывается в подготовку Олимпиады и с каким уважением следует относиться к этому труду. Что же касается Оргкомитета Олимпиада-80, то мы широко используем такую форму сотрудничества с международными спортивными федерациями, как приглашение их руководителей и технических делегатов в Москву и другие олимпийские города нашей страны. С участием федераций завершена разработка основополагающих документов, как внутренних, так и международных, непосредственно регулирующих подготовку и проведение олимпийских соревнований. Сюда относится также планировка служебных помещений при спортивных объектах, перечни тренировочных сооружений, определение структур судейских коллегий, подготовка текстов технических регламентов по 21 виду спорта. Давно сделан перевод этих текстов на официальные языки Международного олимпийского комитета — французский и английский...

Согласно правилам МОК летние Игры должны продолжаться 16 дней. Решение МОК сохранить в основном программу, по которой проводились соревнования в Монреале, позволило выдержать и традиционную продолжительность олимпийского праздника в Москве.

Десятки факторов принимались в расчет при выборе календарных сроков московской Олимпиады. Пожалуй, наибольшее внимание было уделено климатическому фактору. Всесоюзный научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации изучил результаты наблюдений начиная с 1879 года, то есть практически за сто лет. Специалисты утверждают, что наиболее теплый летний период в Москве приходится на вторую половину июля — начало августа. Обычно и в Таллине в это время сохраняется устойчивая погода.

Стремился Оргкомитет и к тому, чтобы после окончания учебного года до начала Игр было достаточно времени, а после закрытия Олимпиады можно было бы подготовить столицу к началу нового учебного года. Игры должны завершиться до начала пиковой загрузки авиалиний, приходящейся обычно на вторую половину августа. Сугубо спортивные мотивы, разумеется, также принимались во внимание, в первую очередь — традиционные сроки проведения крупнейших международных соревнований по летним олимпийским видам спорта.

Сроки игр XXII Олимпиады были внесены на рассмотрение МОК и утверждены за четыре с половиной года до их начала. И мы получили возможность твердо опираться на эти сроки при разработке сложных и трудоемких перспективных планов подготовки к Играм по многим направлениям. В первую очередь это относится к материально-техническому обеспечению, планированию культурно-зрелищных мероприятий, работе транспорта.

Теперь о самой программе Игр.

Тенденция к ее стабильности проявляется не только в перечне видов спорта и дисциплин, но и в ритме проведения соревнований, их продолжительности. Оргкомитеты многих Олимпиад внимательно изучали и изучают опыт своих предшественников. Все лучшее, что годами накапливалось в практике проведения крупнейших международных соревнований, мы, естественно, использовали в подготовке своей «программы по дням».

Распределение видов спорта в течение двух недель — задача на первый взгляд несложная. Однако неодинаковая продолжительность соревнований по различным видам спорта ставит перед организаторами Игр задачу оптимального их уплотнения в течение всего срока соревнований.

Мы руководствовались несколькими важнейшими принципами при определении календарного места для каждого вида спорта. Один из важнейших — стремление к равномерному по возможности распределению всех видов программы. Это означает, что если сделать календарный «срез», то каждый олимпийский день (за исключением последних) обнаружит примерно одинаковое количество видов программы. Самый насыщенный день олимпийской Москвы — 24 июля (четверг), когда одновременно будут проходить состязания по 18 видам спорта. И лишь к концу Игр число одновременно проводимых турниров несколько снижается. Это сделано преднамеренно для того, чтобы облегчить нашим транспортным организациям обратную отправку десятков тысяч туристов. Ведь если бы соревнования по 10—15 видам завершались одновременно в канун закрытия Игр — это создало бы дополнительные трудности для транспортных служб.

И еще об одном принципе нельзя забывать. Я имею в виду относительно равномерное распределение финальных турниров. Тщательно продуманный и согласованный с международными федерациями график, как мне известно, вызвал всеобщее одобрение. Как, впрочем, и расписание состязаний по спортивным играм — футболу, баскетболу, ручному мячу, волейболу и хоккею на траве. Они обладают наибольшей, пожалуй, привлекательностью для зрителей. Вот почему их число по дням планируется выдерживать примерно одинаковым. Расписание

помогает создать достаточно равномерную загрузку спортивных сооружений, а также различных олимпийских служб — транспортной, медицинской, награждения победителей, антидопингового контроля и, разумеется, таких объемных и технически оснащенных, как служба связи, система электронной обработки результатов — АСУ «Олимпиада», радиотелекомплекс.

Что же касается зрелищности соревнований, то мы, естественно, обязаны были принять во внимание тот факт, что различные виды спорта, как показывает опыт предыдущих Игр, пользуются неодинаковым вниманием. Поэтому мы стремились не совмещать сроки проведения состязаний, которые традиционно привлекают наибольшее внимание болельщиков и любителей спорта. Сначала, например, пройдут соревнования по гимнастике и плаванию, а во второй половине Игр зрители увидят состязания по конному спорту, финалы легкоатлетов и т. д. Самым продолжительным будет олимпийский турнир боксеров: он проводится 13 дней и его победители станут известны лишь накануне закрытия Олимпиады...

После утверждения программы соревнований по дням Оргкомитет приступил к очередному этапу — утверждению в международных федерациях программ по часам. Каждый олимпийский день расписан по соревновательным «сменам». К концу мая 1978 года президиум Оргкомитета одобрил проект такого расписания, и можно было приступить к завершению разработки программ Игр — билетной, транспортных служб, культурных мероприятий...

По договоренности с В. С. Родиченко мы решили продолжить нашу беседу после осмотра на месте некоторых уникальных спортивных сооружений, воздвигнутых в олимпийской Москве.

Наш первый маршрут по весенней Москве — в Крылатское, где вступил в строй и уже прошел обкатку крытый велотрек. Это место на просторной западной окраине столицы между Рублевским шоссе и крутой излучиной Москвы-реки давно облюбовали не только велосипедисты, имеющие здесь отличную кольцевую трассу длиной 13,6 километра. Своим считают Крылатское и гребцы, для которых еще в начале 70-х годов построен на Москве-реке один из лучших в Европе искусственных гребных каналов международного класса.

Тут же на соседнем поле оборудовано стрельбище для лучников. Теперь, с созданием крытого велотрека, уникального в своем роде и необыкновенно выразительного архитектурного сооружения, Крылатское обретает законченные черты крупного спортивного комплекса, удобного для тренировок на открытом воздухе, для разнообразных атлетических занятий в зимнее время и способного обеспечивать проведение соревнований высшего ранга по нескольким видам спорта. Во время Олимпиады здесь будут проводиться гонки велосипедистов по шоссе и на треке, состязания по стрельбе из лука, академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ.

Уже при подъезде к велотреку со стороны Рублевского шоссе это сооружение поражает оригинальностью плавно изогнутой кровли, чем-то напоминающей издали гигантское сомбреро. Величественные пропорции этого здания в полной мере ощущаются, однако, лишь при входе на центральную арену — кровля здания как бы парит над треком; кажется, что она держится без всяких опор, на самом же деле ее удерживают длинные металлические арки — две внешние и две внутренние. К этим несущим конструкциям — стальным ребрам здания — и прикреплена оболочка двух половин гигантской стальной мембраны толщиной в 4 миллиметра. Общая площадь мембраны — 17,5 тысячи квадратных метров, то есть примерно два футбольных поля. Все здание имеет форму эллипса длиной 216, шириной 156 и высотой 38 метров. Таковы общие размеры крытого велотрека в Крылатском.

Эту огромную архитектурную конструкцию можно смело называть геометрической поэмой в честь велосипедного спорта. Могут спросить: а при чем здесь геометрия? При том, что велоспорт продиктовал архитекторам строгие геометрические очертания и пропорции полотна трека — основной его функциональной части, ради которой построено все здание. Это полотно согласно олимпийским требованиям должно быть выполнено в виде вытянутого кольца протяженностью в 333,33 метра, с минимальным уклоном по отношению к арене в 11 градусов на длинной части кольца и максимальным уклоном в 42 градуса на вираже.

Чем объясняются такие требования?

Необходимые объяснения дает Алексей Андреевич Куприянов, главный специалист Оргкомитета по велоспорту, в недавнем прошлом вице-президент Международной любительской федерации велоспорта. Крытый велотрек в Крылатском в какой-то мере и его детище: Алексей Андреевич был здесь безотказным консультантом с первых шагов строительства и даже раньше, когда только разрабатывался проект.

— Уклон полотна, возрастающий до 42 градусов на вираже, есть главное условие высокой скорости, при которой велосипедист не будет выброшен за ленту трека силой инерции, — говорит Алексей Андреевич. — Наш новый трек позволяет развивать предельную скорость в 80—90 километров в час; пока что это намного больше, чем может выжать из машины самый быстрый велосипедист. Длина дорожки—333,33 метра — является идеальной в нашем виде спорта. Она интересна — дает возможность увидеть наиболее высокий класс спортсмена. Несколькими годами назад она была утверждена Международной любительской федерацией велоспорта как эталон. 333,33 метра — очень удобная длина. Три первых круга при такой дорожке дают один километр, шесть кругов — два километра, двенадцать кругов — четыре и т. д. Недостающий сантиметр практически не имеет значения.

Должен сказать, что второго такого крытого трека нет нигде в мире. Велотрек в Мюнхене, построенный к Олимпиаде 1972 года, имеет нестандартную длину полотна — 287 метров. Тот же самый немецкий проект с небольшими конструктивными изменениями повторен в Монреале-76. МОК и Международная любительская федерация велоспорта разрешили тогда использовать монреальский велотрек в виде исключения. В мире есть достаточное количество открытых велотреков с установленной длиной полотна 333,33 метра, но крытый велотрек таких размеров, который можно использовать круглый год и при любой погоде, пока что единственный, у нас в Крылатском.

Еще одно достоинство, которое несомненно оценят специалисты и гонщики, — это превосходное качество древесного покрытия полотна. Лучшим для этой цели считается необыкновенно твердое африканское дерево. Но мы нашли дерево не хуже — сибирскую лиственницу. По твердости, плотности, чистоте отделки и многим другим качествам сибирская лиственница не уступает знаменитому африканскому дереву. Спасибо сотрудникам Свердловского института древесины Министерства лесной промышленности СССР — они не только предложили сибирскую лиственницу в качестве покрытия полотна олимпийского велотрека, но и разработали от начала до конца всю технологию заготовки, сушки дерева и обработки деталей, необходимых для нашей специальной цели.

Здесь мы встретили одного из конструкторов и главного спортивного технолога велотрека. Спросили, как разрабатывался и осуществлялся проект уникального сооружения в Крылатском. И услышали ответ: коллективно!

Авторы проекта — архитекторы Н. И. Воронина и А. Г. Оспенников, конструкторы В. В. Ханджи, Ю. С. Родиченко, В. А. Бородин,

И. В. Лисицын, М. В. Савицкий и технолог А. В. Зыченков. Называю авторский коллектив, разработавший и воплотивший этот проект, в надежде, что талант и изобретательность его создателей будут непременно оценены по достоинству на самых крупных всесоюзных и международных конкурсах новейших архитектурно-инженерных сооружений...

Между прочим, крытый велотрек в Крылатском будет служить не только велосипедистам. Его просторная центральная арена уже оборудована как удобное легкоатлетическое ядро. Тартановое покрытие легкоатлетической дорожки и внутренних секторов позволяет проводить здесь разнообразные тренировки и зимние соревнования легкоатлетов.

Двусторонние трибуны на шесть тысяч мест для зрителей, места для судейской коллегии и прессы, удобное фойе, масса света, четыре отдельных спортивных зала, соединенных переходами с главной ареной, большое остекленное кафе с видом на гребной канал делают велотрек в Крылатском настоящим спортивным дворцом комплексного назначения.

На прощание Алексей Андреевич Куприянов завернул в служебные помещения и показал нам просторную комнату — бокс, в котором будут отдыхать и готовиться к соревнованиям гонщики. Таких боксов разной величины со стойками для машин на велотреке 50 — каждой национальной команде во время соревнований будет предоставлено отдельное помещение.

— Я был на всех Олимпиадах начиная с 1952 года в Хельсинки и на 27 чемпионатах мира по велосипеду, — уже в машине закончил свой рассказ Алексей Андреевич, когда мы возвращались в Оргкомитет. — И могу с уверенностью сказать, что таких условий, какие созданы для велосипедистов в Крылатском, еще нигде и никогда не было. Характерно, что уже на первых официальных соревнованиях, которые состоялись в Крылатском, наши гонщики сразу прибавили в скорости. Костя Храбров установил первый рекорд трека, пройдя круг с ходу за 19,9 секунды. Его скорость, таким образом, достигла 60 километров в час. Уверен, что на велотреке в Крылатском будут побиты прежние национальные рекорды и мы станем свидетелями новых рекордов мира и Олимпийских игр.

Если на велотреке в Крылатском все уже давно готово для гонок, то самый большой универсальный спортивный комплекс на проспекте Мира весной 1980 года еще не вышел из горячки последних строительных работ. Муки рождения этого гиганта тяжелые: почти все здесь уникально по архитектурному замыслу и размерам, почти каждое крупное решение осуществляется впервые в строительной практике. Проект комплекса разработан большой группой архитекторов, ученых и инженеров под руководством главного архитектора Москвы М. В. Посохина.

На крытом стадионе на проспекте Мира смогут одновременно смотреть соревнования 45 тысяч зрителей — такова вместимость его трибун. Это целый город под одной крышей. Кровля стадиона опирается на 32 стальные колонны, смонтированные по наружному контуру зала и соединенные сверху единым железобетонным кольцом. Днище кольца по окружности — 600 метров, оно держит на себе всю основную тяжесть верхнего перекрытия.

Стадион на проспекте Мира имеет форму эллипса длиной 224 метра и шириной 183 метра. Его высота 40 метров. Размер главной арены стадиона 126×90 метров! Это самая большая крытая арена в мире. При необходимости помещение арены может быть разделено специальной выдвинутой перегородкой на два отдельных зала, наглухо изолированных один от другого.

Арена универсального спортивного комплекса будет использоваться практически для всех игровых видов спорта от футбола и хоккея до регби. Тут могут проводиться крупные соревнования легкоатлетов, выступления мастеров фигурного катания и т. д. Проектом предусмотрен максимум удобств для спортсменов и публики.

В дни Олимпийских игр универсальный спортивный комплекс на проспекте Мира отдается для турниров по боксу и баскетболу. Эти виды спорта привлекают обычно очень большое количество зрителей, и размеры комплекса позволяют в максимально возможной мере удовлетворить интересы публики.

Когда мы знакомимся с помещениями стадиона, его центральная арена еще не освободилась полностью от лесов; где-то под потолком на тридцатиметровой высоте шла сварка, сыпались снопы искр, продолжался монтаж оборудования.

От главной арены, поражающей воображение своим пространством, через крытые коридоры мы вышли в особое помещение того же единого универсального комплекса — плавательный бассейн, в котором смонтированы две автономные демонстрационные ванны длиной 50 и шириной 25 метров. Трибуны двух залов, которые могут разделяться перегородкой, вместят соответственно до 14 тысяч человек. Соревнования в них будут проходить одновременно: в одной чаше 20 июля начнутся соревнования пловцов (мужчин и женщин), а в другой — соревнования по прыжкам в воду.

От крытого стадиона на проспекте Мира совсем недалеко до нового спортивного комплекса ЦСКА, построенного на Ленинградском проспекте рядом со зданием аэровокзала. Нашим гидом по этому объекту выразил готовность стать работником Оргкомитета Лев Андреевич Ширшаков, специалист по классической борьбе, три года тренировавший в свое время сборную олимпийскую команду Польши.

В новом футбольно-атлетическом комплексе ЦСКА Льву Андреевичу все хорошо известно. Это сооружение было полностью готово уже к лету 1979 года, к VII Спартакиаде народов СССР. Его успели освоить и полюбить многие спортсмены, а также мальчишки, ученики спортивных школ, у которых здесь регулярно проходят занятия. Когда мы пришли на футбольную часть комплекса, две юношеские команды как раз и сражались друг с другом. В их распоряжении — полноценное футбольное поле под высокой крышей, залитое светом и покрытое изумрудно-зеленым рекортаном, искусственным покрытием, отчасти имитирующим травяной покров. Вся разница, что играть здесь приходится не в бутсах, а в более легких резиновых кедах — рекортан все-таки надо беречь. Да еще из-за близости трибун, на которых свободно размещается 5 тысяч зрителей, футбольное поле разгорожено с остальной частью зала высокой, до самого потолка, веревочной сеткой.

В целом же зал оставляет удивительное ощущение простора, свободы, необычное для закрытого помещения. На время Олимпиады это футбольное поле будет использовано для турнира по фехтованию. Из-за большого числа участников предварительные бои фехтовальщиков будут проводиться сразу на нескольких дорожках, оборудованных по всем олимпийским правилам.

Из футбольной части комплекса через центральное помещение мы перешли в другое крыло — легкоатлетический манеж с четырьмя двухсотметровыми крытыми дорожками, секторами для прыжков, толкания ядра и других видов легкой атлетики. В этом зале также имеются постоянные трибуны на 5 тысяч зрителей.

— Ну вот теперь, когда вы собственными глазами взглянули на олимпийские сооружения, которые не перестают удивлять и нас, ра-

ботников Оргкомитета, обязанных заниматься ими по службе, нам легче перейти ко второй части нашей беседы, относящейся к техническому обеспечению олимпийских соревнований,— сказал Владимир Сергеевич Родиченко, когда мы встретились снова в здании АСУ «Олимпиада», где размещается, в частности, и Управление спортивных программ.— Речь пойдет о главном направлении в создании материально-технической базы московской Олимпиады — широком использовании уже имеющихся в столице спортивных сооружений и максимально полной загрузке новых сооружений в послеолимпийский период. Еще в начале олимпийского строительства председатель Оргкомитета Игнатий Трофимович Новиков в статье, опубликованной «Правдой», заявил, что мы построим все, что необходимо и чего требуют правила. Построим добротнo и с перспективой, но без излишеств, без намерения кого-то удивить. Олимпийские сооружения, здания и комплексы не останутся памятниками прошедшим Играм. Они будут служить советским людям и в дальнейшем.

Все это одинаково касается и олимпийских спутников Москвы — Киева, Минска и Ленинграда, где состоятся групповые футбольные турниры.

Мы тщательнейшим образом проанализировали потребность в спортивных сооружениях для Игр на основе подготовки и проведения их в Мехико, Мюнхене, Монреале, естественно, с учетом московской олимпийской программы. Для успешного проведения этих соревнований в отведенные для них сжатые сроки необходима жесткая специализация спортивных сооружений. В принципе мы стремились, чтобы на каждом объекте проходили турниры не более чем по двум видам спорта даже при их последовательном проведении. В Мюнхене, к примеру, соревнования проходили на 27 аренах, из которых 12 — новые, в Монреале использовались 25 арен (8 новых). Кроме того, по сравнению с Играми в Мюнхене олимпийская программа пополнилась турнирами женских команд по баскетболу и гандболу, а по сравнению с Монреалем — женскими соревнованиями по хоккею на траве.

Казалось бы, придется увеличивать количество арен для Олимпиады-80. Однако рациональное построение программы и распределение ее видов позволило использовать в Москве и вне ее даже меньшее (по сравнению с предыдущими Олимпиадами) количество спортивных сооружений: 13 имеющихся (из них 12 требовали реконструкции) и 11 новых. Программа по дням составлена на основе требования максимальной плотности загрузки спортивных арен.

Олимпиада-80 будет отличаться от прежних большей специализацией сооружений. Это позволит повысить качество проведения соревнований и исключит излишние трансформации арен в ходе самих Игр, так как помещение уже к началу турнира будет оборудовано технологически и оснащено технически для конкретного вида спорта. Для тех игр, в которых участвуют женские и мужские команды, планируются два разных по вместимости зала — большой и малый, что позволит наиболее интересные встречи проводить при большем числе зрителей.

Проведена значительная работа по определению сооружений для тренировок олимпийцев. Перечень тренировочных баз включает 80 спортивных объектов Москвы. Многие из них реконструируются. При их отборе Оргкомитет исходил из того, что все они должны располагаться по возможности недалеко от Олимпийской деревни или основных арен. Все оборудование, инвентарь, а также покрытие арен должны соответствовать стандартам, применяемым и для официальных соревнований. Совмещение тренировок по разным видам спорта на одной базе практически исключено.

Современные Олимпийские игры демонстрируют не только достижения спортсменов, но и возможности современной техники,

использование таких технических средств, без которых Олимпиада попросту немыслима. Поэтому один из признаков, определяющих уровень подготовки Игр,— их информационно-технический комплекс. Он включает сложнейшую аппаратуру, которая помогает безупречно определять показанные технические результаты, ускоряет их сбор, обработку, демонстрацию, передачу на расстояние.

Не будет преувеличением сказать, что больше половины всех расходов на современных Олимпиадах идет на создание их информационно-технических комплексов. Что входит в состав такого комплекса?

На Олимпиаде-80 он будет состоять из пяти связанных между собой систем: комплекса судейско-информационной аппаратуры, автоматизированной системы управления и информационного обеспечения Игр — АСУ «Олимпиада», радиотелевизионного комплекса, пресс-службы, состоящей из главного пресс-центра с субпресс-центрами на спортивных сооружениях; мощной, разветвленной системы средств связи как внутри города, так и с десятками стран всех континентов.

В нашей стране имеется опыт комплексного технического оснащения соревнований. Так, хорошие отзывы получило техническое оснащение чемпионата мира 1975 года по тяжелой атлетике в Москве, международных чемпионатов по борьбе в Минске и Ленинграде, международных соревнований по гимнастике в Риге и на приз газеты «Москоу ньюс» в Москве.

Сложность и уникальность задачи комплектования судейско-информационных средств на предстоящей московской Олимпиаде поставили нас перед необходимостью закончить организационно-технические основы этой работы задолго до соответствующего решения МОК.

При создании комплекса судейско-информационной аппаратуры учтены перспективы развития спортивной техники, применено самое современное оборудование, выпускаемое в Советском Союзе и других странах.

Советские предприятия поставят для Олимпиады почти все оборудование для соревнований по гимнастике, фехтованию, боксу, тяжелой атлетике, а также различный инвентарь для многих других видов олимпийской программы. Таллинская судостроительная верфь изготовит для команд по парусному спорту шверботы классов «финн» и «470». Речь идет, так сказать, о «домашних заготовках». Но вообще мы не собирались все это «монополизировать»: спортивное оборудование, инвентарь и судейская аппаратура поставлялись также и предприятиями зарубежных стран.

Приближение XXII Олимпийских игр еще более повышает значение каждого дня, каждого часа, который остается в распоряжении организаторов Олимпиады. Умение распоряжаться временем — большое и, может быть, самое трудное искусство. Олимпийский девиз: «Быстрее! Выше! Сильнее!» — на первое место ставит задачу успешного преодоления времени.

НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА

Когда Монреаль уже был избран олимпийской столицей 1976 года и основными претендентами на организацию Олимпиады-80 остались Лос-Анджелес и Москва, в определенной части мировой печати как по команде развернулась открытая или замаскированная кампания, ставившая своей целью развенчание самой идеи Олимпийских игр. Их трактовали как мероприятие слишком убыточное, расточительное,

обрекающее страну-организатора чуть ли не на финансовую катастрофу.

Особенно много сердитых слов было сказано против «гигантизма» современных Олимпиад. Усилились жалобы на то, что нынешняя организация Игр поощряет только спортсменов-профессионалов, не оставляя места для любительского начала в спорте. Выражались сомнения по поводу дорогостоящих строительных программ, нагромождающих в одном городе спортивные дворцы и храмы, которые никогда уже по-настоящему не смогут быть использованы после двух недель олимпийского ажиотажа.

Кое-кто с особым раздражением отзывался о пышной церемонии открытия Игр, параде национальных флагов, торжественном ритуале в честь победителей и других атрибутах олимпийского праздника, возбуждающих будто бы только националистические чувства миллионов зрителей и самих участников в ущерб чисто спортивной стороне соревнований.

Были обнародованы проекты «удешевления», «миниатюризации», «денационализации» Олимпийских игр, которые по сути своей означали не совершенствование их традиционной программы, а фактическую ликвидацию идеи всемирного спортивного фестиваля молодежи, весь смысл которого, по мысли Кубертена, в максимальном представительстве и универсализме.

«Все виды спорта, все страны!» — вот идеал олимпизма, а отсюда, естественно, и масштаб современных Олимпиад.

Возражая некоторым чересчур запальчивым критикам «гигантизма» Олимпийских игр, президент МОК лорд Килланин говорил:

«Мы все употребляем это слово неправильно, так как по своей сути «гигантизм» есть результат успеха, который приобрели Игры после своего скромного начала».

Весь вопрос в том, на чем строить и как использовать этот успех. Атака на олимпийскую идею под флагом экономии и бережливости была отнюдь не случайной для мировой ситуации середины 70-х годов. Она была не случайной хотя бы потому, что сетования о дороговизне и никчемности Олимпийских игр раздавались нередко со страниц тех самых зарубежных газет, владельцев которых отнюдь не смущали колоссальные расходы на вооружение и рост военных бюджетов.

Все олимпийские затраты по сравнению с военными расходами были и остаются каплей в море, но именно ее, эту часть национальных затрат, весьма удобно трактовать как излишнюю роскошь вместе с другими статьями на социальные и культурные нужды, здравоохранение, образование и спорт. В условиях стремительной инфляции, энергетического кризиса, валютных потрясений и обострившейся конкурентной борьбы в капиталистическом мире организация Олимпийских игр действительно стала представлять собой хлопотное дело. Особенно когда экономика города — организатора Олимпиады строится на началах частного предпринимательства, общественной благотворительности и при ограниченных возможностях местного бюджета.

Поскольку организатором Игр, по традиции, является город, а не страна, успех современных Олимпиад все больше стал зависеть от готовности страны принять затраты и усилия города как общее национальное дело, от способности включить олимпийское строительство в долгосрочную государственную программу развития благосостояния, культуры и физического воспитания всего народа и особенно молодежи.

Именно на этих основах строились предложения советского Подготовительного комитета о проведении Олимпиады 1980 года в Москве. В пресс-бюллетене Подготовительного комитета по выдвиге-

нию кандидатуры Москвы на организацию XXII Олимпийских игр председатель комитета С. Павлов в свое время заявил, что при положительном решении МОК организацию Олимпиады в Москве возьмут на себя не только Моссовет, Олимпийский комитет СССР и Спорткомитет как государственный орган, ответственный за развитие спорта в стране, но будут приведены в действие и еще большие силы.

Подготовительный комитет не скрывал, что основные спортивные сооружения в столице будут строиться вне зависимости от Олимпийских игр, в соответствии с генеральным планом развития Москвы — планом, который ставит своей главной целью заботу о гармоническом развитии советского человека, его труде и отдыхе, здоровье и благополучии.

Созданный на основе широкого представительства Оргкомитет Олимпиады-80 сделал все возможное, чтобы планы олимпийского строительства в Москве, Таллине, Ленинграде, Киеве и Минске были превращены в действительность. На государственном уровне эти планы вошли в основные задания десятой пятилетки в одном ряду с важнейшими пусковыми стройками, и их исполнение приобрело характер закона.

Вместе с тем экономическая программа Оргкомитета потребовала самой широкой инициативы и в международной и во внутрисоюзной хозяйственно-экономической деятельности. В полной мере сохраняет свое значение проблема рационализации строительства на всех этапах и уровнях, от проектирования до ввода в строй готовых сооружений с перспективой их последующего долговременного использования в городском хозяйстве и в интересах массового физкультурного движения и спорта.

Подготовка к Олимпиаде особенно остро ставит вопросы качества строительных работ, надежности аппаратуры, безупречности всевозможных изделий, которые будут определять уровень материального обеспечения Олимпийских игр. Помимо обычных стандартов тут вступают в силу особые нормативы МОК и международных спортивных федераций, относящиеся к технической стороне воздвигаемых сооружений, достоинствам инвентаря и т. п.

Наконец, олимпийское строительство более чем какое-либо другое лимитировано точными сроками, исчисляемыми по дням. Даже малейшее опоздание здесь недопустимо в принципе. Готовность номер один на олимпийских объектах должна наступить гораздо раньше, чем на Главной арене стадиона имени В. И. Ленина в Лужниках вспыхнет олимпийский огонь.

Принимая во внимание это последнее обстоятельство, Оргкомитет Олимпиады-80 предусмотрел завершение основной части олимпийского строительства к VII Спартакиаде народов СССР, то есть примерно на год раньше открытия XXII Олимпийских игр в Москве. Это позволило не только своевременно устранить все строительные недоделки, но по-настоящему опробовать основные спортивные сооружения в условиях напряженных соревнований, мало чем уступающих Олимпийским играм.

В Оргкомитете сходятся нити многих программ и замыслов, от выполнения которых зависит успех московской Олимпиады. Там мы и узнали об одной из таких программ — экономическом обеспечении Олимпиады-80. Эта программа начиналась со всестороннего критического изучения опыта предшественников, который далеко не во всем можно считать утешительным. Приходится иногда слышать мнение, что всемирные Олимпийские игры — прибыльное дело и на них можно даже обогатиться. Иначе, мол, города разных стран не боролись бы так настойчиво за право проведения Олимпийских игр. Но, конечно, стремление получить это право объясняется отнюдь не соображениями экономической выгоды.

Основные мотивы каждого кандидата — это желание продемонстрировать успехи страны в физическом воспитании молодежи, стремление ускорить развитие спорта в национальных масштабах, расширить международное сотрудничество в этой области и тем самым содействовать осуществлению высоких и благородных целей, провозглашенных Олимпийской хартией.

Каждая страна, которая берется за проведение Олимпийских игр, хорошо сознает их привлекательность в глазах людей всего мира. Что же касается экономической стороны дела, то она как раз является одним из условий, жестко ограничивающих конкурс претендентов на проведение очередной Олимпиады.

Хорошо известно, например, почему американский город Денвер, выдвинувший свою кандидатуру на проведение зимней Олимпиады 1976 года и официально получивший это право, затем отказался от организации Игр. Результаты городского референдума в Денвере подорвали идею Олимпиады как непосильной для города при отсутствии необходимой финансовой поддержки со стороны федеральных властей. Считать и прогнозировать реальный экономический баланс устроители современных Олимпиад обязаны по долгу службы, надо только делать это вовремя, строить свои расчеты верно и оценивать их не в краткосрочной, а в длительной перспективе.

Экономический анализ бюджета всех послевоенных Олимпиад показывает, что только Лондон в 1948 году, ограничившийся минимальным строительством, смог провести Олимпийские игры с небольшим превышением доходов над расходами. В распоряжении Оргкомитета тогда осталось 345 тысяч долларов, сумма достаточно скромная сравнительно с общим бюджетом. Все же остальные города закончили Олимпийские игры с солидным дефицитом.

Дефицит Токио превысил 450 миллионов долларов, Мехико — 120 миллионов долларов; дефицит Мюнхена, в целом весьма успешно осуществившего свою экономическую программу, составил около 300 миллионов долларов.

С серьезными экономическими трудностями столкнулся Оргкомитет Олимпиады-76 в Монреале. На проведение Игр было истрачено более миллиарда 400 миллионов долларов, а экономическая программа Оргкомитета — КОЖО-76 — вернула немногим более 400 миллионов. Это дало повод одной швейцарской газете прокомментировать итоги последней Олимпиады в статье под броским заголовком: «Последствия Олимпийских игр — дефицит в один миллиард долларов!»

Правда, сами канадцы гораздо более оптимистично оценили реальный экономический результат XXI летней Олимпиады. Согласно расчетам известного канадского экономиста миллиардный дефицит выражает итог лишь непосредственного, оперативного бюджета устроителей Олимпиады-76. Он не учитывает того, что усиленный туризм, связанный с Олимпийскими играми, дал Канаде не менее 300 миллионов долларов; обмен валюты составил около 500 миллионов долларов; добавочная занятость трудящихся в связи с Олимпиадой позволила заработать дополнительно 200—300 миллионов долларов и несколько смягчила потери от безработицы. Увеличились промышленное производство и спрос на многие виды услуг и товаров. Все это, вместе взятое, генерировало в экономику Канады не менее двух миллиардов долларов, то есть значительно больше того, что было затрачено на Игры.

Органический недостаток монреальского баланса, однако, в том, что затраты и прибыли у канадцев оказались во многом разорванными. Национальная экономика Канады, вероятно, ничего не потеряла от Олимпийских игр 1976 года, некоторые промышленные концер-

ны и крупные фирмы безусловно выиграли. А вот налогоплательщики Монреаля, обеспечивающие городской бюджет, оказались в весьма трудном положении. Они до сих пор, наверное, испытывают последствия миллиардного дефицита, который тяжелой ношей лег на плечи города-организатора.

Говоря об экономике Олимпийских игр, следует иметь в виду, что на развитие инфраструктуры города, то есть строительство и реконструкцию транспортных магистралей, линий связи, системы телевидения, постройку новых гостиниц, благоустройство и т. п., в связи с проведением Олимпиады тратится значительно больше, чем на все аспекты спортивной программы как таковой. Но ведь эти сооружения и служат потом в течение долгого времени городу, а не только спорту. И относить эти расходы на счет сугубо олимпийских затрат было бы неверно.

Экономическая программа Оргкомитета Олимпиады-80 ставит своей целью покрытие основных организационных расходов на подготовку и проведение Олимпиады. Ему приходится работать в иных условиях, чем предшественникам. Но и возможности у него, надо сказать, пошире...

При соответствующей экономической стратегии страна — организатор Игр получает возможность использовать дополнительные источники финансирования, связанные с особой популярностью Олимпийских игр во всем мире.

Взять, к примеру, проект продажи зарубежным компаниям телевизионных прав на освещение игр XXII Олимпиады в разных странах и регионах.

Чтобы яснее были действительные масштабы этого проекта, стоит напомнить, что еще двенадцать лет назад в Мехико американская телевизионная компания Эй-би-си получила исключительные права на телевизионную трансляцию XIX Олимпиады за 7,2 миллиона долларов. Система межконтинентальной трансляции через посредство спутников Земли тогда только складывалась.

Оргкомитет Олимпиады-72 в Мюнхене заключил контракты уже с 25 телекомпаниями на передачи в 95 стран мира. Сумма всех контрактов составила 18 миллионов долларов, из них только Эй-би-си, особо заинтересованная в коммерческой рекламе, уплатила 13 миллионов долларов. Игры в Мюнхене практически смотрел уже весь мир.

На последней Олимпиаде-76 в Монреале Эй-би-си также обошла всех конкурентов и заключила контракт с КОЖО-76 на сумму в 25 миллионов долларов. А поступления по всем телевизионным контрактам, включая Европу, составили тогда немногим более 32 миллионов долларов. Несмотря на возросшие суммы, исполнение проекта продажи телевизионных прав для канадцев оказалось недостаточно успешным.

Не надо думать, что американская частная телевизионная компания Эй-би-си, заплатив 25 миллионов, «обделила» себя. Отнюдь нет! Только на продаже так называемого рекламного времени эта компания за время Олимпийских игр 1976 года заработала 40 миллионов долларов.

Интерес к играм Олимпиады-80 в Москве закономерно возрос во всем мире вместе с расширением популярности олимпийского движения и дальнейшим развитием телевизионной техники, включившей в число потенциальных зрителей почти все население Земли.

С созданием нового радиотелевизионного центра в Останкине у нас образована единая система цветного телевидения, рассчитанная на одновременную трансляцию по 18—20 каналам и одновременное вещание 100 радиопрограмм. Если в Монреале действовало только 9 каналов цветного телевидения, то из Москвы Олимпийские игры

будут транслироваться в разные страны по 18—20 каналам на основе так называемой системы «лайф», то есть одновременной передачи тех именно видов олимпийской программы, которая представляет преимущественный интерес для той или иной страны.

Так, например, в Индии особенно популярен хоккей на траве, в Японии — гимнастика и дзю-до, в Австралии — бег и плавание. Латинская Америка отдает предпочтение футболу, баскетболу и боксу. И на каждый из этих регионов одновременно будут идти специальные передачи, притом что советское телевидение будет готовить и обзорные телевизионные репортажи, интересные для всех. Ведь нынешний болельщик-телезритель стал гораздо более требовательным: он хочет видеть события не в записи на другой день, а в тот самый момент, когда они происходят, и именно те эпизоды, в которых участвуют спортсмены его страны.

Отказавшись от предоставления какой-либо телекомпания монопольных прав трансляции на весь мир, Оргкомитет Олимпиады-80 решил разделить эти права между основными регионами, заключив соответствующие соглашения с телевизионными компаниями разных континентов и стран. Подписан, в частности, контракт с крупной японской телекомпанией «Тиви Асахи», проявившей очень большой интерес к московской Олимпиаде и твердо намеренной показать ее как можно шире. По пяти каналам будут вести свои передачи «Евровидение» и по двум-трем каналам — «Интервидение». Завершены переговоры и подписаны контракты Оргкомитета с Латиноамериканским, Африканским, Азиатским и Арабским телевизионными союзами.

Надо ли говорить, что осуществление проекта продажи телевизионных прав на освещение московской Олимпиады в разных странах имеет не только экономическое значение. Вместе с олимпийскими соревнованиями уже не миллионы, а миллиарды зрителей увидят Москву и Таллин, Ленинград, Киев и Минск. Люди Земли получат возможность по достоинству оценить стремление советского народа к миру, к развитию сотрудничества и взаимопонимания между народами, к осуществлению на деле благородных принципов олимпийского движения.

Оборудованный по последнему слову науки и техники радиотелевизионный центр в Останкине будет затем многие годы служить нуждам советского Центрального телевидения и радиовещания. Возможности этих важнейших средств массовой информации раскроются еще полнее и шире.

К числу основных экономических проектов Оргкомитета относятся также олимпийские лотереи, программа реализации памятных олимпийских монет и коммерческо-лицензионное использование олимпийской символики.

Национальные лотереи, приуроченные к Олимпийским играм, являются традиционной и испытанной формой привлечения значительных средств, поступающих в распоряжение оргкомитетов. При подготовке Олимпиады-72 в Мюнхене лотереи дали около 120 миллионов долларов и обеспечили более 30 процентов всех доходов Оргкомитета. Олимпийская лотерея в Канаде принесла Оргкомитету Монреаля 235 миллионов долларов и около 60 процентов всех доходов, полученных КОЖО-76.

Успех национальной лотереи в Канаде объясняется разными причинами, в том числе и повышением суммы главного выигрыша до одного миллиона долларов, что явилось хорошей и точно рассчитанной приманкой для желающих быстро и крупно разбогатеть. Такой оказалась очень много, и билеты олимпийской лотереи Монреаля-76, несмотря на сравнительно высокую цену, шли нарасхват.

В наших условиях лотереи также являются одним из источни-

ков привлечения свободных средств на нужды Олимпиады. Популярная в народе лотерея «Спортлото» часть своих доходов отчисляет на реконструкцию спортивных сооружений. Большим спросом пользуются билеты специальной олимпийской денежно-вещевой лотереи «Спринт».

По инициативе Оргкомитета организована международная олимпийская лотерея, в которой участвуют шесть социалистических стран — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Советский Союз и Чехословакия. Лотерея такого рода проводится впервые в международной практике.

По решению национальных олимпийских комитетов шести стран с участием соответствующих финансовых организаций в 1978—1980 годах проведены 8 тиражей международной телевизионной олимпийской лотереи. Кроме обычных денежно-вещевых выигрышей, эта лотерея предусматривает выигрыши путевок на Олимпиаду в Москву.

Международная лотерея преследует сразу несколько важных целей: пропаганду московской Олимпиады среди самых широких слоев населения социалистических стран; паритетное распределение путевок и билетов на Олимпийские игры по испытанным лотерейным каналам; материальное содействие национальным олимпийским комитетам шести стран и, наконец, привлечение определенных средств на организацию XXII Олимпийских игр в Москве. Углубившаяся экономическая интеграция социалистических стран нашла свое выражение и в этой новой форме международного олимпийского сотрудничества.

Условия совместной лотереи шести социалистических стран в максимальной мере соответствуют интересам международного спортивного движения.

История Олимпиад издавна связана с традицией чеканки памятных олимпийских монет. Эту идею впервые осуществил правитель Мессины в Сицилии, приказавший около 480 года до новой эры выбить специальную монету в честь Олимпийских игр. Он увековечил этим свою победу в олимпийских гонках на колесницах. На серебряной мессинской тетрадрахме была изображена богиня победы Nike, управляющая колесницей. Память об олимпийском подвиге благодаря этой монете действительно сохранилась в веках.

После войны специальные олимпийские монеты были выпущены к Играм 1952 года в Хельсинки, чеканили памятные монеты также Австрия, Япония и Мексика. Все они пользовались большим спросом у нумизматов.

Изучив и оценив мировой спрос, Оргкомитет Олимпиады-72 в Мюнхене провел через бундестаг ФРГ закон о выпуске олимпийской монеты и осуществил реализацию этого проекта в беспрецедентных до того масштабах. К Олимпиаде в Мюнхене было выпущено более 100 миллионов штук серебряных монет номиналом по 10 марок каждая. Устроители мюнхенской Олимпиады получили от реализации монет 206 миллионов долларов чистой прибыли. И это составило более 50 процентов всех доходов Оргкомитета.

Канадцы перед Олимпиадой в Монреале развернули широкую программу чеканки серебряных и золотых монет с олимпийскими знаками, однако их успех в силу ряда причин оказался не столь сенсационным. Реализация этого проекта была начата с опозданием и затянулась до наших дней. Однако по оценкам экспертов Канада надеется в конечном счете получить от реализации своих олимпийских монет доход не менее чем в 100 миллионов долларов.

XXII Олимпийские игры в Москве также отмечены и увековечены выпуском нескольких крупных серий памятных олимпийских монет. Эта монетная программа осуществляется в полном соответствии с традициями и правилами, признанными МОК.

Национальные олимпийские комитеты многих стран, представляющих основные нумизматические рынки мира, подтвердили свою заинтересованность в распространении и реализации советских олимпийских монет. Они, разумеется, станут не только достоянием нумизматов, но явятся также официальным платежным средством, как и обычные денежные знаки.

Уже выпущены и получили хождение медно-никелевые монеты достоинством в один рубль; на них в сочетании с эмблемой Олимпийских игр изображены в разных сериях Московский Кремль, Московский университет, Монумент покорителям космоса.

Наряду с монетной программой следует указать также и на другие проекты, осуществленные перед Олимпиадой: выпуск памятных олимпийских медалей, металлических марок, почтовых марок и конвертов первого дня погашения, а также другой филателистической и изобразительной продукции, пропагандирующей XXII Игры в Москве и олимпийские виды спорта. Эта продукция, равно как и олимпийские значки, пользуется особым спросом у туристов, коллекционеров, любителей спорта всех возрастов.

Следует принять во внимание, что крупные первоначальные расходы Оргкомитета на подготовку Олимпиады возмещаются, условно говоря, лишь одной ценностью высшего порядка — всемирным интересом к Играм и правом широко использовать этот интерес в соответствии с традициями и принципами международного олимпийского движения.

Суверенное право города-организатора условно воплощено в официальной эмблеме Олимпиады, и использование олимпийской символики создает разнообразные коммерческие преимущества, которые можно и должно употреблять на нужды олимпийского спорта.

Потребительские товары с олимпийской символикой всюду в мире пользуются повышенным спросом. Как товарный знак и знак обслуживания официальная эмблема Олимпиады-80 зарегистрирована в десятках стран. Однако по правилам МОК олимпийская символика может украшать далеко не все виды товаров. Исключается реклама спиртных напитков, табачных изделий, огнестрельного и холодного оружия, предметов интимного обихода. На товарах этого рода вы не увидите сплетенных пяти колец. В соответствии с Олимпийской хартией мы являемся противниками коммерсализации Олимпийских игр и привнесения в них нездорового торгашеского духа. Международная торговля, которую Олимпийские игры безусловно стимулируют, должна соответствовать смыслу олимпийских символов, служить упрочению связей между странами и общему благу человека.

Тех же принципов мы придерживаемся в торговле товарами народного потребления и олимпийскими сувенирами внутри страны. Производство товаров с олимпийской символикой разрешается только после выдачи предприятию специального диплома Оргкомитета и утверждения представленных образцов. Занимается этим специальная комиссия, которая из всей массы предложенных промышленных товаров, прошедших предварительный отбор на местах, в свою очередь оставляет для производства с олимпийской символикой самые лучшие, красивые и качественные образцы.

Диплом № 1 Оргкомитета был вручен Ленинградскому заводу художественного стекла, показавшему уникальные изделия, выполненные с большим вкусом и мастерством.

Приближающаяся Олимпиада несомненно повысила требования к изделиям нашей легкой промышленности, текстилю, одежде, спортивному инвентарю, дала новый толчок развитию художественных промыслов. Гости Олимпиады смогут по достоинству оценить разнообразные сувенирные новинки и лучшие традиционные изделия

народных умельцев и мастеров из всех республик Советского Союза.

Особое значение в планах Оргкомитета придается своевременно и бесперебойному материально-техническому обеспечению участников, судей, официальных лиц и гостей Олимпиады всем необходимым — от точнейших хронометрических приборов и спортивного инвентаря до прохладительных напитков. Как правило, снабжение Олимпиады будет осуществляться на основе изделий отечественного производства, при том условии, разумеется, что они полностью отвечают необходимым мировым стандартам, строгим требованиям МОК, международных спортивных федераций. К этому делу привлекаются и так называемые официальные поставщики Олимпиады из многих зарубежных стран.

В сентябре 1976 года на территории ВДНХ была проведена интереснейшая международная выставка «Техника — Олимпиаде», в которой приняли участие более 300 зарубежных фирм из 21 страны. Участники выставки демонстрировали образцы техники и товаров, которые могут быть поставлены к Олимпийским играм 1980 года в Москве. Особая заинтересованность иностранных фирм в таких поставках традиционна и вполне понятна.

Статус официального поставщика Олимпиады свидетельствует о высшем качестве изделий, выпускаемых данной фирмой, и является лучшей международной рекламой ее услуг и товаров в борьбе с конкурентами за мировой рынок. Звание официального поставщика приносит дополнительные доходы в международной торговле, и чтобы иметь их, фирмы идут на определенные материальные взносы в фонд Олимпиады, добиваясь соответствующих соглашений с Оргкомитетом.

По окончании выставки «Техника — Олимпиаде» почти полсотни зарубежных фирм изъявили желание стать официальными поставщиками; со многими из них были подписаны протоколы о дальнейшем сотрудничестве. Впоследствии работа по привлечению официальных поставщиков получила еще больший размах и Оргкомитет заключил десятки других взаимовыгодных соглашений. Каждое такое соглашение требует глубокого анализа сделанных предложений, точного учета конъюнктуры на мировом рынке, достаточно верной оценки конкурентоспособности основных заинтересованных фирм.

Положение официального поставщика Олимпийских игр дает фирмам значительные преимущества и ко многому обязывает; это хорошо понимают руководители зарубежных торгово-промышленных объединений, которые на протяжении многих лет сотрудничали с оргкомитетами разных стран.

Традиционными поставщиками Олимпийских игр являются, например, швейцарское акционерное общество «Свисс тайминг», венгерская фирма «Электроимпекс», западногерманская фирма «Ади-дас».

«Свисс тайминг» — это объединение хорошо известных старых швейцарских фирм «Омега» и «Лонжин», поддержанных федерацией швейцарских часовщиков, — их приборы фиксировали точное время на многих послевоенных Олимпиадах. Теперь «Свисс тайминг» стал официальным хронометристом игр XXII Олимпиады в Москве. Швейцарцы гарантируют безупречное измерение результатов соревнований с точностью до сотых долей секунды. Их приборы будут использованы там, где требуется точное время, — на беговых дорожках, в бассейнах для плавания и гребном канале, на велотреке и трассах для пятиборцев. Чтобы не было случайных ошибок, все официальные замеры времени на соревнованиях будут дублироваться двойными автономными комплектами аппаратуры. Вся хронометражная аппаратура поставляется для Олимпиады бесплатно, при этом

обеспечивается ее монтаж и техническое обслуживание специалистами из Швейцарии.

Заслуженной репутацией пользуется высококачественное оборудование венгерской фирмы «Электроимпекс», которая поставляет и обеспечивает электронное оснащение стадионов и спортивных залов, в первую очередь видеоматричных табло, управляемых ЭВМ. В считанные секунды на этих табло будут выдаваться результаты обработки данных и хронометража, зафиксированные судьями олимпийских соревнований. Фирма «Электроимпекс» из Будапешта также стала официальным поставщиком Олимпиады-80. Западногерманская фирма «Адидас» к московской Олимпиаде поставит униформу для обслуживающего персонала, судей и официальных лиц.

Оргкомитет заключил соглашения со многими зарубежными фирмами и организациями, предоставив им звание официальных поставщиков и спонсоров. Их финансовый и материальный вклад в абсолютном исчислении, надо полагать, окажется не ниже, чем в Монреале. Среди доходов Оргкомитета он, правда, не может иметь решающего значения. Тем не менее важную роль этой формы экономического сотрудничества Оргкомитета с зарубежными деловыми кругами нужно по достоинству оценить. Она не исчерпывается однократным олимпийским эффектом.

Завязавшиеся связи во многих случаях имеют тенденцию стать долгосрочными, они ведут к расширению международного торгового партнерства в целом, способствуют укреплению делового интереса и взаимного доверия друг к другу. Одним словом, они работают на мирное сосуществование, на политику международной разрядки, добрососедства и сотрудничества, а это самый ценный капитал в наше время.

Олимпийские игры не коммерческое предприятие, а всемирный спортивный праздник, от проведения которого страна-организатор не может рассчитывать на прямой доход или немедленное покрытие всех капитальных затрат.

Олимпийские игры содействуют расширению мировых хозяйственных связей, прокладывают новые трассы в международной торговле, убыстряют внедрение в производство таких товаров, которые считаются лучшими в мире.

Экономический эффект Олимпиад выходит далеко за календарные рамки спортивных соревнований. Он распространяется на нынешнее и на грядущие поколения. Окупается так или иначе все, что направлено на благо человека.

ОБЪЕДИНЯТЬ, А НЕ РАЗЪЕДИНЯТЬ МИР!

На пороге 80-х годов политическая ситуация в мире снова обострилась, особенно на Ближнем и Среднем Востоке, и в год XXII Олимпийских игр человечество вступило с большей тревогой за будущее, чем в любой другой год истекшего десятилетия, когда политика разрядки набирала силу и шаг за шагом прокладывала себе дорогу в международных отношениях.

Именно в этом политическом контексте президентом США Картером и его ближайшими советниками были приняты решения о развертывании новых военных программ и военных ассигнований, об отсрочке на неопределенный срок ратификации договора ОСВ-2, об экономических санкциях против СССР, а также бойкоте XXII летних Олимпийских игр в Москве.

Какие последствия новая предвыборная стратегия Картера, решившего укрепить таким образом свой престиж, будет иметь лично для него и для правящей демократической партии, выяснится позже,

когда осядет пропагандистская пыль и закончится изнурительный политический марафон претендентов в кандидаты и кандидатов на президентский пост и все просчеты, вызванные предстартовой лихорадкой, получат свое бесстрастное выражение в цифрах (за вычетом голосов тех миллионов избирателей, которые обычно бойкотируют выборы президента, устранившись от голосования).

Что же касается XXII летних Олимпийских игр в Москве, то геростратовская инициатива Картера терпит явный провал, натолкнувшись на сопротивление мощных сил в международном олимпийском движении и в общественном мнении всего мира.

Начать с того, что американский президент самочинно присвоил себе права и функции Международного олимпийского комитета, который один обладает исключительным правом решать, где, когда и при каких условиях проводить или не проводить Олимпийские игры. Как известно, Картер даже не проконсультировался ни с исполкомом МОК, ни с руководством Национального олимпийского комитета США, выступив с призывом либо перенести летнюю Олимпиаду 1980 года из Москвы в другое место, либо отменить ее совсем, либо не участвовать в ней, если вопреки желанию Белого дома московская Олимпиада все же состоится.

Трудно было бы более откровенно обнаружить непомерные амбиции и претензии на руководство миром, в том числе спортивным, и одновременно так дискредитировать собственные политические цели, которые при этом преследуются!

Несмотря на протесты большинства американских спортсменов-олимпийцев, кандидатов в национальную сборную, НОК США не смогстоять свою независимость в спортивных делах и, уступив грубому политическому нажиму правительства, 13 апреля этого года принял в Колорадо-Спрингс бесславное решение, перекрывающее американской олимпийской команде дорогу в Москву. Почти треть делегатов — 797 человек — проголосовала при этом против капитуляции НОК США, принесшего интересы и надежды своих спортсменов в жертву предвыборной кампании президента.

Открытая конфронтация президента США с олимпийским движением обнаружила характерную расстановку сил в национальном масштабе. Срыва Олимпиады добиваются самые правые, воинственно настроенные круги, торговцы оружием и военным снаряжением, нефтяные компании, экстремистские националистические объединения, заинтересованные в расширении кризиса доверия, в распространении страха во всем мире. И напротив, с осуждением бойкота выступают самые разные лица и организации, в том числе выдающиеся спортсмены, влиятельные общественные деятели, публицисты, представители торговых и промышленных кругов, здравомыслящие политики и, наконец, просто желающие жить в мире люди, которые хорошо знают, что без разрядки международной напряженности у человечества нет будущего.

Если НОК США и в особенности американские спортсмены-олимпийцы оказались первой и главной жертвой картеровского бойкота, то для Международного олимпийского комитета вопрос о том, быть или не быть очередной Олимпиаде в Москве, отнюдь не являлся дискуссионным. Как только телетайпы всего мира разнесли вест, что президент США настаивает по политическим мотивам на отмене, отсрочке или переносе в другое место летней Олимпиады 1980 года, президент МОК лорд М. Килланин твердо заявил, что это юридически и практически невозможно.

Как высший руководящий орган олимпийского движения МОК независимо от политических убеждений и симпатий отдельных его членов должен был ответить и ответил категорическим «нет» на домогательства американского президента.

С редким единодушием члены Международного олимпийского комитета поддержали твердую позицию своего президента. Из 40 ораторов, выступивших на 82-й сессии МОК, ни один не высказался за предложение правительства США. Все 73 члена МОК, как сказал затем на пресс-конференции лорд Килланин, оказались единодушны в том, что игры XXII летней Олимпиады должны состояться в Москве в назначенный срок, как и планировалось.

Олимпийские игры современной эпохи принадлежат человечеству; они призваны объединять, а не разъединять мир! Эта центральная идея Олимпийской хартии, подтвержденная авторитетным и единогласным решением МОК, приобрела в наши дни особую актуальность. Принятое в Лейк-Плэсиде, на территории страны, проводившей зимние Олимпийские игры 1980 года, и в тот момент, когда правительство США развернуло и усилило кампанию бойкота летней Олимпиады в Москве, это решение явилось, можно сказать, знаменем времени.

Когда американская публика и туристы, съехавшиеся со всего мира, устраивали под сводами главного зимнего стадиона в Лейк-Плэсиде настоящую овацию чемпионом мира Наталии Линичук и Геннадию Карпоносову, впервые завоевавшим звание олимпийских чемпионов в танцах на льду, или когда трибуны снова и снова вызывали на лед прославленную советскую пару, трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину и ее партнера Александра Зайцева, что-то не чувствовалось, что свободная в своих изъяснениях публика жаждет бойкота олимпийской Москвы. Напротив, в очевидном сочувствии публики истинным спортсменам, в ее восхищении мастерами олимпийского спорта из Советского Союза, из Германской Демократической Республики, Австрии, США и других стран явственно выражались настроения интернационального согласия и сотрудничества, господствовавшие на Олимпиаде.

На очередной сессии исполкома МОК в Лозанне, собравшейся в апреле этого года, руководители 26 международных спортивных федераций единодушно осудили попытки бойкота Олимпийских игр, предпринимаемые в корыстных политических целях. Руководящие деятели МОК и МСФ еще раз заявили о своей полной поддержке московской Олимпиады и стремлении сделать все необходимое для ее успеха.

Национальные олимпийские комитеты более ста стран так или иначе уже информировали Оргкомитет Олимпиады-80 о своем намерении участвовать в Играх.

Председатель Оргкомитета И. Т. Новиков подтвердил в Лозанне готовность Москвы принять участников и гостей Олимпийских игр и провести Олимпиаду на высоком спортивном, организационном и техническом уровне.

Двери олимпийской Москвы остаются открытыми для всех членов олимпийского содружества без всякого исключения.

19 июля 1980 года на Центральном стадионе имени В. И. Ленина в Москве в точно назначенный час состоится официальное открытие XXII летних Олимпийских игр, и вместе со ста тысячами зрителей стадиона эту церемонию сможет увидеть вся планета.

Торжественный и даже символический ритуал Олимпиады соответствует всемирному характеру великого праздника спорта, соединяющего народы, расы и континенты в одну олимпийскую семью. Этот торжественный ритуал, традиционный и постоянный в своих основных чертах, выработанных за многие десятилетия олимпийского движения, приобретает каждый раз и некоторые своеобразные, неповторимые особенности, связанные с инициативой города-организатора и характером страны, проводящей очередные Олимпийские игры. Благодаря такому подходу достигается гармоничное единство

общего всемирного содержания и особенного национально-исторического облика каждой новой Олимпиады.

Являясь звеньями одной цепи, Олимпиады не повторяют друг друга, а демонстрируют постоянный прогресс и самого олимпийского спорта, и научно-технического уровня современной цивилизации, и национального развития отдельных стран, принимающих на четыре года в свои руки белое с кольцами знамя международного олимпийского движения. Москва по праву получает это знамя и с достоинством понесет его дальше.

Две недели сильнейшие атлеты Земли будут соревноваться друг с другом во славу олимпийского спорта и своих стран. Герои и символы московской Олимпиады надолго останутся в памяти поколений, перешагнувших рубеж 80-х годов. Олимпиада в Москве укрепит надежды на мир, сотрудничество и лучшее будущее народов.

Объединенное человечество в состоянии сохранить олимпийский огонь.



НИКОЛАЙ ТИХОНОВ



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ ЛИРИКИ

Литературное наследие Н. С. Тихонова необозримо. Романы, повести, сценарии, стихи... Все это еще требует изучения, систематизации, просто внимательного прочтения. Ниже «Новый мир» печатает стихотворения Тихонова, которые поэт предполагал собрать в книге «Песни каждого дня».

* * *

Мы жили и хорошим людям
Смотрели радостно в глаза.
— Мы жили, да и жить мы будем! —
Как дед мой некогда сказал.

Мы не боимся правды голой,
Дни нашей осени придут,
Мы осень сделаем веселой,
И в скуке дни не пропадут.

Веселье сердца нам поможет —
А всем недугам мы на страх,
Как в ассирийском доме, рожи
Мы намалюем на дверях.

Чтобы и черти и недуги,
Увидев маски, рожи те,
Бежали, задрожав в испуге,
И растворились в темноте.

Мы сделаем веселой осень,
И пусть гостей хоть будет сто,
Мы всех гостей своих попросим
За наш здоровья полный стол!

ИГРА ОБЛАКОВ

Вспомнив древнего мастера удаль,
Вызвав тени минувших веков,
Хороши на закате причуды
Сумасшедшей игры облаков.

То ли демон зловещий, пятнистый
Из-за облачных виден громад,
К вам дракон направляет огнистый
Легендарно-разбойничий взгляд.

И следите вы в странном восторге,
Как ползет он и пышет огнем,
И готовы вы, словно Георгий,
На него замахнуться копьем.

Тень упала, и нету дракона,
Многоликая ваза цветов
Опускается к вам с небосклона
Как подарок небесных садов.

Началось состязание магов —
Многослойный чудес хоровод,
В синий сумрак небесных оврагов
Кто-то золото темное льет.

Вы, презрительно хлопнув в ладоши,
Говорите: «Какая тоска!
Ну зачем в этот вечер хороший
Так безвкусно живут облака!»

И тотчас, точно вам подчиняясь,
Разноцветный рассыпался транс,
Ваш двойник, с облаков улыбаясь,
Говорит вам, что кончен сеанс!

РАЗДУМЬЯ О ЖИВОПИСИ

Ехал к вам я дорогой знакомой,
В окруженье лесов и полей,
Становились природы хоромы
Все богаче и все веселей.

Точно мастер, влюбленный в Россию
И любясь родной стороной,
Рисовал эти дали лесные,
Небо августа надомной.

Из столетий седого тумана
Вдруг сверкнуло подобье луча —
День рождения Тициана
В этот день календарь отмечал.

И пейзажа сиянье погасло,
И явился веков великан —
Океан ослепительных красок
Под названием Тициан.

Он царил над людьми и природой
В многолепье вселенской зари,
Проходили несчетные годы,
Целый век он всевластно царил.

И в искусства волшебную сферу
С беспощадностью Мастер проник,
Создавая нагую Венеру,
Иль пейзажи, иль мира владык.

Мир, который доступен был оку,
Обессмертил он кистью своей,

Но, отдав ему дань как пророку,
Я вернулся в мир наших полей.

Волшебство нашей скромной природы
В позднем, летнем сиянии дня,
И леса нашей русской породы
И поля окружили меня.

Краски жили, и птицы в них пели,
И звала с ними в лес как домой
Ваша легкая, ясная прелесть,
Порожденная жизнью самой!

КРАСНАЯ ГОРКА

Шли на Красной Горке свадьбы,
Оглушая звоном нас,
Вот у древних побывать бы,
Где веселья злой запас.

Все, что было, омертвело
И легендой поросло,
Так утопленное тело
Вяло трогает весло.

И ладья воспоминаний
Камышами сна скользит,
Никакая нынче няня
Сказок нам не говорит.

На поклон не ходим к зверю,
Чужд богов нам маскарад,
Пусть хоть я в Христа не верю,
Но христосоваться рад!

ЗАЦВЕЛ БАГУЛЬНИК

И снова сборы у меня в разгаре,
Больница меня больше не томит,
Пусть отцвела домашность цинерарий,
Зацвел багульник, он мне говорит:

«Пред нами снова дерзость и дорога
И с нами воля и над нами высь».
Сияя так торжественно и строго,
Он говорит мне: старина, бодрись!

И я бодрюсь — и снова жизнь в разгуле,
Я не боюсь вседневной маеты,
Со мной опять мой верный друг багульник,
Его победнозвездные цветы!

Вы подарили мне его, и вскоре
Он вспыхнул весь с блаженностью цветка,
И он горит в моем безбрежном море
Лилово-нежным светом маяка!

И, все сомненья темные рассеяв,
Приветствую я свет его лучей,

И я плыву, кончая одиссею
Печальных дней и сумрачных ночей!

..*

Пусть уходят листья, пусть,
Пожалев, забудем,
С ними пусть уходит грусть,
Плакать мы не будем.

Эти листья, прислонясь
Спинами друг к другу,
Вдруг сорвутся и, взъярясь,
В пляс идут по кругу.

В этой пляске круговой
Каждый лист бормочет,
Над травой он как живой
Изгибаться хочет.

Ветер гонит, как щепу
В пенистом потоке,
Перевертышей толпу —
Листьев разнобоких.

И, коробясь и шурша,
Шепчут листьев клочья,
Словно хочет их душа
Вся излиться в корчах.

Им спасенья не дано,
Не найти им дома,
Точно тянет их на дно
Луга темный омут.

Пусть вот так же по кривой
Беды вас покинут,
Пусть же в пляске кольцевой
Ваши боли сгинут.

Чтобы вы навстречу дню
Шли, смеясь неволью,
Чтоб ходить вам по огню —
И ногам не больно!

ПУТЕШЕСТВИЕ ВНУТРЬ СЕБЯ

Как в лабиринте сам в себе бродил,
Слепым во мраке шел и спотыкался,
И прошлого я тени находил
И сам от них в тени теней спасался.

Запутывался в паутине слов,
Над сердцем страсти стаями кружили,
Я доходил и до таких углов,
Где укоризны, как ехидны, жили,

Шипя зловеще: нас смотри не тронь,—
И прошлое синело старым жаром,

И лишь подземный стиховой огонь
Светил всему восторгу и кошмару.

Мой лабиринт, казалось, не имел
Конца и края, но я помнил все же:
Я выйду к свету — неба я хотел
И вас под небом видеть жаждал тоже.

Я вышел. Надо мною небеса,
Где Козерога крылья пролетели,
Знак зодиака мой Стрелец — он сам
Нацелил лук в неведомые цели...

ПОЛНОЧЬ

Меняют вес, меняют облик вещи
В полночный час, когда лишь сон кругом,
И в этот час, когда вся тишь трепещет,
К Эдгару По являлся ворон вещей
И боги джунглей приходили в дом.

И вы верны закону постоянства,
И, в чувстве напряженном укрепясь,
Вы шлете мне сквозь дикое пространство
Слова души — невидимую связь.

Я слышу вас как ветра дуновенье,
Но шорох слов нет силы мне прочесть,
Но в сердце входит молнией мгновенье,
Пока звучит домчавшаяся весть.

А за стеклом балконным в час урочный
Сквозь пляшущий обманный полусвет
В прозрачных крыльях бабочки полночной
Читаю я далекий ваш привет!

Публикация В. ТИХОНОВОЙ.



ВЛАДИМИР ПОПОВ

★

ТИХАЯ ЗАВОДЬ

Роман

Часть первая

1

За окнами парохода, лениво шлепающего плечами, плывут берега Камы. Плывут медленно, позволяя по краснопогодью двояволь налюбоваться неистощимым великолепием первозданных лесов. Леса эти то тянутся по отлогим берегам, уходя в глухие затуманенные дали, то круто взбегают на стремнистые возвышенности, то обрывисто срываются вниз, где, обходя выступы и намывы, кособочась, бегут-спешат к реке многочисленные ручейки. Белоствольные березняки приютились в расщелинах, придвинулись к самой воде и, покачивая на ветру хрупкими, паутинно-тоненькими веточками, отражаются в ней изломанным дрожащим частоколом. Не боятся воды и тонкоствольные осинники. Только сосны да ели, эти величавые лесные исполины, держатся подальше от берега, взбираются на самые вершины скал и там стоят точно дозорные, горделиво взирая окрест. Нет-нет то на косогоре, то в распадке появится неожиданно, как мираж, небольшая деревенька — пяток, самое большее десяток почерневших от времени бревенчатых срубов, обнесенных давнишней чахлой городьбой, — да порой из чащобы леса выглянет одиноким окном подслеповатая избушка, выглянет — и исчезнет. Чья она? Кто в ней доживает свой век? Вот тоже особняком жалкий стариковский домишко. Еще один, маленький, ладный, точно теремок. «Забиться бы туда, как в нору, — думает Николай. — Никого не видеть, никого не слышать и спать, спать...»

Он и сейчас борется со сном. Веки слипаются и, кажется, вот-вот сомкнутся совсем. Но эти суровые красоты...

Преодолев себя, он выходит на палубу.

Свежий сыроватый ветер быстро сдувает сонливость. Зорче становятся глаза, ярче, свежее краски. Неправдоподобно белыми выглядят стволы берез, искусственной — зелень травы, пробившейся на твердых пустынных мест и в прогалинах. То тут, то там вальяжно расхаживают коровы с недавно появившимся потомством, тычут морды в травяную бестолочь и отходят дальше, увозя за собой слабеньких детенышей. Но и слабенькие, они, недовольно взбрыкивая, прытко спешат на тоненьких ножках за матерями, чтобы успеть приложиться к тощему вымени.

Навстречу пароходу то и дело попадают связки плотов, порой настолько длинные, что последний растворяется в туманном мареве. Натужно крихтя, ведут их трудяги буксиры самых разных времен и типов: колесные и винтовые, паровые и моторные. Каждый прово-

жает пароход протяжным, истошно долгим гудком, и каждому он отвечает тем же.

Николаю ведом смысл этой переключки. «Грибоедов» идет в последний рейс, больше он никогда не вернется в порт своей приписки — Пермь. Стар. Его продали геологам, и отныне он будет служить плавучим жильем. Два-три раза в году, а то и реже передвинут его от стоянки к стоянке — и опять надолго оставят на приколе. Грустная судьба. Но седовласый капитан не утратил бодрости, по крайней мере с виду, — его не покидает надежда, что когда-нибудь приедет на свидание с пароходом, походит по палубе, по машинному отделению, постоит на капитанском мостике, взглядываясь в глубину оставленных на этой реке лет.

Издали капитан выглядит грозным самодержцем, на самом же деле человек он на редкость мягкий, сердечный. Под густыми, низко опущенными бровями спокойные, даже наивные глаза, за жесткой щетиной седых усов — добрая складка губ. Сейчас эта складка горестная — каждый оборот колес приближает пароход к месту вечного успокоения.

Подойдя к скучающему в одиночестве пассажиру, капитан принимается рассказывать, каких трудов стоило ему убедить руководителей пароходства навести на корабле лоск — отремонтировать внутренние помещения, покрасить палубные постройки и корпус. Не только надводную его часть, но и подводную. Не может он передать в вечное пользование новым хозяевам своего верного друга убогим и обшарпанным.

— Даже стариков принаряженными в гроб кладут. А пароход девятьсот первого года рождения, в августе всего сорок исполнится, — заключает капитан свое повествование. Заметив, что собеседник почти убаюкан, спрашивает: — Что это вы в Чермыз? Погостить?

Капитан и мысли не допускает, что пассажир едет в Чермыз на работу. Кто по доброй воле, да еще в том возрасте, когда энергия хлещет через край, когда одолевают дерзкие замыслы, направит стопы на завод чуть ли не петровских времен, к тому же обреченный на снос?

Услышав, что на работу, капитан искренне удивляется — ну какую роль в общем балансе страны играют те полтора тонны кровельного железа, которые завод с превеликим трудом дает в сутки? Капля в море. И не жаль молодому инженеру губить на эту каплю лучшие годы? В Чермыз только за провинности или до пенсии дотянуть направляють. Спился — туда, развалил работу — туда.

Капитан пылливо рассматривает пассажира. Смуглое вытянутое лицо, энергичный рисунок подбородка, в карих глазах не то чтобы мудрость — где ему набраться мудрости в какие-то тридцать лет, — но ум житейский светится. И душа живая несомненно. Он не поддается, не расспрашивает, а вот же видишь на лице то интерес, то сочувствие, то возмущение. Малый как пить дать справедливый и сноровом.

Николай не расположен к откровенным излияниям. Слушает он с интересом, а о себе ни слова. Капитану это и не по душе и нравится. Сам он словоохотлив, пожалуй даже слишком — вон сколько всякого-разного поведал пассажиру за восемь часов пути, — но чрезмерную разговорчивость других воспринимает как болтливость и осуждает. Болтун — что разлитая вода: весь на поверхности. Скрытные — те интереснее. Как сосуд, в котором неизвестно что.

Неподалеку, тяжело хлопая крыльями, поднялась стайка кряковых уток, потревоженная шумливой громадиной, сделала круг и потянулась вдоль реки. Николай следил за полетом птиц, пока они не скрылись вдали, так и не сев на воду. «Охотник», — заключил капитан по загоревшимся глазам собеседника и перешел на новую стезжу:

— Пруд в Чермызе — что море. На восемнадцать километров протянулся. По нему даже два пароходика буксирных ходят, плоты таскают. На них шкиперами мои ученики из незадачливых. А уж охотникам там раздолье. Берега пологие, с камышком, есть где разгуляться.

На эту приманку собеседник тоже не клюнул, и капитан, досадливо вздохнув, прекратил дальнейшие попытки заглянуть в закупоренный сосуд.

На последней стоянке перед Чермызом пароход задержался. Грузили какие-то ящики, скрепленные металлическими стяжками, возили их из склада метров за сто, уложиться в расписание не успели. Капитан хмурился, сердито покрикивал — он и этот последний рейс намеревался провести образцово, строго по графику, хотя, в сущности, торопиться было некуда: часом раньше, часом позже — какая разница?

Некоторое время Николай стоял у борта дебаркадера, лоя ноздрями приятный смоляно-терпкий дух корья, наблюдая, как в солнечных бликах, осветивших воду, плескалась крупная рыба да мельтешила всякая мелочь, потом посидел в буфете за бутылкой пива, а когда вернулся к себе в каюту, решив наконец лечь и заснуть, то обнаружил, что у него появился попутчик. Им оказался мужчина лет пятидесяти, плотный, кряжистый, черты лица крупные, резкие, как на деревянных скульптурах, а глаза маленькие, глубоко запавшие и плохо понимаемые — не то злые, не то просто настроенные. Этак мужичок-лесовичок из детской сказки.

Поздоровавшись, Николай сел у окна, чтобы проводить взглядом удаляющийся дебаркадер, поселок, прижатый к берегу и вползающий в ложбину.

— Как на свежий огляд наши места? — осведомился попутчик. Голос у него низкий, трубный, что еще больше усиливало сходство с лесовиком.

— Красивые, — отстраненно, не повернув головы, ответил Николай.

— И только? Скупы вы, однако. Великолепные! А Кама? Ее ни с какой другой рекой сравнить нельзя. Эку красоту разбросала вокруг! А что дичи да рыбы тут...

Несмотря на нелюдимый вид, попутчик оказался человеком обшительным. Увидев охотничье ружье в чехле, попросил показать. Штучная работа Тульского завода произвела впечатление.

— Надежное ружье, — сказал он. — Я знаете сколько их за свою жизнь перебрал, а вот тоже на «тулке» остановился. Бескурковки в сильные морозы сдают, а эта лупит без единой осечки.

Слово за слово — и вот уже попутчик рассказал, что живет в Чермызе, в доме, еще дедом срубленном, руководит ремонтно-строительным цехом на металлургическом заводе, что работа у него — не бей лежачего, так как строить ничего не строят, а ремонты пустячные, свободного времени много, есть когда и с ружьишком побродить и с удочкой на озере посидеть.

— А завод что представляет собой? — полюбопытствовал Николай.

— Завод, можно сказать, ископаемый. Построен в восемнадцатом веке, в начале нашего перестроен малость, и больше к нему не прикасались. Знаете, на чем работает до сих пор? На дровах. На дровах электростанция, мартеновские печи, нагревательные. А прокатный стан и отбойные молоты приводятся в движение водой.

Что такое отбойные молоты и для чего они нужны, Николай видом не видывал и слыхом не слыхивал, но расспросить постеснялся. Приедет — посмотрит.

— И жрет этот несчастный заводик дров... — попутчик сделал интригующую паузу, — аж тысячу двести кубов в сутки!

— Вот это да! — искренне удивился Николай. — Целый поезд.

— У нас тут счет другой — на плоты.

Попутчик придвинулся к столу, положил на него крепкие руки с толстыми узловатыми пальцами.

— Хорошо хоть верите. Другим говоришь — плечами водят: загнул, мол. А вообще, скажу я вам, в горячих цехах работа у нас хитроумная и квалификация требуется не какая-нибудь. На мастеровых пожаловаться грех. Отменные. Дело знают, и понукать их не надо, хотя в теории ни бум-бум. Вот с руководителями беда. Не везет. Каждый последующий хуже предыдущего. С третьегодняшнего лета директором Кроханов. В Донбассе, ходят слухи, не стодился, в Свердловске тоже — сюда сунули. Узурпатор. Чуть кто не по нему — долой с завода. Так тонко подберется, что и не спохватишься.

Николай знал, что Кроханов в Чермызе, и, когда ему предложили ехать туда, даже обрадовался — хоть один знакомый будет, тем более что Кроханов отличался характером спокойным, незлобивым, на посту заместителя директора по общим вопросам звезда не хватал, но с работой справлялся. Один только грешок числился за ним — частенько за воротник закладывал. И докладывался до драки в общественном месте. На этом его карьера в Макеевке завершилась.

От попутчика не ускользнуло, что Николай о чем-то задумался.

— А вы невзначай не в Чермыз? — спросил он.

Николай утвердительно кивнул, и сразу в глазах попутчика появилось что-то похожее на тревогу.

— Проведать кого?

— Нет, по делам, — уклонился Николай от прямого ответа.

Попутчик нервически потер ладонь о ладонь.

— Ну вот что, мил человек, — собравшись с духом, произнес он, уставив на Николая требовательный взгляд. — Давайте договоримся по-мужски: я ничего не говорил, вы ничего не слышали. Залетным просто: прилетели, не понравилось — на крыло и айда. А мне, будь что, лететь некуда. Здесь родился, врос и оброс, здесь и помирать буду.

Собеседники замолчали. У обоих испортилось настроение. У одного от оплошной откровенности, у другого... У другого впервые закралось сомнение в правильности сделанного выбора. Впрочем, не выбирал он этот завод. Ему все равно было куда ехать. Принял первое предложение. В Главуралмете очень обрадовались податливости молодого инженера, только что заочно окончившего институт. На этот очень старый и оторванный от мест цивилизации завод другого и калачом не заманишь. Шутка ли сказать — сто километров от железной дороги. Летом, правда, Кама выручает, а зимой... Какой транспорт зимой? Лошадка да розвальни? К тому же завод обречен. Остановить его за нерентабельностью собирались давно, но из года в год эту болезненную операцию откладывали не только потому, что область крайне нуждалась в кровельном железе, мягком, пластичном, как медь, и не ржавеющем годами, но главным образом потому, что завод обеспечивал работой немалочисленное коренное население. Четыре тысячи человек были заняты на нем.

Николай продолжал смотреть в окно. Вдали на бугре показалась большая зеленокупольная церковь и роща за ней. До поселка, по его предположению, оставалось километров семь-восемь, но пароход вдруг круто повернул к берегу. Налево от дебаркадера, на фронтоне которого красовалась наведенная по железу синей краской надпись «Чермыз», стояли три длинные баржи, порталные краны выгружали из них металлический лом, руду и известняк и сваливали весь этот груз в огромные, как холмы, кучи.

— Мы здесь что медведи в берлоге, — пояснил спутник. — В навигацию завозим сырье, которое требуется на все остальное время, и вывозим накопившуюся продукцию, в ледостав напрочь отрезаны

от всего мира. — Не сдержав давно назревшего любопытства, спросил без обиняков: — В командировку?

— На работу.

— Кем, разрешите полюбопытствовать?

— Начальником мартеновского цеха.

Попутчик даже присвистнул от неожиданности.

— Вот те раз! Так у нас же есть начальник. Дранников. Между прочим, лучший друг директора.

Пароход причалил, мягко толкнувшись о дебаркадер.

— Будем знакомы, — попутчик протянул руку. — Иустин Ксенофонович Чечулин.

— Николай Сергеевич Балатьев.

— Так вот, Николай Сергеевич, уговор: ни-ни.

— Разумеется. Я уже кое-что понял, — понуро ответил Николай, думая о том, до чего придавлены здесь люди, если испытывают страх даже от пустяковой откровенности.

Чечулин взял туго набитый клеенчатый портфель, Николай — свой багаж: чемодан, сверток с теплым пальто и ружье. Это все, что он захватил с собой, уходя из дому.

У сходней, соблюдая этикет последнего рейса, выходящих провозжал капитан.

— Ну что пожелать могу, Митрофан Сысоевич? — прощаясь с ним, сочувственно молвил Чечулин. — Столько лет желал счастливого плавания, а теперь... Здоровья. И вам, и детям, и внукам вашим.

В порыве, которого Николай никак не ждал от этого грубоватого с виду человека, Чечулин обнял свободной рукой капитана и по-русски трижды расцеловал его. Тряхнул руку капитану и Николай, но в глаза не заглянул, чтобы не увидеть в них неизбывную тоску, а то и предательскую влагу.

Вышли на дебаркадер. Пароход, освещенный солнцем, сверкал свежей краской, надраенной медью и совсем не походил на отжившего свой век старичка.

— От пристани автобусом? — спросил Николай попутчика, чем вызвал у того насмешливую улыбку.

— У нас такой роскоши не водится. Одна легковая, и то у райкома. Лошадкой, если пришлют. Обещали.

Людей высадилось много. Те, у кого ноша была легкой, уже шли по дороге, вздымая пыль, большинство же направилось к узкоколейке, где стояли низенькие, но длинные платформы с металлоломом и чулунными чушками.

— Эти въедут прямо в завод, — кивнул на них Иустин Ксенофонович, бодро вышагивая рядом с Николаем своими короткими, вращающимися ногами. — У нас вход и выход по пропускам, а въезд и выезд — сколько угодно.

— А мы как?

Иустин Ксенофонович бегом кивнул.

— А мы вон на той рыжей, что ушами прядет.

Неприятное отношение к Чермызу родилось у Николая еще до того, как он увидел поселок, и усиливалось с каждой минутой. Деревянные тротуары вдоль улиц, сколоченные кое-как, шаткие, дырявые, уносили воображение куда-то далеко, в средневековье. А бревенчатые дома, все на одну колодку, без единой приметной черточки, без какой бы то ни было своеобразности, напоминали крепости. Это впечатление усиливали маломерные, как бойницы, окна, высокие заборы, массивные ворота, увенчанные тяжелыми навесами, глухие тесовые крыши, сплошь покрывавшие дворы. Никуда не просунуться, ниоткуда не выбраться. Даже собакам. Не видя, что делается за забором, но реагируя на шум и извне, они вели не прекращающуюся ни на секунду бестолковую и занудливую переключку.

Поселок делился на два — верхний и нижний. Центр был в верхнем. Величественного вида стародавняя церковь с колоннами, с могучим шлемовидным куполом поднималась над этим распластанным однообразием как командная высота и только подчеркивала всю убогость его. На унылой базарной площади с тремя рядами крытых прилавков ветер гонял разный мусор и обрывки бумажья. Вокруг этой площади разместились самые приметные здания поселка — старинный добротный особняк бывшего управляющего с нелепыми деревянными полуколоннами по фасаду, якобы поддерживающими крышу, ныне школа, двухэтажное оштукатуренное, но давно не беленное здание заводууправления и новый большеоконный дом райкома партии.

Непрестанно озираясь, словно делал что-то предосудительное, Чечулин подвез Николая к Дому приезжих. Прощаясь, снова напомнил, что они незнакомы и, ежели паче чаяния встретятся у директора, будут знакомиться заново.

Заспанная дежурная, круглолицая, да и в остальном составленная из одних шаров, встретила Николая как врага. Жильцов у нее не было, не было и хлопот, а тут нежданно-негаданно человек, грозивший нарушить безмятежный покой. Принять постояльца без разрешения директора она категорически отказалась и даже вещи позволила оставить лишь после долгих унижительных просьб, предупредив, что за сохранность их не отвечает.

Из этого дома Николай вышел совсем мрачным. Невольно шевельнулась мысль: а что, если плюнуть на свое назначение да сорваться отсюда подобру-поздорову? Этому, правда, препятствовало одно осложняющее обстоятельство: денег оставалось в обрез. До Свердловска он еще доберется, а дальше? Рассчитывать же на главк не приходится. Рассерженные его самовольством, кадровики, конечно, откажут в направлении на другой завод — и что тогда?

Выбравив себя за беспечность, свойственную русским, — тратить все заработанное, ничего не откладывая в «аварийный фонд», — Николай пошел по поселку, чтобы отыскать удобное место, с которого можно было бы как следует рассмотреть завод. Место такое он быстро обнаружил. Оно оказалось там, где и предполагал, — на пригорке, сразу же за церковью, ничем не огороженной.

И вот тут у него заныло сердце. В низине за широкой и длинной плотиной распластались крохотные корпуса того, что называлось металлургическим заводом. Не сразу сообразил он, какое из нескольких приземистых зданий мартеновский цех. Уж не та ли прижавшаяся к откосу ржавая коробка с двумя тощими железными трубами, из которых вяло шел сизый дым? Другая коробка рядом тем более не мартеновский цех, потому что из нее торчала только одна труба.

В здании, примыкавшем к плотине, что-то беспрерывно ухало, и Николай предположил, что это работают те самые отбойные молота, о которых упомянул Иустин Ксенофонович. Ну а пакгаузы вдоль узенькой речушки, породившей пруд, — очевидно, склады готовой продукции. Догадку подтверждали пустые баржи, разместившиеся вдоль причала, и лошади, подвозившие к ним крохотные вагонетки, груженные листовым железом. Лошади, как он понял, были единственным видом внутривзаводского транспорта.

Чтобы не видеть этого убожества, Николай отвернулся, и перед мысленным взором его встала панорама завода, который покинул. Тот завод, тоже стоящий на берегу пруда, возвышается над всем городом, украшая его и возвеличивая мощными башнями домен и воздухонагревателей, бесчисленными корпусами огромных цехов с трубами, упирающимися в небосвод. Даже складские помещения выглядят там куда солиднее, чем эти жалкие цеховые коробки.

Острое сожаление о содеянном пронзило его. Не тишь заупокойная нужна ему сейчас, а наполненная смыслом крутоверть заводских

дел, не чужие, незнакомые люди, а коллектив, к которому привык, с которым сжился. Так что? Сделал опрометчивый шаг, наглупил? Да, глупо, пожалуй, было покинуть родные места и бежать куда повелит судьба, хоть к черту на кулички, только из-за того, что единственный человек, пусть самый близкий, разлюбил его. Дорого заплатил он за свою горячность, за скоропалительное решение. Вспомнились недоуменные лица людей, с которыми успел попрощаться, вопросы, на которые не мог ответить. Что они подумали о нем? Получил диплом инженера — пустился делать карьеру? Так он и без диплома работал помощником начальника цеха — и какого! Современного, оборудованного по последнему слову техники. В его ведении было шесть трехсоттонных печей, каждая из которых давала металла в четыре раза больше, чем весь этот захудалый заводик. Там, в том цехе, помимо технологических задач ему приходилось решать и задачи оперативные. Походившие по своей сложности на игру в шахматы — все возможные варианты нужно продумать и рассчитать наперед. А какие задачи придется ему решать здесь? Здесь можно закиснуть, опуститься, потерять квалификацию. Нет, бежать отсюда, бежать...

Николай так погрузился в свое отчаяние, что не заметил проехавшую мимо пролетку и не сразу понял, что его окликнули. Оглянулся. Из пролетки ему махал рукой Кроханов.

Это был уже не тот Кроханов, которого помнил Николай. Он пополнил, поважнел и выглядел далеко не меланхолически-миролюбивым, каким казался прежде. Красивое лицо его, на котором все еще молодецки горела пронзительная синева глаз, выражало надменность.

— Что-то ты ко мне не торопишься, — неприязненно произнес он вместо ответного приветствия.

— Решил оглядеться, — замаялся Николай.

— Это успеется. Давай-ка в кадры, потом ко мне. Я скоро вернусь.

«Принесла нелегкая... — подосадовал Николай. — Теперь хочешь не хочешь — придется зайти». Проводив глазами пролетку, за которой тянулся длинный шлейф пыли, Николай зашагал к заводууправлению.

Весь штат отдела кадров состоял из двух человек, да и тем, видно, делать было нечего. Впрочем, и сами они этого не скрывали. Мумифицированный мужчина пенсионного возраста не оторвался от газеты, когда вошел Николай, а девушка с пепельной косой и пылающими от избытка здоровья щеками невозмутимо продолжала вязать, словно это входило в круг ее обязанностей.

Когда Николай назвал себя, лицо кадровика не отразило даже естественного любопытства.

— Документы, — жестко потребовал он, как будто перед ним стоял задержанный преступник, и, увидев, что посетитель не торопится выполнять требование, отрывисто пояснил: — Направление, трудовую книжку, паспорт.

Николай изучающе рассматривал рьяного служаку. Изъеденное оспинами лицо, лисий нос, старые, линияые, лишенные выражения глаза.

— Я еще не решил, останусь ли.

— Чего же тогда пожаловали?

— Выяснить условия.

Кадровик выбросил перед собой руку.

— Ваш паспорт. С кем я разговариваю?

Как пожалел потом Николай, что выполнил эту, казалось бы, невинную просьбу.

Получив паспорт, кадровик педантично просмотрел его листок за листком, положил перед собой на стол и молниеносно вцепил жирный прямоугольник «принят».

— Оперативны вы, однако...— сквозь зубы процедил Николай, взбешенный тем, что его так ловко провели,— с такой отметкой куда сунешься?

Расписавшись и поставив дату, кадровик вернул паспорт владельцу, с внутренним ликованием отозвавшись:

— Опыт-с, молодой человек. Опыт-с. Сюда так просто не заманишь, а инженеров у нас, да еще со стажем практической работы, меньше, чем пальцев на руке. Теперь выговаривать условия идите к директору.

«Мальчишка, недоумок, и тут попался на крючок,— распекал себя Николай, поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж.— Так опростоволоситься...»

На дверях по обеим сторонам коридора таблички: «Плановый отдел», «Финансовый отдел», «Отдел труда и зарплаты», «Технический отдел», «Транспортный отдел», «Главный механик», «Главный...», «Главный...», «Главный...». «Все как на солидном заводе»,— не без иронии отметил Николай.

А вот и дверь с табличкой «Приемная».

И тут как на солидном заводе. Секретарша за столом с телефонами и пишущей машинкой, стулья для посетителей и две двери одна против другой — кабинет директора, кабинет главного инженера.

Отложив в сторону книгу, секретарша неторопливо повернулась к вошедшему, и ее большие, детски доверчивые глаза на тонком юном лице приветливо засветились.

— Вы Балатьев?

Николай молча наклонил голову, совместив в этом жесте и подтверждение и приветствие.

— Присаживайтесь, пожалуйста. Андриан Прокофьевич сейчас придет.— Секретарша показала на стул, стоящий не у входа, не у стены, а у ее стола, и, завершая ритуал знакомства, добавила: — Меня зовут Светланой.

Николай чуть оттаял. Оказывается, и здесь встречаются вежливые и радушные люди.

— А меня...

— Знаю.

Светлана смотрела на посетителя не прячась, не таясь, с какой-то милой провинциальной непосредственностью. Уловив его настроение, сказала доверительно:

— Ну что вы так, Николай Сергеевич... У нас, конечно, не Рио-де-Жанейро и даже не Макеевка, но все же лучше, чем кажется с первого взгляда. И самое главное — народ тут хороший.

— Да? — скептически прищурился Николай.

— Представьте себе.— Уязвленная предвзятостью, Светлана многозначительно добавила: — Хороший, конечно, для хороших.

Николай истолковал этот воинственный ответ по-своему: значит, сам плохой, если другие плохими кажутся,— и пожалел о том, что напрасился на него. Неверно, конечно, составлять мнение о здешних людях по двум-трем столкновениям и бестактно высказывать его.

Заметив, что ухудшила и без того плохое настроение приезжего и досадуя на себя, Светлана снова попыталась найти контакт с ним:

— Вы напрасно мрачно настроились. Поверьте, это сначала все видится в мрачном свете. Потом люди привыкают и, случается, даже остаются у нас навсегда. Естественно, те, кто может оценить прелести деревенской жизни...

— ...и не видят недостатков,— добавил Николай.— Я закостенелый урбанист.

— Вашему возрасту закостенелость не подходит. И такой пессимизм тоже.

Николай отдал должное мягкосердечию девушки. Царапнула — и наложила пластырь. Признательно заглядывая ей в глаза, сказал уже совсем по-другому, смягченно:

— Охотно поправлюсь: врожденный горожанин.

— Кроханов тоже горожанин. Поначалу рвал и метал — дыра, глухомань, как можно жить здесь? А сейчас доволен, и даже очень. Может, и вы... Тем более когда нужно прийти в себя, успокоиться... — Светлана запнулась, увидев, как диковато блеснули глаза приезжего.

— А что вы знаете? — спросил Николай, невольно выдав себя. — Откуда?

Лицо Светланы заалело.

— Николай Сергеевич, сколько вам лет?

— Молодость на ущербе, лучшая пора позади.

— Почему?

— Говорят, что если до тридцати жизнь не удалась...

— А вы тщеславны... — Сделав это открытие, Светлана неодобрительно посмотрела на своего визави.

— С чего вы взяли?

— Ну как же? «Не удалась»... Наркомом в такие годы никому еще не довелось стать.

Николай подумал, прежде чем отреагировать на незлобный выпад, — не хотелось, чтобы у этой славной девушки создалось о нем неверное впечатление.

— Но таких, что не познали разочарования...

Светлана опустила глаза, как это делают скромные люди, когда им открывают больше того, на что рассчитывали.

— Так вот, Николай Сергеевич, расшифрую загадку. Кроханов спрашивал о вас. У вашего начальника, по телефону. Стругальцев, кажется. Какой специалист, почему ушли, каков характер, пьете или нет, ну и так далее. Только это между нами. Договорились?

Ответа Светлана получить не успела, так как в приемную вошел Кроханов. Покосившись на Балатьева, будто застал его за чем-то предосудительным, он прошествовал в кабинет и захлопнул дверь. «Ничего себе номер. Вернулся не в духе или попросту хамоват по натуре?» Николай озадаченно посмотрел на Светлану.

— Психологическая подготовка, — шепнула она. — Демонстрирует крайнюю свою занятость и подчеркивает разницу в служебном положении.

— В Макеевке я к нему заходил без подготовки.

— Там вы от него не зависели. — Светлана продолжала говорить шепотом, хотя дверь в кабинет была обита дерматином. — А здесь все зависят.

— Ну уж...

— Я не преувеличиваю, Николай Сергеевич. Даже городские организации. И в этом нет ничего удивительного — единственное предприятие в районе. Ремонт сделать — к Кроханову обращаются, достать какие-либо материалы — к нему же, устроить на работу — опять без него не обойтись. Здесь он царь и бог, все трепещут и все по-немногу возвращают.

Николай отдал должное смелости девушки — не знает ведь, что он за человек, можно ли доверять ему и не использует ли эту откровенность во вред ей.

— Своей независимостью вы опровергаете себя, — сказал, ободряюще улыбнувшись.

— Я здесь временно, до сентября.

— А потом? Поступать в вуз?

— Возобновлять учебу. Я в нелепейшем академическом отпуске. Ного сломала на соревнованиях по лыжам.

Присутствие за стеной директора связывало Светлану. Она снова положила перед собой книгу, предоставив Балатьева самому себе.

Из кабинета иногда доносились телефонные звонки, зычный, перемежаемый сухим покашливанием голос Кроханова, но большую часть времени было тихо.

Если бы не штамп в паспорте, поднялся бы Николай, вышел бы из приемной, расправил плечи — и скорее назад. Денег на билет набралось бы, а там — будь что будет. Но он сидел и ждал вызова, изредка поглядывая на девушку.

Наконец зазвонил внутренний телефон, и даже Николай услышал: «Пусть войдет».

И кабинет у Кроханова солидный. Большой, вытянутый, с огромными окнами и со всеми аксессуарами директорского кабинета: стол, образующий с дополнительным букву «Т», диван для отдыха, сейф, книжный шкаф со справочной литературой. Один только предмет не совмещался с его убранством — похожее на трон дубовое кресло с высокой резной спинкой и резными же на концах подлокотниками. Явно буржуазным происхождением кресла Кроханов пренебрег ради удобства, а может, потому, что оно добавляло ему солидности.

— В отделе кадров был? — осведомился Кроханов, когда Николай подсел к его столу.

— Был.

— А почему такой смурый?

— Понял, что допустил ошибку.

— Вот как? — Кроханов нервически стал выстукивать карандашом, который держал в руке, что-то похожее на морзянку — ответ ему, по всей видимости, не понравился. Однако сказал миролюбиво: — Что ж, такая наша житуха. Ошибаемся, исправляем...

— ...опять ошибаемся...

Кроханов подержал Балатьева под своим цепким взглядом.

— Что-то подтянуло тебя, браток. Там ты сытее был. — В голосе не то сочувствие, не то злорадство.

— Жирным я никогда не был. В цехе не зажиреешь.

— Диплом, — потребовал Кроханов с интонацией, сухостью напомнившей Николаю интонацию начальника отдела кадров.

Николай достал из кармана пиджака свеженький диплом, положил на стол.

— Глянь-ка, с отличием, — уважительно произнес Кроханов. — За что ж отличие?

— За спецчасть. Режим скоростных плавок в трехсоттонных мартеновских печах.

— Заочник, стало быть?

— Да, двойной тягой, без отрыва. Вот потому и подтянуло.

Кроханов глубокомысленно потер кончик мясистого носа, впрочем довольно ладно пригнанного.

— Давай направление.

Прочитав письмо из Главуралмета, с подчеркнутым небрежением отбросил его в сторону.

— Начальник цеха, между прочим, мне не нужен. Он у меня есть и устраивает по всем показателям.

Николай с облегчением вздохнул. Появилась надежда умотать отсюда по взаимному согласию, не входя в конфликт с главком.

— Вот и хорошо. Была без радости любовь, разлука будет без печали...

— А разлука с женой у тебя тоже вышла без печали?

Николая покорила такая бесцеремонность. Чтобы пресечь дальнейшие изыскания в этой области, решил осадить Кроханова.

— Не будем, Андриан Прокофьевич. К делу не относится.

— Вот как? А я думаю, что относится. Я тебя нанимаю и должен знать, на что ты способный.

«Тебе еще толковать о моральном облике», — чуть было не сор-

валось с языка Николая, но и этот выпад директора он решил обратить в свою пользу.

— Выходит, и по сему пункту не подхожу. Когда идет пароход обратно?

— А штампик? — ехидно прищурился Кроханов, уперев подбородок в кулаки.

— Поставьте другой — «уволен».

Лицо Кроханова отразило сложные душевные колебания. Он с удовольствием сделал бы это, но отправить назад специалиста при наличии вакантных должностей на заводе значило бы нарваться на скандал. И он завилал:

— Ишь какой быстрый. Как в командировке? Прибыл — выбыл? День отъезда, день приезда — один день? Ну, ладно шутить, на мою голову и так достаёт всякого-разного. Давай серьезно. Мне виднее, чем главку, куда тебя пристроить. Сядешь на технический отдел. Там нет начальника и вообще никого нет.

— А чем мне там заниматься?

— Толковый человек найдет чем. По совместительству пристегну еще БРИЗ. Полторы ставки получать будешь.

— Нет, только в цех, — безапелляционно заявил Николай, втайне надеясь, что директор не уступит и на том они разойдутся.

Кроханов снова задержал на нем тяжелый взгляд.

— А ты почему решил, что потянешь?

— Шесть печей тянул, и каких! А здесь что?

— Скажи на милость — здесь что! У нас работать хуже, чем в новых цехах. Поопытнее тебя были, да скальвались. Никаких экспресс-лабораторий, приборов, анализов. Все на глазок. Тут другая выучка требуется. И газ другой, дровяной, сырой, холодный, и люди другие. Иначе как горлом да матюгом не прошибешь.

«И народ тут хороший», — вспомнилось Николаю.

— Нет, только в цех, — упрямо повторил он и замер в ожидании гневной вспышки.

Но ее не последовало. Кроханов понял, что Балатьева нахрапом не взять, и решил изменить тактику.

— Ну войди в мое положение, — выговорил он почти просительно. — Не могу я без конца Дранникова дергать. То в начальники, то в замы. Сколько было так. Самолюбие у всякого есть. Повернется — живите как хотите, с меня хватит.

Николай задумался. Если Дранников в самом деле рассчитается, тогда уж ему наверняка отсюда не вырваться — не бросишь же цех на произвол судьбы. А тешить себя мыслью, что на этот губительный завод удастся заполучить второго такого чудака, как он, бесполезно. Недаром в главке так возликовали, когда он согласился на Чермыз.

— Тогда отпустите с миром на все четыре стороны.

— Отпустите! — хохотнул Кроханов. — Выход один: техотдел.

— Какие тут технические проблемы? Дрова колоть да лошадей ковать?

В этом пренебрежении Балатьева к отделу Кроханов узрел нечто большее — пренебрежение к нему как к директору, но решил не разжигать костер.

— Цех так цех, — сказал внешне спокойно, вроде и не было между ними препирательства.

Раздался телефонный звонок. Кроханов снял трубку.

— Иду, иду!

Надев пиджак и прихватив с вешалки кепку, он торопливо зашагал к двери. Уже взявшись за ручку, не удержался, пригрозил:

— Только ты об этом помянешь!

Балатьеву не оставалось ничего другого как забрать свой диплом и покинуть кабинет. На душе было муторно. Не только оттого, что

вопрос решился не в его пользу, но и от самой этой встречи. Он привык уважительно разговаривать со всеми независимо от рангов, привык, что и с ним разговаривали вежливо. А Кроханов повел себя, как распоясавшийся купчик с провинившимся приказчиком, неведомо почему упорно тыкал и невольно побуждал на ответную резкость. Как сложатся у них отношения в дальнейшем, если начались они со взаимной неприязни?

— На чем договорились, Николай Сергеевич? — словно издали услышал он голос Светланы.

Ответить не успел — в проеме двери появился вернувшийся Кроханов.

— Светлана, выдай ему пропуск в завод и ордер в Дом приезжих.

— Там же комнаты на шестерых, — попробовала возразить Светлана.

— Для начальника мартена у меня квартиры нет.

Исчезнув так же внезапно, как и появился, Кроханов лишил Николая возможности требовать своего по крайней мере сегодня.

— Вы попали между двух огней, — выписывая ордер, сказала Светлана.

— Как это? — не понял Николай.

— А так. Не нужны вы ни Кроханову, ни тем более Дранникову.

— Это не суть важно, я огнеупорный, выстою.

Светлана наградила Николая взглядом, в котором уважение смешивалось с сочувствием.

— В таком случае дерзайте.

Тяжелым грузом ложится на человека сознание допущенной ошибки, особенно если она непоправима. Непоправимость случившегося была очевидна, и настроение у Николая ухудшалось час от часу. Его стала раздражать каждая мелочь. И любопытство, с каким пялили на него глаза прохожие, — здесь все знали друг друга в лицо, всякий заезжий был редкостью, на таких смотрели как на заморское диво — и шалости мальчишек, затеявших игру в чурки прямо на дороге и поднявших такую пыль, что от нее спирало дыхание, и расшатанные доски тротуаров с предательскими щелями, куда того и гляди могла провалиться нога. А дома-крепости вызывали острое чувство одиночества и отчужденности.

Вечер он скоротал с дежурной Дома приезжих, а точнее с комендантшей. Именно так называли в поселке хозяйку сего заведения за начальственный нрав, а еще потому, что совмещала она в своем лице весь штат — от уборщицы до директора. Взяв ордер и узнав, что Балатев приехал на работу, да еще начальником такого важного цеха, как мартеновский, женщина сменила гнев на милость, отвела самую лучшую койку — в нише за шторкой — и, когда он умылся с дороги, стала потчевать чаем с нескончаемыми рассказами, каким он не был и был рад: все же некоторые полезные, даже важные сведения он получил.

Пока комендантша рассказывала, как проращивают на Урале рожь для солодовой бражки, которая «и вместо воды, и вместо еды, и вместо вина», да как важно, чтобы на шее у коровы висело ботало, по звуку отличное от других (заблудится в лесу — сразу найдешь), Николай слушал с пятого на десятое, но когда разговор перешел к укладу жизни, навострил уши. С незапамятных времен сохранились в этих краях старые устои. У каждого свой дом, своя делянка для сенокоса, свой огород, своя скотина. Даже летом не переводится свежее мясо. Зарезал сегодня Аким Акимович телку — и понес мясо по соседям. А дня через два Петр Петрович делает то же самое. Зимой и вовсе просто при морозах крепких да стойких. Пельменей как налепят семьей в ноябре — до самой весны с ними в холодной кладовке «ничо не деется». Базара в поселке нет, потому что

продавать незачем и покупатель не отыщется — у каждого всего «сколь надоть».

— А базарная площадь для чего существует? — прорвался с вопросом Николай.

— А то как же без нее? В самом центре. Перед праздниками бывает привоз колхозный. А поселковые за грех почитают. Водку лачать не грешно, девку потискать тоже за грех не считается, а чтоб на базаре продать...

— Смехота.

— Вам, может, и смехота, а так заведено.

— Ну а мне, холостяку, как быть?

— Хозяйством обзавестись надоть. При хфатере обязательно чтоб сотки три земли было. И бочку непременно купите.

— Бочку? — удивился Николай. — Это что, предмет первой необходимости?

— А то как же? Рыбу где солить будете? У нас все мужики промышляют. За зиму воды в пруде убавится, рыба задыхаться начинает — вот тут не зевай. Нарубят прорубей — к ним рыба шалелая табунами прет воздуху наглотаться. Тогда бери хоть багром, хоть черпаком, хоть руками. А засолить — дело нехитрое. — Комендантша перевела дыхание. — С ружьишком осенью ходите, уток набьете. Их у нас коптят.

— А кто без ружья?

— Тот и без уток.

— А кино, допустим, есть где посмотреть?

— Нет кина. Клуб, что из церкви приспособленный, на пудовом замке. Вроде ремонтировать собираются, а когда...

— А что у вас есть? — уже не беззлобно спросил Николай.

— Столовая возле заводской ограды, вход с площади. С людьми в ей поговорить можно и выпить завсегда, а кормежка — не приведи господь. Не то чтоб голодно, но... без души.

Комендантша утерла фартуком вспотевшее от напряженного разговора лицо и, вспомнив, что постояльцу до сих пор неизвестно ее имя, почему-то стыдливо сообщила:

— Зовите меня Улей. Ульяна я.

2

Заводской гудок подал голос, когда Николаю еще неудержимо хотелось спать (сказывалась разница во времени — в Донбассе было только четыре часа ночи), но выработанный годами рефлекс на гудок сделал свое дело: сон схлынул.

Хмурое, совсем не весеннее утро заглядывало в окно, с улицы доносился дробный перестук каблуков — люди шли на работу.

Ульяна уже ждала жильца в своей комнатенке. На столе весело шумел самовар, лежали вареные яйца, ломтики рыбы семужьего посола, от которой шел незнакомый, но аппетитный дух. В обязанность комендантши кормить постояльцев не входило, но новый жилец расположил к себе — никто до тех пор не проявлял такого интереса к ее рассказам.

Короток путь до завода, хотя, впрочем, все дороги здесь коротки. Людей прибавлялось. Все, кто жил в верхнем поселке, шли этой единственной дорогой. Подстегиваемый общим темпом, Николай тоже невольно убыстрил шаг.

Спустившись с пригорка и миновав конный двор, удививший своей обширностью, увидел у закрытых ворот завода огромное стадо овец и коз, беспокойно теснивших друг дружку, отчаянно блеявших и мекавших. Как только раздался второй гудок — он означал, что до начала смены осталось полчаса, — и ворота распахнулись, вся эта живая лавина устремилась в завод и помчалась целенаправленно на-

лево, туда, откуда доносился истошно-пронзительный звук циркулярной пилы.

— А этим что надо? — спросил Николай, предъявляя пропуск в проходной.

— Лешак бы их поудавил! — в сердцах выругался вахтер и стал объяснять: — На дроворазделку поперли кору обгрызать. Покудова сушняк шел да хвойный — их тут и в помине не было. А теперича сырой да смешанный погнали. Людям от него мука, а этим в удовольствие.

— Что же они так нахально нарушают технику безопасности? — пошутил Николай и не удержался от улыбки, глядя, как закатился веселым смехом вахтер.

Всякий опытный металлург непременно начинает осмотр цеха с тылов, и Николай, как ни хотелось ему поскорее увидеть печной и разливочный пролеты, пошел к началу всех начал — на шихтовый двор.

В Макеевке шихтовый двор представлял собой огромное крытое здание с железнодорожными путями, с мостовыми кранами, снабженными мощными магнитами и грейферами. Магнитами грузили металлолом и чугун, грейферами — сыпучую часть шихты, рука человека ни к какому материалу не прикасалась. Здесь же это был самый настоящий двор, все сваливалось под открытым небом, и все грузили вручную в крохотные железные короба — мульды, стоявшие на крохотных вагонетках. Скрежетали лопаты, вгрызаясь в кучи руды и известняка, глухо постукивали забрасываемые чушки чугуна, позванивали мелкие куски металлолома. Крупные же куски металла, которые не под силу поднять одному, сообща толкали по наклонным доскам. Как только мульды наполнялись, коногон подводил лошадь, цеплял вагонетку крюком и вез ее в цех — одну-единственную вагонетку.

Посмотрев вслед коногону, уныло шагавшему рядом с пегой лошадкой, от напряжения выгнувшей хвост дугой, Николай вспомнил длинный поезд мощных четырехмульдовых вагонеток, который вывозил паровоз с шихтового двора его цеха, подавая к печам сразу двести тонн груза. Вспомнил и подумал: «Сейчас лето, тепло и сухо, а как тут работать осенью под дождем и ветром? А в зимнюю стужу? А в метель? Морозы за сорок и снега завалы...»

Под его ногами дрогнули рельсы, и теперь уже другая лошадь, крупная, сильная, вороная, легко повезла другую вагонетку. Николай сошел с рельсов, стал в сторонке.

— Эй ты, подальше! — крикнул ему коногон. Когда поравнялись, пояснил: — Эта сатана хуже собаки. И своих кусает.

Скосив глаза и прижав уши, вороная проследовала своим путем. Николай двинулся за ней, решив осмотреть металлолом. Первые навалы состояли в основном из мелочи, а дальше шли кучи негабаритного лома, который ни в какую мульду не сунешь, — часть его резали автогенщики, часть, что поменьше, молотом и зубилом разделявали рубчики. А дальше и вовсе пошли горы путаной жести и консервных банок. Возни с этим хламом много, а польза ничтожна.

У въезда в здание цеха, то самое, которое воспринималось вчера как ржавая коробка, Николай остановился, пропуская вороную (возвращаясь, злопамятная кобылица снова нацелилась в него немигающим косым глазом, что, должно быть, означало: а ну-ка посторонись подобру-поздорову), и вошел под крышу, только когда она удалась.

В непривычном взгляду узком приземистом цехе разместились две маленькие, словно игрушечные печи. На той, что была ближе, шла завалка. Неуклюжая и тихоходная машина, видимо местной конструкции и местного изготовления, ввела в печь мульду, перевернула ее там и медленно вынесла обратно. Завалив две мульды, машинист

спрынул на площадку и, присев на корточки, закурил в ожидании, когда ему привезут следующую вагонетку.

У другой печи несколько человек в одинаковых, из серого брезента спецовках наблюдали, как подручный сталевара сливал пробу на чугунную плиту. Взглянул на металл сквозь синее стекло, вынув его из кармана, и Николай. Цвет и жидкоподвижность металла свидетельствовали о том, что он достаточно горяч.

— Хороша,— заключил самый пожилой из всех здесь находившихся, кряжистый человек с лицом не улыбочивым и властным. Отбросив сигарку, скомандовал: — Разделявать отверстие!

— Будем знакомы.— Николай протянул руку, назвал себя.— Нетрудно догадаться, что обер.

— Будем, товарищ начальник,— непринужденно отозвался обер, хотя Николай умолчал о своей должности.— Аким, сын Ивана. По фамилии Чечулин. Обер, так и есть.

— Осанка и хватка подсказали,— пояснил Николай,— хотя очки на кепке могли сбить с толку — у оберов обычно стекла, да в замысловатой рамочке.

— Здесь своя заправка.— Голос Акима Ивановича прозвучал заносчиво.— У обера да и у мастера в нашем цехе руки всегда должны быть свободные, чтоб в любую минуту подсобить мог. Рамки со стеклом только начальство носит. Поглядел, спрятал и пошел.

Аким, сын Ивана сразу понравился Николаю. Держался он с достоинством, как человек, знающий себе цену, и не прятал иронического любопытства в широко поставленных глазах.

Николай поздоровался с остальными печевыми. Сталевар произвел на него странное впечатление. Длинный, худосочный, меланхолически-задумчивый, как будто решал головоломную задачу. Фамилию свою не назвал, но руку пожал с такой силой, что будь Николай послабее, пальцы у него хрустнули бы.

— Вячеслав Чечулин,— исправил оплошность сталевара обер-мастер.

Николай не смог сдержать улыбки. Только с тремя мужчинами познакомился он в Чермызе — и все три Чечулины. Поинтересовался:

— Где вы их насобирали столько, Чечулиных?

— Кто говорит — от одного большого рода поселок пошел, а я так думаю: фантазии у праотцев оказалось маловато,— ответил Аким Иванович.

— А по отчеству как вас, Вячеслав?

И опять же за неторопливого сталевара ответил обер-мастер:

— Нас всех тут по именам гоняют. Да и неудобно по отчеству называть, а дураком обзывать.

— В нашем цехе тысяча сто человек работали, однако ж...

— И всех по отчеству? — В голосе обер-мастера прозвучало недоверие.

— Ну, всех нет, но ведущих...

— Тогда Евдокимович.

Аким Иванович приказал снова достать пробу. Подручный налил металл в стаканчик, вытряхнул из него еще красный слиточек и побежал отковать плюшку. Легко заухал маленький пневматический молот, и вскоре с согнутой пополам плюшкой подручный вернулся к обер-мастеру. Аким Иванович мельком взглянул на нее, протянул Балатьеву.

— Ну как, можно пускать?

Это был экзамен, экзамен прилюдный. В сонных глазах меланхолического сталевара отразилось лукавое ожидание — посмотрим-де, что ты за спец, а подручные — те ждали ответа новоиспеченного начальника с нескрытым любопытством.

— По углероду можно,— уверенно ответил Балатьев,— семь-во-

семь сотых процента. Края ровные — серы мало, согнулась без трещины — фосфор в норме. А по теплу не знаю. Для наших печей перретета, но у нас слиток семь тонн, а у вас двести килограммов. День-два приглядеться нужно. Вы после отпуска тоже небось денек-другой приглядываетесь, а?

Аким Иванович явно смутился, поймав на себе насмешливые взгляды печевых — не выгорела проверочка. Набрав полную грудь воздуха, зычно крикнул:

— Шомпол!

Шестеро подручных дружно подняли с площадки длинный и толстый металлический стержень, ввели его через завалочное окно в печь и стали дружно бить в заднюю стенку, нащупывая отверстие.

Уже пот потек с их лиц, уже на тех, кто стоял близко к печи, задымилась одежда, уже изогнулся раскалившийся стержень, а в отверстии попасть не удавалось.

Но вот за печью взвились клубы пламени и бурой пыли — и сталь наконец вырвалась наружу.

— Пошли на заднюю площадку, — предложил обер Балатьеву.

То, что увидел здесь Николай, окончательно добило его. Даже в известных ему самых старых цехах не встречал он столь убогого оборудования. Все оно состояло из двух передвижных паровых кранов, вертевшихся вокруг своей оси вместе с нещадно дымившими вертикальными котлами. Ковш, куда по желобу стекала сталь, помещался на подвижном лафете над глубокой канавой, где вплотную друг к другу стояли чугунные формы для принятия стали — изложницы. Их было здесь двести сорок, этих самых изложниц, на каждую плавку. Случись авария, залей, спаяй изложницы — тут и более мощный кран ничего не сделает.

А у канавы соседней печи, отворачивая лицо от нестерпимого жара, рабочий обматывал цепью раскаленные докрасна слитки, чтобы потом кран вытащил их на земляной пол. Египетский труд.

— Вот так и горим здесь... — сокрушенно сказал Аким Иванович, протянув руку к синему стеклу. — Позвольте?

Прочитав выгравированную на рамке полустершуюся надпись «Лучшему сталевару Макзавода», посмотрел сквозь стекло на струю стали, аппетитно причмокнул и с подчеркнуто уважительным поклоном вернул восхитивший его предмет владельцу.

Николай понял, что не надпись произвела впечатление на обера, а качество стекла — у хорошего мартеновца и стекло должно быть отменное. Это его глаз.

К ним приблизился кривоплечий и прихрамывающий старик, отер руку о штанину, как перед рукопожатием, но приложил ее к козырьку.

— Весовщик шихты Ксенофонт Петров. А вас как величать, товарищ заведующий?

— Николай Сергеевич.

Старательно занеся в потрепанную записную книжку скупые данные, весовщик весело прошелестел:

— Вы на моем веку тринадцатый.

— Жаль, — отозвался Николай. — Число несчастливое.

— У нас все числа несчастливые, но это особливо.

— А предыдущие где?

— Есть что тут работают, вот и он. — Весовщик кивнул на Акима Ивановича.

— Было, было... — подтвердил тот и, посопев, добавил: — Пять лет в начальниках ходил.

— Большинство сбегло, — продолжал весовщик, прокашлявшись ссохшимся горлом, — троих ушли, двоих посадили. А вот что с вами будет, товарищ заведующий, — белесые глазки из-под белесых же

бровей ехидно блеснули,— это я уже потом в свой поминальничек запишу.

— Ладно, ладно! — прикрикнул на него Аким Иванович.— Раскаркался, как ворон. А ну топай отсюда!

Бросив на оберу тусклый взгляд, весовщик заковылял по площадке. Николай посмотрел ему вслед.

— Что за человек?

— А, так себе. Чесотка у него на языке. Только и ищет кого бы поддеть, чьи бы косточки перебрать. Тьфу!

— А где его так искорежило?

— Злой от природы, от злости и пострадал,— без всякого сочувствия стал рассказывать обер.— Коногоном свою жизнь начал, да чуть ее и не закончил. Стеганул лошадь кнутом по глазам, та расстервенилась — да на него. И изуродовала, как бог черепаху. Кстати, вы лошадей остерегайтесь, особенно вороную. Работает как черт, а зла, как два черта.

Мрачная статистика, касающаяся начальников цеха, заставила Николая призадуматься. Ничего себе цех, где никто не завершил благополучно свою деятельность. А ведь наверняка среди них были и стоящие. Так в чем же причина?

— А Дранников где? — поинтересовался он.

— В отпуск директор пустил.

— Но... полагается сдать цех.

Ухмыльнувшись, Аким Иванович ответил, не скрывая симпатии к Дранникову:

— Надоело ему, по-честному говоря, сдавать и снова принимать. Раз шесть, почитай, так было.

«Значит, главные испытания впереди,— сделал вывод Николай.— План Кроханова предельно прост: подождать немного — не исключено, что новый начальник завалится сам по себе, а если нет, тогда уже они возьмутся вдвоем». Тронул за плечо Акима Ивановича:

— А где тут пристанище для начальника?

Обер-мастер круто, по-солдатски развернулся на каблуках, показал на небольшую пристройку, похожую на кладовую и глядевшую на площадку несуразно узким и длинным окном.

— Вот этот сараюшко.

Николай не сдержал насмешки.

— Н-да, по Сеньке и шапка, по цеху и кабинет.

— Не место красит человека.— Аким Иванович достал из нагрудного кармана небольшой ключик, вручил его Балатьеву.— От стола.

— А от двери?

— Она никогда не запирается — спереть нечего, кроме телефона, а он тут никому не нужен.

3

Кто-то сказал, и это стало крылатой фразой: «Дни идут, месяцы бегут, а годы летят». Здесь дни не шли. Они ползли, притом с изнуряющей тягучестью. Особенно выматывал душу непривычно медленный темп работы. Балатьев с этим смириться не мог. Он привык к другому темпу, быстрому, бесперебойному, горячему. Угнетало и сознание полнейшей своей ненужности в этом цехе. Он видел способы облегчить труд, форсировать ход печей, поднять их производительность, но в средствах заводу отказывали — зачем поддерживать жизнь дряхлого, умирающего организма? Каждый год завод работал последний год, каждый год начинался со слухов о том, что вот вот его остановят, а между тем решение это откладывалось и откладывалось.

Однажды Балатьев зашел к первому секретарю райкома партии,

зашел запросто, без всякой надобности, без просьб и вопросов — просто появилось желание познакомиться с человеком, о котором шла хорошая молва, отвести душу в откровенном разговоре.

— А я уже сам собирался к вам в цех нагрянуть,— сказал Баских, выйдя из-за стола.— Жду-поджидаю — не появляется досточтимый Николай Сергеевич. Либо характер выдерживает, либо вообще не считает нужным.

В спокойном лице Баских, в крепкой стати чувствовалась надежность, остойчивость. Лет ему еще немного, этак сорок с небольшим, может, потому держался он как-то располагающе. И не панибратски и без обидной снисходительности.

— Ну, думаю, если гора не идет к Магомету,— продолжал Баских, усаживаясь на диван и предложив гостю место рядом,— то...

Слова его прозвучали упреком, и Балатьев попробовал оправдаться.

— Накапливал впечатления, осмысливал обстановку.

— И как? Накопили? Осмыслили?

— Впечатлений достаточно.— Интонацией Балатьев дал понять, что впечатления у него самые безрадостные.— Но многое не могу взять в толк.

— Например?

— Ну хотя бы зачем я здесь нужен? Без технических мероприятий работу печей не улучшить. А со средствами, вы сами знаете — никто ни гроша.

— Ты не печам, ты людям нужен,— убежденно проговорил Баских.— Тебе этого сразу не понять, зато со стороны... Перед тобой вот какие задачи. Во-первых, надо оздоровить атмосферу в цехе. Люди должны вздохнуть свободнее, плечи расправить. Дранников как руководил? Крик, матюг, нажим.— Баских поднялся, подошел к столу, взял пачку папирос.— Дымишь?

— Нет.

— Эх, а я... Бросить бы, да воли не хватает. С молодых ногтей тяну.— Он сделал подряд несколько затяжек и, наблюдая, как, метусясь, поплыл в солнечном луче дым, заговорил снова: — Во-вторых, дело в том, что у печевых наших низкий технический уровень, вернее, никакого уровня. Кидают в печь руду, по навыку знают когда и сколько, а представления о процессе ни малейшего. Нужно преподавать им азы технологии. В объеме техминимума хотя бы. Займись этим. Но не сейчас. Летом у них свободного времени в обрез. Огороды, сенокос, заготовка дров, снеди всякой, а с осени до весны самое как раз. Рано или поздно завод останоят, и выйдут отсюда технически неграмотные мастеравые. Ну где они найдут себе применение? А если б к их опыту да трудолюбию грамотешка какая-никакая — цены им не будет.

Предложение не вызвало у Николая особого энтузиазма. Народ в цехе в основном великовозрастный, знания — у кого за начальную школу, а у кого и тех нет, и традиции испокон веку сложились особые — больше уметь, чем знать, перенимать только практику ремесла. Попробуй найти тут общий язык.

— Задача нелегкая,— чистосердечно сказал он.

Уклончивый ответ не устроил секретаря райкома. Решил убедить.

— Но благородная. И решить ее сможешь только ты. До тебя некому было, хотя давно пора.— И вдруг спохватился: — Прости, что на «ты», мы в нашей берлоге от «вы» поотвыкали.

— Нисколько не возражаю, даже лучше так.

Пригасив папиросу, Баских смял ее в пепельнице и снова присел на диван.

— Хочу вот о чем предупредить. Ты, вижу, человек выдержанный.

Балатьев неопределенно повертел пальцами в воздухе и сказал в ответ на вопрошающий взгляд:

— Только с подчиненными, Федос Леонтьевич. А с начальством... Не со всяким. Не выношу окрика, автоматически даю сдачи.

— Так вот запасись терпением и будь ко всему готов. Даже к провокациям. Прислан ты против воли Кроханова, инициатива эта, говоря начистоту, моя. У нас пришлых недолюбливают даже райкомовцы, и удивляться тут нечего: хорошие специалисты сюда не попадают. Постарайся опровергнуть сложившееся представление.

— Это мне очень даже понятно,— с растяжкой проговорил Николай, глядя в сторону.

— А непонятно что?

Собеседник замешкался с ответом, и Баских подбодрил его:

— Давай-давай, выкладывай как на духу. Без экивоков. Не в прятки же пришел играть.

— Я вообще не понимаю, для чего существует этот завод,— запальчиво сказал Балатьев.— Для государства сплошные убытки...

— Верно,— подтвердил Баских.— И немалые.

— И как можно на двадцать четвертом году советской власти заставлять людей работать в таких условиях. По меньшей мере это негуманно.

Баских не ожесточился, как ожидал Балатьев, наоборот, заговорил со спокойной вразумительностью:

— А вот это, представь себе, Николай Сергеевич, вовсе не так. Никто их не заставляет. И попробуй перемани их отсюда на лучшую работу. Пролетариат тут особый. Он наполовину рабочий, наполовину крестьянин. У каждого дом, хозяйство, только что хлеб не сеют. Правда, делянки ржи почти у всех есть, но это для солода, для бражки. Пробовал?

— Нет.

— Стало быть, никто в гости не позвал.

— К подчиненным в гости...

— Это свое правило забудь. У нас в гости не из подхалимства зовут, а из уважения.— Покачал пальцем.— Нет, не к должности. К человеческим качествам. Позвали — значит, признали. Человека в тебе признали. Откажешься — обидишь на всю жизнь.

— А если какая молодлица пригласит? Тоже нельзя обидеть? — с усмешкой спросил Николай, поднимаясь.

— Ты посиди, посиди.— Баских положил ему на плечо крепкую руку и с силой опустил на место.— Вот молодца поостерегись. Здесь свои этические нормы. У вас там женщина никогда не трепанется, у вас мужики друг перед другом успехом хвалятся. У нас все наоборот. Мужики о своих победах молчат, а бабы разбалтывают. Разведенки, конечно. А вообще семейные устои тут патриархально-прочные. Кстати, что у тебя с женой?

Вопрос застал Николая врасплох. Исповедоваться перед Баских он не намеревался, но и таиться резона не было. Рано или поздно все равно придется рассказать. Так не лучше ли сразу? По крайней мере, никаких неясностей между ними не будет, да и Баских, видно, не из тех, с кем надо лавировать, к кому надо подлаживаться. Простой, прямой, располагающий.

— А что вы слышали? — на всякий случай спросил Николай, в свою очередь озадачив секретаря райкома.

— Что пока инженером не стал, жена устраивала, а получил диплом...

— Тудыть твою копалку!..— вырвалось у Николая.

— Во-во! — подцепил его Баских.— А говорят — не ругаешься.

— Неужели на самом деле такая версия ходит?

— А твоя версия какая?

Николаю вопрос не понравился. В нем скользнуло недоверие, и это придержало его — при недоверии не может быть и откровенности.

Почувствовав, что Балатьев колеблется, Баских отступил.

— Ну ладно, за язык тянуть не буду. Продолжим разговор о гуманности... Так вот правительство наше проявляет максимум гуманности в отношении этого завода.

— Не понял, Федос Леонтьевич.

— Сейчас поймешь.— Баских помолчал, соображая, как бы разумительнее втолковать Балатьеву истину, которая со всей непреклонностью самому открылась не так уж давно, и заговорил не спеша: — Рабочий здесь не привык тратить деньги на еду — она у него своя. Деньги идут только на обзаведение, на обмены. Вот попадешь к кому-нибудь — увидишь содержимое этих срубов. Ковры, приемники самые лучшие. Здесь любят ступать ногами по своей земле, в своей земле ковыряться. Ехать в город, жить в квартире, да еще на зном этаже, без двора, без погреба, без сарая, без скотины, покупать еду в магазине и на базаре — все это против естества здешнего человека. И как только доходит очередной слух об остановке завода — летят гонцы во все концы с петициями, штурмуют начальство и возвращаются, добившись своего. Так на год отсрочат, потом снова на год.

— Выходит, и мне остается купить козу и поместить ее в Доме приезжих, — отшутился Николай. — На поводке в цех водить буду, там у меня на генераторах коры достаточно.

— Еще лучше, если корову купишь, — тоже шутливо ответил Баских. — Сразу своим признают. Как я понял, ты бросил якорь и больше не сидишь на единственном чемодане.

«Вот чертяка, — беззлобно проговорил про себя Николай, — Все знает. Даже что чемодан один».

— И про ружье знаете?

— Знаю, — с естественной невозмутимостью подтвердил Баских. — Учти: здесь все всё знают. Доподлинно. Вот только марка ружья не установлена — комендантша в них не разбирается.

Оба рассмеялись и оба почувствовали, что незримый барьер, который до сих пор разделял их, исчез. Николай даже подсадовал на себя, что ушел от разговора о семейных неурядицах — этому человеку и можно было и нужно было все рассказать, — а Баских искренне был рад установлению взаимопонимания с Балатьевым, в котором учуял человека независимого, способного противостоять рутине.

— Мне тут тоже не очень хорошо живется, — разоткровенничался напоследок Баских. — Мои ближайшие помощники — люди малоопытные, робкие, с оглядкой. Понять их отчасти можно. Время такое, суровое, ну, не тебе говорить... Оступиться боязно — каждое лыко в строку. Добиваюсь от них самостоятельности, учу противиться злу, но толку пока... Да уж ладно. Тема эта щепетильная, трудная, когда-нибудь договорим. Заходи на огонек. Обязательно заходи.

Согретому теплотой встречи Николаю захотелось еще немного побыть в атмосфере тепла. Завернув в заводоуправление, поднялся на второй этаж к Светлане. Он уже заглядывал сюда несколько раз, не прикрываясь какой-либо служебной необходимостью, просто так, поговорить, отвести душу.

Девушка встретила его как старого знакомого.

— Ну что, Николай Сергеевич, огнеупорный слой с вас еще не содрали?

— А я насквозь огнеупорный.

Светлана приглушила репродуктор и неуловимым движением руки распустила связанные сзади волосы.

— Значит, все идет по закону. Всех, кто сюда приезжает, сначала

ла охватывает безудержное отчаяние, потом наступает полоса смирения, потом... потом следует неизбежный бунт.

— Что, у всех одинаково?

— Нет. Разница есть. В протяженности первых двух периодов и в силе третьего.

Светлана сдержанно улыбнулась, и Николай, к своему удивлению, отметил, что она не только мила, но и хороша собой. Выразительные, округлой формы глаза, задорный носик, нежный овал чуть тронутого румянцем лица. Гармонию черт нарушали разве что губы. Крупные, с детской припухлиной.

— Говорят, вы тут покорили одно любвеобильное сердце.

— Чье? — Николай недоуменно поднял брови. Разное уже говорили о нем, но такой слушок до его ушей пока не докатился.

— Вам лучше знать, — ответила Светлана полушутя-полусерьезно.

— У вас сегодня задиристое настроение.

— Верно. Только что слушала увертюру к «Сороке-воровке». Россини всегда меня взвинчивает... Но мы уклонились от разговора. — Интригуяще помолчав, Светлана объявила: — Сердце комендантши.

Николай оторопел и не знал, как себя вести: смеяться или возмущаться. Только заметив лукавый огонек в глазах Светланы, рассмеялся.

— Я предпочел бы перешибить этот слух другим, еще менее обоснованным: что покорила ваше сердце, — сказал он и замер в ожидании реакции на столь вольную шутку.

Девушка смутилась, но только на миг.

— А что, перешибить проще простого. Приходите сегодня ко мне домой к семи часам. Уляну с вашего счета не спишут, а меня запишут, поскольку ваш визит не останется тайной. Станет ли вам легче, не знаю, а мне... В общем, я бы очень хотела, чтоб вы пришли. Это близко, на берегу пруда. Кстати, видом полюбуетесь. Пролетарская, двенадцать.

Не успел Николай удивиться неожиданному приглашению, как в приемную ввалился тяжело отдувающийся Кроханов.

— Ты почему тут в рабочее время? — с ходу набросился он на Николая, высокомерно вскинув голову — это была его излюбленная манера.

— Вас жду, — резво соврал Николай. Чтобы не остаться в долгу, добавил: — Когда вечером вы звоните в цех, то не спрашиваете, почему я в нерабочее время...

— Пошли. — Кроханов первым шагнул в кабинет, с ловкостью эквилибриста бросил на вешалку кепку. — Что там у тебя еще?

— Нужно найти какой-то выход с лошадьми. — Николай без приглашения сел, нарушив установленный здесь этикет. — Час битый кормят, а печь стоит.

— Паровозы тоже на заправку ходят, — возразил Кроханов, тяжело плюхнувшись на свой трон.

— Ходят, но на это время присылают другой.

— Заостряю свое тебе внимание: у нас свободных лошадей нету, все заграфикованы.

В знак того, что вопрос исчерпан, а другие выслушивать не намерен, Кроханов раскрыл папку с почтой.

— Тогда я сам приму меры, только потом претензии не предъявляйте, — со спокойной угрозой сказал Николай и, попрощавшись, вышел.

Идти Николаю к Светлане и хотелось и не хотелось. Что-то удерживало его от этого шага, и он не очень ясно понимал, что именно. Несколько насторожила инициатива, которую проявила пер-

вой и которую можно было истолковать как предприимчивость — чем не кавалер начальник цеха? — хотя думать так о Светлане не хотелось. А что, собственно, он знает о ней? Не прочь почитать на работе? Жаль, не взглянул на название книги в стареньком переплете, лежавшей на столе, — может, пустошь какая-нибудь. Впрочем, вряд ли. Девушка, с упоением слушающая серьезную музыку, не может читать пустых книг. И вообще нет у него никаких оснований судить о Светлане плохо, тем более что он подметил в ней ряд достоинств. Непосредственна, пронзительна, смела в суждениях. Несомненно также, что Светлана интеллектуально выше среды, в которой живет. А почему, собственно, несомненно? Чутье подсказывает? Но чутье уже обмануло его. И все же не может он отрицать и собственную вину в том, что произошло у него с женой. Учился он, училась Лариса. За пять лет совместной жизни сколько они были рядом? Если соединить такие дни — года не наберется. Работа и учеба занимали у него почти все время и забирали почти все силы. С утра до позднего вечера в цехе, а потом до поздней ночи занятия. Все приносилось в жертву учебе — отдых, развлечения и даже отношения с женой. Лариса сетовала на свою судьбу, иногда бунтовала, но это были бессмысленные бунты — выхода из создавшегося положения он не находил, не останавливаясь же на полпути. А последние полгода, когда готовил диплом, они вообще жили в разных городах. Она в Макеевке, он почти безвыездно в Днепропетровске. Эти полгода и стали роковыми. Но разве он один жил в разлуке с женой? Многие его знакомые, студенты дневных факультетов, месяцами не бывали дома, однако ни у кого из них не кончилось так, как у него. Значит, не только он повинен в случившемся... Вот и запутался в своих выводах, как путался уже не раз, разбираясь в своих семейных делах.

Было уже далеко за шесть, а Николай все еще не знал, пойдет к Светлане или не пойдет. Только когда времени осталось в обрез, решительно встал и пошел. Пошел, потому что обещал, потому что наскучило одиночество, а еще, в чем сам себе не признавался, разбирало любопытство. Естественное любопытство мужчины, которого приветила милая девушка.

Улица, на которой жила Светлана, тянулась единственной своей стороной по высокому берегу пруда, и все дома смотрели окнами в дальние дали. Отсюда хорошо проглядывались отлогий противоположный берег, изрезанный глубокими заливами, и бескрайние леса за прудом. Было так тихо, что поверхность воды даже не рябила. Только дымный пароходик, спешивший за очередным плотом, оставлял за собой веером расходящиеся волны.

Постоять бы здесь, насладиться покоем этой мирной картины, надышаться будоражающим весенним воздухом, но часы показывали ровно семь, и, привыкший к точности, Николай убыстрил шаг.

Вот и дом номер двенадцать. Коренастый, надежный, как многие другие, и все-таки чем-то отличный от них. В Чермызе за внешним видом построек следить не принято. Поставили когда-то предки сруб из вековой лиственницы — и больше его никто не трогает. Все внимание отдается тому, чтоб внутри было богато и уютно. А дом под номером двенадцать принаряжен. Выкрашены в вишневый цвет наличники и ставни, в густо-зеленый — фундамент. На одном из бревен увидел жестяной овал с выпуклыми буквами «Страховое общество «Саламандра» и удивился долговечности уральского железа. Едва приблизился к калитке, как из нее вышла Светлана.

— Вы всегда так пунктуальны?

— Всегда. Это единственное мое положительное качество.

— Уничуждение паче гордости?

— Ради истины, — с улыбкой ответил Николай, неотрывно глядя на Светлану.

В приемной за столом Светлана выглядела маленькой, хрупкой, а сейчас перед ним стояла рослая девушка со статью спортсменки. Она не принарядилась, не прихорошилась. То же школьного вида синее платье с кружевным воротничком и кружевными манжетами, те же туфли на низком каблуке. И губы не подкрашены, и глаза не подведены. Во всем естественна. Это понравилось. Зачем красить губы, если они и так алы, зачем выделять глаза, если они и без того большие?

— Пойдемте, Николай Сергеевич,— поторопила Светлана.— Вон соседка летит со всех ног, чтобы рассмотреть, кто пожаловал к Давыдычевым.

Соседка и впрямь направлялась к ним, этакая востролицая, шустрая бабенка. Подойдя, спросила, обращаясь скорее к Балатьеву, нежели к Светлане, не видели ли они рыжего петуха.

— Видели, Афанасия Кузьминична.— Светлана с самым серьезным видом показала на кустарник, прилепившийся к обрыву.— Нырнул вон туда.

Естественный интерес на лице женщины сменился выражением досады — что оставалось ей, как не отправиться в указанную сторону?

Прыснув в ладонь, Светлана заговорила с лукавым торжеством:

— Самое забавное в этом эпизоде знаете что? Кур она не держит и никакого петуха у нее нет. Но на что только не толкнет любопытство! — И уже серьезно добавила: — Скучно здесь людям — событий ведь никаких, а посудачить охота...

Комната, куда попал Николай, как нельзя лучше говорила о наклонностях обитателей дома. Множество полок, тесно заставленных книгами, пианино, стопы нот и пластинок на довольно поместительной этажерке.

Здесь было трое. Мужчина и женщина лет под сорок пять, чем-то похожие друг на друга, как бывают похожи супруги, прожившие рядом долгую жизнь. При появлении гостя они встали, а третий остался восседать на диване, положив ногу на ногу и сохраняя равнодушное выражение лица. Костюм из добротного материала, косоворотка, расстегнутая по случаю теплой погоды, и аляповатые туфли из трехцветной кожи выдавали его непричастность к этому дому.

— Знакомьтесь, — торжественно-официальным тоном сказала Светлана, — Константин Егорович, заврайоно, Клементина Павловна, директор школы и преподаватель литературы. Оба по совместительству числятся еще моими родителями. А это, — Светлана повернулась к молодому человеку, — Эдуард Арсеньевич, или просто Эд, мастер вашего цеха, которого вы еще не знаете, потому как он в отпуске и тратит время довольно бесплодно. Фамилия — Суров, ударение на «у», хотя ему, как вы видите, больше подошло бы Сурóв.

И без этой характеристики Николай понял, что перед ним сидит человек, общительностью не отличающийся. Слишком холодно смотрели из-под тяжелых надбровий пронзительные, свинцовой окраски глаза, слишком плотно были сжаты губы.

— А теперь представляю вам гостя.— Светлана положила руку на плечо Николаю.— Николай Сергеевич Балатьев, новый начальник мартеновского цеха и... мой жених.

Наступила пауза. Тягостная, долгая. Константин Егорович застыл, втянув голову в плечи. Клементина Павловна недоуменно смотрела на дочь, ожидая то ли подтверждения только что сказанному, то ли признания, что это шутка. Николай от неловкости отвел в сторону глаза и наткнулся на откровенно враждебный взгляд Сурова.

Первой подала голос Клементина Павловна.

— Что-то все это не очень понятно... Как снег на голову... — залепетала она, не зная, что говорить и как вообще вести себя.

— А институт? — спросил Константин Егорович первое, что пришло в голову.

— Это мы с Колей обсудим.

— Светлана, я да и отец... Мы вовсе не так представляли себе... — Клементина Павловна старалась скрыть растерянность, но это у нее не получалось. — Я не узнаю тебя... Сколько вы знакомы?

— Мамочка, ну какое это имеет значение? Долго, мало... Разве время определяет...

Николаю показалось, что все это снится, что вот он ущипнет себя — и растает эта комната с папой, мамой, с нежданной невестой и сраженным соперником. Но нет, проснуться не удавалось, явь продолжалась. «Прямо как в старинном водевиле, — промелькнуло в голове у Николая. — Недостает еще, чтобы папа извлек припрятанную икону и благословил».

— Я достаточно взрослая, Коля тем более, — совсем вошла в роль невесты Светлана, — и мы вправе все решить сами. Вы, конечно, можете высказать свое мнение, но учтите, голос у вас только совещательный.

В течение всей этой сцены Суров сидел как пригвожденный, с каменным лицом, и видно было, что он с трудом осмысливал происходящее. Только последние слова Светланы встряхнули его. Засопел, неуклюже поднялся с низкого дивана.

— Ну, раз так, совещайтесь. — И стремительно вышел.

Клементина Павловна хрустнула сжатыми пальцами.

— Неудобно как-то...

— А это удобно — являться без приглашения, часами просиживать диван — и ни слова? Или заведет одно и то же: «Светлана, спойте. Светлана, сыграйте»... Очень нужна мне эта самодеятельность, особенно перед свадьбой...

Светлана осеклась. Переиграв, она поставила в немыслимо глупое положение родителей. А Балатьев что думает сейчас о ней? Взбалмошная девчонка? Это еще ничего. Хуже — опытная обольстительница, решившая таким вот неожиданным приемом заполучить мужа. А тут еще застывший упрек в глазах матери. Не выдержала, рассмеялась.

— Милые мои, неужели вы не поняли, что это шутка? А вы что скисли, Николай Сергеевич? Испугались?

Небезобидная выходка опрокинула представление Николая о Светлане как о благовоспитанной девушке, неспособной переступить общепринятые нормы поведения. Впрочем, в минус ей это открытие он не поставил — озорницы нравились ему больше, чем тихони и паиньки.

— Что же мы стоим? — придя в себя, спохватилась хозяйка дома. — Присаживайтесь, пожалуйста.

Занять место незадачливого ухажера Николаю было неприятно, сесть за стол показалась неприличным, и он затоптался на месте. Его замешательство Светлана истолковала иначе: хочет уйти, но не знает, как бы поделикатнее это сделать. Придвигая стул, повинилась:

— Право, не предполагала, Николай Сергеевич, что мой поступок так обескуражит вас. Не сердитесь, прошу.

Николай почувствовал неловкость оттого, что так легко попался на розыгрыш. Сказал, оправдываясь:

— Отдаю вам должное, вы мастерски сыграли свою роль.

— Иначе я не достигла бы цели — избавить себя от тягостных объяснений. — Светлана виновато смотрела из-под ограды ресниц, боясь осуждения, прося понимания. — Намерениями в таком случае не отделаешься, а доводы, если преподнести их в чистом виде, покажутся оскорбительными. Тем более ему, человеку, состоящему из одной спеси.

Характеристика, выданная Сурову дочерью, не понравилась Константину Егоровичу.

— Нашла спесивца! — возразил он. — Не спесь это, а всего-навсего защитная маска для прикрытия крайней стеснительности. Мужчины стыдятся своей стеснительности и всячески ее маскируют. Одни бравадой, другие нахальством, а он напускает на себя угрюмость или суровость, называй как хочешь. Вот кто спесив, так это Кроханов. За душой ничего, а изображает из себя мэтра. Впрочем, не будем трогать Кроханова, а то еще у Николая Сергеевича сложится предвзятое о нем мнение.

— Оно уже сложилось, — подхватил Николай. — И отнюдь не предвзятое. Мы с ним давно знакомы. Еще с Макеевки. Там о нем столько легенд ходило. — Усмехнулся. — Интересное прозвище у него было: Кругом-шишнадцать.

— Ой, до чего верно! — восхитилась Светлана. — Он и теперь так говорит.

Чтобы оживить разговор, Николай рассказал, как родилось прозвище.

— Попросил как-то Кроханов у директора на хозяйственном активе «шишнадцать» тысяч на ремонт заводского гаража. «Сколько-сколько?» — переспросил директор. «Шишнадцать», — уже членораздельно повторил Кроханов. Директор и резанул на потеху собравшимся — острый был на язык: «Просите либо семнадцать, либо пятнадцать. Для шишнадцати у вас артикуляция не приспособлена. На шишнадцать можете получить шиш».

Веселый рассказ неожиданно вызвал у Константина Егоровича отрицательную реакцию.

— Что же вы, Николай Сергеевич, в таком случае к нему в подчинение приехали? На что вы рассчитывали? Выбрать начальника, которого не уважаешь, значит не уважать себя.

— Па, тебе отказывает воспитание, — бросив на отца урезонивающий взгляд, сказала Светлана.

— Тебе оно уже дважды отказало. — В голосе Константина Егоровича прозвучали строгие нотки педагога. — С Эдуардом и вот сейчас. Пока я тебя воспитываю, дочка. Николай Сергеевич тоже мне почти что в сыновья годится, и я вправе спросить его: как это так получилось, что новый, растущий завод переменял на старый, умирающий?

Николай понял, что Константин Егорович пробует дознаться, что за человек его гость, и терялся в мыслях, как поступить. Лгать зазорно, да и все равно правда всплывет наружу, а рассказывать всю подноготную унизительно и ни к чему. Кто поймет, что бывает такое состояние, при котором все равно куда, кем и к кому ехать? А если и поймет, то воспримет, как непростительное для мужчины слабодушие. Решил спрятаться за цитату:

— «Ты хочешь знать, откуда я? Куда я еду? Я тот же, что и был и буду весь мой век: не скот, не дерево, не раб, но человек».

— Радищевым, дорогой мой, не прикроется, хотя нам, шкрабам, и приятно, что его помнят. — Константин Егорович заметно помягчел, но гостя в покое не оставил. — А все же как совместить ваш приезд сюда с мнением о Кроханове?

Николаю стало не по себе от настойчивого прощупывания его особы, но отмалчиваться было неудобно, и он сказал, опять-таки уклончиво:

— Такие грамотеи у нас не столь уж редки, а человеком он считался неплохим, даже в добряках числился. — Уходя от этого разговора, спросил: — Ваша семья давно в Чермызе?

Уловив в вопросе подвох — меня-де упрекаешь, а сам как умудрился сюда заплыть? — Константин Егорович отшутился:

— Совсем недавно. Всего с тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года.

У него своя манера шутить. Глаза оставались серьезными, и даже губы не дрогнули в улыбке. Выдержав паузу, соизволил разъяснить:

— Еще деда моего сюда занесло. Нет, не по доброй воле. По велению его императорского величества.

«Ах вот оно что. Отпрыск революционной интеллигенции,— заключил Николай и на сей раз более внимательно оглядел комнату. Много книг в добротных старинных переплетах, тисненых золотом, пианино красного дерева, высокое качающееся зеркало в нарядной резной раме.

— Влиятельная, видать, была фигура,— опрометчиво вырвалось у него.

Константину Егоровичу не хотелось посвящать гостя в свою родословную, но, учуяв в его словах осуждение, решил продолжить экскурс в далекое прошлое:

— Сослали за дерзость в поведении — подогревал мятежные настроения. В том году в пермской духовной семинарии разгромили демократический кружок и участников отправили в глубинку. Деда — сюда. Не священником, конечно, и даже не дьяконом, а учителем, и не закона божьего — не удостоился, и не русской словесности — там вольнодумствовать можно было, а учителем арифметики, полагая, что из дважды два кроме как четыре ничего не получится. Да не таковский был он, дед мой. Опять кружок с бунтарским духом, опять активная деятельность против самодержавия.

— Так вы, значит, почетные потомственные уральцы?

— Я — да, дочка потомственная, но еще не почетная, а мама почетная, но приبلудная.

— С Дона или с Украины?

Клементина Павловна как раз занялась сервировкой стола, и Николай исподволь стал рассматривать ее. Типичное лицо южанки. Черные как смоль волосы, зачесанные на пробор и собранные погречески на затылке, правильные дуги словно нарисованных бровей, а глаза неожиданно светлые, с зеленцой, точь-в-точь как дочерние.

— В качестве трофея взял, после того как беляков в море сбросили,— коротко, но емко объяснила Светлана, радуясь налаживающемуся контакту.— Мама у меня болгарка.

— Да-а,— задумчиво протянул Константин Егорович,— куда только не бросала нас молодость и ветры гражданской...

— Из-за него музыкальное училище не окончила,— простодушно посетовала Клементина Павловна.

Хотя обвинение было шутливым, Константин Егорович счел нужным оправдаться.

— Зато университет заставил кончить.

С улицы донеслись мужские голоса. Кому-то грозили, кого-то ругали, кто-то злобно, с придурью смеялся. Светлана прислушалась. Когда голоса поредели, сказала озабоченно:

— Вам нужно, Николай Сергеевич, подумать о своей безопасности. В поселке живуч обычай отбивать охоту у чужих захаживать к местным девушкам. Не исключено, что вас встретит на улице группа парней...

— ...с Суровым во главе?

— ...с Суровым или без него... и предложит дуэль на кулаках. Вам придется либо уйти дворами, либо...

«Бесенок ты с ангельской рожницей»,— подумал Николай и решил подыграть Светлане.

— Уличная потасовка не лучшее начало моей чермызской деятельности. И все-таки я предпочту ее бегству.

— Будем ужинать! — провозгласила Клементина Павловна, кинув осуждающий взгляд на дочь.

Уселись вокруг стола, на котором уже стояла разная снедь.

— Это брусника моченая к курице,— предложила гостью Клементина Павловна, уловив направление его взгляда.— На юге вы такого не увидите. Соленые грузди с чесноком, миш-маш болгарский...

— Наша семейная достопримечательность,— вставил Константин Егорович.— Этого, уверен, вы еще не пробовали.

5

Слух о предстоящей женитьбе Балатьева распространился молниеносно и, пожалуй, больше всех озадачил Кроханова. Совсем недавно он взял Светлану в качестве секретарши до отъезда в институт, так как старая секретарша ушла на пенсию, а подобрать новую было не так просто. Смекалистая и находчивая, Светлана быстро освоила стиль деловой корреспонденции, хорошо ориентировалась в потоке поступавших бумаг, знала, кому что лучше поручить, однако сейчас, в союзе с Балатьевым, представляла определенную опасность, поскольку была в курсе многих телефонных разговоров, огласке не подлежащих. Но заменить ее было некем, и Кроханову не оставалось ничего другого как ждать того дня, когда найдется более или менее подходящий человек.

Как-то встретившись с Балатьевым в молотобойном цехе, он спросил без всяких обиняков, чтобы проверить достоверность упорной молвы:

— Слышал, женишься?

— А вы меньше слушайте, Андриан Прокофьевич,— язвительно посоветовал Николай. Взглянув на директора в упор, добавил:— Нашлись такие, говорят, будто я от жены ушел, потому что диплом получил.

Укол оказался чувствительным, на лице у Кроханова даже проступила краска. Не найдя чем парировать, он напустился на Балатьева:

— А ты чего по чужим цехам околачиваешься? Делать нечего?

— Изучаю качество своей продукции — металл-то мой — и попутно люблюсь уникальной техникой.

Ирония покорила Кроханова.

— А чем она тебе не нравится?

— Разве я сказал — не нравится? Да ей цены нет! Такое бы в музей для потомков! А то снесут в один прекрасный день — и все канет в Лету и не будут внуки наши знать, с чего мы начинали.

— Ты эти вредные разговорчики за лето брось! — пригрозил Кроханов и, накаленный, отправился в глубь цеха, где производилась отгрузка готовой продукции, на ходу сообщив:— Через полчаса буду у тебя в цехе.

Николай действительно впервые видел такую обработку кровельных листов. Сложенными в пакеты их нагревали докрасна в печах и затем укладывали на широкие наковальни. Сам молот, называвшийся отбойным, был сущей диковиной. Насаженный на ствол березы, он поднимался вверх, падал на пакет с высоты и снова поднимался. Весь этот механизм приводился в движение водой, стекавшей на колесо, похожее на колесо обычной водяной мельницы. Для начала девятнадцатого века, когда его поставили, конструкция была остроумной, к тому же листы, обработанные таким способом, имели прекрасную, словно бы полированную поверхность. Отжиг, наклеп плюс небольшое количество меди в металле придавали ему гибкость и устойчивость против ржавения. Однако в середине двадцатого века агрегат этот выглядел немисливо архаично.

У Николая оставалось время, чтобы поесть, и он заторопился в столовую, усвоив из собственного опыта, что на сытый желудок неприятности переносятся легче, а от Кроханова, кроме неприятностей, он ничего не ждал.

Директор появился в мартене раньше обещанного. Не увидев Балатьева позвонил к себе обер-мастера.

— Ну, как привозной начальничек?

Аким Иванович по натуре человек честный, доброжелательный, однако жизнь и нравы, привившиеся на заводе, сделали его осмотрительным. Вот и сейчас он подумал, что хвалить Балатьева со всяких точек зрения вряд ли полезно, а наговаривать было не в его правилах.

— Разумное дите,— сказал он неопределенно.

— В металле петрит?

— Анализ на глаз берет, а по теплу... присматривается.

К печи Балатьев подошел как раз в тот момент, когда подручный сливал пробу на чугунную плиту.

— Пускать можно? — громко, чтобы слышали все печевые, спросил Балатьева Кроханов.

— Углерода на глаз примерно десять-одиннадцать сотых процента, а вот погреть еще нужно.

Только сейчас Аким Иванович заметил, что рамка на крохановском стекле точно такая, как у начальника цеха. Это свидетельствовало о том, что они земляки, что работали на одном заводе. Как поговору нетрудно определить, из каких мест России человек, так по рамке можно узнать, с какого завода. Их делают из дерева, алюминия, эбонита, делают с ручками прямыми и кривыми, совсем без ручек, делают прямоугольными и овальными, делают в виде очков обычных и раздвижных. Стекло у Кроханова в эбонитовой рамке с кривой ручкой подтверждало, что он с Макеевского завода. А ведь не говорил, стервец. Знали, что из Донбасса, а откуда именно — об этом молчок. И Балатьев — ни гу-гу, точно сговорились. Но Балатьев, может, не успел — сколько он на заводе? — а Кроханов с чего?

— Ну и спец,— проворчал Кроханов и скомандовал в обход Балатьева:— Давай пускай! Нечего ее мариновать!

Чечулин знал, что прав Балатьев — плавка была холодновата,— но перечить Кроханову не стал. Он жаждал посрамления директора, который вбил себе в голову, что на заводе он самый-рассамый крепкий специалист, и не упускал случая подчеркнуть это. Перевел взгляд на Балатьева, заметил в глазах у него коварный огонек и понял, что начальник тоже не прочь отбить охоту у директора действовать через его голову.

Когда, полыхнув, плавка ринулась в ковш, Кроханов и Балатьев заспешили на заднюю площадку, чтобы понаблюдать за разливкой.

Благополучно налили сорок изложниц на первом поддоне, на втором. Кроханов торжествующе вытянул палец — кто, мол, прав, хорошо разливаается? Балатьев тоже ответил движением пальца, но иным, предостерегающим — подождем малость. И тут началось. На третьем поддоне в отдаленные изложницы сталь уже не пошла, на четвертом удалось наполнить доверху только половину изложниц, в остальных получились недоливы разной величины — мальчишки, как называли их тут и вообще во всех старых цехах,— на пятом поддоне сталь застыла уже в центральной, откуда по принципу сообщающихся сосудов должна поступать в изложницы.

Поняв, что наколослся, Кроханов повернулся было, чтобы ускользнуть от позора, но Балатьев остановил его.

— Нет уж, товарищ директор, взялись командовать, командуйте и дальше. Я не беруся.

— Не берешься?! Не знаешь, что делать?! Гони на яму!

Ковш повезли в тупик пролета к яме, перегороженной кирпичными стенками на мельчайшие ячейки, чтобы застывший металл легко было оттуда извлечь и без разделки отправить на переплавку в мартеновскую печь.

— Куда же вы? — окликнул Балатьев Кроханова, когда тот, избегая злых взглядов печевых, направился к выходу из цеха.

- Как это куда? Известно — к себе.
- А почему не ко мне? Надо подписать паспорт плавки.
- Ну и подпиши.
- Порядок везде один: кто пускал, тот и подписывает.

Следившие за этим поединком печевые даже заправку печи прекратили. При таком зрелище присутствовать им еще не приходилось и было крайне интересно, кто одержит верх.

Не будь рядом безмолвных свидетелей, увильнул бы Кроханов, да и только, но деваться было некуда, пришлось последовать за Балатьевым в конторку, чтобы поставить свою подпись в паспорте злополучной плавки.

Едва директор ушел, как в конторке появился Аким Иванович Чечулин.

— Зря вы так, ей-богу, — не скрывая озабоченности, попрекнул он Балатьева. — Всякий человек на обиду склонный, а уж начальство... Начальство уж как не любит, когда под ним стоящий оказывается правый. Ошибку еще простит, а вот правоту — ни в жизнь.

— Зато теперь не будет совать свой толстый нос в наши дела. — Николай резал слова, так как в нем все еще бушевало раздражение. — Не умеешь — не берись.

— Лучше б я этот грех взял на себя, — продолжал сокрушаться Аким Иванович, сочувственно глядя на начальника. — Мне сподручнее. Пришлось попускать их на своем веку и холодных и горячих. Одной больше, одной меньше...

Долго еще не мог успокоиться бывалый мастер. Даже самокрутка у него не получалась — либо расклеится, либо прорвется.

— Теперь он, натурально, начнет копать под вас, мину подводить. — Аким Иванович в сердцах бросил кiset на стол, так и не закурив. — Уж он вам покажет, где у жабы цыцки.

— Тогда мне останется одно: объявить войну, — решительно заявил Балатьев.

— Вы и так уж ее объявили.

Придя в цех на другое утро, Балатьев обнаружил, что злополучный паспорт выдеран из книги, переписан заново и вместо подписи Кроханова, размашистой и ясной, в нем стояла такая замысловатая закорючка, какую и опытному криминалисту не разгадать. Вызвал с площадки Акима Ивановича.

— Чьи художества?

Обер-мастер растерянно заморгал.

— Н-не знаю...

— Но все-таки можно установить, кто брал книгу?

Всякие фокусы с отчетностью допускались на заводе. Бывало, плавку в журнал сегодняшним днем не записывали, чтоб завтрашним числилась, бывало, записывали невыпущенную, когда к плану металла не хватало, было однажды, что на целую неделю вперед залезли, когда месячный план вытаскивали, не было только, чтоб документ подменили так бесстыже.

Аким Иванович передвинул кепку на затылок, крутовыми движениями пальцев потер лоб, собираясь с мыслями.

— А кто скажет, ежели даже видел? Люди за место зубами держатся. Это у вас из города в город легко, все одно что с квартиры на квартиру. А тут? Сбывай дом и скотину за бесценник и лети в белый свет. И кто знает, сгодишься ты на новом заводе или переучиваться надо.

— Значит, любую подлость терпи, любой подлости потворствуй. Так?

Пристыженный обер-мастер надвинул кепку на глаза, прикрыв их как щитком.

— Это от характера. Кто терпит и потворствует, а кто и не потворствует.

Незамысловатая философия рассердила Балатьева. В Донбассе он сталкивался с людьми, вникающими во все события цеховой жизни, активно влияющими на них. Попробуй там начальник цеха допустить незаконные действия — ему такое пропишут, что небу жарко станет. А здесь создавалось впечатление, что если власть имущий даже паровой котел прикажет вниз трубой поставить — поставят: всякая власть от бога.

— А вы? У вас какой характер? — спросил Балатьев, не сумев притушить раздражения.

Спокойно посмотрев начальнику в глаза, Аким Иванович так же спокойно ответил:

— Вы что, поп, чтоб меня исповедовать? Или следовательно, чтоб допрос снимать? — Взглянув в окно, покачал головой. — Опять завалку остановили, лошадей кормят.

Балатьев тоже посмотрел в окно.

— Да неужели, черт побери, нельзя их в разное время кормить?

— Не-е,— благодушно отозвался Аким Иванович, довольный тем, что удалось переключить гнев начальника с себя на заведенный распорядок. — Они время свое знают. Начнут одну кормить — другая возить перестает, не сдвинешь с места хоть ты что. А вороная — так та, стерва, на дыбки сразу и зубы скалит, как собака, попробуй подойди.

Поздно вечером, передавая по телефону сведения о работе за сутки начальнику планового отдела Бесову, тертому и истертому жизнью человеку, ко всему равнодушному и ничему не удивляющемуся, Балатьев попросил, чтоб в графе «Простой печей» тот записал: «Один час лошади обедали». Очень хотелось ему, чтобы о необычном простом узнал начальник Главуралмета, хотя уверенности в том, что Бесов оставит запись в таком виде, не было.

Однако запись дошла без исправления. Об этом Балатьев на другой день узнал от Светланы.

— Ну и заварили вы кашу, Николай свет Сергеевич! — Девушка захлебывалась от восторга. — Начальник главка такую взбучку устроил Кроханову по телефону... Выскочил он из кабинета красный, как мухомор, и на рысях на конный двор.

С этого дня печи из-за лошадей больше не простаивали. На время кормления, если это совпадало с завалкой, приводили подменных лошадей, и те возили вагонетки, пока дежурные не спеша жевали овес. Теперь они работали по девять часов, правда не все. Вороная, например, твердо усвоив распорядок, по-прежнему выходила из конюшни только по заводскому гудку, а среди смены ее ни кнутом, ни уговорами выгнать было невозможно. Она скалила зубы, норовила укусить, если же это не помогало, брыкалась и забивалась в угол, где подойти к ней было и не с руки и опасно.

6

Трудно работать, когда за тобой неусыпно следят, с нетерпением ждут промахов, а еще больше — крупных ошибок. Кроханов постоянно держал Балатьева под прицелом, фиксируя все его действия, и раздувал всякое, даже незначительное происшествие. Ушибла работница палец на газогенераторе — и на селекторном совещании директор раздeldывал Балатьева под орех, да так ретиво, будто в этом был виноват он и только он. За сим следовали выводы, тоже безапелляционные: начальнику цеха не дороги люди, о них он не беспокоится и вообще он ни о чем не беспокоится. А если с лошадью случилось что-нибудь — а с ними часто что-либо случалось: то ногу оцарапают о железо, то удерут от зазевавшегося коногона, — Кроханов пускался в такой тонкий анализ лошадиной психологии, будто был рожден на конном дворе и вскормлен молоком кобылицы.

— Лошадь — животная умная, она все понимает, только что не говорит, — абсолютно серьезно поучал он, упиваясь своим красноречием. — И к ней подход надлежащий иметь надо. Одна к ласке чувствительная, другую требуется в строгости содержать, но не перегаивать — скотина тоже до времени терпение имеет. И самое главное, всех их любить надо, как любили свою жену тогда, когда она невестой была, зная, что ей ндравится, а что нет, конюхов подбирать по соответствию ее норова и характера. Обозлили вороную сызмальства — теперь маются с ней и будут маяться до конца ее жизни, оттого как лошадь она сильная, работающая, старания примерного. Списать ее — все равно что зазря уволить хорошего работника.

Если б вот так да о людях. О людях от Кроханова никто никогда ничего хорошего не слышал.

В Макеевке, где одна доменная печь давала чугуна больше, чем шестьдесят старых уральских домен, селекторное совещание продолжалось не более часа, на Магнитке, где объем производства был еще больше, — пятьдесят минут, здесь же совещания затягивались, в зависимости от настроения Кроханова, до двух часов. А толку что? Сидят начальники отделов в кабинете директора, начальники цехов в своих конторках, подремывают себе потихоньку вдали от бдительного ока, и каждый просыпается лишь тогда, когда услышит свою фамилию, и то если услышит.

Фамилия начальника мартеновского цеха упоминалась чаще других, по поводу и без повода. Сначала Николай, выслушав благоглупости, пытался оправдаться, оспаривал несуразные обвинения, потом, поняв, что это лишь удлинит нравоучения, стал отмалчиваться. И хотя порой его обуревало неистовое желание ответить такой резкостью, какая навсегда отбила бы охоту у Кроханова упражняться в остроумии, он обуздывал себя, памятуя совет секретаря райкома не поддаваться на провокации.

Во время этих нудных высиживаний у телефонного аппарата Николай находил успокоение в книгах. Слушая монотонный, как шум дождя, голос Кроханова, он читал, благо в библиотеке Давыдычевых хранилось много книг, которые раньше ему не попадались. Вот о Федоре Сологубе и Помяловском он только слышал от родителей. Книги были страстью Константина Егоровича, страстью давней и устойчивой, страстью наследственной. Заядлый книголюб и книголюб, он и поныне, выезжая в большие города, шарил в закоулках букинистических магазинов в надежде выискать какое-нибудь редкостное издание. Но обладание сокровищами не превратилось у него в самоцель. Он охотно давал книги другим, иногда даже навязывал, требуя лишь бережного к ним отношения. Нарушивший это правило мог на глаза ему больше не показываться. Получая с этим условием книгу, Николай всегда опасался, чтоб она не исчезла из конторки, как исчез паспорт холодной плавки.

Однако чтение не всегда спасало его от размышлений. А размышления эти были не из веселых. На первых порах к нему применили простой, но весьма действенный прием, посредством которого Кроханов и Дранников избавлялись от неудобных чужаков, — оставить начальника без подмоги, то бишь без заместителя. Такого испытания здесь почти никто не выдерживал, особенно молодые инженеры. От Светланы Николаю стало известно и о более грубом приеме, который был использован, когда потребовалось ускорить события. Спровоцировав начальника цеха на ответную ругань, Дранников вызвал вахтера и приказал вывести «хулигана» из цеха. Вахтер вытащил начальника за ворота завода. Кроханов разыграл возмущение допущенным произволом, устроил разнос начальнику охраны, вахтера приказал снять с работы, а Дранникову объявил строгий выговор, который, кстати, нигде не был зафиксирован. Однако начальник сам уразумел, что после такого конфуза ему на заводе оставаться нельзя, и, ко все-

общему удовольствию, подал заявление об уходе по собственному желанию. В итоге Дранников снова стал начальником цеха, вахтер занял прежний пост, и все в который раз убедились, что крохановский протезе несораем.

Николай полагал, что к нему подобный метод Кроханов не применит, но был уверен, что какие-то козни против него замышляются. Своими опасениями он поделился с Константином Егоровичем, когда однажды застал его дома в одиночестве. При Светлане он не завел бы такого разговора, боясь показаться малодушным, а без нее выложил все не таясь.

Константин Егорович успокоительных слов не нашел, да и не считал нужным искать их — привык смотреть на вещи прямо и приучал к этому других.

— Э, батенька, плохо вы знаете Кроханова.— В голосе его слышалась легкая грусть.— Пока еще ни один человек, по той или иной причине с ним не сработавшийся, на заводе не удержался. Этот уездный Макиавелли необычайно изобретателен по части интриг. Есть такая богомерзкая порода людей: попал волею случая в руководящее кресло, вцепился в него зубами и давай выживать всех, кто повыше его интеллектом или знаниями, а тем более кто с норомом да со своим «я». Самыми беззастенчивыми способами.

— Но и у Дранникова, говорят, норов не ангельский.

— Ну, Дранников, во-первых, не светоч, а во-вторых, у них общее жизненное кредо: поменьше хлопот, побольше выпивки. И всякий, кто их спокойствие нарушает — иначе мыслит или, что еще опаснее, иначе действует,— зачисляется в злейшие враги. И с этим, к сожалению, здесь уже смирились.

— По причине христианского непротивления злу?

— Да нет, просто людей примяла обреченность завода. Пусть еще год, пусть еще два, но все равно дело идет к трагической развязке. Так стоит ли воевать и за что воевать? А вообще народ тут истари крутонравый, независимый. В свое время к Пугачеву тянулись, да не дошел он сюда. И вам, наверное, нелишне будет знать, что именно в нашем глухом местечке родилось первое в Прикамье революционное движение.

— А разве не на Мотовилихе, под боком у сравнительно большого города?

— Представьте себе, на Мотовилихе было позже. А первую организацию — «Общество вольности» — основал здесь некто Петр Поносов еще в тысяча восемьсот тридцать шестом году.

— Постойте-постойте, а в каком году пущен завод?

— Ну, батенька, об этом вам следовало бы знать.

Почувствовав себя посрамленным, Николай перешел к защите:

— Я знаю, когда печи мартеновские пущены. Одна девятьсот первого года рождения, другая девятьсот восьмого, а вот завод...

— Завод — в тысяча семьсот шестьдесят первом году.

— Ого! Солидный возраст. А как получилось, что завод построили именно здесь? Ни руды, ни известняка, ни сырья для огнеупоров, к тому же такая глушь. Какими экономическими соображениями руководствовались строители?

Константин Егорович усмехнулся наивности вопроса.

— А где тогда на Урале не было глуши? И место самое что ни на есть экономически подходящее. Топливо рядом — хвойные леса не объять, удобный профиль для огромного пруда, источника дешевой энергии. А Кама? Великолепная транспортная магистраль и для подвоза сырья и для вывоза продукции — по сию пору самый дешевый транспорт, как вы знаете, водный. И даровая рабочая сила — крепостные. А какой мощный стимул появился у предпринимателей, когда в тысяча семьсот девятнадцатом году Петр Первый издал очень примечательный, я бы сказал, основополагающий указ.— Константин Егорович за-

крыл глаза, чтобы сосредоточиться, и процитировал наизусть: — «Созволяется всем и каждому дается воля, какого бы чина и достоинства ни был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы». Запомнили? Всем и всякие...

В этот вечер Николай узнал полуторавековую историю мест, где неизвестно сколько предстояло ему жить и работать.

Строили завод крепостные барона Строганова. Сгоняли их сюда за триста и даже за пятьсот верст. Тут они отработывали барщину по двести, а то и по двести восемьдесят дней в году, в зависимости от величины оброка, падавшего на семью. Первоначально на заводе выплавляли медь, а когда в 1768 году появилась доменная печь и две железодельные фабрики, стали изготавливать железо. Сначала обычное, потом и листовое. В Европе изобретателем листового железа считают шотландца Корта, хотя выделал он первые образцы на пять лет позже чермызского. И получилось: наше листовое железо вскоре после появления до Англии дошло — семнадцать тысяч пудов продали, — а слава за Кортом осталась. Некому было в тогдашней России популяризовать отечественные достижения. Изобрел — и ладно, было бы для себя.

Строгановы оказались хозяевами незадачливыми. В 1777 году большую часть их пермских угодий прибрал к рукам армянский дворянин Лазарев, от которого они перешли к княгине Елизавете Абамелек-Лазаревой. А угоды эти составляли как-никак восемьсот тридцать тысяч десятин. К началу Отечественной войны 1812 года завод отлил четырнадцать тысяч семьсот пудов ядер и бомб весом от шести фунтов до трех пудов. Последний Абамелек-Лазарев в самом начале двадцатого века снес доменную печь из-за ее невыгодности и построил две мартеновские печушки, которые стали работать на привозном, опять-таки по Каме, более дешевом чугуне. Этот крупнейший магнат — его латифундия была одной из самых обширных в крае — жил то в столице, то за границей, вращался в высшем обществе, посещал Льва Николаевича Толстого, изображая из себя вольнодумца и либерала, а на самом деле ради популярности и чтобы удовлетворить свое тщеславие. На заводах он почти не бывал, но умел подбирать управляющих с волчьей хваткой. Самым лютым его служакой был главный управляющий Пивинский. Жил он в Чермызе, но ведал всеми заводами. Нещадно эксплуатируя рабочих, он старательно приумножал богатства хозяина. Около пяти миллионов чистой прибыли получал Абамелек-Лазарев ежегодно. Мало того что Пивинский самолично установил непомерно низкую оплату труда, он еще деньгами выдавал только половину причитавшегося. Остальное рабочие получали товарами и продуктами по заборным книжкам из амбаров и лавок, где цены были тоже произвольные. Женщинам и детям, работавшим наравне с мужчинами по двенадцать часов в день, платили вдвое меньше.

В ноябре 1905 года, потеряв всякое терпение, рабочие остановили завод, а Пивинского выволокли из особняка, обули в лапти и на глазах тысячной толпы водили по поселку, грозя бросить в прорубь. С перепугу он подписал согласие удовлетворить требование о прибавке жалованья; но как только его отпустили, сразу телеграфировал пермскому губернатору, чтобы тот прислал казаков. Губернатор требование выполнить не смог — в то время местный гарнизон с превеликим трудом сдерживал революционный натиск рабочих на Мотовилихе, — но телеграмма встревожила его не на шутку, и он запросил о военной помощи министра внутренних дел. Губернатор опасался, как бы пример Чермызы не оказал дурного влияния на другие заводы Урала, где обстановка тоже была напряженной. Однако и министр не смог помочь. Только спустя пять месяцев прислал он карателей. Все это время заводом и поселком управлял Совет рабочих депутатов, один из первых Советов на Урале.

Но не с этого началось революционное движение в поселке. Корни его уходят далеко вглубь. В конце 1836 года в заводском училище для подготовки административно-технического персонала раскрыли тайное общество, членами которого были молодые люди в возрасте от семнадцати до двадцати трех лет. На допросе руководитель общества сын крепостного крестьянина Петр Поносков показал, что «Общество вольности» имело свой устав и составило воззвание, призывавшее к свободе. Судьбой девяти арестованных распорядился сам Николай I. Их отправили в Петербург, где заточили в Петропавловскую крепость. Это были необычные для нее узники — до сих пор в крепость попадали политические других, высоких сословий. Потом одних сослали на Кавказ, других — в Финляндию, в арестантские роты, где было еще тяжелее, чем на каторге.

Полковник жандармского управления, присланный на завод для изучения обстановки на месте, доложил царю, что в Пермской губернии заводские люди организованы более, чем в других губерниях, что заводчики Урала имеют училища, в которых преподаются ненужные мастеровым и крестьянам предметы: основы государства Российского, русская литература, всеобщая география и всеобщая история. По указу Николая I училище Лазаревых было закрыто.

Константин Егорович и Николай уже пили чай, когда простучали каблучки по ступенькам крыльца и в комнате появилась Светлана.

— Вы о чем, затворники, если не секрет? — спросила она, почувствовав по настроению мужчин, что разговор был серьезный.

— Да вот убеждаю Николая Сергеевича проветрить мозги, поохотиться, — сманеврировал Константин Егорович.

Хотя Николай не понял, почему Константин Егорович уклонился от ответа, но из мужской солидарности подхватил игру.

— Только никак не могу взять в толк, как это в начале июня... До Петрова дня, когда...

— Подтверди, пожалуйста, что сроков тут не соблюдают, — обратился Константин Егорович за содействием к дочери. — Тем более на селезня. Бьют когда кому вздумается.

— А если утка попадет на мушку? Разве в горячке отличишь? — вяло отбояривался Николай.

— О, это проще всего! — с самым невозмутимым видом, с которым изрекал и серьезные истины и отпускал шуточки, отозвался Константин Егорович. — Если полетела — утка, а если полетел — селезень.

Николай и Светлана не сразу добрались до смысла фразы, а когда добрались, прыснули.

— Патронов не захватил, — продолжал отнекиваться Николай.

— Не беда, у меня найдутся.

Довольно потирая руки, Константин Егорович стремительно вышел вон из комнаты.

Светлана усмешливо посмотрела ему вслед.

— Хитер у меня папочка. Утятинки захотелось, а самому бродить лень. — И тут же, устыдившись напраслины, возведенной на отца, сочувственно добавила: — Ревматизм его донимает — в гражданскую заработал. Временами еле ходит, а чтоб пожаловаться... Он у нас стойкий.

Подойдя к раскрытому пианино, Николай перелистал ноты на пюпитре, добрался до титульной страницы.

— Оффенбах. Этюды.

— Это мамин репертуар, — пояснила Светлана. — Мой попроще, и играю я поплоче. Только для себя.

— Не только, — улыбнулся Николай. — И для Сурова.

Реплика пришлась Светлане по душе — в ней прозвучало что-то похожее на ревнивый упрек.

— Знали бы вы, как трудно было от него отбиться. Такой меломан...

— Лирик с выражением громилы.

— Николай Сергеевич, к поверженным надо быть великодушным.

— Кстати, вам известно, что он рассчитался и уехал?

— Значит, вы ему активно не понравились.

— А как могло быть иначе, если вы активно нравились?

— Зачем он так?..— Светлана сожалеюще вздохнула, но, спохватившись, как бы Николай не истолковал этот вздох превратно, поспешно добавила:— Для вас это будет ощутимая потеря. Он превосходный мастер и единственный грамотный мартеновец. Дипломированный техник как-никак. Кроме того, человек он чистоплотный и справедливый, на него вы могли бы опереться.

О Сурове как о хорошем мастере Николай слышал в цехе, а вот о человеческих его достоинствах никто даже не обмолвился, и оценка Светланы показалась неожиданной. Николай пожалел о случившемся. Впрочем, не мог он предпринять что-либо наперекор Кроханову, поскольку тот отпустил Сурова не только без его, начальника цеха, согласия, но и без его ведома. И как ни стыдно было Николаю признаться Светлане, что Кроханов обошел его, все же он сделал это.

— Думаю, если б вы и попытались воспрепятствовать желанию Сурова, из этого ничего не вышло бы,— сказала Светлана.— Он был уязвлен в лучших своих чувствах и не смог обуздать гордыни.

— Указ сорокового года, запрещающий покидать место работы без разрешения администрации, кого уютно обуздает. Не будь его, я в первый же день дал бы от ворот поворот.

Константин Егорович вернулся с патронташем, бумажным свертком и футляром, очень похожим на те, в каких носят скрипки. Патронташ вручил Николаю, пояснив:

— С мелкой дробью — для правого ствола, с крупной — для левого. У вас какая сверловка?

— Правый — цилиндр, левый — чок.

— Хорошее соответствие. Для близкого выстрела и для дальнего.

Положив футляр на стол, Константин Егорович открыл его. На зеленом бархате покоились вороненые стволы с художественной гравировкой, цевье и резное ореховое ложе. Такого ружья Николай никогда не видел и замер от восхищения. Даже невольно протянувшуюся к оружию руку задержал в воздухе, боясь притронуться.

— «...Лепажа стволы роковые...»,— патетически произнес обладатель этого произведения искусства.

— Неужели лепажевское?! — вырвалось у Николая.— Я знал, что эта фирма выпускала дульные пистолеты, а о ружьях не слышал.

— Представьте себе, тоже, правда считанные единицы и только штучной работы. Но вам я его не дам. И вот почему.

— Никому не доверяй жену, ружье и коня? Думаю, это не только казацкая поговорка.

Лицо Константина Егоровича расплылось в добродушной улыбке.

— О нет, вовсе не потому. Доверить я могу. Но вот в чем беда: левый курок у него почему-то дает осечку. Исправить у здешних мастеровых такой тонкий инструмент не решаюсь, вот и лежит без применения.

Левый курок и в «тулке» Николая, бывало, давал осечку, но он умолчал об этом, дабы не навести Константина Егоровича на мысль, что и с таким дефектом готов взять лепажевскую двустволку.

— И сапог у меня нет,— добавил он.

— У меня тоже нет,— уже жестковато проговорил Константин Егорович, рассерженный стойким сопротивлением.— Но не найти у нас болотных сапог — все равно что не найти снега зимой.— Подумал.— У Чечулина есть!

— У какого? У меня Чечулиных...

— У сталевара вашего, Вячеслава. Кстати, он недалеко от вас живет. Перейдете площадь, затем по мостку через протоку, завер-

нете за первый угол. Пятый дом справа, по-моему. Дом необычный, в некотором роде даже музейный.

Константин Егорович развернул бумажный сверток и выложил на стол смазанную воском тонкую бечеву, свернутую как лассо, с несколькими грузилами на конце.

— Это накидка, чтоб в воду не лазить,— пояснил он.— Наброси-те с берега на добычу и тяните полегоньку к себе.

Николаю очень хотелось перемолвиться еще несколькими слова-ми со Светланой, но Константин Егорович поторопил его:

— Идите, пока не легли. У нас в эту пору с курами засыпают. Поверьте моему опыту: что откладываешь на потом... Вам очень не мешает встряхнуться, а завтра как раз воскресенье, к вашему отсут-ствию не придерутся.

— Ни пуха ни пера,— пожелала Светлана.

Николай смущенно улыбнулся ей.

— Не могу ж я ответить, как полагается охотникам, «к черту».— И шепнул с нежностью, какой до сих пор не позволял себе: — До завтра, Светланаочка.

Однако дойти к Чечулину беспрепятственно Николаю не удалось. Едва он миновал первые дома улицы, на которой тот жил, как услы-шал за собой торопливые шаги и, обернувшись, увидел догонявшую его работницу газогенераторов Клаву Заворыкину, или Заворушку, как звали ее в цехе. Молодая опрятная вдовушка с миловидным ли-цом и озорными глазами, пышногрудая, как кустодиевская купчиха, сияла неподдельной радостью.

— Что ж это вы проходите мимо, товарищ заведующий? Загля-нули б. Неужто неинтересно, как рабочие живут?

— Вот как раз за этим я иду к сталевару Чечулину.

— Сталевары, сталевары...— досадливо произнесла Заворыки-на.— Им и слава, и премия, и теплые слова. А что они без нас? Газу не дадим — сразу закиснут.

— Я не солнце, всех не обогрею.— Николай невольно перевел взгляд с пышущей здоровьем физиономии на вырез кофточки, не за-стегнутой на груди либо в спешке, либо с умыслом.

— Хоть на минутку зайдите. Посидим, за жизнью потолкуем. Ежели чем подсобить — я готовая.

От вкрадчивого голоса, от открытого, беззастенчивого призыва Николай смутился, как подросток.

— Когда-нибудь в другой раз,— пообещал он, лишь бы отделать-ся от назойливой женщины, и тотчас сообразил, что сказал не то и не так, что фактически подал надежду. Теперь Заворыкина не успо-коится со своими притязаниями.

Заворыкина и впрямь посветлела лицом, залучилась глазами. Полуобернувшись, показала на свое обиталище.

— Смотрите не забудьте. Фуксия на окошках и вышитые занавески.

Николай кивнул, о чем снова тут же пожалел, и быстрым шагом пошел дальше.

Дом Вячеслава Чечулина под двускатной крышей походил на ска-зочный. Наличники и особенно наверхья окон украшала сложная пропильная резьба с причудливыми узорами из переплетений всяких-разных растений, а также зверей и птиц, реальных и фантастических. Орнамент обрамлял и тесовые полотнища ворот с навесом и калитку, а самый верх крыши венчало какое-то крылатое существо, похожее не то на дракона, не то на коня. Это была виртуозная работа само-бытного художника.

Балатьева заметили. Первым в окне показалось смышленное лицо ушастенького мальчонки, затем женское лицо, затем тощая физионо-мия Вячеслава Чечулина. Не прошло и минуты, как он вышел из калитки в матерчатых тапочках на босу ногу и в тенниске, стянутой на

груди шнуром. Брезентовая спецовка, которую носил в цехе, делала его представительнее, а без нее — кожа да кости.

— Нежданный гость...

Чечулин хотел еще что-то сказать, но Николай опередил его.

— ...хуже татарина?

— Лучше самого дорогого сродственника, — обиженно поправил сталевар, пропуская гостя в калитку. — Вы завсегда званы.

Двор, устланный досками, сиял чистотой. Крыша над ним погружала все в полумрак, но Николай рассмотрел расположенные вокруг надворные постройки, и амбар, и сеновал над ним, и хлев, где похрюкивали свиньи, и огромную поленницу, сложенную компактно и как по отвесу ровно.

Сбросив в сенях туфли, в носках проследовал в большую комнату, по-здешнему горницу.

Бревна, из которых был сделан сруб, не знали ни штукатурки, ни побелки, но, тщательно ошкуренные, казались полированными. Вдоль двух стен скамьи, толстые, широкие — на таких не только сидеть можно, но и спать, — в углу стол, некрашенный, залоснившийся от времени. В простенках между окнами репродукции в рамках: «Утро в лесу», «Охотники на привале» и старинный лубок «Сказание о Бове Королевиче». У правой стены самоделковый шкаф, застекленный сверху донизу и заполненный берестяными туесками разной надобности. На нем тоже глубокая резьба и тоже с растительно-зверинными мотивами, по чьему-то недомыслию нелепо раскрашенная. С обеих сторон от этого сооружения фотографии родичей, пожелтевшие от времени и недавние, а на противоположной стене наперекрест два ружья — вполне современная изящная бескурковка и старая шомполка с невероятно длинным и толстым стволом.

Значительную часть комнаты занимала русская печь с лежанкой, на которой, накрывшись овчинным тулупом, похрапывала старая женщина с тонким, как у великомучеников на иконах, лицом. И в полном несоответствии с этой обстановкой на подоконнике красовался сверкающий лаком и никелем мощный радиоприемник «Супергетер I—СВД».

— Вот так и живем... — извиняющимся тоном произнес хозяин.

Оглядевшись, Николай заметил, что в сумеречном углу за печью кто-то сидит на скамье в длинном синем армяке, перепоясанном кушаком. Только когда глаза освоились с темнотой, разобрался, что это раскрашенная деревянная скульптура, выполненная в натуральную величину. Вячеслав засмутился.

— Давно хотел выбросить, да бабка ни в какую. Его, говорит, в амбар — и я в амбар, его со двора — и я со двора.

— Кто же это? — Николай подошел ближе к углу.

На него тупо смотрело скуластое лицо со свисающими усами.

— Иисус. Пращур мой делал для церкви, да церковь сгорела и бог не понадобился. Вот и торчит в доме черт-те сколько лет, людей пугает. Спасибо хоть бабка разрешила из красного угла убрать.

— Ин-ге-ре-сно, — протянул Николай. — Христос с лицом мужика, в армяке, как возница.

Вячеслав:

— Каждый делал бога на свой лад. А одежда, что на нем, шабуром называется. С коми-пермяцкого пошло, потому как из шабурины шьется, полотна такого домотканого. — Чтобы отделаться от этого разговора, спросил: — Что пить будем? Водка в доме не водится, а что касемо наливки — на выбор. Брусничная, черничная, княженичная, костяничная.

Николай сделал категорический жест.

— Мне рапорт в одиннадцать принимать.

— А мне на смену с одиннадцати.

— Ну тем более.

Вячеслав повернулся к двери, которая вела в соседнюю комнату, крикнул:

— Ефросинья, где твоя бражка?

Вошла хозяйка дома в новенькой кофте, сшитой по всем правилам моды 1913 года — рюшечки, складочки, множество пуговиц, в талии затянута, на бедрах расширена воланом. Поставив на стол тукесок, до краев наполненный мутновато-бурой жидкостью, приветливо улыбнулась гостю как давнишнему хорошему знакомому, подала дочечкой руку, поклонившись, произнесла:

— Потчуйтесь, Николай Сергеич.

То, что назвала она гостя по имени и отчеству, означало: хозяин дома и за глаза своего начальника иначе не величает.

Вячеслав нетерпеливо показал на скамью у стола, сказал с уральской особенностью:

— Ну что ж, сяли, в ногах правды нет.

Небольшим деревянным черпаком Ефросинья разлила бражку по старинным, зеленоватого стекла кружкам, одну подвинула гостю, другую мужу и исчезла.

— Бражку эту мы и на сенокос берем и когда лес рубить ездим — вкусно и сытно, — пустился в объяснения Вячеслав. — Вы не смотрите, что мути много. Это солод ржаной. Глотнешь — сразу и выпил и закусил. Я вот только недавно из одной книжки узнал, махонькой такой, что солод — это витамин це, для здоровья очень полезительный. Так что деды-прадеды не дураки были, а?

Николай подтвердил, что напрасно некоторые считают, будто умные люди только в двадцатом веке появились. Такие открытия, как огонь, колесо, письмена, календарь, в незапамятные времена сделаны, и до сих пор ими пользуются. А неувыдающие краски, секрет которых был известен старым мастерам, — показал глазами на скульптуру — воссоздать пока что так и не удалось.

Отхлебнули бражки. Вкус ее Николаю не понравился, может, с непривычки. Но виду не подал, чтоб не обидеть хозяина — люди здесь гостеприимны, но горды.

— А куда хозяйка скрылась? — не без умысла осведомился он, заподозрив, что в этой семье порядки домостроевские. — Неловко как-то без нее.

— Бабы у нас не приучены в мужицкой компании отираться. Ихнее дело — подать, принять и умотать.

— А переучить нельзя?

Вячеслав от такого вторжения в его личную жизнь сразу сменился злым.

— В чужом монастыре... Это у вас там, сказывают, на баб никакой управы, на мужиках верхом ездят.

Беседа дальше не заладилась. Пили бражку, молчали. Чтобы разрядить обстановку, Николай спросил, выразительно взглянув на ружье:

— Что за самопал?

— Са-мо-пал? — еще более осердился Вячеслав. — Это кормилица моя! — Посмотрел на дверь, из которой высунулась донельзя беляя головенка. — Ну иди, иди, — позвал сына. Усадив к себе на колени, продолжил: — С той двустольной пшикалки много не набьешь. По одной — и то попасть трудно. А это добычливое. Осенью, когда утка к отлету готовится, она вся как есть на середке пруда собирается. С чего — не знаю, а только пестрым-пестро. Но близко не подпускает. Вот тогда я делаю на лодке скрад из лозняка, ну, маскировку такую, и гребу полегонечку. Подгроб шагов на сто да ка-ак пальну! Потом отлежусь маленько...

— А зачем отлеживаться?

— Так оно ж отдает, окаянное! — по-взрослому объяснил непонятливому дяде мальчуган. — Как пушка.

— С носа аж на корму отлетишь, а то и в воду, ежели не удержишься,— добавил сквозь улыбку Вячеслав, для красочности дугообразно чиркнув рукой.— Заряд в ей какой? Жмени пороху да, считайте, две жмени дробы. Плечо потом неделю синее. Так вот отлежусь, подранков из этой пшикалки шестнадцатого калибра добыю и тогда начинаю собирать.

— Пшикалка...— недовольно пробубнил мальчуган.— Ружье как ружье.— Шмыгнув носом, обратился к незнакомцу:— А ну отгадай отгадалку: выгребешь — будет больше, а прибавишь — меньше.

Николай сделал вид, что задумался.

— Ну! — Мальчуган потаращил глаза.

— Тебя как зовут? — спросил Николай.

— Антон. Как Антона Павловича звали.

— Какого?

— Так Чехова. Что про Ваньку Жукова написал. Уже отгадал?

— Нет, Антон. Сдаюсь.

— Так яма ж! — торжествующе взвизгнул Антон.

— Вот оно что! — Николай стукнул себя по лбу, добавил, к радости мальчугана: — Недокумекал.

— Я тоже недокумекал, так тять сказал,— соблаговолил признать Антон. Соскользнул с колен отца.— Я пластинку новую заведу.

— Мы ж разговариваем, не видишь?

Антон снова шмыгнув носом.

— А дядя долго у нас будет?

Вячеслав поддал сыну по загривку.

— Давай-ка стюдова! Сколько нужно, столько и будет!

В знак протеста мальчуган разлегся на полу.

— А у этого... у кормилицы калибр какой? — спросил Николай.

— А кто его мерил! Давыдычев Константин Егорович говорит, что это крепостное ружье. Вроде со стен им стреляли. Вот видите — место для штыря, чтоб его закреплять.

— И закрепили бы на лодке,— посоветовал Николай.

— Чтob разворотило? Булькнешь в воду — пруд-то у нас какой! Чтo ширина, чтo глубина. До берега не доплывешь, а на дне сроду не найдут.

Вот теперь, когда образовавшийся было ледок растаял, Николай обмолвился о сапогах. Вячеслав мигом смотался в амбар, притащил высоченные ботфорты, приятно пахнущие дегтем.

— Большеваты вам будут, но вы портяночками погуще ноги обмотаете.— Достав из сапог грубые портянки, пояснил:— Шерстяные — они хорошо пот впитывают. Заворачивать умеете?

— В армии был, этой премудрости обучен.

Коротки уральские ночи. В двенадцать исчезает розовая полоска над горизонтом, а уже в половине второго с другой стороны неба появляется желтая — предвестник наступающего утра. «Вот потому тут и успевают вызревать овощи, что долог световой день», — прозаически подумал Николай, когда предрассветный ветерок дохнул прохладой ему в лицо.

Улицы были пустынные, и, громыхая по деревянному тротуару тяжелыми болотными сапогами, Николай радовался тому, что никто не видит его, радовался так, будто совершал что-то предосудительное. Он не позволял себе надолго терять связь с цехом. Даже в Макеевке, уходя с женой в кино или в гости, непременно сообщал диспетчеру, где будет находиться, чтобы в случае чего мог вызвать. Тут, конечно, масштабы не те, но возможностей для всяких происшествий ничуть не меньше, и начальник цеха в любую минуту может понадобиться. Невольно оглянулся на завод. Ровно дымили его трубы, и шумы доносились мерные.

Прошел мимо дома Давыдычевых и поймал себя на мысли, что с превеликой радостью оказался бы рядом со Светланой в мягкой, теплой постели. «Быстро, однако, врачуются раны,— сделал осуждающий вывод и тут же нашел себе оправдание: — Видно, не так уж они неизлечимы, как казалось поначалу. И перемена места сыграла свою благотворную роль. Здесь ничто не напоминает о Ларисе. Только вот место попало богומרзкое».

Дома завернули в сторону, и дорога, поросшая с обеих сторон лебедой, лопухом и всякой дурниной, пошла под гору. По ней спустился к пруду. Серый, тихий, притаившийся, он казался погруженным в вечную спячку, и трудно было поверить, что осенью волны разбивают на нем плоты и выбрасывают бревна и не только на пологие берега, но и на высокую плотину. Зашагал почти у самой воды по нетоптанной густой мураве, ощущая сыроватую мягкость почвы.

...Первая утка взлетела раньше, чем Николай мог ожидать, едва он отошел от косогора. Ругнув себя за беспечность, снял с плеча ружье, вложил патроны и только щелкнул затвором, как вылетела вторая утка. Курки «тулки» не были взведены, и, пока он лихорадочно взводил их, утка оказалась вне досягаемости.

«Край непуганых птиц». Подумав так, Николай снова выбрал себя за медлительность — на кой черт понадобилось ему взводить оба курка? Можно было ограничиться одним и стрелять, тем более что вторая птица по всем признакам — яркое оперение, большой размах крыльев — была селезнем.

Дальше он пошел, уже мобилизовав внимание, держа ружье со взведенным курком наизготовку.

Он любил такие минуты. Обострен слух, напряжено зрение и — никаких мыслей. Ни о дурном, ни о хорошем. Полное отключение, будто не было ничего в прошлом, нет ничего в настоящем, кроме вот этого озера, травы и высокого лозняка, ровной линией протянувшегося вдоль берега чуть поодаль от воды. С признательностью вспомнил Константина Егоровича. Если б не он — кто знает, когда бы пришлось поохотиться. Закис бы до осени, а то и до зимы — с его делами не до развлечений.

Однако край непуганых птиц оказался вовсе не таким щедрым, каким почудился поначалу. Уже рассеялся туман, уже заголубела вода, отражая светящее небо, зашептала пробужденно листва лозняка, зацвикали, зацокали пичуги, загудели комары, замельтешила перед глазами мошка, а желанного шума взлетающей птицы он так и не услышал. «Это какие-то шалелые приютились у самого поселка», — решил Николай, и в тот же момент за его спиной захлопали сильные крылья.

Великолепный красавец селезень, с шумом вырвавшись из травы, стремительно и ровно, как по натянутой струне, летел над кромкой берега. Николай выстрелил навскидку, сгоряча промахнулся, тщательно выцелил птицу снова и, хотя она была уже далеко, выстрелил вторично. Селезень рухнул наземь.

— Удачно, вылавливать не придется, — вслух произнес Николай и победил, испытывая охотничье нетерпение.

Широко распластав крылья, в траве лежал крупный самец. Сунув его в ягдташ, бодро отправился дальше.

Озеро по-прежнему сплошная гладь: ни малейшей ряби на ней, ни единой морщинки. Только разве что плеснет играючи рыба.

В стороне на воде зачернели какие-то подвижные точки, одна побольше, остальные маленькие. Ими оказалась утка с утятами. При приближении человека стайка панически юркнула в траву — и как не бывало.

Николай заприметил это место, чтобы не выстрелить, когда снимется утка, но она оказалась самоотверженной мамой — не взлетела, даже когда охотник прошоркал по траве совсем рядом.

Следующая добыча досталась непросто. Вылетевший из травы селезень понесся над водой и, сраженный выстрелом, упал далеко от берега. Пришлось воспользоваться накидкой. Однако набросить на птицу накидку оказалось куда сложнее, чем попасть в нее из ружья,— то недолет, то вбок. Когда Николаю уже показалось, что все его попытки останутся тщетными, грузило бухнулось в воду за уткой и шнур лег прямо на нее. Осторожно подтянуть тушку к берегу труда не составило. «Еще одного — и восвояси»,— дал себе зарок Николай, перезаряжая ружье.

Не знал он, во что обойдется ему третий селезень...

Ни в бога, ни в черта, ни в какие предчувствия Вячеслав Чечулин не верил, но всю ночь у него было смутно на душе. Срядил он начальника в незнакомые места, к тому же небезопасные, и теперь мучился от сознания, что не отговорил его идти без напарника. Мало ли что в одиночку может приключиться. Были в этом пруду подземные ключи, холодные и мощные, не приведи бог сунется в такое вот место — поминай как звали. И болото было предательское. Обманчивое с виду, зеленцой покрытое, с небольшим островком посредине, где особенно любили гнездиться утки. Подобьет, случится, на нем утку, рванет за ней — и шоркнет, как в прорубь. Там, если даже телеграфный столб сунуть, всосет вместе со всей оснасткой. Сколько коров да прочего скота затащила трясина — не счесть. Правда, болото далеко, вряд ли начальник до него дошагает — и раньше настроляется досыта, а вот ежели охота не задастся, может и дошагать...

И еще одна опасность мерещилась Вячеславу. Менее вероятная, однако ж возможная. Ссылные. Кулачье. Коренной уралец — он подлости себе не позволит. Суровая жизнь воспитала чувство взаимной выручки. Зайди зимой в любую охотничью избушку — найдешь и дрова, с осени заготовленные, и спички, и бересту, чтоб распалить огонь, и соль, и муку. Этот давнишний обычай считался святым. Попал человек в пургу, отсиделся, воспользовался запасом — обязательно вернется и пополнит. А вот ссылные... У тех волчий закон. Все для себя и любой ценой. Местных они не трогают — и опасаются и уважают за муравьиное трудолюбие, — а вот приезжих, особенно горожан, ненавидят звериной ненавистью. Да что там звериной! Нет на свете ненависти сильнее человеческой, нет врага для человека опаснее и злее, чем сам человек. В позапрошлом году приехал из Перми охотник и исчез. Сколько искали потом — так и не нашли. И только по весне лесозаготовители обнаружили в чащобе скелет, начисто обглоданный. Даже волос не осталось. Убили, подлюги, и в муравейник бросили. Обьедят муравушки — кто там дознается, откуда он и чей? Приключилась эта беда, что верно, то верно, в глухом лесу, далеко от поселка, но чем черт не шутит, когда бог спит...

Работа сегодня шла через пень-колоду. Вороная два раза срывалась у коногона, фыркая и разбрасывая слюну, гонялась по площадке за печевыми. И плавка затянулась. Вячеслав на доводке зеванул, руды передал и еле-еле нагрел металл.

Но самое тяжкое — не с кем было душу отвести, поделиться своими тревогами. Дежурил бы Аким Иванович — тому все можно доверить, потому как с пониманием человек. Но смену вел мастер Долгополов, ему без интереса, у кого какая забота. Покосит глазом на манер вороной кобылы — чего с хреновиной всякой суешься? — и весь разговор.

С трудом дотерпел Вячеслав до утра, да только стало еще тяжелее. Не пришел начальник на утренний рапорт, а ведь обещал.

С завода Вячеслав отправился прямо в общежитие, поднял комендантшу.

— Нет, не ворочался, — протерев кулаками глаза, ответствовала она. — Как ушел давеча с ружьем, так ни слуху ни духу.

Не заходя домой, Вячеслав наладился к пруду.

Дорога для охотника тут одна — вдоль берега. Что туда, что обратно, разминуться никак нельзя.

Быстро шагает Вячеслав, чиркая тяжелыми ногами по траве, которой заросла тропинка, — до Петрова дня, когда официально разрешается охота, далеко, притоптать ее еще не успели.

Милы Вячеславу родные места. Тут родился, тут вырос и уверен, что большей красоты нигде не сыскать. Всякий раз как идет вдоль пруда — не посмотрится. Но сегодня ему не до красоты, не до любования. Глаза то шарят по траве, кое-где примятой — знать, прошел здесь человек, — то устремляются вперед: чего доброго, и выхватят Николая Сергеевича, шагающего навстречу.

Ан нет, нет и нет. Пустынен берег. Теперь далеко проглядывается он излучиной, заворачивая влево. Птица пролетит — и то заметно.

Нетверды ноги у Вячеслава. И от ночной усталости и от волнения. Однако каждый раз, когда срывается с насиженного места утка, он на короткое время успокаивается — есть что бить, значит, до болота начальник не добрался. Но пройдет сотню шагов — и тревога вновь овладевает им: если добыл, то почему не возвращается?

Пришлось повидать Вячеславу Чечулину начальников — полтора десятка лет как-никак на заводе. Был такой, что приказывал — правильно ли, неправильно, а выполни без оговорок; был что горлом брал, вот как Дранников; был очень ученый — такую тебе теорию разведет, что мозги затуманятся; и такой, что только матерными словами изъяснялся. Вот кто не в пример всем был, так это Аким Иванович Чечулин. Окромя хорошего ничего сказать нельзя. Грамотешки маловато, но умом не обижен. И у Дранникова, если покопаться, кое-что хорошее найти можно. Ему нипочем с человека три шкуры содрать, чаще всего ни за что, но заводскому начальству он никого из своих в обиду не дает и, главное, никогда свою вину на другого не перепихивает. Даже ежели, бывало, с плавкой запарывался и мог свернуть на сталевара. И подобраться к Дранникову нетрудно. Работай да помалкивай. И не огрызайся, когда влетело хоть бы только потому, что под горячую руку попался. А ежели время от времени в гости его позвать, да напоить вволю, да еще бабенку какую подсунуть, можно и в друзья угодить.

Правда, к этому Вячеслав не стремился, в гости к себе Дранникова не приглашал, а когда тот однажды сам навязался, после первого стакана переправил к Заворушке. Из ее дома Дранников еле ноги унес, но, как ни странно, зла на Вячеслава не затаил. Так что дружба у них не состоялась, но и вражда не вышла.

А Николай Сергеевич сразу обжился с людьми. Хотя чином своим он всех старше, но в глаза этим не тычет. С ненужными указаниями не лезет, когда надобно, подскажет, потихоньку, чтобы подручные не слышали, чтоб по самолюбию не ударить. И еще одна приятность есть в нем — подойти в любую минуту можно хоть с делом, хоть без дела, хоть поплакаться, хоть посмеяться.

И мысль о том, что начальник, возможно, погиб, да еще по его, Вячеслава, недозору, грызет его, грызет нещадно...

— Ну куда он мог деться?.. Куда?.. — уже громко, чуть ли не в крик спрашивает себя Вячеслав и внезапно холодеет: вдали прямо на тропинке черной горкой лежит какая-то поклажа.

Подбежал — и замер. Сапоги, одежда, ружье, патронташ, утки — и никого вокруг.

Подкосились ноги у Вячеслава, рухнул он обессиленный на колени перед разложенным в беспорядке скарбом и заскрежетал зубами, сдерживая рвущееся рыдание.

Последняя встреча с Николаем оставила в душе у Светланы тяжелый осадок. Он был весь в себе, выглядел озабоченным, неуверенно бодрился, пытаясь скрыть свое состояние. Что у него? Новые осложнения по работе? Впрочем, и того, что она знает, для плохого настроения с избытком достаточно. Его положение можно сравнить с положением пчелы, попавшей в осиное гнездо и мечущейся в поисках выхода из него.

В доме было тихо, только четко тикали стенные часы в соседней комнате. По воскресеньям вставали поздно и кто когда хотел, пользуясь возможностью вволю поспать. Светлана взяла книгу, которую читала на сон грядущий — «Вздор» Вудворда, — но мораль, упорно навязываемая автором — в жизни выгоднее всего быть человеком второго сорта, — стала раздражать. Захлопнув томик, отложила его в сторону, и мысли снова потекли по той дорожке, которую избрали с момента пробуждения.

Кроханов так просто Николая не отпустит, он сделает все, чтобы дискредитировать его и выгнать с завода. Слишком соблазнительно одним ударом поразить сразу три цели: отомстить Николаю за строптивость, укрепить в поселке мнение о своем всемогуществе и еще раз утереть нос главку — вот-де что получается, когда присылаете работников без согласования.

Николай безусловно не из тех, кто сложит оружие и сдастся без сопротивления. У него слишком развито чувство справедливости и самолюбие, нормальное самолюбие человека, знающего дело и цену себе. Быть изгнанным с такого заводика значило бы испортить себе репутацию, если не сказать больше — жизнь. Но чем активнее будет он сопротивляться, тем беспощаднее и изощреннее расправится с ним Кроханов. А почему, собственно, так близко к сердцу принимает она дела Николая? Кто он ей? Временный знакомый? Пожалуй. Но что тут греха таить, он нравится ей, и с каждым днем все больше. Она легко представляет себя не только в роли друга Николая, но и в роли более близкого человека. Не было у нее друзей из мужчин, которые вызывали бы подобное желание. Митя Котовцев, ее сокурсник по институту? Да, она и теперь к нему равнодушна. Очень способный, жизнерадостный, остроумный, душа общества. Но он требует полного подчинения себе и восхищения своей особой. На этой почве у них вспыхивали перепалки и даже ссоры. Нет, слишком разные они, и гармоничный союз, как, например, у родителей, тут невозможен. Удивительные все же люди ее родители. Так понимать, так чувствовать друг друга! Будто вылеплены из одного теста. О таком соответствии, о таком родстве душ вряд ли можно мечтать. Пронести через долгие годы свежесть и нежность чувств, бережное отношение друг к другу, ласковость, не деланную, сюсюкающую, а органическую, — многим ли это удастся? А отвечает ли отец тому идеалу мужчины, который мог бы стать ее избранником? Нет. Полюбить такого не смогла бы. Но почему? Честен, добр, чуток, интеллигентен в лучшем смысле этого слова. Ничего, что хотелось бы выкорчевать или улучшить. И все же полюбить такого не смогла бы. Ему не хватает решительности, смелости, боевитости — черт, которыми природа наградила Николая и которые так важны в людях. Жаль, что с Николаем у нее не может быть общего будущего. В конце августа, если Николая не съедят раньше, они расстанутся, она поедет в Воронеж, и пути их разойдутся навсегда. Даже если для Николая все сложится благополучно, все равно он вернется в свои края — такова судьба почти всех южан, волей случая залетающих на север. А на юге лесники не нужны. И зачем выбрала она такую узкую специальность — механизация лесного хозяйства? Когда женщина выходит замуж, профессия мужа, как правило, становится определяющей. Так уж

лучше иметь профессию, на какую всюду спрос,— учитель, врач. Гирава была мать, советовавшая поступать в педагогический. Что за жизнь будет в поселке, когда замрет завод и уйдут лесозаготовители? Молодежь и так уже разбегается по городам и весям, инженерно-технический персонал разведется. Поселок и сейчас не блещет культурой. В клубе узкоплечный киноаппарат с ограниченным количеством лент. Раз пятнадцать на ее памяти крутили здесь «Первопечатника Ивана Федорова», и всегда при полном зале — надо же где-то собираться парням и девочкам в студеные зимние вечера. Не зря тут часто вспоминаются чьи-то кем-то переделанные строчки: «Да, жить в Чермызе мудрено. В кино спасение одно: дождешься тьмы и проявляешь чувство. И правильно, наверно, что кино — единственно полезное искусство».

В школьные годы она очень привязалась к Чермызу, возможно, потому, что нигде, кроме Соликамска и Алапаевска, не была и даже помыслить не могла, что когда-нибудь покинет этот край. В ту пору жизнь ее была заполнена до краев. Хоровой кружок, драматический, физкультурный, зимой еще добавлялись лыжные походы. Вот тогда-то окончательно влюбилась она в лес, в мохнатые ели, особенно когда на них белыми шапками залегают снег, в березы, чарующие узорчатым переплетением ветвей, словно тушью выведенных на синеве неба. Оттого и в лесохозяйственный поступила. В институте ей открылись другие радости, радости городской культуры — театр и кино. Она отказывала себе в еде, в одежде, лишь бы не пропустить нового спектакля, нового фильма. Только благодаря великолепной памяти и врожденным способностям перебралась на второй курс и — образумилась. Кино по-прежнему оставалось ее страстью, но смотрела она теперь лишь те фильмы, о которых хорошо отзывались. Постепенно у нее развился вкус, она стала отличать хорошие картины от плохих и даже от посредственных. Но премьеры спектаклей все равно не пропускала. О замужестве не задумывалась, наверно, оттого что вокруг постоянно роем вились воздыхатели. С ними она держалась ровно, дружески, никаких надежд на взаимность не подавала и скорее занимала оборонительную позицию. Даже с Митей Котовцевым. Но когда все это останется позади, чем будет заполнена ее жизнь и кто окажется ее избранником?

Светлана вздохнула, спустила босые ноги на коврик, встала. Летом она спала нагишом, так нагишом и подошла к зеркалу.

Удивительное дело. В платье она казалась себе худенькой, тщедушной, а сейчас зеркало отражало красивое юное тело очень гармоничных пропорций. Длинные стройные ноги, хорошо очерченные бедра, подчеркнутые тонкой талией, небольшую, но высокую округлую грудь. Стало жалко, что никто, кроме матери да институтских подружек, не видел ее такой.

Скользнула озорная мысль: вот нагреется вода в пруду, утащит она Николая поплавать, и он увидит, как она сложена. Правда, закрытый купальник не лучшее одеяние для демонстрации красоты тела, но все же...

Вот так, у зеркала, ее застала мать.

— Любуешься, доченька? Я в твои годы пышнее была, а ты — как выточенная. — И простодушно, с явным расчетом на полную откровенность, спросила: — Можно узнать, чьими глазами ты себя рассматривала?

— Мамочка... — засмушалась Светлана, выдав себя.

На лицо Клементины Павловны легла легкая грусть. Перед ней стояла она сама в молодости: конфузливая, застенчивая и в то же время горделивая, высокомерная.

— Делай зарядку, будем завтракать.

Но Светлана юркнула под одеяло. Она чувствовала себя вориш-

кой, застигнутым на месте преступления. Неужели мать догадалась о том, что ей самой стало понятно только несколько минут назад? Да, мать оказалась прозорливее ее. А Николай? Он тоже что-то учуял?

Светлана соскочила с постели, надела коротенькую ночную рубашонку и приступила к зарядке, произнося про себя: «Вдох-выдох, вдох-выдох...»

Спокойнее всех провел ночь и утро Константин Егорович. Он был рад, что уговорил Николая Сергеевича сходить на охоту — ему просто необходимо отключиться от заводских забот. Вот же как бывает: смело идет на открытые столкновения, на честную схватку, а вот постоянное ожидание удара в спину выводит его из душевного равновесия. Кроханов при всей своей ограниченности неплохой психолог. Он безошибочно нащупал слабое место у Николая Сергеевича и решил взять его измором. Такое отключение, как охота, особенно если пристрастится к ней, поможет выстоять.

Единственно что беспокоило Константина Егоровича, так это качество патронов. Заряжены они тщательно — заряды отмерены на аптекарских весах, — но давно и бездымным порохов. Это только черный дымный порох со временем своих свойств не теряет, а бездымный, хотя он и более удобен при стрельбе, слабеет либо, что еще хуже, приобретает опасную силу взрывчатки.

Поднявшись с постели, Константин Егорович попросил телефонистку найти Балатьева. В цехе его не оказалось, в общежитии тоже. Комендантша ответила, что как ушел с ружьем ночью, так и не возвращался.

Константин Егорович встревожился, но домочадцев в свои опасения не посвятил. Побрился, умылся, чуть побрызгал щеки «Шипром» и свеженький, с улыбкой вышел к столу.

Светлана так ничего и не заметила, а наблюдательная Клементина Павловна насторожилась — и разговор по телефону показался ей странно скромным и улыбка у мужа была неестественной. Константин Егорович чувствовал на себе пылкий взгляд жены и упорно не поднимал глаз от тарелки, чтобы не выдать себя.

После завтрака Клементина Павловна занялась на кухне мытьем посуды, Светлана села за пианино, а Константин Егорович вышел на улицу и опустился на скамью у ворот.

Не раз бывало: посидит он здесь, полюбуется водным простором, надышится целительным воздухом и входит в дом умиротворенный и благодатный. Но сейчас испытанный прием не только не принес умиротворения, но даже усилил беспокойство. С напряжением уставился на дорогу, по которой должен возвращаться Балатьев.

Так просидел он с час, а может больше, и только изнервничался пуще прежнего. Вернулся в дом, снова позвонил комендантше, надеясь на этот раз услышать «прибыл», хотя и понимал, что не мог Николай Сергеевич пройти мимо их дома незамеченным, и, получив в ответ «нетути», снова пошел за калитку, прихватив с собой, чтобы отвлечься, старинный путеводитель по Уралу.

Пробежав глазами несколько страниц и поняв, что ни одна строка не дошла до сознания, отложил книгу и, когда посмотрел на дорогу, увидел тяжело ступавшего по ней человека с ружьем за одним плечом и какой-то поклажей за другим. Сердце откликнулось радостью и тотчас замерло, когда рассмотрел, что по дороге брел не Николай Сергеевич, а Вячеслав Чечулин. По обилию поклажи на нем понял: что-то произошло — и тут же рванулся навстречу.

— А Николай Сергеевич?..

— Утоп... — глядя в сторону, ответил Вячеслав. — Надо людей собирать с баграми и сетями, искать будем...

До сих пор Константин Егорович полагал, что все разговоры о

мурашках на теле, о волосах, зашевелившихся на голове, не что иное как выдумка досужих фантазеров. А сейчас он сам ощутил и то и другое. Это ведь он, старый дурак, погнал горячего мальчишку на погибель. Ну какой из него пловец, если жил в Макеевке? Да и хорошие пловцы в холодной воде тонут из-за судорог. Теперь каждый вправе осудить его: «Эх, Константин Егорович, до седых волос дожил, а ума не нажил. Такой грех взял на душу...»

8

До сего дня Светлана не знала, что такое горечь утраты близкого человека, как не знала и того, насколько дорог был ей Николай. Только осознав, что его нет и никогда больше не будет, она со всей остротой почувствовала, что любит его, любит до исступления и смириться с этой утратой не сможет.

Она не плакала. Сидела, оглушенная неожиданно свалившимся несчастьем, бессмысленно уставившись в стену перед собой, не ощущая времени, не находя в себе сил даже сдвинуться с места. Мгновениями у нее вспыхивала надежда, слабая надежда отчаяния, что трагическое событие обернется простым недоразумением, что Николая найдут живым и невредимым, но эта искорка тут же гасла, и воображению представало распластанное тело Николая на илистом дне пруда, представало с такой ужасающей реальностью, что она вздрагивала. Вздрагивала и от каждого звука приближающихся шагов на улице, ожидая появления отца. Он уехал с сотрудниками милиции на место происшествия и, очевидно, остался там, чтобы принять участие в поисках тела.

Несколько раз к Светлане заходила Клементина Павловна, пыталась успокоить ее, разговаривать, но все ее старания ни к чему не привели. Дочь оставалась безучастной.

День уже клонился к вечеру, когда во дворе послышались быстрые шаги и в дом вошел Константин Егорович.

Замирая от тревоги, Светлана выскочила к нему навстречу и сразу поняла, что надеяться не на что. Об этом сказали ей и виноватые глаза отца и весь его поникший, удрученный вид. Тем не менее у нее вырвалось:

— Что, па?

— Точно в воду канул...— глухо отозвался Константин Егорович. Сообразив, что глупо оговорился, поправил себя: — Точно сквозь землю провалился.

Светлана стиснула зубы, закрыла лицо руками, стараясь сдержать слезы, и не смогла, разрыдалась.

Только теперь из кухни, откуда все видела и слышала, вошла Клементина Павловна. Иной вести она не ожидала. Пруд настолько глубокий и обширный, что найти утонувшего еще не удавалось. Ждали, когда всплывет сам.

— Поплачь, поплачь, это успокоит,— увещевала дочь Клементина Павловна.— Слезы, когда их глотаешь, удушить могут. Дай им волю.

Обняв Светлану, увела ее в спальню, дала снотворного и долго сидела у изголовья, прислушиваясь к неровному дыханию. Дождавшись, когда дочь заснула, тихо удалилась теперь уже успокаивать мужа, который считал себя виновником происшедшего. Это ей не удалось — мешали то и дело входившие люди. Константин Егорович терпеливо сообщал, что произошло, но ничего толком рассказать не мог.

Уже ночь смотрела в окна, когда супруги, оставшись наконец вдвоем, отправились на кухню перекусить.

— Видно, так ему на роду написано,— проговорила Клементина Павловна с философским смирением, мягко прикоснувшись к плечу мужа,— так что ты, Косточка, самоедством не занимайся.

Константин Егорович нехотя положил на тарелку холодную котлету, нехотя стал жевать ее и, когда Клементина Павловна уже было решила, что ее совет повис в воздухе, откликнулся:

— В predeterminedность судьбы, Тиночка, я не верю. Это теория для малодушных. Куда как удобно в собственной неосмотрительности искать веление рока.

Перед сном Клементина Павловна заглянула в комнату дочери. Убедившись, что она спит, спокойно удалилась.

Светлана действительно спала, но когда мать прикрыла за собой дверь, проснулась.

После тяжелого забытья не сразу вернулась она к событиям реальной жизни, а когда вернулась, ощутила такую душевную пустоту, что жить не захотелось.

Очень зло подумала об отце. Дернула нелегкая выпроводить Николая на охоту. Как не хотел он идти, как упирался. Словно предугадывал беду. Вот и утверждай теперь, что предчувствия не сбываются.

У легко возбудимых людей ночью все чувства обостряются и воображение разыгрывается в полную силу. Светлана настолько ясно представила себе, что испытывал Николай, когда, захлебываясь, уходил под воду, что ей самой перестало хватать воздуха. Она дышала открытым ртом, и все равно грудную клетку сжимало, будто навалилось на нее что-то непомерно тяжелое. Застучало в висках. Сильнее, еще сильнее и чаще. Да нет, это же стук по стеклу! Вскочила с кровати, подбежала к окну и отшатнулась — в призрачном свете отдаленного фонаря стояла какая-то странная, прямо-таки мистическая фигура.

— Не бойтесь, это я, да, да, я, Балатьев, откройте калитку! — залпом выпалил Николай, и только услышав его голос, Светлана поняла, что это не сон, не бред, а реальность.

Накинув на себя халатик, выскочила в прихожую, с трудом отодвинула дрожащими неповинующимися руками обычно податливый засов и помчалась к калитке.

Когда стыдливо-понуры́й Николай шагнул во двор, потерявшая от радости голову Светлана повисла на нем и засыпала поцелуями. Ее отрезвили голоса на улице. Захлопнув калитку, она схватила Николая за руку и увлекла за собой в дом.

Только в прихожей, включив свет, разглядела Николая. Распухшее лицо его было в красных пятнах и царапинах, а тело прикрывало домотканое рубище — дырявый зипун без одного рукава и короткие едва доходившие до щиколоток штаны, из которых торчали босые ноги.

— Се грядет жених во полунощи, — нашел в себе силы пошутить Николай и, сбросив зипун на пол, скороговоркой выпалил: — Водки и чего-нибудь на зуб.

9

Когда в понедельник утром, как обычно в четверть седьмого, Николай подошел к заводу и, протиснувшись сквозь стадо овец, открыл дверь проходной, у вахтера, увидевшего живого утöпленника, от удивления отвисла челюсть, а самокрутка вывалилась изо рта. Николай подхватил ее, положил на барьер, разделявший надвое проходную, и, лукаво подмигнув вахтеру, направился в цех. «Эх, зря не разрешил Ульяне раззвонить всем, что нашелся, — подосадовал на себя. — Теперь только лошади не будут от меня шарахаться».

И действительно, как только он появился на рабочей площадке, все, кто был на печак и на газогенераторах, застыли в радостном недоумении, веря и не веря в воскрешение начальника из мертвых.

Не сразу вышел из состояния столбняка и Аким Иванович, когда, приблизившись к нему, Николай как ни в чем не бывало протянул руку и осведомился о работе за вчерашний день.

— Н-ничего...— с трудом выдавил из себя мастер.

Николай и тут не упустил возможности пошутить:

— Что значит ничего? Ни одной тонны, что ли?

— Да нет, все нормально. Сто два процента.

Вячеслав Чечулин подбежал к Балатьеву со счастливой и конфузливой улыбкой. Всполошив поселок скорбной вестью, он с опаской ждал, как отнесется к нему начальник.

— Здорово испугался, Евдокимович? — весело спросил его Николай.

— Ой, не говорите. И сам испугался, и людей испугал,— ответил Вячеслав, успокоенный тем, что начальник не рассердился, но все же добавил в свое оправдание: —А что другое можно было подумать? Одежда лежит, утки лежат, а вас нету...

— Кого испугал, а кого и обрадовал,— буркнул Аким Иванович. Скосив глаза в сторону, цвиркнул слюной в щель меж зубами.— Вон один такой летит со всех ног.

К ним приближался высокий мужчина с аскетически тонким, но норовистым лицом. Вся его внешность, посадка головы, манера держаться выдавали человека честолюбивого и властного. Увидев Балатьева, ступешался на миг, но тут же обрел самоуверенный вид, и с ходу сунув Балатьеву свою жилистую пятерню, представился:

— В недалеком прошлом и в недалеком будущем начальник сей старой калоши Дранников Роман Капитонович.

— Балатьев.

— Из небытия прибыть изволили?

— Из не совсем обычного бытия,— миролюбиво ответил Балатьев, не желая начинать отношения со своим замом с пикировки, и, чтобы оградить себя от возможных уточняющих вопросов, осведомился: — Уже из отпуска?

— Нет, нет. Шел мимо, решил заглянуть.

Балатьеву было совершенно ясно, что Дранников увильнул от правдивого ответа. Конечно же, он примчался принимать цех, коль скоро начальника сочли погибшим. И Балатьев съязвил, чтобы Дранников паче чаяния не подумал, будто имеет дело с простачком:

— Вы и во время отпуска в спецовке ходите и со стеклом не расстаетесь?

Печевые, во все глаза следившие за сценой встречи двух начальников одного цеха, откровенно захихикали — их громовержец попал впросак и был озабочен тем, как бы поубедительнее вывернуться из щекотливого положения. Это выдавали его глаза. Обычно нацеленные, острые, сейчас они растерянно бегали.

— Привычка такая,— наконец нашелся он.— Как у военного. Всегда в форме и при оружии.

— Даже в постели? — поддел Балатьев и, провожаемый одобрительными улыбками, пошел на газогенераторы.

Женщины встретили его возгласами радости. Новый начальник успел понравиться. Обходительный, вежливый, заботливый. Особенно благоволили к нему невесты на выданье. Жених хоть куда: что характер, что рост, что осанка.

— Как дела, девчата? Рукавицы новые получили?

— Получили, спасибо!

Одна из женщин, забросив порцию дров в газогенератор и захопнув крышку, ехидно спросила Балатьева:

— Как же вы вчера без одежды, звините?

Женщины, что помоложе, сдержанно прыснули, что постарше — зашикали на бойкую бабенку, но все с одинаковым любопытством ожидали ответа.

— Русалки затянули в воду и только к ночи выпустили.

— А здорово они вас расписали. За что? Небось сплеховали, не сдюжили? — Озорница с вызывающей беззастенчивостью рассматривала начальника.

Балатьев и от этого вопроса отбился.

— Их много было, а я один.

Оставаться на растерзание гогочущим молодухам было незачем, и Балатьев решил ретироваться. Да не удалось. Дорогу ему загородила Клава Заворыкина.

— Нет уж, извольте ублажить, товарищ заведующий, — потребовала она. — Весь поселок переполошили — и молчок? Не выйдет!

Прочитав в маслено-наглых глазах нечто большее, чем простое любопытство, Балатьев сказал насмешливо:

— Узнаете — скучно станет. А так будете блажь свою тешить, небылицы придумывать. Вас ведь хлебом не корми — дай только посудачить.

Когда он вернулся к печам, Дранникова уже и след простыл, однако вскоре появился Кроханов.

— Ты что это коники выкидываешь? — с места в карьер набросился он.

— Какие? — Балатьев сделал вид, будто не понимает, в чем дело.

— С утонутием.

— С утоплением?

— Ну с утоплением, — попался на подначку Кроханов.

Балатьев не сдержался от иронии:

— А вы чем, собственно, недовольны, Андриан Прокофьевич? Что я остался жив?

Кроханов аж поперхнулся. Он не привык, чтобы ему дерзили, да еще при рабочих. Но уверять, будто был огорчен, не стал — ложь на сей раз смысла не имела. Только сплюнул в сторону и ушел.

Слух о неожиданном появлении начальника мартена разнесся молниеносно не только по заводу, но и по всему поселку, и Балатьеву больше не пришлось видеть удивленных лиц. Но лукавые, любопытные, а то и насмешливые взгляды он продолжал ловить повсюду, ибо истинной правды никто, кроме Давыдычевых, не знал и никто даже предположить не мог, что с ним стряслось.

В конце рабочего дня его вызвал к себе секретарь райкома партии Федос Леонтьевич Баских.

— Ну, докладывай о своих похождениях, товарищ начальник, — довольно сухо потребовал он, предложив Балатьеву место перед столом. — Заходил ко мне директор, настаивал...

— На каре?

Баских отодвинулся вместе со стулом, скрестил руки на груди, осудительно уставился на Балатьева.

— Ну, как там ни назови... Наказать, в общем.

— За то, что не утонул?

— За переполох, который поднял.

— Я его не поднимал.

— Но ты дал повод...

— Тут поднимают с поводом и без повода.

— Николай Сергеевич, ты забыл, что я за тебя полностью отвечаю, поскольку направил тебя сюда по моему настоянию. — Баских уже говорил с раздражением. Он обладал завидным терпением, когда общался с людьми малоразвитыми, несообразительными, а со всеми остальными быстро терял его. — Отвечаю не только за работу твою в цехе, но и за поведение в целом. И я не хочу, чтобы меня подзуживали — вот, мол, ваш подопечный какие номера откальвает. Но для

того, чтобы тебя защитить или с тебя взыскать, я должен знать, что приключилось с тобой и почему.

Волей-неволей пришлось Николаю рассказать о своих злоключениях.

...Третьего селезня он сбил повторным выстрелом, когда тот отлетел далеко от берега, и накидка достать его не могла. Хотя вода оказалась невероятно холодной, все же разделся догола и поплыл за добычей. Плыл быстро, а расстояние между ним и птицей сокращалось медленно, и он не сразу понял, что селезень только ранен. Наконец, изрядно уставший, окоченевший, достиг свою добычу и стремительно поплыл обратно, опасаясь, как бы от холода не схватила судорога. Вот там-то его и подстерегала неожиданность. Ни одежды, ни ружья, ни дичи на месте не оказалось. Метнулся в одну сторону, в другую, надеясь, что вышел не на то место, — проклятый селезень изрядно поводил его за собой. Бросив птицу на землю и утоптав траву возле нее, чтобы заприметить место как исходную точку поиска, сделал полсотни шагов вправо. Не найдя вещей, вернулся, прошел такое же расстояние влево. Никаких следов. Еще сотня шагов в одну сторону, в другую — тот же результат. Оставалось ждать ночи. Где? Конечно же, в лозняке. Забрался в густой куст, присел, съезжившись, но не прошло и нескольких минут, как пришлось выскочить оттуда — выжили вездесущие комары. Сломал ветку и остервенело размахивая ею, принялся отмеривать шагами все большие расстояния в обе стороны — полтора шага, потом двести, хотя был уверен, что так далеко увести его подранок не мог. Судя по солнцу, время приближалось к пяти утра. До двенадцати ночи люди еще идут с работы, значит, впереди девятнадцать часов пытки комарами и мошкаррой. Было мгновение, когда он решил пренебречь всеми условностями и рвануть в ближайший дом. Но, подумав, отказался от этой мысли. После такого срама не то что здесь — ни на каком другом уральском заводе не удержишься — засмеют. Вот если б незамеченным пробраться к Давыдычевым... Но для этого нужно дожидаться ночи, а до ночи проклятые комары превратят его в кусок опухшего мяса. Оставался последний выход: искать человека, который выручил бы из беды. Вероятнее всего такого человека можно встретить на огородах. А вдруг на счастье какой-нибудь рьяный мужичишка выползет ни свет ни заря на свою делянку.

Пересек полосу путаного лозняка, добрался до огородов и долго стоял в нетерпеливом ожидании, надеясь, что вот-вот появится желанный спаситель. Но ни одна живая душа, как на грех, не появлялась. Только несколько презировавших чучел маячили в отдалении. И вдруг мозг пронзила счастливая мысль: так чучело — это ж одежда! Какая-никакая, но она прикроет брешное тело.

Грязный зипун с одним рукавом показался ему царской мантией, а донельзя выщипанный птицами башлык — самым что ни на есть лучшим головным убором. Завершили туалет холщовые домотканые штаны с множеством заплат и с еще большим количеством дыр. Нырнув в шалаш, оказавшийся неподалеку, обессиленно свалился на кучу прошлогодней прелой травы и понял, что спасен. Оставалось набраться терпения и ждать ночи...

Баских выслушал его повествование, ни разу не улыбнувшись. Он на себе испытал, что такое комариная атака, понимал, что положение, в какое попал Балатьев, было истинно трагичным, и оценил его терпение и находчивость.

— Договоримся так, — сказал он на прощанье, сочувственно пожимая руку. — О случившемся молчок. Что же касается Давыдычевых, то на них ты можешь положиться как на самого себя. Очень хорошая семья. А Светлана... Такие цельные, чистые натуры не часто встречаются. Побереги ее. Она не для легкого флирта, не для временных любовных утех.

Не успел Балатьев прийти в себя после охоты, как на него навалилась новая беда, да такая, что затмила все остальное: пошли бракованные плавки. Одна за другой, без малейшего просвета. И причиной тому была медь — ее содержание в готовом металле по непонятным причинам намного превышало допустимые пределы. В печи бороться с медью невозможно. Она не выгорает, в шлак не переходит, сколько попало с шихтой — столько и останется в металле.

Теперь все внимание Балатьев переключил на шихтовый двор. Если прежде в завалку давали весь попавший под руку металлолом, то теперь проверялась чуть ли не каждая железка; если прежде в шихту подавали обрезки листов, покрытых тончайшим слоем меди, так называемый биметалл, особого вреда не причинявший, то теперь их отбраковывали в сторону; если прежде сталевары во время завалки спокойно покуривали в сторонке, то теперь они то и дело заглядывали в мульды, проверяя их содержимое. И все равно шел сплошной брак. Прокатный стан продолжал работать — слитки брали со склада, а новые слитки укладывали в штабеля, на которых красовалось страшное слово «брак».

Кроханов нействовал. Он громил Балатьева на рапортах, устраивал выволочки в цехе, особенно усердствуя при рабочих, заставляя присутствовать при выпуске всех плавков независимо от времени суток. Балатьев все сносил. Он не потерпел бы такого измывательства, если бы не чувствовал себя виноватым, но пока брак устранить не удавалось, отделялся молчанием. На доске показателей работы цехов у проходных ворот в графе «Мартеновский» ежедневно выставлялась страшная цифра — 0,00.

Кроханов объявил Балатьеву выговор, затем строгий, затем строгий с предупреждением об увольнении и в конце концов заявил, что дает ему сутки на исправление положения, иначе...

На заводе поняли, что приговор новому начальнику вынесен.

В субботу вечером в конторке Балатьева появился Баских. Он был в курсе событий, следил за судьбой каждой плавки и весьма болезненно переживал закат своего подшефного.

— Ну и хватанул я с тобой удовольствий! — сказал укоризненно, грохаясь на стул. — Сколько это будет продолжаться? И как это так, что концов нельзя найти? Смешно просто. Непостижимо.

Балатьев взглянул на Баских мутноватыми от бессонницы глазами.

— Ни концов, ни начала, Федос Леонтьевич. Мистика какая-то.

— О мистике ты своей бабушке расскажи. Мистика и техника — вещи несовместимые. — Баских вздохнул. — Эх, а я-то был уверен, что ты не ударишь в грязь лицом... Ну что будем делать дальше? Прощаться?

Всю эту неделю Балатьев спал не более двух-трех часов в сутки, притом в цехе, сидя за этим самым столом, и находился в состоянии того морального и физического изнеможения, когда собственная судьба становится безразличной.

Печать обреченности на лице начальника цеха вывела Баских из равновесия.

— Так неужели прав Кроханов, что ты гроша ломаного не стоишь? — бросил он безжалостно.

— Выходит, прав.

— Слушай, Николай Сергеевич. — Баских поднялся, постоял, не сходя с места, глядя в пол. — У тебя нет подозрения, что тебе пакостят? — Вскинул глаза, нацелился зрачками в зрачки. — А ты в поддавки играешь. — И выпшел.

«В поддавки играешь». Эта фраза заставила Николая призадуматься. «Что имел в виду Баских? Не можешь разобраться, кто и где подкладывает свинью? Неужели это возможно? Предумышленно

портить сотни тонн металла ради того, чтоб спихнуть неугодного человека? Кто на такое отважится? И за меньшее сажают».

Идти на шихтовый двор сразу расхотелось. Что ему там делать? Следить за тем, какой грузят металл? Бесполезно. Неделю он оттуда не вылезал, а что толку?

Тихо приоткрыв дверь, в конторку заглянул Аким Иванович Чечулин. Убедившись, что Балатьев один, вошел, основательно уселся, устало вытянул ноги и принялся сворачивать толстую самокрутку из крепчайшего самосада — другого табака он не признавал. Раскурив, глубоко затянулся и как бы между прочим спросил:

— Что секретарь баял?

— Можно сказать, прощался,— бесхитростно ответил Николай.

Обер-мастер тоже не стал хитрить.

— Вообще оно к тому идет.— Сделал несколько затяжек, добавил: — Жалко мне вас, Николай Сергеевич, но себя жальче.

— А вы при чем? Спрашивают-то с меня. И как с начальника и как с инженера.

Аким Иванович вытер рукавом упревшее лицо, цокнул языком.

— Рассказал бы я вам одну штуку, да вот... Вырвется невзначай-но у вас в запале, а мне житья не будет.

Такой поворот разговора насторожил Николая, но своей заинтересованности он ничем не выказал из опасения, как бы Аким Иванович не замкнулся. Однако отпугнуть можно и разыграв безразличие. Выбрал золотую середину, сказал с подначкой:

— Если так уж трусите, то и держите при себе.

Долго собирался Аким Иванович с духом. Несколько раз переправил кепку со лба на затылок и обратно, встал, походил, опять сел. Даже вспотел от напряжения. Потом крикнул:

— Эх, была не была! Только никому ни полсловечка.— Дождавшись кивка, взялся рассказывать: — Врет Кроханов, что с браком такое впервой приключилось. Была у нас подобная петрушка с фосфором, да дней этак девять подряд. С ног сбились, сон потеряли, а от фосфора отбиться не могли. Слитки — на склад, начальника — с завода. С полгода пролежали слитки, потом сделали анализ, а фосфора в них — ниже нормы. Выветрился он оттудова, что ли?

— Значит, не было его там столько?

— В том-то и суть. Заводу никакого ущерба, а человека, что ко двору не пришелся, в бракоделы записали да с этим клеймом и выпроводили.

— Так что, это ошибка лаборатории или так велено было?

— Велено или ошибка — это я не в курсе. Думайте как хотите.

С Николая как рукой сняло и сонливость и усталость. В длинном темном туннеле, по которому брел, блеснул лучик света. Приведет ли он к выходу, неизвестно, но идти надо. Возбужденный проснувшейся надеждой, Николай в порыве признательности тряхнул руку Акиму Ивановичу. Обер-мастер сразу слинял с лица, и в глазах его, только что довольных, отразилась тревога.

— Я еще ни одного человека в жизни не подвел,— успокоил его Николай.

— Эх, Николай Сергеевич,— обер-мастер умудренно покачал головой,— жизнь наша сейчас такая: не хочешь, да подведешь.— И добавил со значением: — Или сам маху дашь, или вынудят...

Воскресенье Кроханов и его неизменные собутыльники провели на славу.

Выехали на рассвете, когда поселок еще спал, в грузовике, накрытом брезентовым тентом, чтобы посторонний глаз не узрел честную компанию. В просторном охотничьем домике, построенном еще управ-

ляющим, прибывших ждал заброшенный накануне десант: егерь и две молодые поварихи довольно привлекательной наружности. На сосновом столе, надежно врытом в землю, красовались напитки и яства: отменно зажаренный на костре кабанчик, всевозможные консервы, печеная картошка, зеленый лук и батарея бутылок с водкой, только что вынутых из студеного ручья, неумолчно журчавшего поблизости. Распределили обязанности. Кабанчика резал на части Дранников — ни у кого другого это не получалось так ловко; водку разливал замдиректора по ОРСу Феофанов — у него точный глаз и твердая рука во всех стадиях опьянения; закусками командовала заведующая единственным в поселке магазином Елизавета Архиповна, женщина разбитная и веселая; песни запевал зав конным двором Аникеев, саженого роста детина с хорошо поставленным дьяконским басом; ему на гармони аккомпанировал шофер, парень вроде бы тихий, но тертый — все лицо в шрамах. Остальные были на подхвате: то еще картошки испечь — она хороша, когда только из углей вынута, то из ручья водки принести — под такую закусь водка пилась как вода.

Вот так до самой ночи — пили, ели, пели, спали. Никто не покидал застолья, иначе как только свалившись на землю.

Вечером во избежание соблазна, а главное, кривотолков Елизавету Архиповну и поварих увезли и высадили у околицы поселка, откуда они разошлись по домам. Отбыл и егерь. Остальная компания, как всегда, осталась ночевать. Разъезжались уже поутру в понедельник, слегка опохмелившись. Правда, злые языки утверждали, что от Аникеева и после опохмелки лошади шарахались.

На сей раз в обратный путь отправились позже обычного. Забарахлил мотор и барахлил всю дорогу, покуда ехали. В поселок прибыли около десяти утра. Многоголосый шум на базарной площади вынудил Кроханова выглянуть из-под тента. У столба с репродуктором кучками стояли возбужденные люди, что-то обсуждали, горячо жестикулировали. До ушей Кроханова донеслось слово «война».

Обычно после воскресного кутежа Кроханов заезжал к себе домой, брился, умывался студеной колодезной водой и шел в цехи продемонстрировать людям, что директор в полном здравии и уже находится при исполнении своих обязанностей. А сегодня он слез с машины у заводоуправления.

Быстро, насколько позволяли подламывавшиеся ноги, поднялся на второй этаж и остановился в растерянности. Дверь в приемную открыта, в кабинет тоже открыта, и оттуда доносился размеренно-четкий голос Баских.

Увидев директора растерянного, с красным, точно распаренным в жаркой бане лицом, Светлана предусмотрительно закрыла дверь.

— С кем война? — хриплым от перепоя и волнения голосом спросил Кроханов.

— С Германией, — нисколько не удивившись вопросу, ответила Светлана.

Густые брови Кроханова сначала сошлись на переносице, потом полезли вверх.

— Давно?

— Прошлой ночью напали. На всем пространстве от Балтийского до Черного, города бомбили.

Потрясенный такой новостью, Кроханов произнес как простонал:

— Вот это событие... Голова кругом... — Опасливо покосился на дверь кабинета. — А что у меня происходит?

— Баских собрал начальников цехов, проводит совещание. И второй секретарь там.

— Давно?

— Да уже с час.

Потоптавшись перед дверью и придав себе независимую осанку, Кроханов решительно открыл ее и шагнул в кабинет.

Все взгляды разом сосредоточились на нем. Одутловатые, обросшие черной щетиной щеки, мешки под глазами и разгоряченный вид не оставляли сомнения в том, как провел директор воскресный день.

Его место за столом пустовало, Баских и Немовляев сидели перед столом.

Кроханов не знал, как ему быть. Извиниться — вроде директору негоже, поздороваться — тоже что-то не то. Не сделал ни того, ни другого. Сел в свое кресло и молча уставился на Баских. Тот был взбешен, но от замечания удержался.

— Инструктаж о задачах руководителей в военное время я провёл, — сказал он, — конкретные указания вы узнаете, — достал из портфеля большой конверт в плотной бумаге, с пятью сургучными печатями, положил перед директором, — вот из этого пакета.

Сорвав печати, Кроханов углубился в чтение.

Документ был предельно кратким, всего две страницы текста, но Кроханову пришлось перечитать его дважды, поскольку взгляды людей, особенно Баских, да и остатки хмеля в голове мешали сосредоточиться.

— В общем, так, — неожиданно твердым голосом произнес он. — Завод переходит на оборонный заказ, очень важный. Назначение нашего металла... ну, это знать всем необязательно. Сталь вроде простая, но требует... — Запнулся, не подобрав слова поточнее, и, поворошив память, лихорадочно продолжил: — Безапельяционной чистоты от всяких примесей и чтоб пластичность была высокая. Серы и фосфора минимум, медь допускается, но в самых малых количествах. — Обвел взглядом собравшихся. — Балатьева не вижу.

— Я за него, — отозвался Аким Иванович.

— А он где?

— Не знаю. В цехе нет, дома... нет.

— Так что, начальник иглока в сене?! — грозно спросил Кроханов, заподозрив Акима Ивановича в причастности к исчезновению Балатьева. Подержал обер-мастера под своим все еще затуманенным взглядом, добавил: — От этого начальника всякого ожидать можно. Давно нету?

Рассказать, что знал Аким Иванович не мог, но ответить что-то надо было, и он бодро соврал:

— Со вчерашнего вечера.

— Хорош гусь... — Кроханов нажал кнопку звонка.

Появилась Светлана, встревоженная, с расширенными глазами, как будто знала, что Кроханов спросит у нее о Балатьеве.

— Может, скажешь, где деётся твой жених? — Грубости тона Кроханову было мало, он еще стукнул для острастки рукой по подлокотнику кресла.

Обычно находчивая, Светлана в присутствии такого множества людей, теперь устремивших взгляды на нее, малиново зарделась и, ничего не ответив, пошла к двери. Но Кроханов придержал ее.

— Погоди, понадобисься. Мокрушин!

Поднялся заведующий химической лабораторией, щуплый, лысоватый, в очках. Возраста неопределенного — от тридцати до пятидесяти.

— Как с плавками за вчерашний день?

— Опять брак по меди. Все как одна.

— Напечатай приказ по Балатьеву, — обратился Кроханов к Светлане. — В общем, так: брак льет без перерыва целую неделю, с должности снять, с завода уволить, отдать под суд. И мне в личные руки.

Краска мигом схлынула с лица Светланы, она побледнела.

— Иди, иди, — наказал ей Кроханов.

Баских перебросился взглядом с Немовляевым.

— С судом мы повременим, — сказал многозначительно, не скрыв недовольства скоропалительным решением директора.

— Не тот он человек, что нам нужен, Федос Леонтьевич,— спесиво заявил Кроханов.— Ишь какой! Война идет, а их превосходительство на все начхали и исчезли.— Он старался подбирать слова увесистые, такие, чтоб прошибли секретаря райкома. В расчете на сочувствие добавил: — Этот Балатьев... до белого колена довел меня.

— Каления,— поправил Баских, увидев, как, несмотря на всю серьезность положения, кое у кого мелькнули задавленные улыбки.— Знаете, что такое белое каление?

— Знаю.

— Ну так вот...

Кроханов удивленно уставился на секретаря райкома, видимо так и не сообразив, какую допустил ошибку. Много делал он их, щеголяя общеупотребительными оборотами, но никто не решался его поправлять во избежание неприятностей. Обидчив был Кроханов и злопамятен.

Светлана принесла приказ, положила на стол и поспешно удалилась.

Пробежав глазами приказ, Кроханов для пущей важности что-то поправил в нем и уже нацелился было расписаться, как вошел Балатьев. Он осунулся, выглядел уставшим, но глаза блестели озорно.

— Разрешите?

— Это тебе-то? Посторонним тут делать нечего!

Злорадство в словах Кроханова взорвало секретаря райкома.

— Товарищ директор,— официально сказал он,— пока человек не получил приказа на руки, он не посторонний. Не вредитель же он, в конце концов.

Но Кроханов уже закусил удила. Ему мало было сразить своего недруга — ему еще нужно было публично унижить его.

— Вредитель или нет, в этом следствие разберется,— угрожающе процедил он. Подписав приказ, протянул его Балатьеву.— Вы свободны.— И добавил недвусмысленно: — Пока свободны.

Неторопливо прочитав документ, Балатьев хмыкнул и уселся на свободный стул. Не сел — именно уселся, основательно и прочно.

Лицо Кроханова стало багровым, во взгляде сверкнула ярость. Забыв, где он, кто он, руководствуясь только одним желанием — смять Балатьева, растоптать, он прошипел:

— Знаешь поговорку? Если по шею в дерьме, так и не чирикай!

И вот тут у Баских иссякло терпение.

— Товарищ директор, держите себя в рамках! — Перевел взгляд на Балатьева.— Ваше поведение я тоже понять не могу!

Балатьев глубоко вздохнул раз, другой, третий — этим приемом он пользовался, чтобы в критические моменты унимать сердцебиение.

— Сейчас поймете, Федос Леонтьевич,— сдерживая себя, сказал он.— Дело в том, что все это липа. Сплошная. Брак — липа. Нет брака. И приказ липа, потому что по липовому браку можно отдавать только липовые приказы.

— Чем ты докажешь? — Как ни пыжился Кроханов, голос его прозвучал неуверенно: почувствовал, видимо, что Балатьев располагает каким-то крупным козырем.

— Эх, товарищ директор... — Балатьев снисходительно потряс головой.— Вы ведь инженер как будто и...

— Я верю документам! — Порывшись в ящике, Кроханов выбросил на стол пачку бумаг.— Вот анализ лаборатории, вот заключение ОТК...

Балатьев достал из кармана лист с длинной колонкой цифр, положил перед Крохановым.

— На документы тоже есть документы.

Пока Кроханов изучал цифры, Балатьев нарочито громко, чтобы слышали все, принялся объяснять Баских:

— Вчера утром я взял контрольные пробы всех плавок и выехал

на завод в Добровку. Какой вчера был день — сами знаете. Во-первых, воскресенье, во-вторых... Ну, что во-вторых, говорить нечего. Пока собрали лаборантов, пока сделали анализы, проверили их, перепроверили, удостоверили... Вот только что вернулся. Расхождение — в два раза. Ровно.

Кроханов поднял разъятые в растерянности глаза.

— Черт знает что такое! Первый раз вижу!

— Первый? — прищурился Балатьев.

— Первый! — нагло подтвердил Кроханов.

Как подмывало его добить Кроханова всенародно, напомнив ему о такой же истории с фосфором. Мельком взглянул на Акима Ивановича и увидел, как тот враз поскорбел лицом и сжался в ожидании, что начальник не сдержит слова, сорвется, выложит все напрямую, и тогда Кроханову станет ясно, откуда у него такая информация.

— Ну так каким анализам будем верить? — жестко спросил Баских. — Добровским или нашим?

— Придется еще раз проверить, — сманеврировал Кроханов. Уловив, что секретарь райкома недоволен ответом, протянул руку к Балатьеву, потребовал: — Верни приказ.

Балатьев разгладил его, сложил вчетверо, спрятал в карман.

— Нет уж. Это я придержу для коллекции человеческих подлостей. — И обратился ко всем: — А теперь, дорогие товарищи, всего вам хорошего. Я в военкомат. Надеюсь, возьмут добровольцем.

Вечером Николай наведлся к Давыдычевым. Грустный был этот вечер. Радиоприемник не выключали ни на минуту. Приглушали звук, когда шла обычная передача, и включали чуть ли не на полную громкость, когда передавали сообщения о военных действиях. Они ошеломляли. Противник развил наступление по всему необъятному фронту и уже занял Ковно, Ломжу, Брест. О насыщенности германской армии техникой говорила цифра уничтоженных нашими войсками танков — триста только на одном направлении.

Николай и Константин Егорович отдавали себе отчет в том, какие преимущества были на стороне гитлеровской армии: внезапность нападения, тщательность подготовки и военная техника нескольких европейских армий, собранная воедино. Когда женщины сошлись на предположении, что война так же быстро кончится, как началась, они промолчали, чтобы не обременять их излишними тревогами. Только обменялись понимающими взглядами.

А вот по поводу решения Николая идти на фронт возникли споры. Клементина Павловна утверждала, что так и только так должен поступить мужчина, для которого судьба родины — его собственная судьба, Светлана поддерживала мать, хоть и без особого энтузиазма, а Константин Егорович яростно возражал.

— Сейчас цеху как никогда нужен грамотный руководитель, — утверждал он. — Грамотный технически и политически. Дранников ни тем, ни другим не блещет. Нужно подымать настроение людям, а не портить его...

— Поднимать настроение людям будет чувство патриотизма, — возразил Николай, — ощущение огромной опасности, которая нависла над государством.

— А не преувеличиваете ли вы эту опасность, Николай Сергеевич? — осуждающе спросила Клементина Павловна, оскорбленная в своих патриотических чувствах. — Откуда у вас, у молодого человека, столько скептицизма, если не сказать больше — пессимизма?

— А откуда у вас такие шапкозакидательские настроения? — Мягкой интонацией Николай постарался сгладить жесткость вопроса.

— «Бить врага на чужой территории», «Ни одной пяди своей земли...» — Голос Клементины Павловны прозвучал торжественно, как с трибуны. — Эти слова, по-вашему, на ветер брошены?

— Дай-то бог,— примирительно проронил Константин Егорович. Светлана молчала. Смотрела на Николая откровенно грустными глазами, мысленно прощаясь с ним навсегда и безмерно сожалея о таком неожиданном финале их отношений. Вернется он с войны или не вернется — все равно больше они не увидятся. Слишком тонкая ниточка связывает их, не выдержит она испытания временем. Да и неравнопрочная эта ниточка. Он ей бесконечно дорог. Это не бессознательное, не безотчетное влечение. Она точно знает, что в нем нравиться ей, что привлекает, а нынче добавилось еще и восхищение им. Сквозь приоткрытую дверь она слышала все, что происходило в директорском кабинете, и поразились силе духа Николая, его упорству и вере в себя, его характеру бойца. А у него что к ней? Легкая симпатия, как к хорошенькой девушке, с которой можно скрасить одиночество? Похоже. До сих пор она не знала горечи неразделенного чувства, и вот надо же такое. Первый человек, за которым могла без оглядки пойти хоть на край света, относится к ней со снисходительным сочувствием, не более.

— Николай Сергеевич, а что, если мы с вами пройдемся? — неожиданно для всех и, пожалуй, для самой себя предложила Светлана. Отвечая на недовольный взгляд матери, намеревавшейся довести разговор до логического конца и полагавшей, что это возможно, добавила: — Хочется глотнуть свежего воздуха.

— Конечно, конечно, пройдитесь,— поддержал дочь Константин Егорович, раньше чем Николай согласился.

Предложение это пришлось Николаю по душе, потому что его начала раздражать прямолинейность Клементины Павловны, а еще больше потому, что хотелось побыть со Светланой наедине. До сих пор их встречи были короткие и происходили всегда при ком-нибудь, так что и поговорить вдоволь не удавалось.

Светлана накинула на плечи вязаный платок, и они вышли.

Вечер был тихий, теплый, но с той приятной свежинкой, которая прокрадывается навстречу наступающей темноте и исчезает с первыми солнечными лучами. Воздух наполняли чисто деревенские звуки. Где-то беляли овцы, возвращавшиеся с пастбища, на все лады, словно переключаясь между собой, звякали коровьи боталы, погромыхивали колодезные ворота, взлаивали потревоженные псы. И редкие людские оклики тоже звучали по-деревенски. Громко, надсадно.

— Уйдемте с нашей улицы,— предложила Светлана.— У меня появилась неприязнь к пруду.

— И в этом виноват я...

— Да,— бесхитростно ответила Светлана.— Я очень пережила тогда.

— Спасибо.

— Что пережила?

— Что я небезразличен вам.

— Этого мало...

— Правда?

— Правда...

Николай не знал, как ему быть, что говорить. Сердце его зашло от нежности и признательности к этому милому непосредственному существу, которое при всей обреченности их отношений, зная наперед, что будущего у них нет, признается в самых сокровенных своих чувствах. Взял руку Светланы в свою, сжал тонкие пальцы и ощутил, как обжигающая волна пошла по всему телу.

— Мы сегодня видимся последний раз в жизни,— заговорила Светлана, когда, пройдя узеньким проулочком, свернули на дорогу, что шла к темневшему вдали лесу.— Могу я рассчитывать на полную откровенность?

— Безусловно.

— Вы очень любили свою жену?

К этому вопросу Николай готов не был и потому чуть замешкался.

— Не хотите — не отвечайте,— пришла ему на выручку девушка.

— Нет, Светик. Вам я на все могу ответить вполне искренно, но хочется, чтоб было и убедительно.

— Искренность всегда убедительна.

— Не всегда. Вот ваша мама была сегодня вполне искренна, но неубедительна.— Николай явно тянул время, чтобы собраться с мыслями.— Видите ли, когда любовь проходит, почти всегда кажется, что ее не было.

— А вы уверены, что она прошла?

Он снова задумался, потом сказал твердо:

— Прошла.

— А мне кажется, нет.

— Почему кажется?

— Долгая пауза перед ответом... И еще один вопрос. Если б жена явилась с повинной, вы могли бы ее простить?

— Нет,— ответил Николай на сей раз мгновенно, чтобы Светлане не вздумалось снова выразить ему недоверие из-за замедленной реакции.

Дорога пошла вниз, в овражек, неглубокий, но буйно поросший кустарником и местами затянутый куделями туманца. Невольно зашагали быстрее.

Николай заботливо придержал Светлану, вспомнив, что еще недавно она ходила неуверенно, с опаской.

— У вас уже не болит нога?

— Не болит, когда забываю о ней.

Рядом в кустарнике что-то зашелестело, беспорядочно захлопали крылья, и крупная птица, взмыв вверх, пронеслась над ними.

— Сова. Всего-навсего сова.— Николай прижал к себе испуганную Светлану.

Выбрались из овражка и остановились, чтобы пропустить двуколку с лихим, лет четырнадцати от роду возницей. Желая блеснуть ухарством, мальчишка перетянул лошадь кнутом, на рыси спустился вниз и, не убавив скорость, вымахал на подъем.

— Вы не ответили мне на вопрос,— напомнила Светлана, когда двинулись дальше.

— Я не понял, почему вы спросили о прощении,— признался Николай.

— Мне кажется, что глубина чувства определяется степенью вины, которую можно простить. Не так ли? Кстати, объясните мне, почему мужчины не прощают женщинам то, в чем обычно бывают грешны сами.

— Вины неравноценны.

— О да, конечно! — патетически произнесла Светлана.— Вы, мужчины, считаете себя существами высшего порядка. Вам все дозволено.

— Нисколько. Просто женщина более духовна. И если она изменила, то, как правило, полюбив. А мужчины далеко не всегда. У них зачастую это... ну, легче проходит, что ли.

— Вы идеализируете женщин.— Светлана вскинула голову.— Значит, ваша жена полюбила?

Николай отстранился, точно Светлана причинила ему боль.

— Вы препарируете меня, как анатом.

— Как хирург,— поправила она.— Режу по живому и даже без анестезии. Нам ведь незачем что-либо скрывать друг от друга. Завтра...

Николаю стало жаль Светлану, да и себя тоже. Он уже понимал, что прошло бы время, зажила бы пока еще ноющая рана и не было бы у него человека дороже, чем эта девушка, так чудесно вобравшая в себя свойства, которыми природа награждает выборочно, по особым милости.

— Вы ждете ответа? — спросил он.

— Естественно.

Не хотелось Николаю выворачивать себя наизнанку не только перед Светланой, но и перед самим собой, но он все-таки пошел на встречу ее желанию.

— Простил бы, пожалуй, если бы это была настоящая любовь. Кто от нее застрахован? Но когда в основе лежит расчет и только расчет... Противно.

Светлана сжала руку Николая, не то выражая сочувствие, не то выпрашивая прощение за причиненную этим допросом боль.

Они уже брели вдоль опушки леса по хорошо наезженной дороге. Направо от них простиралось поле с притихшей, погрузившейся в сон рожью, а вдали из-за гребенчатой кромки взобравшихся на пригорок деревьев застенчиво выглядывала худенькая, скромная луна, словно раздумывая: явить ли миру свою невзрачность или затаиться в лесной чащобе?

Притянув Светлану к себе, Николай заглянул ей в глаза и ощутил, как неровно, тревожно забилося ее сердце. Медленно склонив свое лицо к лицу Светланы, давая ей возможность отстраниться, приник к ее губам. Поцелуй остался безответным.

— «И сумею без слез и упреков судьбе неизбежную встретить разлуку...» — с приземляюще трезвой интонацией произнесла Светлана. Оглядевшись вокруг, добавила: — Пойдемте домой, Коля, мы слишком далеко зашли.

— Буквально или?..

— Или — тоже.

— Светочка, посмотрите мне в глаза, — попросил Николай. — Слова иногда лгут, особенно когда подогреты эмоциями. Так вот слушайте. До сих пор я не верил, что чувство может нарастать быстро и бурно, у меня по крайней мере этот процесс всегда был замедленным. А теперь поверил. И я твердо знаю: будь у нас в запасе хоть немного времени, стали бы мы мужем и женой, любящими и верными.

Лицо Светланы засветилось той радостью, которая делает ненужными слова. Николаю почудилось, что сейчас она прильнет к нему крепко-крепко, всем телом, и тогда... Тогда — будь что будет. Нет, только почудилось.

— Потому вы и не оставили нам ни чуточки времени? — упрекнула Светлана. — Рассорились с Крохановым — и сразу в военкомат.

— Но вы одобрили этот шаг.

— А что мне оставалось, когда он уже был сделан?

Обратный путь, как ни быстро шли, обоим показался невероятно долгим. Молчали, потому что сказать больше того, что сказали друг другу, было нечего. У калитки задержались.

— Ну вот и все... — Светлана протянула на прощанье руку и после минутного колебания добавила: — Мне очень хотелось бы, Коля, иметь от вас что-нибудь на память. Чтоб было со мной всегда. Пусть это будет какая-нибудь самая пустячная вещичка.

Уличный фонарь ярко освещал Светлану, и Николай вглядывался в ее лицо, стараясь как можно лучше запомнить каждую черточку.

— Коля, вы слышите?

Очнувшись, он снял часы, надел Светлане на руку. Она обрадовалась подарку, но спросила:

— А как же вы без них?

— На войне часы общие. По команде ложись, по команде вставай...

— ...по команде иди в бой... — подхватила Светлана и сорвалась с деланно-спокойного тона. — Коленька, берегите себя... Коленька, родной...

Николай порывисто прижал Светлану к себе и застыл, ощущая тепло ее щеки на своей груди. Потом отыскал полураскрытыми губами ее губы, и они ответили горячим и горьким прощальным поцелуем.

В Доме приезжих Николая чуть ли не бранью встретила рассерженная Ульяна. Секретарь райкома в который раз звонит, требует, чтобы отыскала жильца и послала к нему, когда б ни пришел.

Не сказав ни слова, Николай отправился к Баских не столько встревоженный, сколько заинтересованный — для чего это ему понадобился отрезанный ломоть?

Все окна райкома были освещены, и Николай решил, что увидит в коридорах скопище людей, ожидающих приема. Но, к его удивлению, здесь находились всего несколько человек и сосредоточились они у кабинета Немовляева.

Баских встретил Балатьева взрывом недовольства:

— Где ты болтаешься? Три часа битых ищут!

— Надо было попрощаться... с людьми.

— С людьми? В цехе твоего духу не было! А с кем ночью прощался, завтра сможешь поздороваться.

— А как бы перевести эту тираду на общепонятный русский язык, — ершисто потребовал Николай, успев зарядиться эмоциями собеседника. — Я мобилизован.

— Если у военкома хватило ума тебя забрить, это еще не значит... — Баских замолчал — последняя спичка никак не хотела загораться. С того рокового часа, когда его разбудили сообщением о нападении Германии, он не покидал райкома, и накал от тревог и забот давал себя знать. — Единственный инженер-сталеплавильщик!

— Почему единственный? А Кроханов что?

На лице Баских появилась страдальческая гримаса. Он давно пришел к выводу, что Кроханов годится для роли понукальщика, и то при безупречных исполнителях, как технолог же гроша ломаного не стоит. А ведь предстояло освоить и выплавлять оборонный металл. Если кому и под силу решить такую задачу в кустарных условиях, то только Балатьеву.

— Мне тут дискутировать некогда, — сказал он. — Ты остаешься в цехе. Понял? Вот так. Все.

Сообщение не обрадовало Николая и не огорчило. Просто ошеломило неожиданностью. Он уже настроился, что завтра уедет в Пермь, оттуда прямехонько на передовую, и не будет разъедать его душу щемящее чувство военнообязанного, по всем статьям годного для выполнения священного долга, но отсиживающегося в тылу.

— А приказ о снятии, об отдаче под суд отменен, что ли?

— Он просто не выпущен. Ты не умачивайся, — остановил Баских Балатьева, заметив, что тот собирается присесть. — Некогда. Поспи остаток ночи — и в цех.

— Как же нам с Крохановым после всего работать вместе? — с отчаянием в голосе спросил Николай. — Мы друг друга не перевариваем.

— Мы тоже, — признался Баских. — Однако работаем. Сослуживец не жена, которую сам выбираешь, его нам судьба дает. И далеко не всегда удачно. Так что давай-ка впрягайся...

В цехе Балатьева встретили с удивлением и радостью. Все уже знали, что ему забрили лоб, и никто на его возвращение не рассчитывал. Обижались немного, что не пришел попрощаться, но нашли этому оправдание: значит, не хватило времени.

— Вот это сурприз! — не скрыл своего ликования Аким Иванович. Протянул обе руки. — А я уж думал, что вы там с новобранцами распеваете «Соловей, соловей, пташечка...».

Подошли печевые. Каждый выражал свои чувства по-своему: кто рукопожатием, кто улыбкой, кто просто радостным восклицанием.

Прибежала и Заворыкина, прекратив загрузку газогенератора, — любила она выведывать что ни есть раньше и побольше других.

— Что, отвоевались, товарищ заведующий?

— Оставили с вами воевать,— безрадостно ответил Балатъев.

— А мы уж испужались, что уехали и так мы до вашей тайны не дознаемся.— Обдав Балатъева лучистым взглядом, Заворыкина умчалась с неожиданной для ее массивного тела легкостью.

— Ну и кремень вы, Николай Сергеевич,— проникновенно сказал Аким Иванович, когда печевые разошлись по местам.— Такой шанс был убить Кроху наповал, а вот же сдержались. Кремень...

— Если б не вы, Аким Иванович, гореть бы мне синим пламенем. Мог бы и во вредители угодить. Спасибо вам. Мне б самому и в голову не пришло подумать, что повышенная медь — это ошибки или проделки лаборатории. Для меня лаборатория — что для верующего алтарь. Святое место.

Аким Иванович опасливо огляделся. Из его слов посторонний ничего не понял бы, а начальник чешет открытым текстом.

Опасность и впрямь была — к ним приближался Дранников, как всегда хмурый, как всегда напряженный. Кивнул, демонстративно не вынув рук из карманов.

— Что это вы отпуск недогуляли, Роман Капитонович? — неприветливо спросил Балатъев, уверенный в том, что если лаборатория предумышленно нафокусничала с медью, то либо по наущению Дранникова, либо ради него.

Дранников наградил своего невольного конкурента вызывающим взглядом.

— Вам как начальнику полагалось бы знать: в силу вступил закон военного времени, отпуска отменены.

— Да-а... — протянул Балатъев.— Что ж, тогда будем работать по новому закону. Цех без нашего присмотра,— взглянул на обер-мастера,— включая и вас, Аким Иванович, не оставлять. Ни днем, ни ночью. С сегодняшнего дня переходим на оборонный заказ. Каждая вторая плавка — пульная.

— Что мне пульная! — заносчиво бросил Дранников.— В Златоусте я как-нибудь десять марок легированной варил!

Балатъев хмыкнул. Семь лет как сидит тут Дранников, и если у него и были какие-то навыки, то он давно растерял их, тем более при таком союзнике, как водка. Решил осадить своего зама.

— В карете прошлого, Роман Капитонович, далеко не уедешь.

— Без такого прошлого — тоже,— лихо, как хороший фехтовальщик, уколом на укол ответил Дранников.

Дальнейший обмен колкостями ничего, кроме вреда, принести не мог, и это заставило Балатъева пойти на мировую.

— В таком случае вся надежда на вас,— сказал он.— Я, признаться, в Донбассе рядовую сталь варил, да еще судовую, автотракторную и снарядную. Распределимся так: я всегда буду с утра, вы с Акимом Ивановичем поочередно неделю в вечернюю смену, неделю в ночь.

Предложение, а вернее распоряжение, пришлось Дранникову не по вкусу.

— Это мы еще с директором согласуем,— буркнул он.

— Не трудитесь напрасно,— твердо сказал Балатъев.— За цех отвечаю я, и команду в нем я.

Сочтя разговор законченным, Балатъев отправился на шихтовый двор.

Впервые ходил он здесь как хозяин, которому надлежит в корне менять установившийся годами распорядок. Если до сей поры о каких-либо улучшениях и изменениях нельзя было и подумать, то теперь преступно было не думать о них. Людей, безусловно, убавится, оставшимся со всем объемом ручного труда не совладать, печи шихтой не снабдить. Следовательно, придется что-то соображать насчет механизации работ, хотя бы малой. Вдоль склада надо во что бы то ни стало пустить подвесную тележку с электромагнитом, это избавит людей от необходимости поднимать с земли каждую чушку чугуна в отдельности и бро-

сать в мульду. С помощью магнита и женщины с такой работой справятся. И для сыпучих нужно раздобыть какой-нибудь передвижной грейфер. Но прежде всего — заменить маломощную конную тягу мотовозами. Они помогут ускорить завалку мартенов и позволят увеличить выплавку металла. Теперь он вправе требовать всего этого от Главуралмета — завод продолжает работать, больше того, значение его непрерывно растет.

Когда Балатьев вернулся на рабочую площадку, Дранников и Аким Иванович все еще находились там.

— Вы не пробовали лить мазут в газовый канал? — обратился Балатьев к Дранникову.

— А что это даст? Несколько тысяч калорий — капля в море.

Балатьеву сразу стал ясен технический уровень его заместителя. Пришлось объяснить, что дело тут не в калориях, а в улучшении условий теплоотдачи. Мазут даже в малых количествах увеличивает светимость пламени за счет сажистого углерода, и усвояемость тепла печью и металлом от этого резко увеличивается.

Аким Иванович выслушал Балатьева с любопытством, воспринимая эти истины как откровения, а Дранников отсутствующим видом давал понять, что к теоретическим рассуждениям начальника относится скептически. Это покорило Балатьева, и уже в приказном тоне он заявил:

— Итак, разошлись. Аким Иванович выйдет с трех, вы, Роман Капитонович, в ночь. Через неделю поменяетесь.

Недовольно ощерившись, Дранников направился к выходу.

— Нет ума роженного, не дашь и ученого, — философски заметил Аким Иванович, глядя ему вслед. — К директору помчал жаловаться. Непривычный он чужой воле потрафлять. И еще не хочет, чтоб первую оборонную плавку без него выпустили. Это ему щелчок по носу.

Балатьев понял, что обер-мастер был бы рад-радешенек возможности участвовать в первой плавке, и предложил ему остаться.

Повеселевший Аким Иванович с рвением принялся устанавливать железные баки для подачи в печь мазута, а Балатьев отправился инструктировать рабочих. Грузчики теперь должны были проявлять особое внимание при отборе подаваемых в печь материалов, ковшевые — добиваться максимальной чистоты ковшей, канавные — тщательно подготавливать изложницы, шлаковщики — бесперебойно убирать шлак, газогенераторщицы — как можно быстрее загружать дрова в жерла своих ненасытных агрегатов.

Разговаривал Балатьев с людьми прямо на рабочих местах, поскольку заводской красный уголок был на затяжном ремонте, но инструктаж от этого получился доходчивее — для каждой профессии свои особые задачи.

Решил он сходить и в лабораторию, чтобы поближе познакомиться с заведующим и лаборантами, выяснить степень их квалификации и заодно нагнать страху.

Лаборатория, помещавшаяся в бревенчатой пристройке к литейной мастерской и занимавшая две крохотные комнаты, была такой убогой, что от лаборантов нечего было требовать ни экспресс-анализов по ходу плавки, ни ускорения конечных анализов.

Поздоровавшись, Балатьев спросил, кого благодарить за историю с медью. Поскольку ответа не последовало, поднажал:

— Ну! Шкодливы, как кошки, а трусливы, как зайцы? Не стоит со мной хитрить. Все равно дознаюсь.

Этого разговора Мокрушин ожидал, опасался его и заранее подготовил самый логичный, как ему казалось, и исчерпывающий ответ:

— Реактивы подвели, оказались нечистыми.

— И вы целую неделю не удосужились их проверить? А интересно, сколько времени показывали бы вы завышенную медь? Пока меня не выгнади б? Так? Так, я спрашиваю?

Молчал Мокрушин, упорно глядел в пол. Притаились и лаборант-

ки, две юные девчушки с одинаковыми косичками и в одинаковых белых халатиках, по всей видимости, только кончившие школу.

Подойдя к настенному эриксонскому телефону, Балатьев крутнул ручку.

— Директора, пожалуйста.

По этому «пожалуйста» телефонистки безошибочно узнавали начальника мартеновского цеха — здесь вежливость была не в ходу — и, стараясь услужить ему, всегда находили абонента. Нашли и на сей раз, причем довольно быстро.

— Вы грозили мне следствием и судом за медь, Андриан Прокофьевич, — жестко сказал Балатьев, — а я требую, чтоб следствие провели в лаборатории. Что это? Ошибка или злой умысел? Если умысел, то чем он продиктован? Люди в лаборатории, по-моему, очень приличные.

— А кто неприличный? — пошел в атаку Кроханов, не выдержав прямого нажима.

— Передайте дело в органы, как намеревались, там разберутся.

Когда Балатьев вернулся в цех, с одной стороны печи уже стоял железный бачок и из него тонкой струей тек в газовый канал мазут. В плавильном пространстве заметно повеселело, поток пламени загустел и окреп.

И все же, хоть печь пошла намного горячее, первая пульная плавка затянулась. Несколько раз пришлось удалять шлак, несколько раз заводить новый. Операции эти, производившиеся вручную, были изнурительными и долгими. Чтобы спустить шлак, шестеро подручных вводили в окно печи длинный металлический стержень с насаженным на него деревянным гребком и резкими движениями на себя скачивали густую расплавленную массу с поверхности металла через порог под печь. Делалось все в быстром темпе, потому что шлак надо удалить, пока он еще не прогрелся и содержит наибольшее количество фосфора. Упусти время, промешкай — фосфор перешел бы в металл, и тогда уж ничем от него не отбиться. Потом заводили новый шлак, опять-таки вручную, лопатами забрасывали в печь тонны извести и разбавителей. Во всех этих операциях принимал участие и Аким Иванович. Он работал наравне с другими. Задавая темп, хватался и за гребок и за лопату, и ни уговорить его, ни остановить не удавалось. Его спецовка то намокала от пота, то высыхала, и соленые разводы все больше расписывали ее. Балатьев чуть ли не силком оттащил его в сторону.

— Аким Иванович, уговоритесь. Вас же на две смены не хватит.

— Человек работой долговеч, — походя отмахнулся от него обер-мастер.

Тяжелее всего выплавка пульной далась шлаковщикам. Под рабочей площадкой, куда прямо на землю стекала расплавленная лава, всегда было жарко (с одной стороны нижняя часть печи, с другой — газогенераторы), а теперь, когда количество шлака резко увеличилось и его для охлаждения заливали водой, стало еще и душно, как в парилке. И вот в этой самой жаре и духоте рабочие ломанами и кувалдами дробили затвердевший, но еще не остывший шлак, лопатами грузили его на носилки и на руках вытаскивали из цеха в отвал.

Вот уж когда преобладали Балатьев свой цех в Макеевке. Там удаление шлака не представляло никаких трудностей — его спускали в огромные чугунные ковши, стоявшие под печами на тележках, и вывозили паровозами. И изменение заказа на самый ответственный не вызывало там особого напряжения, поскольку экспресс-лаборатория, сообщая анализ металла по ходу плавки, точно ориентировала мастера, как вести процесс дальше, и избавляла от лишних операций. А тут, при работе на глазок, чистоты металла надо было добиваться интуитивно, чтобы наверняка обеспечить попадание в анализ. И когда девушка из лаборатории прибежала с листком, на котором был про-

ставлен конечный анализ металла, ошастливленные печевые кинулись поздравлять Балатьева и Чечулина и, дай им волю, стали бы качать.

Радостная весть мгновенно разнеслась по заводу и была встречена таким ликованием, будто люди узнали об окончании войны или по меньшей мере о крупной победе наших войск. Отныне коллектив завода будет производить не рядовое железо для кровли, корыт и ведер, а наиважнейшую оборонную сталь — пульную.

Первый раз за время работы на заводе у Балатьева было приподнятое настроение. Он почувствовал, что нужен здесь. Нужен людям, нужен заводу, полезен родине.

Когда он уже собрался уйти из цеха, чтобы отдохнуть часок-другой на своей постели, рассыльная заводоуправления вручила ему небольшой квадратный сверток. «Часы,— подумал, холодея.— На тебе твою игрушку, я с тобой больше не играю...» Зашел в конторку, осторожно развернул сверток. В нем действительно были часы, но не его наручные, а карманные, с черным циферблатом и золотыми стрелками, старые, мозеровские. Стало легче на душе и совсем полегчало, когда обнаружил в свертке записку, написанную незнакомым ему до сих пор бисерным почерком: «А ваши я не отдам, я их выстрадала. С.».

Часть вторая

1

Что ни день, то сообщение об ударах гитлеровских войск на новых направлениях — карельском, могилевско-подольском, псковском, смоленском, житомирском. Только изредка можно было услышать: «На фронтах каких-либо существенных изменений не произошло». Слова эти всякий раз вселяли надежду, что врага вот-вот остановят, что положение наконец улучшится. Но старые направления исчезали, появлялись новые, и это означало, что гитлеровские полчища неуклонно продвигаются вперед.

Хотя война полыхала далеко от Чермыза, жизнь в нем уже не походила на прежнюю. Сразу ухудшилось снабжение поселка. Крупы, сахар, соль, спички, курево появлялись редко, и за ними устраивались длинные очереди. Трудности со снабжением усугублялись еще и тем, что многие, кто позахватистей, брали продукты в запас, обездоливая других. И работать в цехах стало намного тяжелее. Одних призвали в армию, другие ушли добровольцами, и, хотя выходные дни и отпуска были отменены, рабочих рук не хватало, каждому приходилось трудиться за двоих, невзирая на возраст и состояние здоровья. Изнуряла людей и тревога за родных и близких. И за тех, кто был на войне, и за тех, кто оказался на занятой врагом территории. Что с ними? Из сообщений Совинформбюро было известно, что гитлеровцы вели себя на захваченных землях как изверги, у которых не осталось решительно ничего человеческого,— грабили, убивали, насиловали, сжигали людей живого. Изощренная жестокость, ставшая их сущностью, затмевала всякое, даже патологическое воображение.

Все чаще слышались в поселке рыдания по погибшим. Здесь многие были связаны родственными и дружескими узами, и каждое сообщение о смерти переживала не только семья, потерявшая отца или сына, но и весь многочисленный клан родных и близких.

После перевода одной печи на пульную сталь, которую в виде полос отправляли на склад прямо из-под валков заготовочного стана, завод по ночам затихал. Самые шумные цехи — листопрокатный и листоотбойный — справлялись за полторы, максимум за две смены, так как листовой металл, который шел на тару для патронов и снарядов, катали с одной печи. Только по-прежнему ритмично повизгивали круглые пи-

лы, распиливая вековые сосны и ели на чурки, да погромыхивал колун, разделявая их на дрова.

На плечи Балатьева легла непомерная тяжесть. Мало того, что в утреннюю смену он работал как мастер, ему еще все восемь часов приходилось торчать в смене Дранникова. Не ладилось у того с пультной. У хваленного специалиста не хватало терпения, чтобы тщательно проводить все технологические операции, особенно в ночной смене, когда после очередного обильного возлияния ему больше всего хотелось спать. Теперь уже Дранников не вспоминал, что варил в Златоусте десять марок стали. Об этом напоминал ему Балатьев, пытаясь воздействовать если не на совесть, то хотя бы на самолюбие, на профессиональную гордость.

Но не только чрезмерная физическая нагрузка выматывала Балатьева. С каждым днем его все больше грызла мысль о том, как обеспечить нормальную работу печей зимой. В цехе да и на заводе не привыкли выполнять план в зимнюю пору. Работали не покладая рук в теплое время года, создавали кое-какие сверхплановые резервы, а зимой уровень производства резко снижался и созданные запасы съедались. На открытом всем ветрам шихтовом дворе не успевали выкапывать из сугробов шихту и подавать ее по занесенным снегом рельсам к печам. Даже с Камской базы сырье поступало с перебоями. Крохотный узкоколейный паровозик преодолевал семикилометровый путь иногда за час, а иногда за пять. Но пока мрачные зимние перспективы никого не волновали.

Попытка обсудить этот вопрос с Крохановым успеха не имела. Он с рассеянным видом пытался папиросой, ерзал в кресле, явно ожидая конца разговора и, когда Балатьев изложил все свои соображения о подготовке к зиме, раздраженно заявил:

— Будешь работать на чем есть. Это тебе не юг. Здесь то да се на блюдечке не поднесут, здесь по одежке протягивай ножки. Ты в Главк писал? Писал. Ответ получил? Как же, в обе руки. Так вот перестань мозги пудрить. Свои и мои.

На том разговор и закончился.

Однако не прошло и трех дней, как Кроханов вызвал Балатьева к себе.

До сих пор не было случая, чтобы они спокойно, по-деловому обсудили насущные вопросы, согласовали какие-то мероприятия. Каждая встреча с директором оборачивалась для Балатьева какой-нибудь неприятностью. Кроханов не мог обуздать свою неприязнь к начальнику мартена. Ходили даже слухи, будто директор собирается навязать ему Камскую сырьевую базу со всем комплексом погрузочных и транспортных работ и тем самым не только взвалить на его плечи всю ответственность за доставку шихты в цех, но и лишить возможности предъявлять руководству какие-либо требования.

Вот и сегодня Балатьев шел в заводоуправление с дрянным настроением, ожидая очередной стычки. Единственно что его грело, так это предвкушение встречи со Светланой. После прощального вечера они ни разу не виделись наедине — не нашлось времени. А много ли скажешь при мимолетной встрече в приемной или в разговоре по телефону, когда подслушивают досужие телефонистки? Эта вынужденная сдержанность укоренилась и уже внесла в отношения холодок.

Нынче им тоже не пришлось побыть с глазу на глаз, потому что в приемной сидели люди. Лишь улыбнулись друг другу да дольше, чем полагалось бы, задержали в пожатии руки.

Кроханов был не один. В кресле у стола сидел пожилой военный в гимнастерке с тремя шпалами в петлицах и в очках. Он внимательно рассмотрел Балатьева усталыми близорукими глазами и, привстав, поздоровался.

— Инженер-полковник Селиванов Василий Афанасьевич.

— Лейтенант запаса Балатьев Николай Сергеевич.

— Садитесь.

Балатьев занял место.

— Я представитель завода, куда идет ваша продукция,— приступил к делу Селиванов.

— ...и член бюро областного комитета партии,— поспешно добавил Кроханов, многозначительно посмотрев на Балатьева: то ли обращал внимание на высокое положение, то ли предупреждал, чтобы не сболтнул лишнего.

— Это несущественно,— недовольно поморщился Селиванов.— Так вот, как представитель завода могу сказать, что продукция ваша нас полностью устраивает. Минимум отбраковки. Правда, на первых порах металл, который выпускал Дранников, был хуже, чем у других. Черные брови Кроханова негодуяюще зашевелились.

— Такого не может быть! — вскипел он.— Дранников — классный специалист. Что-то вы напутали.

— Путаница возможна у вас, а не у нас.— Открыв портфель, Селиванов извлек из него скоросшиватель.— Здесь у меня результаты механических испытаний по каждой плавке, по каждому мастеру.

— Э, почто зря время терять,— присмирел Кроханов, не пожелав, чтобы цифры, порочащие Дранникова, стали известны начальнику цеха.

— Оставьте, пожалуйста, эти данные мне,— попросил Балатьев, ломая замысел директора.

Кроханов зашипел, когда скоросшиватель оказался у Балатьева, но на рожон лезть не стал — не те обстоятельства.

— А вообще я прибыл сюда по вопросу не качества, а количества,— продолжал Селиванов.— Нам нужен металл. Больше, чем получали до сих пор. Намного больше. Что для этого требуется?

Кому был задан вопрос, ни Кроханов, ни Балатьев не поняли. Видимо, Селиванов предоставил право отвечать желающему. Ответил Балатьев:

— Не так много, но и немало. Прежде всего мазут.

— Сколько?

Балатьев прикинул в уме и назвал цифру.

— Эк загнул! — рассмеялся Кроханов.— В мирное время нам давали в десять раз меньше.

Приподняв очки, Селиванов пытливо посмотрел на директора.

— Не сравнивайте мирное время с военным, значение вашего металла тогда и теперь.— И снова обратился к Балатьеву:— Еще что?

— Мотовозы, чтобы заменить лошадиную тягу, минимум три и топливо к ним.

— Еще?

— Кислород для резки металлолома.

— Вот кислорода не будет,— сразу отверг это требование Селиванов.

«А мазут и мотовозы, значит, будут,— обрадовался Балатьев.— И то великое дело». На выжидающий взгляд Селиванова сказал:

— Тогда хоть один мощный мотор. На три тысячи оборотов в минуту.

— Не вижу связи с отказом в кислороде.

— Я надена на вал стальной диск и попробую резать им металлолом.

— О таком способе я не знаю.

— Я тоже,— бесхитростно признался Балатьев.— Но знаю, что на такой скорости вращения чертежная бумага приобретает способность резать дерево. Почему бы не попробовать? А вдруг...

— Видели? — саркастически хохотнул Кроханов.— Он у нас вроде Жюль Верна. Фантастик!

Селиванов ткнул пальцем в дужку очков, прилаживая их поудобнее.

— Пока я вижу, что этот Жюль Верн делает великолепный пульвный металл, не говоря уж о листовом для снарядных и патронных ящиков, и значительно перевыполняет план, чем завод раньше не отличался. Я ведь ознакомился с динамикой вашего производства, прежде чем ехать сюда. Ни одного года...

Уши у Кроханова стали красными, глаза налились злобой. Произнеси Селиванов эти слова с глазу на глаз, он не среагировал бы на них столь болезненно, но получить такую оплеуху при подчиненном, с которым к тому же не в ладах...

— Еще что? — спросил Селиванов, и Балатьев понял, что и мотор будет.

Кроханов не дал ему ответить.

— Пусть начальник цеха сначала скажет, куда он денет мазут, который вы пригоните. У нас нету для него хранилища.

Ответ последовал не от Балатьева, а от Селиванова:

— Это не его забота. Об этом в заводууправлении должны подумать.

Кроханов с болезненной гримасой заерзал в кресле, как будто напоролся на гвоздь. Все не нравилось ему в этом собеседовании. И контакт, который установился между Селивановым и Балатьевым, и требование что-то предпринимать с мазутохранилищем. Но он не пошел на обострение отношений с Селивановым, решил отмолчаться.

— Так что еще вам необходимо, товарищ Балатьев? — вернулся к прерванному разговору Селиванов.

Балатьев не представлял себе возможностей этого человека, но коль скоро он готов выполнить многочисленные его просьбы, назвал в числе нужного оборудования еще и магнит, и грейфер, и ряд подъемных механизмов.

— Вот на это я пока не могу ответить ни да, ни нет, — сказал Селиванов, — потому что не знаю, имеется ли требуемое вами на складах эвакуированного оборудования. Вообще туда поступает много разного добра. Что найду — заберу. Я уполномочен обкомом помочь вашему заводу в первую очередь. Вы очень важный для нас поставщик.

Селиванов встал, вежливо поклонился Кроханову.

— Благодарю за содействие, и, если можно, позвольте увести Балатьева. Хочу посмотреть цех.

— Объясните, куда мне девать мазут?! — запальчиво бросил Кроханов, не получив от Селиванова сколько-нибудь вразумительного ответа на этот вопрос.

— Баржу с мазутом до весны придется поставить на прикол, — ответил Селиванов. — Другого выхода я не вижу.

— А простой мы платить будем? Это ж за каждые сутки деньги! Селиванов потянул ручку двери.

— Ваш металл сейчас дороже всяких денег.

Проходя мимо Светланы, Николай показал на спину Селиванова и поднял вверх большой палец — во, дескать, мужик. Улыбнувшись в знак того, что все поняла, Светлана покрутила кулачком, прося позвонить.

Осмотр цеха оставил у Селиванова тяжелый осадок.

— Я много слышал о старых уральских заводах, — сказал он, — но такого себе не представлял. За какие грехи вас сюда прислали? Вы производите впечатление толкового человека. Пили?

Балатьев покачал головой.

— Сам выбрал в минуту душевного надлома. Решил — тихая заводь...

— А эта тихая заводь превратилась в бурное море. — Селиванов сочувственно уставился на Балатьева. — Ну что ж, крепите паруса.

— Креплю, как могу.

— А теперь придется через «не могу». У нас много станков в простое из-за нехватки металла.

— А когда станет Кама и вся наша продукция осядет на складе, чем тогда будете вы кормить свои станки?

Вопрос показался Селиванову наивным. Он снисходительно хлопал Балатьева по плечу.

— Не осядет, Николай Сергеевич. Продукцию мы будем вывозить ежедневно.

— Чем? Лошадками? Учтите, тут зимой остается только санный путь.

— Оставался,— поправил Селиванов.— Нынешней зимой будут ходить автомашины. Для расчистки дороги выделено пять грейдеров — по одному на двадцать километров пути. Не хватит — еще дадут.

После встречи с Селивановым Николай с особой остротой почувствовал, как много теперь значит для страны буквально каждый килограмм металла, и дал себе слово отныне делать все, чтобы этих килограммов было больше и чтобы они соответствовали самым строгим требованиям военного времени. Одна ошибка сталевара или мастера — и на номерном заводе останутся станки. Почувствовал также, что еще больше обозлил Кроханова. И было неприятно и даже как-то гадливо, что в столь суровую пору директор больше всего думает о своих обидах, действительных и мнимых, печется о своем престиже. Мало того что сам он безынициативен, он еще не терпит, когда инициативу проявляют другие. Судя по всему, сознание, что оказался раздетым догола не только перед подчиненными, но и перед вышестоящими — а Кроханов не настолько глуп, чтобы этого не понять,— не даст ему покоя до тех пор, пока не выместит злобу на виновнике своего позора.

...Позвонить Светлане Николай не смог. Днем занимался прокладкой рельсов под рабочую площадку, чтобы люди наконец перестали таскать тяжелейшие носилки со шлаком, а вечером пришлось безотлучно стоять у печи вместе с Дранниковым, так как тот снова запутался с плавкой.

На следующий день Светлана на работу не вышла. Встревоженный Николай решил навестить ее сразу же после первой смены. Он расскажет о той круговерти, в какую попал отчасти собственными же стараниями, и вымолит прощение за вынужденную невнимательность.

Ему трудно было представить, как встретит его девушка. Обрадуется или проявит сдержанность? После того прощального вечера, когда так много было сказано и доверено друг другу, его невнимание на протяжении полутора месяцев могло показаться оскорбительным. Если так, то трудно предугадать, останутся ли их отношения на той высоте, какой достигли, или придется начинать все сызнова. Все же он надеялся, что Светлана поймет его, простит и невольно возникшие шероховатости сгладятся.

Когда, миновав калитку, Николай подошел к дому Давыдычевых, сквозь открытую форточку до него донеслись голоса. Надежда побыть наедине сразу погасла. Но прислушался и понял, что звуки неслись из репродуктора — радио теперь мало кто выключал, чтобы не пропустить новости с фронтов.

В незапертую прихожую он вошел по уральской традиции без стука, в гостиную постучал. Ответа не последовало. Но раз входная дверь не на замке, значит, кто-то дома, возможно, во дворе или в сарае. И тут из комнаты Светланы донесся кашель. «Захворала, бедняжка». Николай подкрался к неплотно прикрытой двери, отворил ее.

Светлана спала. На фоне разметавшихся на подушке волос четко выделялся высокий выпуклый лоб, коротенький заборный нос,

чуть приоткрытые губы. Лицо было безмятежно спокойным, как у ребенка, еще не познавшего житейских невзгод.

Сделав несколько осторожных шагов, Николай опустился на пол у постели, думая о том, как отнесется к его бесцеремонному вторжению Светлана.

Девушка почувствовала на себе взгляд, открыла глаза, широко, как если бы ее окликнули.

— Коля...— произнесла обыденным тоном, будто привыкла, проснувшись, видеть его перед собой.

— Что у тебя?

— Гриппус вульгарис. Ночью была высокая температура, а сейчас спала.

Притронувшись губами ко лбу Светланы и убедившись, что он прохладный, Николай заговорил быстро-быстро:

— Светочка, звездочка, я очень виноват перед тобой. Ты вправе думать что угодно. Пустой, легкомысленный, неуравновешенный, к тому же фразер. Наговорил всякого-разного, потом спохватился — и в кусты. Это не так. Я готов повторить все сначала слово в слово.

— А по-иному? Или ты изъясняешься только готовыми формулами? — куснула Светлана.

Николай тоскливо усмехнулся.

— Просто я ничего не забыл, потому что каждое слово глубоко прочувствовал. Если б ты знала, как я был заморожен все это время. Куда ни сунешься — сплошные провалы, все нужно начинать чуть ли не с нуля.

— Мне это известно,— сипящим, простуженным голосом сказала Светлана.— И все же на душе скребет. Не найти пяти минут... Я ведь никаких жертв от тебя не требую.— Засмущалась.— Простите, но в мыслях я почему-то с вами на «ты».

— Мне этого так хотелось! — Николай прижал руку Светланы к своей щеке.— Я все пытался представить себе, как ты встретишь меня, грешного. Как чужого или...

— Проучить тебя не мешало бы, да ладно уж. Тебе и впрямь туго приходится. На что уральцы выносливы, но и они диву даются, как ты выдержишь.

— Нет, ты необыкновенная! — выдохнул Николай.— Я надеялся, предполагал, но такого великодушия...— Потянулся к губам Светланы, но она с ловкостью котенка увернулась.

— Не надо. Заразишься.

— Ну и подумаешь...

Во взгляде Светланы появилась снисходительная нежность.

— Смешной ты.

— Почему?

— Мальчишеского много.

В прихожей закрипела дверь. Николай отодвинулся от кровати, но с пола не поднялся. Увидят родители Светланы — тем лучше, все станет ясно и без объяснений.

— Есть кто дома? — донесся низкий женский голос.

Николай быстро, словно его подбросило, поднялся — на постороннего зрителя он не рассчитывал.

— Вам что нужно, Афанасия Кузьминична? — откликнулась Светлана.

— Да мне лаврового листа штучки три.— Соседка бесцеремонно заглянула в комнату.

— Возьмите сами. В кухне на полке.

Афанасия Кузьминична ушла в кухню, погромела банками и удалилась.

— Ей лавровый лист нужен, как тогда рыжий петух.— Зрочки Светланы метнули веселые лучики.— И это мать троих детей...

Николай сел на стул и почувствовал себя неуютно. Расстояние

между ним и Светланой, хоть и малое, как-то отчуждало. Придвинул стул к изголовью кровати.

Преодолев застенчивость, Светлана ласково провела рукой по волосам Николая.

— «Солнце, как кошка, лапкой своей золотою трогает мои волоса...» — с улыбкой припомнил Николай врезавшиеся в память строки.

— У тебя очень добрая улыбка, — сделала открытие Светлана. — У других это зачастую просто движение губ, а у тебя... Будто свет изнутри.

— Ну уж...

Смолкнув, стали жадно рассматривать друг друга, точно истосковались в долгой разлуке.

— Странно получается, — тихо, как будто разговаривая сама с собой, принялась рассуждать Светлана. — Кажется, любишь человека, а разъехались — из сердца вон. А другой... Ну приятен, симпатичен — и вдруг, когда теряешь...

— А кого это ты потеряла?

— Теряла. — Светлана подняла веерок ресниц и смело и пытливо посмотрела Николаю в глаза. — Тебя. Дважды.

Николай испытал прилив нежности, и в то же время его обожгла ревность.

— Ты любила кого-нибудь? — спросил следовательно, хотя понимал, что предъявлять какие-либо претензии к прошлому Светланы не имеет никакого права.

— Да. Вернее, казалось, что да. Но с той поры я повзрослела и многое переосмыслила. Во всяком случае, мне стало ясно, что любовь должна возникать не от желания любить, а от восхищения человеком.

Николай воспринял эти слова как признание и возликовал. Он понят, он прощен. Потянулся к губам Светланы, но в гостиную послышались осторожные шаги и в двери вырос Константин Егорович. Нежданный гость смутил его и обрадовал.

— О, жив курилка! Не слопали?

— Закуска оказалась не по зубам и не ко времени, — отшутился Николай. Шагнув навстречу Константину Егоровичу, крепко пожал ему руку.

— Не обольщайтесь. — Константин Егорович назидательно поднял указательный палец. — Кроханов достаточно прозорлив. Для чего ему на заводе кандидат на пост директора?

— Какой из меня директор? — откровенно усмехнулся Николай.

— Не прибедняйтесь, пожалуйста.

— У тебя все данные. Решительно все, — поддержала отца Светлана.

Константин Егорович не без любопытства посмотрел на дочь, перенес взгляд на Николая.

— Вы уже на «ты»? Поздравляю. — И вышел из комнаты.

Светлана постаралась загладить выпад отца.

— Он знает, что я даже со сверстниками с трудом перехожу на «ты», а тут вдруг...

Несколько мгновений Николай вожделенно смотрел на Светлану, потом, как бы опомнившись, сказал срывающимся голосом, сдерживая волнение:

— Значит, будем считать, что у нас все решено. И знаешь что хорошо? Решили не в угаре, не с затуманенными мозгами...

Светлана добавила, осмелев:

— ...а рассудительно и трезво. — Приподнялась, протянула Николаю руку. — Ты перейдешь к нам?

— Нет.

Мгновенный и категоричный ответ сразил Светлану. Она отки-

нулась на подушку и, стиснув зубы, чтобы не закричать, либо того хуже — не разрыдаться, уставилась невидящими глазами в потолок.

— Светлана, пойми меня...

— Я уже поняла... Я для тебя...

— Ты для меня все. И я готов для тебя на все. Но что подумают обо мне твои родители? Ни кола ни двора, жена где-то, а он... Ловко пристроился.

Лицо Светланы выразило отчаяние, беспомощность, страдание.

— Как ты можешь!.. Ты клеветешь на них!

— Светочка, давай рассуждать здраво,— как можно спокойнее сказал Николай.

— Не хочу! С меня достаточно! Уходи!

Николай склонился над Светланой, стиснул ее обмякшие плечи.

— Ты что говоришь? Одумайся!

Светлана вырвалась, соскочила на пол.

— Уходи немедленно! Совсем! Не то позову отца.

...Стоял погожий, пронзительно ясный день, лазоревыми блестящими поигрывала вода в пруду, а на душе у Николая было черным-черно. Его охватило замораживающее ощущение безысходности, непоправимости того, что случилось. Как-то по-дурному вырвалось у него это короткое и резкое «нет», вырвалось непроизвольно, а прозвучало искренне. Человек открылся ему, переступил через самолюбие, через боязнь непонимания, пошел навстречу, а взамен... Попробуй теперь докажи, что побуждения его были самые благородные — не осложнять жизнь семье, не вносить в нее лишних беспокойств. Конечно же, Светлана решила, что он боится сделать опрометчивый шаг, что намерен сохранить себе свободу. А на кой ляд нужна ему свобода одинокого существования, без любимого и любящего человека рядом? Нет, выпирает из него порой жесткими ребрами категоричность. Скажи он: «Я с радостью перешел бы к вам, но...» — и все выглядело бы по-другому, и он не испытывал бы такой тоски. Так нет же, выпалил как из ружья...

Подошел к Дому приезжих, и отчаянная мысль мелькнула в голове: забрать свои вещички из этой обители и прийти к Светлане с повинной. Но тут же отверг ее как нелепую — такое появление будет выглядеть вынужденным. И все же нужно что-то предпринять, не теряя ни минуты. Промедление только усугубит его положение. Но что? Написать письмо? Слишком трусливый, немужской способ объяснения: «Я вам пишу, чего же боле...» Позвонить?

Придя в цех, тотчас вызвал квартиру Давыдычевых. Трубку снял Константин Егорович. Попросив подождать, он ушел и, вернувшись, сообщил, что Светлана заснула и будить ее он не хочет.

Голос Константина Егоровича звучал обычно, и Николай не понял, знает ли он о размолвке или нет. Лучше бы не знал. Тогда загладить вину будет легче.

2

Инженер-полковник Селиванов оказался человеком слова. Больше того, он сделал и то, чего не обещал,— вместе с мотовозами и топливом для них направил мотористов, пожилых людей из эвакуированных непризывного возраста, в основном белорусов. Все они хлебнули горя в прифронтовой полосе, натерпелись и во время эвакуации и были несказанно рады тому, что попали наконец в места, где нет ни воздушных тревог, ни бомбежек, ни крови, ни растерзанных тел. Разместили их неподалеку от завода в большом подворье, где коротала жизнь пожилая женщина. Муж у нее тяжело хворал, дети разбрелись кто куда, и приняла она постояльцев с радостью. Трое семейных получили по комнате в нижнем этаже, холостяки расположились на втором этаже, и пустой дом, угнетавший гробовой тишиной, ожил.

Отдохнув и отоспавшись после изнурительного пути на Урал, изголодавшиеся по делу люди с рвением принялись за работу. Хотя мотористы вошли в штат транспортного цеха, за начальника они признали Балатьева, его слушались, одному ему подчинялись, тем более что транспортник понимал только в лошадах, а на мотовозы смотрел с суеверным ужасом. Впрочем, с таким же ужасом смотрели мотористы на пути, по которым приходилось ездить. Шпалы обветшали, рельсы под тяжестью мотовоза расходились, и, чтобы вызволить его из плена, каждый раз собирали артель и под «эх, дава-ай раз-зом!» ставили на рельсы.

И снова у Балатьева произошла стычка с Крохановым. Балатьев требовал произвести срочный ремонт путей до наступления заморозков, когда землю не угрызешь, а Кроханов изо всех сил упирался, прибегая к доводам весьма сомнительного свойства.

— Ну, дашь больше стали,— говорил он.— А куда ее девать? Солить, что ли? На складе держать? В прокатном печи больше слитков не пропустят, не нагреют. Ты об этом подумал?

— Подумал,— спокойно ответил Балатьев.— Увеличьте термическую мощность нагревательных печей — и вопрос будет решен.

— У-ве-личьте! — передразнил Кроханов. Повертел перед Балатьевым растопыренной пятерней.— Прэзлесть как у тебя просто!

— Если использовать мазут, то, во всяком случае, несложно,— парировал Балатьев.

— Но это...

Балатьев угадал, что удержал на языке директор.

— ...дополнительные хлопоты? Ничего не поделаешь, Андриан Прокофьевич, придется пошевелиться. И лучше по собственной инициативе. Иначе заставят, тот же Селиванов — выхода другого ведь нет. А для ремонта путей так или иначе мне нужны люди.

— Откуда-а?! — завопил Кроханов — у него уже выработалась устойчивая реакция отвечать Балатьеву возражениями.

— Да хоть бы с конного двора. Лошадей убавилось, конюхи освободились.

— Что они умеют, конюхи? Лошадям хвосты крутить?

— Шпалы менять — дело нехитрое. Женщины вон везде справляются. А тут контроль будет.

— Ка-кой?

— Мотористов заставлю. Они-то кровно заинтересованы, по каким путям ездить.

Омрачившееся лицо директора, усердно делавшего вид, что углубился в размышления, хотя размышлять было не над чем, вызвало у Балатьева приступ злости.

— Андриан Прокофьевич, я жду,— проговорил он резко.

— Поди какой пряткий! Скоро только кошки плодятся да слепые рождаются. Знаешь такую присказку?

— Знаю такую пословицу.

Пока Кроханов елозил затылком о спинку кресла, прикидывая что да как, Балатьев уже задумал следующий ход, который помог бы разрешению вопроса.

— Не вынуждайте меня звонить Селиванову,— сказал он.— Смешно получается: человек мотовозы достал, а мы их по дерьмовым путям гоняем, исправить не можем.

— Ты меня Селивановым не стращай! Что мне твой Селиванов!

— Что? — прищурился Балатьев.— За ним обком партии.

Совладав с растерянностью, Кроханов кивнул на дверь — ступай, мол. Балатьев сделал вид, что не заметил этого жеста.

— У меня еще одно свое, личное требование. Дайте мне наконец комнату, отдельную, с телефоном. Вы ведь понимаете, каково мне при такой загруженности ютиться в общежитии.

Как ни плотна дверь в кабинет, но голоса в приемную доносятся, и если трудно бывает разобраться в смысле разговора, то характер его уловить всегда можно. Уловила и Светлана, уловила и почувствовала. Но когда Балатьев вышел в приемную, демонстративно отвернулась к окну.

В критическом положении Николаю бывало свойственно сначала совершить поступок и только потом осознать, что сделал. Так получилось и на сей раз. Мгновенье — и он опустил перед девушкой на колени.

— Ты с ума сошел! — воскликнула Светлана. Бросила молниеносный взгляд на одну дверь, на другую. — Встань!

— Сошел... — спокойно ответил Николай.

В глазах Светланы появился испуг.

— Да встань же! Слышишь? Войдет кто-нибудь — что обо мне подумают!

— И пусть войдет... И пусть подумают...

В коридоре послышались шаги. Светлана схватила Николая за плечи, тряхнула.

— Да встань же! Ну! Встань!

Однако Николай не поднялся, и по выражению его лица нетрудно было понять, что никакие увещания не помогут.

— В субботу, — выдохнула Светлана.

Николай не успел даже стряхнуть пыль с колен, как дверь открылась и в приемной с папкой в руке появился главный бухгалтер.

— У себя? — спросил он, уставившись на Светлану и прибивая уложенную завитком прядку волос на взлоснившейся лысине.

— Да.

— Один?

— Да.

Бухгалтер по-рысьи мягко вошел в кабинет, плотно закрыл за собой дверь.

— Позвони мне, — смягчилась Светлана.

— В какое время?

— В семь.

Николай сразу воспрянул духом. Теперь он сможет вразумительно объяснить Светлане мотивы своего поведения, изложит доводы, которые она сгоряча отказалась выслушать.

В цехе Николай совсем повеселел, увидев вместо одного обещанного мотора три. К тому же они были новехонькие, прямо с завода — корпуса поблескивали свежей краской.

Присев у себя в конторке за стол, набросал на обычном листе бумаги эскиз деревянной рамы под мотор с пилой и со стойками рядом, на которых должен был разместиться рельс, причем размеры стоек и рамы указал с таким расчетом, чтобы рабочий среднего роста мог передвигать рельс прямо перед собой, не нагибаясь. Пусть придется поднимать рельсы повыше, зато работать будет удобнее. На стойках обозначил места металлических накладок — известно, что металл легче скользит по металлу, чем по дереву, — и несложное конструирование на этом завершилось. Перечертил эскиз начисто и отправился в ремонтно-строительный цех к тому самому Иустину Ксенофоновичу Чечулину, с которым случай свел его в каюте теплохода.

Балатьев выполнил просьбу помалкивать об их встрече, больше того, увидевшись однажды с ним в присутствии директора, представился по всем правилам, как и полагается при знакомстве, и этого оказалось достаточно, чтобы Иустин Ксенофонович проникся к нему доверием и симпатией.

Начальника ремонтно-строительного цеха Балатьев застал за починкой рыболовной снасти, однако тот нимало не смутился и прервал работу, только когда Балатьев положил на стол эскиз.

— Это что ж за гильотина такая? — Иустин Ксенофонтович принялся рассматривать немудреный набросок сооружения.

— Для гильотинирования рельсов, — усмешливо ответил Балатьев и подробно объяснил что к чему.

— Считаете, будет резать?

— Уверен.

Протяжным «м-да...» Чечулин выразил недоверие. Николай подошел к рыболовным принадлежностям, стал перебирать крючки.

— Ничего себе крючочки! На такой пудовую рыбину поймать можно.

— Бывают и пудовые, — похвалился Иустин Ксенофонтович. — Вытащишь, ежели не сорвется, — глазам не веришь. — Бросив эскиз на стол, неожиданно спросил: — Знаете, какое прозвище дал вам Кроханов?

— Нет.

— Фантастик.

— Что ж, это вполне соответствует его грамотности и... приземленности. Все, чего он не знает, кажется ему фантастикой.

Чечулин показал глазами на эскиз.

— Откровенно говоря, мне это тоже... — И после небольшого раздумья: — А где такая работает?

— Нигде. Кислород везде есть, автогенем режут.

Почесав затылок, Иустин Ксенофонтович молвил, к огорчению Балатьева:

— Виза директора нужна.

— Но тут же дело небольшое.

— А разнос я получу большой.

Николай знал тип работников, которые на все требовали визу. И не ради перестраховки, а чтоб начальству было ведомо, насколько и чем они загружены. Извинившись за прямоту, спросил Чечулина, не руководствуется ли он таким соображением. Тот обидчиво закачал головой.

— Нет, я этой политики не держусь.

Не хотелось Балатьеву звонить директору, однако он покрутил ручку настенного аппарата и, когда телефонистка откликнулась, попросил связать его с Крохановым.

— Хорошая эта штука — такой вот телефон, — неожиданно сказал Иустин Ксенофонтович. — Антибюрократическая.

— Хорошая, — согласился Балатьев. — Стоя трепаться долго не будешь. Вон у Кроханова настольный, так он развалится в кресле и читает молебен по два часа кряду.

Раздался звонок. Услышав голос Кроханова: «Чего тебе еще?» — Балатьев кратко изложил суть дела.

— Так что же сначала? Пути или... эту... хлеборезку? — Кроханов говорил, как вбивал тупой клин.

— И то и другое одновременно.

— Ты один достаешь мне больше хлопот, чем весь завод!

Острая фраза наприсилась на язык Балатьеву сама собой:

— Что это, Андриан Прокофьевич, похвала мне или упрек всем остальным?

На другом конце провода послышалось сердитое сопение и потом:

— Скажи, чтоб начали приступать.

— Спасибо. Передать трубку Чечулину?

Но Кроханов уже бросил свою.

Дав ручкой отбой, Балатьев подсел к столу Чечулина.

— Понятно?

Кивнув, Иустин Ксенофонтович углубился в изучение чертежа.

Угроза ли подействовала на Кроханова или сам он в конце концов понял, что пути ремонтировать нужно, но на следующий день рабочие на путях появились. И немало — восемнадцать человек. Были здесь коногоны, были плотники из ремонтно-строительного цеха, и заправлял всеми ими не кто иной, как Иустин Ксенофонтович Чечулин. Рабочих он разбил на две смены — кто с утра, кто с трех — и обе смены контролировал, притом что и сам вкалывал не за страх, а за совесть.

Когда бы ни наведался Балатьев на шихтовый двор, он всегда заставал там этого пожилого кряжистого человека. Все шестнадцать часов проводил Чечулин под открытым небом, орудуя то киркой, то лопатой, то ключом, когда крепили рельсы. А чтоб отдохнуть — об этом и заикнуться нельзя было. Отдыхом считал он те редкие минуты, когда обходил бригады.

Приходилось Балатьеву чуть ли не силком затаскивать Чечулина в свою конторку, чтобы отсиделся малость, отдышался да поведал что-нибудь из своего многотрудного житья-бытья.

Бывалый человек Иустин Ксенофонтович Чечулин. По собственному его признанию, прошел он огонь, воду, медные трубы и чертovy зубы. Тринадцатилетним мальчишкой покинул родную деревню, попервости пробавлялся сезонными работами на сплаве караванов с солью — этой солью снабжались даже центральные губернии России, — следующим летом попал на разработки невянских золотоносных песков, затем уволокли его приятели на добычу угля в шахте «Княжеская», принадлежавшей Абамелек-Лазареву, потом устроился плотником на строительство барж.

Работа на плотнице была самой заработной, но и самой тяжелой. Трудились не покладая рук с раннего утра и дотемна что летом, что зимой, плотницы стояли в открытых местах, где раздольно гуляли ветры, все, что нужно было для строительства — бревна, брусья, крепления, — поднимали на палубу примитивными приспособлениями. Зимой палуба обледеневала, и не то что двигаться, но и стоять на ней было трудно. Люди часто срывались с десятиметровой высоты и разбивались или получали тяжелые увечья. Казенного инструмента не выдавали, каждый плотник должен был иметь свой топор, рубанок, обход (узкий рубанок), ножовку, собаку — изогнутый крюк для подтаскивания бревен. Инструменты делали сами или приобретали за свои деньги, и они служили двум-трем поколениям. Качества хозяин требовал отменного — строгаи чисто, укладывали дерево плотно. Построенную баржу ссаживали с клетей и по весне, когда сходил лед, отправляли в путь.

Вот так и пребывал он на отхожих промыслах, пока не истосковался по родному Чермызу. Вернувшись домой, Иустин — было это перед самой революцией — устроился, поставив щедрый магарыч десятнику, каталем на железоделательной фабрике Лазаревых, где и осел.

Рассказывал Чечулин и об охоте и об охотниках — кто в какую передрыгу попадал. Узнал Балатьев, что формовщик литейной мастерской Арсений Панкратович Суров, отец Эдуарда, вступил как-то в схватку с медведем и неведомо как живым остался.

— Я обратил внимание, что у него шрам поперечный через весь лоб, даже места скобок видны, — припомнил Балатьев. — Думал, операция какая была.

— Это ему медведь скальп снял, чтобы навсегда отбить охоту к охоте, — скаламбурил Иустин Ксенофонтович. — Зверь он хитрый, опасный, ни один опытный охотник за раненым медведем не пойдет. А Арсений пошел — больно его азарт взял. Ну и влип. Миша за дерево спрятался да сзади на него. Свалил, сгреб и давай мордовать. Был бы Арсюше конец, кабы не лайка. Золотая собака! Медведь Арсения грызет, а лайка медведя сзади хватает. Надоела, знать, такая

возня мише, оставил он Арсения на снегу — и в лес. А лайка со всех ног домой. Ну, коли собака без охотника прибежала — известно, беда. Собрались мужики — и айда с собакой на поиски. Нашли. Лежит Арсений в крови, без сознания, а ружье от него метров за пять валяется. Ложа перебита, стволы погнуты. Оказывается, миша и на нем злость сорвал — хватил о дерево. Вот как случается с бывальными охотниками. А ежели неопытный... Наши медвежатники неопытных и вовсе в компанию брать перестали.

— Отчего ж так?

— Да был один случай.— Иустин Ксенофонтович вынул из кармашка брюк старые, вытертые часы на цепочке, покачал головой.— Задержался. Непривычный я лясничать, когда работа есть.

— В кои веки...

— Ну, словом, так было,— заговорил Иустин Ксенофонтович, довольный тем, что может поведать неискушенному человеку такую бывальщину, какой тот и не слыхивал и, может, не услышит, ибо здешние мужики до посторонних разговоров не больно охочи и ко всякому трепу относятся предосудительно.— Заявился тут было один городской. Ретивый — страсть! Все на нем блестит, ружье новое, одежда ладно пригнанная. Видать, теоретик больше. Упросил мужиков, чтоб показали берлогу. Пришли. Куча снегу, только парок в одном месте идет через выпотину. Поставили этого фраера против берлоги, сами с другой стороны зашли — и давай мишу кольями шуровать. Не хочет подниматься миша хоть ты что. Зубами за кол хватил предостерегаючи. А когда его раздосадовали — ка-ак выскочит, ка-ак заревет! Мужики в разные стороны, а выстрела не слышно. Минут через сколько там вернулись, смотрят — ни медведя, ни охотника. Только торчат из снега валенки да ружье. Миша в одну сторону драпает, а фраер в другую. С перепугу он не только ружье бросил, но и из валенок выскочил и чешет босиком по снегу. Вот потеха была! — Иустин Ксенофонтович не выдержал, рассмеялся при виде хохочущего Балатьева. Поднявшись с табуретки и нахлобучивая кепку, заключил: — С тех пор мужики зареклись незнакомых молодцов на охоту с собой брать.

— А на зайцев возьмете меня зимой? — спросил Балатьев.

— Возьму. Только, чур, если дадите два честных слова. Первое — что никому не расскажете про эти места, второе — что больше пяти не убьете.

— Что это, норма на отстрел такая?

— Какие тут нормы. Просто не донесете. Путь долгий и тяжелый, местами по болотным кочкам.

— Заранее обещаю.

Иустин Ксенофонтович поблагодарил за раздышку, но уйти не ушел. По-отцовски положил руку на плечо Николаю.

— Хороший вы человек, Николай Сергеевич, люди уже поняли это. Заботливый, зря никого не обидите, да и не зря тоже. Раньше, бывало, только зайдешь в завод — ор так и несется: Дранников кого-то пушит, с кого-то стружку снимает. А сейчас и он притих, уважительно стал разговаривать. Неприглядно ему с вами разниться. Вот только почему вы по сю пору в Доме приезжих околачиваетесь? Требуйте жилье нормальное. Вы же умеете за горло брать. Или ради чего вы тигра лютая, а ради себя телок бессловесный?

— Что-то вроде этого.

— Я бы вас к себе с удовольствием принял. Дом большой, живем сейчас с женой вдвоем. Молодежь, как вам известно, в этом омуте не держится. Им масштабы подавай да культуру. Мои тоже улепетнули. Сын на Магнитке, дочь с семьей в Омске. Да вот загвоздка одна... Всех, кому вы по сердцу, Кроханов на заметку берет. Как только он Светлану терпит... А почему вы не перейдете к ней? — без всякой дипломатии спросил Иустин Ксенофонтович.— Девушка она

красивая, умная, воспитания хорошего. Все при ней, как говорится. Всем же известно, что у вас амуры...

Балатьев промолчал. Не рассказывать же Чечулину, что у них потому-то и потому-то осложнились отношения.

— А-а, старый брачный документ мешает,— высказал догадку Чечулин.— Это, конечно, серьезное обстоятельство.

— И это,— охотно подтвердил Балатьев, обрадованный тем, что Чечулин избавил его от объяснений.

В конторку вошел обер-мастер, и сразу в ней стало тесно. Положив на стол откованную плюшку, серебристую, с ровными краями, без единой трещинки, сказал:

— Пойдем пускать, начальник. С вами как-то спокойней.

Балатьеву тоже было спокойнее с Акимом Ивановичем. Глаз у обер-мастера наметанный, а что касается репутации, то берег он ее пуще глаза. Начальники приходили и уходили, а он как пришел в цех, так вот уже сколько лет и оставался. Дранникову нет-нет и падала вожжа под хвост. Он вступал в пререкания с Балатьевым, доказывал, что тот зря держит плавку в печи, что она уже готова, однако Балатьев давал команду пускать сталь лишь тогда, когда качество ее не вызывало сомнений. Правда, Дранников сильно поутих, после того как Балатьев утер ему нос результатами испытаний плавок на оборонном заводе, однако нет-нет и начинал хорохориться.

По старинке о готовности плавки в цехе извеждали ударами в подвешенный вагонный буфер, причем каждый подручный звонил по-своему: кто мерными, протяжными ударами, похожими на набат, кто радостным, веселым перезвоном, для чего использовались две разные железки. Когда плавку пускал Аким Иванович, он сам и в буфер звонил, причем получалось у него так виртуозно, как ни у кого. «Звонарем бы тебе в церковь»,— как-то поддел его Дранников. «А что, смог бы»,— беззлобно ответил Чечулин.

Это не противоречило правде. Аким Иванович был мастером на все руки. О таких говорят: и жнец, и кузнец, и на дуде дудец. Когда у Николая протерлись подметки и ноги стали болезненно ощущать нагретость чугунных плит перед печью, Аким Иванович ничтоже сумняшеся завел начальника к себе домой и в два счета подбил ему ботинки такой кожей из старых запасов, что, казалось, ей сносу не будет.

Сегодня обер-мастер тоже не изменил своему обычаю. Слив пробу на плиту классически, в одну точку, он отправился за печь и поднял такой трезвон-перезвон, что кое-кто закрыл ладонями уши.

— Кудахчет, как курица, снесши яичко,— насмешливо проговорил второй подручный, кудлатый парень с носом пуговкой.

— Чего оскалился?— приструнил его Вячеслав Чечулин.— А и верно яичко, да не простое, а золотое.

Стоявший рядом машинист завалочной машины, седоусый, пенсионного возраста человек, с началом войны вернувшийся в цех, несогласно покачал головой.

— Да нет, сейчас наш металл подороже золота. Золото — оно мягкое, им фашиста не пробьешь.

Реплика понравилась Балатьеву. Хорошо понимают люди значенные дела, которому служат, и отдают ему все силы, физические и душевные. Очень трудно стало работать сталеварам. Прежде холодный дровяной газ хлопот доставлял мало, теперь же пламя, обогащенное мазутом, развивало такую высокую температуру в печи, что гляди да гляди, как бы не поджечь свод, как бы на глянцевой поверхности кирпича, залитого пламенем, не появились потеки и не повисли сосульки.

До сего дня плавки в цехе выпускали дедовским способом. Выбирали из выпускного отверстия спекшийся огнеупорный порошок, вводили в печь длинный, толстый, тяжелый шомпол и били им в заднюю стенку, вслепую нащупывая выпускное отверстие. Большой ча-

стью находили его быстро, но, случалось, операция эта затягивалась. В таком случае в металле выгорал углерод, возникала опасность не попасть в анализ, а следовательно, не выполнить заказ. В мирное время это не было бы такой уж бедой — всякий металл шел в дело, голод на него был злющий, — а как начали варить оборонный металл, такие промашки посчитали бы преступными. Здесь прохлопали — где-то станки остановились и на фронте патронов не хватило.

Как только в цехе перешли на оборонный металл, Балатьев нашел способ корректировать анализ. Однажды, бродя по заводу без особой цели, он обнаружил на складе много мешков с графитным порошком. Лежал он тут с тех времен, когда раствором графита смазывали изложницы, что позволяло без особого труда извлекать из них слитки. Потом смазку изменили, перешли на известковую, а графит остался. Балатьев обрадовался ему несказанно. С этого времени у выпускного отверстия в железном закроме постоянно был графит, и, если с выпуском запаздывали, добавляли его в ковш, бросая под струю. Графитовая пыль мгновенно растворялась в бурлящем металле, равномерно распределялась в нем, и углерод восстанавливался до нормы. Однако способ этот был рискованным из-за опасности перегореть металл и выскочить за верхний допустимый предел.

Балатьев решил избежать риска. Он привык к другому, более надежному способу выпуска стали — оставшуюся в отверстии корку пробивать с задней стороны печи. Но подручные наотрез отказались от такой непривычной операции — нужна была определенная сноровка, чтобы успеть отскочить от желоба, когда в него хлынет сталь. Иначе — ожог.

Когда первый подручный, появившись из-за печи на площадке, доложил, что отверстие подготовлено, Балатьев позвал всех к желобу и решил показать, что опасности, в сущности, нет, если быть элементарно внимательным. Убедившись, что отверстие хорошо подобрано, что ярко светившаяся корка утончилась до предела, он взял лом и с третьего раза пробил ее. Сталь пошла по желобу сначала маленькой струей, а затем, прорвав оставшуюся корку, хлынула потоком.

Если поначалу подручные следили за Балатьевым с недоверием и опаской, то теперь стали открыто восхищаться им: «Ну и мастак! Вот это усрамил!»

— Теперь плавки будем пускать только так, — безапелляционно заявил Балатьев.

Энтузиазма ребята не выказали, но возразить постыдились. Вступил в силу неписанный закон: что может у печи один, должны уметь остальные.

Не обрадовался нововведению и Аким Иванович Чечулин.

— Переоцениваете вы здешнего рабочего, — убежденно заявил он. — Не нужна ему эта новина, не любит он переучиваться.

— Это вы недооцениваете их, — укорил Балатьев. — Приняли они мазут, приняли более форсированный режим, примут и это.

Аким Иванович выразительно провел рукой по небритому подбородку.

— Щетину подпалить можно.

— Что ж, не учась и лаптя не сплеть. Придется смотреть в оба, — заключил Балатьев. — Возьмут на вооружение. Хотя бы из самолюбия. Оно ведь у каждого есть.

Николай шел к Светлане в крайне тревожном состоянии. Он понимал, что согласие на встречу она дала вынужденно, и не мог предугадать, как повернется у них разговор. Все же его грела надежда, что грубых выпадов Светлана себе не позволит, а с нареканиями он справится.

Окна гостиной были открыты, и оттуда доносились звуки пианино, звуки явно минорные. «Она или Клементина Павловна? Светлана меланхолических вещей не любит, но когда настроение дрянное, попробуй сыграть тра-ля-ля».

Войдя в прихожую, Николай разулся, влез в нерастоптанные сандалии, выделенные специально для него и почему-то стоявшие отдельно, и, предупреждая постукав, открыл дверь.

Когда он появился в комнате, Светлана мгновенно закрыла крышку инструмента и поднялась. Глаза ее смотрели отчужденно, были обращены как бы внутрь себя, и Николай испытал острое чувство смятения, какое возникает при виде больного, страдающего человека, которому не знаешь, как и чем помочь. Он понимал, о чем думает и что чувствует Светлана, и, ощущая полное свое бессилие, сам страдал. Однако нашел в себе силы сказать:

— Светочка, милая, все совсем не так, как ты вообразила. Тебе свойственно усложнять...

Приблизился к Светлане, но она отстраняюще выставила руки.

— Да? А тебе упрощать. Твое небрежение...

— Какое небрежение? В чем ты его увидела?

Николай ждал ответа, и ожидание это было тем напряженнее, чем дольше оно длилось.

— Если ты сам ничего не понял, объяснять бесполезно. Все, что ты сказал в тот вечер... ну, когда в армию собирался... я приняла за чистую монету.

— Дослушай же меня.— Николай старался говорить убедительно.— Я живу как в аду, у меня день смешался с ночью, и вносить этот ад в ваш дом... Уходить среди ночи, приходиться среди ночи, отвечать на звонки среди ночи... Вы все трое работаете, и ради меня лишиться покоя... Мне и тридцати нет, а я еле волочу ноги. А каково было бы твоим родителям?

Светлана не нашла ничего другого, как ответить вопросом на вопрос:

— Придумал новый довод?

— Это старый довод.

— Я ничего такого не слышала.

— Ты же не дала мне рта раскрыть: «Уходи, не то позову отца»... Я и бежал, как собачонка, получившая пинок. Поджав хвост и не оглядываясь.

Сравнение заставило Светлану слабо улыбнуться, и Николай позволял себе чуточку дерзости:

— Это прозвучало у тебя, как у баронессы «позову горничную».

На лбу Светланы появилась морщинка недовольства, брови надломились.

— Ты даже сейчас позволяешь себе...

Спohватившись, что сказал не то, Николай попытался исправить промашку, и опять у него не получилось.

— Что могу поделать...

— Ты зачем явился?! — польхнула Светлана.

— Чтобы все объяснить.

— Ну объяснил. Или у тебя есть еще что добавить?

Ни голос, ни выражение лица Светланы не располагали Николая не только к лирическим излияниям, но даже к продолжению беседы. Но виноват во всем он, и искать пути к примирению тоже должен он. Не раздумывая больше, сказал то, чего ждала Светлана прошлый раз:

— Если хочешь, я перейду к вам хоть сегодня.

Увы, это запоздалое решение возымело обратное действие.

— Нет.— Светлана даже интонацией воспроизвела тот злополучный ответ Николая.— Это будет похоже на уступку. А потом... Что значит — если я хочу? А ты? Ты хочешь?

Николай почувствовал себя, как муха в липучке: вытянет одну ногу — увязнет другая. Произнес смиренно:

— Я больше хочу, чтобы ты перешла ко мне, когда появится свой угол. Я приложу все силы...

Боковым зрением Светлана видела смущенное лицо Николая, и ее вдруг растрогало, что такой большой, сильный, решительный мужчина стоит перед ней, девчонкой, как провинившийся школьник. Еще ни разу не чувствовала она такой власти, и хотя властолюбие было чуждо ей, все же покорность Николая льстила и даже поднимала ее в собственных глазах. Спросила, чуть смягчившись:

— Коля, ты хоть понимаешь, что сразило тогда меня в твоём ответе?

— Понимаю. Брякнул рефлекторно, не подумав...

— О нет. Ты сказал именно то, что подумал. И выражение лица — будто увидел расставленный капкан. Такие встряски не проходят бесследно, что-то у меня надломилось.

— Я попытаюсь залечить этот надлом.— Николай осторожно коснулся руки Светланы.

— Ладно, Коля.— Только теперь Светлана заглянула Николаю в глаза.— Не надо больше об этом. Но пока ты будешь искать жилье... назначим испытательный срок. Я должна разобраться в себе, да и в тебе тоже. Полагаю, и тебе не мешает подумать обо всем как следует.

— Срок испытательный, разобраться... Ребенок ты еще.

— Самая трудная категория — взрослые дети,— раздумчиво проговорила Светлана и не удержалась, кольнула: — И недоросшие взрослые.

(Окончание следует)



ЛЕВ ОЗЕРОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Жизнь отнежилась, отлюбилась,
Отшутилась, но не отреклась
От всего, что дарит ее милость.
Может, даже сильнее укрепилась
С нею нерасторжимая связь.

Расторжимая. Сколько, бывало,
Я на жизнь восставал: не глуши,
Не дави меня — времени мало,
Еще жизнь моя не отплыла
И вино есть в подвалах души.

Я еще не избыл своей силы,
И не молвлено слово мое.
Мне прощальные песни постылы,
Серафимы мои шестикрылы
И двужильны и труд и житье.

Нет, душа моя не охладела,
Беспокоясь, беснуясь, любя.
До всего ей по-прежнему дело,
И по правде сказать — захотела
Быть намного моложе себя.

* * *

Не боюсь лобовых решений,
Если в них клокочет глагол,
Если вечная власть мгновений
Мне велит садиться за стол.
И писать — не себя, а время,
Дату времени запечатлеть.
О, какое железное бремя
Я взвалил себе на плечи — петь.
Петь, чтоб в звоне душа потонула.
Петь, чтоб вскинуть немислимый мост
От надежной земли Байконура
До высот ненадежных звезд.

* * *

Пересуды. Ожиданье. Гул.
Едет! И бегут к воротам снова.
Не тревожьте старика больного!
Дайте старику покрепче стул!
Важно, чтоб Державин не уснул,
Чтоб дождался царственного слова.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



УЖЕ НАПИСАН ВЕРТЕР

В основе этой прозы не конкретные воспоминания, но память о целой эпохе. В ней, этой памяти, причудливо соединились увиденное, пережитое, перечувствованное, прочитанное и — домысленное, нафантазированное, угаданное. В годы военного коммунизма зловещая тень Троцкого порой нависала над революционными завоеваниями народа. Особенно это сказывалось на работе местных органов власти. Искривления и нарушения законности надо относить в первую очередь на счет врагов ленинизма.

Выходцы из левых эсеров не могли преодолеть своей мелкобуржуазной сущности в новых исторических условиях. Авантюризм, волюнтаризм, истеричные метания из стороны в сторону были присущи и тем из них, кто работал в ЧК. Между тем эта работа требовала неуклонного соблюдения революционного порядка, железной дисциплины, беспредельной преданности делу — качеств, которые отсутствовали у левых эсеров.

Повесть старейшего советского писателя В. Катаева, свидетеля и очевидца тех времен, самым своим острием направлена против врагов революции. Сегодня в связи с оживлением троцкистского охвостья за рубежами нашей родины, в накале острой идеологической борьбы гневный пафос катаевских строк несомненно будет замечен. Наше короткое вступление имеет целью привлечь внимание читателя к фактам многолетней давности, незнание или забвение которых затруднит восприятие катаевской повести.

Вбегают рельсы назад, и поезд увозит его в обратном направлении, не туда, куда бы ему хотелось, а туда, где его ждет неизвестность, неустроенность, одиночество, уничтожение, — все дальше, и дальше, и дальше.

Но вот он неизвестно каким образом оказывается на вполне благополучном дачном полустанке, на полужнакомой дощатой платформе.

Кто он? Не представляю. Знаю только, что он живет и действует во сне. Он спит. Он спящий.

Ему радостно, что его уже больше не уносит в неизвестность и что он твердо стоит на дачной платформе.

Теперь все в порядке. Но есть одна небольшая сложность. Дело в том, что ему надо перейти через железнодорожное полотно на противоположную сторону. Это было бы сделать совсем не трудно, если бы противоположную сторону не загоразживал только что прибывший поезд, который должен простоять здесь всего две минуты. Так что благоразумнее было бы подождать, пока поезд не уйдет, и уже спокойно, без помех перейти через рельсы на другую сторону.

Но неизвестный спутник хотя и мягко, но настойчиво советует перейти на другую сторону через загоразживающий состав, тем более что такого рода переходы делались много раз, особенно во время граж-

данской войны, когда станции были забиты эшелонами и постоянно приходилось пробираться на другую сторону за кипятком под вагонами, под бандажами, опасаясь, что каждую минуту состав тронется и он попадет под колеса.

Теперь же это было гораздо безопаснее: подняться по ступеням вагона, открыть дверь, пройти через тамбур, открыть противоположную дверь, спуститься по ступеням и оказаться на другой стороне.

Все было просто, но почему-то не хотелось поступать именно таким образом. Лучше подождать, когда очистится путь, а потом уже спокойно, не торопясь перейти через гудящие рельсы.

Однако спутник продолжал соблазнять легкостью и простотой перехода через тамбур.

Он не знал, кто его спутник, даже не видел его лица. Он только чувствовал, что тот ему кровно близок: может быть, покойный отец, а может быть, соблазненный сын, а может быть, это он сам, только в каком-то ином воплощении.

Он сошел с платформы на железнодорожное полотно, поднялся по неудобным, слишком высоким ступеням вагона, легко открыл тяжелую дверь и очутился в тамбуре с красным тормозным колесом.

В это время поезд очень легко, почти незаметно медленно тронулся. Но это не беда. Сейчас он откроет другую дверь и на ходу сойдет на противоположную платформу. Но вдруг оказалось, что другой двери вообще нет. Она не существует. Тамбур без другой двери. Это странно, но это так. Объяснений нет. Двери просто не существует. А поезд оказывается курьерским, и он все убистряет ход.

Стремительно несутся рельсы.

Прыгнуть на ходу обратно? Опасно! Время потеряно. Ничего другого не остается, как ехать в тамбуре курьерского поезда, уносящегося опять куда-то в обратную сторону, еще дальше от дома.

Досадно, но ничего. Просто небольшая потеря времени. На ближайшей станции можно сойти и пересесть во встречный поезд, который вернет его обратно.

Предполагается, что поезда ходят по летнему расписанию, очень часто. Однако до ближайшей станции оказывается неизмеримо далеко, целая вечность, и неизвестно, будет ли вообще встречный поезд.

Неизвестно, что делать. Он совершенно один. Спутник исчез. И быстро темнеет. И курьерский поезд превращается в товарный и с прежней скоростью несет его на открытой площадке в каменноугольную тьму осенней железнодорожной ночи с холодным, пыльным ветром, продувающим тело насквозь.

Невозможно понять, куда его несет и что вокруг. Какая местность? Донбасс, что ли?

Но теперь он уже идет пешком, окончательно потеряв всякое представление о времени и месте.

Пространство сновидения, в котором он находится, имело структуру спирали, так что, отдаляясь, он приближался, а приближаясь, отдалялся от цели.

Улитка пространства.

По спирали он проходил мимо как будто знакомого недостроенного православного собора, заброшенного и забытого среди пустыря, поросшего бурьяном.

Кирпичи почернели. Стены несколько расселись. Из трещин торчали сухие злаки. Из основания несущественного купола византий-

ского стиля росло деревцо дикой вишни. Тягостное впечатление от незавершенности строения усиливалось тем, что почти черные кирпичи казались мучительно знакомыми. Кажется, из них было сложено когда-то другое строение, не такое громадное, а гораздо меньше: возможно, тот самый гараж, у полуоткрытых ворот которого стоял человек, убивший императорского посла для того, чтобы сорвать Брестский мир и разжечь пожар новой войны и мировой Революции.

Его кличка была Наум Бесстрашный.

Лампочка слабого накала, повешенная на столбе с переключателем возле гаража, освещала его сверху. Он стоял в позе властителя, оставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденовский шлем с суконной звездой.

Именно в такой позе он недавно стоял у ворот Урги, где только что произошла революция, и наблюдал, как два стриженных цырика с лицами, похожими на глиняные миски, вооруженные ножницами для стрижки овец, отрезали косы всем входящим в город. Косы являлись признаком низвергнутого феодализма. Довольно высокий стог этих черных, змеино-блестящих, туго заплетенных кос виднелся у ворот, и рядом с ним Наум Бесстрашный казался в облаках пыли призраком.

Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием:

— Отрезанные косы — это урожай реформы.

Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение «урожай реформы», как бы произнесенное с трибуны конвента или написанное самим Маратом в «Друге народа». Время от времени он повторял его вслух, каждый раз меняя интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые слюнявые губы порочного переростка, до сих пор еще не сумевшего преодолеть шепелявость.

Полон рот каши.

Он предвкушал, как, вернувшись из Монголии в Москву, он произнесет эти слова в «Столе Пегаса» перед испуганными имажинистами.

А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так как были вполне в его духе.

Теперь он, нетерпеливо помахивая маузером, ожидал, когда все четверо — бывший предгубчека Макс Маркин, бывший начальник оперативного отдела по кличке Ангел Смерти, женщина-сексот Инга, скрывающая, что она жена бежавшего юнкера, и правый эсер, савинковец, бывший комиссар временного правительства, некий Серафим Лось, — наконец раздедутся и сбросят свои одежды на цветник сизых пегуний и ночной красавицы.

Среди черноты ночи лампочка так немощно светилась, что фосфорически белели одни лишь голые тела раздевшихся. Все же остальные, не раздевшиеся, почти не виделись.

Четверо голых один за другим входили в гараж и когда входила женщина, можно было заметить, что у нее широкий таз и коротковатые ноги, а в облике четвертого, в его силуэте было действительно что-то сожато.

Они были необъяснимо покорны, как все входившие в гараж.

Но эта картина внезапно исчезла в непроглядном пространстве сновидения, а спящий уже находился среди недостроенных зданий

мертвого города, где, однако же, как ни в чем не бывало проехал хорошо освещенный внутри электрический трамвай с вполне благополучными, несколько старомодными, дореволюционными пассажирами, выходцами из другого мира.

Некоторые из них читали газеты и были в панاماх и пенсне.

К несчастью, маршрут трамвая не годился, так как вел в обратную сторону, в сторону желтых маков на хилых декадентских ножках, — туда, где в тучах пыли угадывались многоярусные черепичные крыши с приподнятыми углами буддийских храмов, угнетающе пустынные, непомерно обширные, раскаленные солнцем монастырские дворы и крытые черепицей ворота, охраняемые четырьмя идолами, по два с каждой стороны, их ужасные, раскосые, размалеванные лица — извещково-белое, желтое, красное и черное, — отпугивающие злых духов, хотя сами тоже были злыми духами.

Злые духи рая отпугивали злых духов ада.

Однако если был трамвай, значит, где-то имелась и стоянка такси. Действительно, виднелась длинная вереница свободных такси со светлячками, подававших надежду выпутаться из безвыходного положения.

Он приблизился к стоянке и вдруг обнаружил, что забыл, куда надо ехать. Адрес исчез из памяти, так же как исчезла вторая дверь в тамбуре, благодаря чему его унесло неведомо куда.

Ах, как было бы хорошо сесть в свободное такси, произнести магические слова адреса и погрузиться в сладостное ожидание.

Пришлось опять одиноко передвигаться во враждебном пространстве сновидения, уносившем все дальше и дальше от цели.

Удаление в то же время являлось и приближением, как бы моделируя перпетуум-мобиле кровообращения.

Вероятно, в это время сердечный мускул сокращался с перебойми, даже на миг останавливался, и тогда внезапно кабина испорченного лифта падала в шахту, сложенную все из того же кирпича.

Он находился в лифте и вместе с ним падал в пропасть, хотя в то же время как бы со стороны видел падающий ящик испорченного лифта в пропасти лестничной клетки между третьим и четвертым этажами этого ужасного здания.

Все вокруг было испорчено, еле держалось, каждый миг грозило обрушиться: падение с обморочной высоты погашенного маяка, некогда нового, прекрасного на фоне летнего моря с итальянскими облаками над горизонтом, а теперь одряхлевшего, с облупившейся штукатуркой и обнаженными кирпичами все того же венозного цвета.

Разрушающуюся дачу тянул вниз оползень, половина ее уже съезжала на берег вместе с частью обрыва, спящий хватался за корни бурьяна и повисал на их хрупких нитях, рискуя каждый миг сорваться и полететь в прекрасную пропасть.

Обнаженная роща нервной системы. Двухцветный вензель кровообращения. Перепады кровяного давления.

Из глубины памяти произвольно извлекались давно уже умершие люди. Они действовали как живые, что придавало сновидению достоверность.

Иные из этих ненадолго оживших казались совсем не теми, за кого их можно было принять, а были оборотнями. Например, Лариса Германовна. Оставаясь матерью Димы, она одновременно оказывалась и другой женщиной — тоже уже покойной, — гораздо более молодой,

порочно привлекательной, коварной, от которой произошли все несчастья.

Впрочем, она не ушла от возмездия.

Покойная Лариса Германовна бежала как живая мимо водопроводной станции, сложенной все из тех же проклятых кирпичей.

Она была в старом летнем костюме, пропотевшем под мышками и в высоких ботинках из потертой замши, на пуговицах. Она казалась излишне торопливой, что не соответствовало ее обычной дамской походке, полной собственного достоинства.

Когда-то он видел ее за праздничным столом, накрытым крахмальной скатертью, как бы отлитой из гипса. Лариса Германовна сидела на хозяйском месте и черпала из прямоугольной фарфоровой супницы серебряной разливательной ложкой суп-крем д'асперж, который распределяла по кузнецовским тарелкам, а горничная разносила их по гостям. К супу-крему д'асперж подавались крошечные слоенные пирожки с мясом, такие вкусные, что невозможно было удержаться, чтобы не взять еще один или даже два, а потом украдкой вытереть промаслившиеся пальцы о гимназические брюки, что никогда не укрывалось от ее якобы рассеянного взгляда сквозь стекла золотого пенсне, причем породистый нос ее слегка морщился, хотя она и делала вид, что ничего не заметила.

Весной и в начале лета она страдала от сенной лихорадки.

Воскресный обед на открытой террасе, ввиду моря, отражавшего колонну маяка и расчленявшего его на горизонтальные полосы. Общество приятелей ее мужа, известного адвоката, — архитекторы, писатели, депутаты Государственной думы, яхтсмены, музыканты. Длинные винные пробки с выжженными французскими надписями. Запах гаванских сигар, теснота, место за столом как раз против ножки стола, о которую стукались колени.

Конечно, Дима был центром внимания.

— Мой мальчик прирожденный живописец! — восклицал за обедом Димин папа своим адвокатским альтом — сладким и убедительным. — Не правда ли, у него что-то от Врубеля, от его сирени?

Белый жилет. Обручальное кольцо. Золотые запонки.

Сновидение несло вместе со всеми гостями вверх по лестнице в ту заветную комнату, пронизанную послеобеденным солнцем, которая называлась «его студия». Большой мольберт с трехаршинным картоном: «Пир в садах Гамилькара». На стуле большой плоский ящик с пастьельными карандашами, уложенными в шелковистую вату, как недоношенные младенцы.

Гости смотрели на картину в кулак. Лариса Германовна тоже смотрела на картину в кулак. Все восхищались Димой. Но, кажется, Лариса Германовна чувствовала неловкость. Все-таки это была детская работа мальчика-реалистика, прочитавшего «Саламбо».

Она представлялась императрицей Екатериной Второй. Даже в ее сенной лихорадке, заставлявшей пухнуть и розоветь нос и слезиться глаза, было нечто августейшее.

Но с какой скоротечностью все это разрушилось!

Теперь ее движения на фоне кирпичной стены водопроводной станции были беспомощно порывисты. Кошелка с тускло блестящими помидорами нищенски болталась в руке.

Она смотрела не узнавая. А потом вдруг узнала. Ее лицо искажилось.

— Вообрази! — сказала она, рыдая.

Нетрудно было вообразить, как она сначала побежала в тюрьму, где у нее не приняли передачу, сказав «не числится». Значит, он еще «там».

Она хрустнула пальцами без колец и побежала прочь, торопясь предпринять неизвестно что для спасения сына.

Нас несло по раскаленным улицам, но ее невозможно было догнать, и она все время уменьшалась и уменьшалась в перспективах неузнаваемо переменившегося города, как бы составленного из домов, еще не разрушенных землетрясением, но уже лишенных привычных вывесок.

Она превратилась в пятнышко, еле различимое в безвоздушном пространстве, а кровообращение сна уносило спящего в обратную сторону, неумолимо удаляя от неясной цели и в то же время чем дальше, тем ближе к полуциркульному залу бывшего иллюзиона Островского, а ныне общественной столовой, где за квадратными столиками, покрытыми вместо скатертей газетным срывом, обедали по карточкам так называемые совслужащие и работники Изогита, среди которых можно было узнать — хоть и не без труда — Диму, непохожего на себя, так как он был коротко острижен под машинку и вместо гимнастерки на нем была надета сшитая из палатки толстовка — универсальная одежда того времени.

Или, если хотите, той легендарной эпохи, даже эры.

Нежная шея скорее девушки, чем молодого мужчины, бывшего юнкера-артиллериста.

Когда они, Дима и его сотрапезница, заканчивали обед, состоящий из плитки спрессованной ячной каши с каплей зеленого машинного масла, к ним сзади подошли двое. Один в сатиновой рубаше с расстегнутым воротом, в круглой кубанке, другой в галифе, кожаной куртке, чернокурчавый, как овца.

У одного наган. У другого маузер. Они даже не спросили его имени, а только с неистребимым ростовским акцентом велели не оборачиваться, выйти без шума на улицу и идти вниз по Греческой, но не по тротуару, а посередине мостовой.

Его деревянные сандалии щелкали по гранитной брусчатке. Редкие прохожие испытывали, глядя на него, не сочувствие, а скорее ужас.

Одна старушка с мучительно знакомым лицом доброй няньки выглянула из-за угла и перекрестилась.

Ах, да. Это была Димины нянька, умершая еще до революции. Она провожала его печальным взглядом.

Но почему же взяли его, а не взяли ту, с которой он обедал?

Она бросала в рот последние крошки пайкового хлеба, собранные со стола в горсть. На ее верхней губе виднелся небольшой белый шрам, который не портил ее грубоватого, но красивого лица.

В столовой было полно обедающих, художников и поэтов Изогита, товарищей Димы по работе, однако ни один из них как бы ничего не заметил.

Дима просто исчез.

Теперь сновидение несло вниз по Греческой вслед за Димой по заржавленным рельсам давно уже бездействующего электрического трамвая. Рельсы, вделанные в брусчатку и засыпанные сухими опавшими цветами белой акации, как бы уводили его вниз, в тот невообра-

зимний мир, который прятался где-то по правую руку от массивных Сабанских казарм.

Там возле проходной будки стоял часовой-китаец в черных обмотках на худых ногах.

Чем быстрее спускались вниз по улице, тем быстрее деформировалось сознание Димы. Еще совсем недавно это было сознание свободного и свободно мыслящего человека, сына, возлюбленного, гражданина, художника...

...Даже — мужа.

Ну да. Он был уже мужем, потому что накануне женился на этой женщине, что оказалось до странности несложно: они зашли в бывший табачный магазин Асвадунова, где еще не выветрился запах турецких и сухумских табаков, и вышли оттуда мужем и женой.

Районное отделение записи актов гражданского состояния.

Документов не требовалось, да их и не было, кроме служебных мандатов. Они только поставили свои подписи. Она несколько замялась и, прикусив губу, аккуратным византийским почерком вывела свое имя и новую фамилию. Имя ее оказалось Надежда, Надя. Но она тут же пожелала воспользоваться случаем и переименовала его сначала на Гильотину, но раздумала и остановилась на имени Инга. Теперь она была Инга, что казалось романтичным и в духе времени.

Для него все это было так ново, и так прекрасно, и так пугающе-рискованно! Ведь он толком не знал, откуда она взялась и кто она такая.

Ставши мужем и женой, они даже не поцеловались. Это было не в духе эпохи. Они вышли на пламенную Дерibasовскую, где в те ушедшие навсегда годы стоял единственный громадный пирамидальный тополь, может быть, еще времен Пушкина, сверху донизу облитый тугоплавким стеклом полудня. Столетний тополь как бы возглавлял улицу.

Дима шел вниз по Греческой запинаящейся походкой, как будто торопясь к своему концу. Те двое шли сзади. Он обонял запах их жарких невымытых тел, запах наплечных ремней, оружейного масла, котормым был смазан маузер.

Запах швейной машинки.

Жизнь разделилась на до и после. До — его мысль была свободна, она беспрепятственно плавала во времени и пространстве. Теперь она была прикована к одной точке. Он видел вокруг себя мир, но не замечал его красок. Еще совсем недавно его мысль то улетала в прошлое, то возвращалась в настоящее. Теперь она стала неподвижной: он замечал лишь то, что приближало его к развязке.

В давно невытой витрине бывшего мехового магазина все еще виднелось траченное молью чучело уссурийского тигра с обломанными усами, и оно приближало его к развязке, так же как и выгоревший на солнце флаг над мраморным входом в бывшую банкирскую контору, где теперь разместился горсовет.

Красногубый, обогранные кровью руки, скрюченные пальцы.

Это видение изнуряло сознание Димы в бесконечную ночь сыпного тифа, и неустрашимый свет висящей над ним электрической лампы обливала палату магическим заревом ледяного полярного сияния. А в дверях палаты стояла его мама, Лариса Германовна, с муфтой в руках, и на ее лице Митя читал отчаяние.

(Но все-таки почему вместе с ним не взяли Ингу?)

Теперь он приближался к развязке, и это уже не был сьпнотифозный бред, а скучная действительность, не оставлявшая надежды на чудо.

Но, может быть, они не знают об его участии, а только предполагают? Нет материала. Нет доказательств. В таком случае еще есть надежда. Надо быть начеку. Язык за зубами. Ухо остро! Ни одного лишнего слова.

Все-таки откуда они могли узнать? Все было так надежно скрыто. Да, собственно, в чем его вина? Ну, положим, он действительно передал письмо! Но ведь он мог не знать его содержания. Одно-единственное письмо. В собраниях на маяке он не участвовал. Только присутствовал, но не участвовал. И то один лишь раз. Случайно. Так что можно считать — совсем не участвовал. Во всяком случае, откуда они могли узнать? Вообще он не сочувствовал этой затее, которую могут теперь посчитать заговором.

Может быть, сначала сочувствовал, хотя и не принимал участия. Но скоро разочаровался.

В конце концов, он уже стоял на платформе советской власти. Довольно переворотов. Их было по крайней мере семь: деникинцы, петлюровцы, интервенты, гетмановцы, зеленые, красные, белые. Пора остановиться на чем-нибудь одном. Он остановился. Пусть будет советская Россия.

Он честно работал в Изогите, хотя художником оказался не очень хорошим, дилетантом. Много ненужных подробностей. Передвижничество. Другие художники Изогита по сравнению с ним были настоящими мастерами — острыми и современными. Их революционные матросы, написанные в духе Матисса на огромных фанерных щитах, установленных на бульваре Фельдмана, были почти условны. Черные брюки клеш. Шафранно-желтые лица в профиль. Георгиевские ленты бескозырок, выющиеся на ветру. Ультрамариновое море с серыми утыгами броненосцев: на мачтах красные флаги. Это вписывалось в пейзаж приморского бульвара с платанами против бывшего дворца генерал-губернатора и бывшей гостиницы «Лондонская».

Левой! Левой! Левой!

На чугунной печурке грелись банки с клеевыми красками. Толстые малярные кисти. Кусок картона. На нем — грубо намалеванная фигура барона Врангеля в папахе, в белой черкеске с черными газырями, летящего в небе над Крымскими горами, а внизу стихок:

«По небу полуночи Врангель летел и песню предсмертную пел. Товарищ! Барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел».

Врангель еще держался в Крыму и в любую минуту мог высадить десант.

С запада наступали белополяки, разбившие под Варшавой Троцкого, который нес на штыках мировую революцию, хотя Ленин и предлагал мирное сосуществование. Пилсудский уже перерезал дорогу на Киев, и его войско стояло где-то под Уманью, под Белой Церковью, под Кодымой, под Бирзулой. Ходили слухи, что уже заняты Вапнярка и Раздельная.

Может быть, он сделал глупость, что стал работать в Изогите и нарисовал Врангеля?

Впрочем, он не верил в возможность нового переворота. Как это ни странно, его манила романтика революции.

...Конвент... Пале-Рояль... Зеленая ветка Демулена... Са ира!

Он уже успел прочесть «Боги жаждут», и в него как бы вселилась душа Эвариста Гамелена, члена секции Нового Моста. Как волшебным

это звучало, хотя его самого уже вели по другому мосту, по Сабанеевскому, за пиками которого в полуденной жаркой мгле виднелся безлюдный порт со всеми его голыми причалами и остатками сожженной эстакады.

...и внезапно захватившая его страсть к девушке из народа, в которой он видел Теруань де Мерикур, ведущую за собой толпу санкюлотов.

Красный фригийский колпак и классический профиль.

Что-то от Огюста Барбье, стихи которого «Собачий пир» в переводе Курочкина любил декламировать перед гостями его отец, едва сдерживая слезы восторга.

Эти стихи повторялись в Диминой памяти в такт кастаньетам его деревянных сандалий:

«Свобода — женщина с упругой мощной грудью, с загаром на щеках, с зажженным фитилем, приложенным к орудию, в дымящейся руке; свобода — женщина с широким твердым шагом, со взором огненным, под дымом боевым, и голос у нее — не женственный сопрано; ни жерл чугунных ряд, ни медь колоколов, ни шкура барабана его не заглушат»...

...Свобода — женщина, но в сладострастье щедром избранныкам верна, могучих лишь одних к своим приемлет недрам могучая жена...

...«Когда-то ярая, как бешеная дева, явилась вдруг она, готовая дать плод от девственного чрева, грядущая жена».

Она была его женой, но почему все-таки ее не взяли вместе с ним?

Он уже почти бежал. С поразительной ясностью он понял, что погиб и уже ничто его не спасет. Может быть, бежать? Но каким образом? Бежал же на днях один поручик, которого вели по городу из Особого отдела в губчека. Поручик бросил в глаза конвойным горсть табачных крошек и, добежав до парапета, спрыгнул вниз с моста и скрылся в лабиринте портовых переулков.

Он быстро шел к развязке и завидовал поручику. Но сам на такой поступок был не способен. Да и табака в кармане не нашлось ни крошки. Ах, если бы хоть щепотка... или соли!.. Он бы... Но нет, он бы все равно ничего не сделал. Он был трус. Они все равно пальнули бы сзади в его лопатки, эти двое.

Они тотчас прочитали его мысли.

— Господин юнкер, иди аккуратней. Не торопись. Успеешь.

Его ужаснуло слово «успеешь».

Дверь на блоке, завизжав, открылась, точно была не входом в ад, а дверью сарая. Мимо желтой статуэтки китайца все трое вошли в коммандатуру, скучную, как провинциальное почтовое отделение, с той лишь разницей, что вместо царского портрета к стене был придавлен кнопками литографический портрет Троцкого с винтиками глаз за стеклами пенсне без оправы.

Мир сузился еще более.

Проходя по запущенному цветнику, он увидел тот самый гараж, о котором в городе говорили с ужасом. Ничего особенного, темные кирпичи. Запертые ворота. Смутный запах бензина.

Кровообращение сна уносило его все дальше и дальше в безлюдную область пересеченной местности, покрытой слоем каменноугольной пыли, где среди труднопроходимых утвалов шлака моталась белая бабочка сердцебиения, ища выхода из пещеры сна...

Белая бабочка была также и веером в руке матери, молодой и

прекрасной, как та красавица гимназистка по фамилии Венгржановская, с которой он некогда танцевал хиавату на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти.

Волосы распущены. Она с отчаянием рвется в какую-то закрытую дверь на блоке, стучится кулаками и не может достучаться.

Известно, что туда есть еще какой-то другой ход, открытый, не запертый. Но для того чтобы им воспользоваться, надо сначала подняться на лифте.

...Мы поднимаемся вместе с ней на испорченном лифте, каждый миг готовом развалиться или сорваться со стального троса. Пол лифта под ногами шатается, доски расходятся, зияют щели, и мы падаем вместе с испорченной кабиной в неизмеримую глубину шахты, и, кажется, никакая сила в мире не может нас спасти. Однако я спокоен, так как знаю, что все окончится благополучно и лифт своевременно остановится.

Просто был выбран неверный способ проникнуть туда, куда рвалась, обливаясь слезами, Лариса Германовна, старея на глазах.

Они опускаются в подвал семизэтажного дома. Необходимо пройти несколько миль в плохо освещенном подземном коридоре, пригибая голову под низко проложенными трубами отопительной системы.

Трудно. Очень трудно. Задыхаются.

Но зато подземный коридор выводит куда надо.

А куда надо?

Надо на волю.

Наконец впереди открытая дверь и дневной свет свободы. Они выходят наружу, но оказываются в безвыходном пространстве внутреннего двора на первый взгляд без выхода. Впрочем, оказывается, выход есть: незаметные ворота, ведущие на улицу. Ворота, к счастью, открыты. Их забыли запереть.

Сквозь короткий туннель открытых ворот они выходят на безлюдный проспект, пролегающий в безрадостной пустынной пересеченной местности, конца и края которой не видно, а ворота, откуда они только что вышли, и семизэтажный дом, и дворик, и подземный коридор — все уже исчезло, и они на миг задерживаются среди непонятного пространства с обломками кирпичных стен, с насыпями, осыпями, оползнями, и уже хорошо знакомая магнитная сила продолжающегося сновидения несет их куда-то в обратную сторону.

Удаляясь, они приближаются.

И вот уже перед Ларисой Германовной опять дверь на блоке и перед ней желтый китаец в черных обмотках, с трехлинейной винтовкой у ноги. Она умоляет впустить ее в коммандатуру, но китаец стоит неподвижно, как раскрашенная статуэтка: фаянсовое лицо, черные брови, узкие змеиные глаза, рот без улыбки. Она унижается. Она плачет. Он неподвижен. Она маленькая, еще более постаревшая, стоит перед запертой дверью, уже превратившейся в глухую кирпичную стену, за которой угадывается залитый солнцем запущенный палисадник, сухая клумба петуний, заросших бурьяном, бассейн без воды, с пирамидкой ноздреватых камней и заржавленной трубой.

Некогда это был фонтан, окруженный радугой водяной пыли.

Плохо прижившиеся липки, почти не дающие тени.

Эту мирную картину запустения видел сын, и она на миг успо-

коила его, но дорожка, покрытая успевшим запылиться морским гравием, по дачному скрипевшим под ногами, оказалась слишком короткой. Она подарила ему совсем небольшой кусочек жизни, земного бытия с травой и солнцем. Может быть, это было прощание с миром, с воробьями, которые прыгали возле полуподвальных окон, на три четверти забитых косыми деревянными щитами, откуда невидимые люди бросали им кусочки черного хлеба.

Завизжала еще одна дверь на блоке.

Он стал подниматься по лестнице черного хода, по такой обыкновенной и совсем не страшной дореволюционной лестнице черного хода с чугунными узорчатыми ступенями, крашенными чернилами, запахом кошек.

Он успокоился.

Ну, лестница как лестница. Как обычно, на площадки этажей выходили кухонные двери.

Комиссар, которому его передали в комендатуре, деликатно, почти нечувствительно подталкивал его в спину стволом нагана. Они поднимались все выше и выше мимо мертвого лифта, повисшего между этажами на заржавленном тросе.

Лифт из одного из моих постоянных сновидений — спящий и я временами сливались воедино.

Этажи. Четвертый. Пятый. Площадки без мусора, протертые для дезинфекции керосином.

«Сладко пахнет белый керосин».

Но какая неестественная тишина. Лишь отдаленный стук пишущих машинок, щебетанье крови.

Зелень садика неумолимо уходила вниз, и уже в окнах показались черепичная крыша противоположного дома с кошкой возле трубы, выше которой была уже пустота равнодушного неба.

Еще один этаж. Теперь вокруг было одно чистое небо. По такому небу могли бы летать ангелы.

Послышались шаги. На площадку шестого этажа вышла девушка в гимназическом платье, но без передника, красавица. Породистый подбородок дерзко вздернут и побелел от молчаливого презрения. Шея оголена. Обычный кружевной воротничок и кружевные оборочки на рукавах отсутствуют. От этого шея и руки кажутся удлиненными. Туфельки, кое-где потертые до белизны.

Сзади комиссар с наганом, копия его комиссара. В обоих нечто трюккое, чернокожаное.

Поравнявшись, комиссары обменялись взглядами, как встречные корабли обмениваются в море приспусканием флагов, посторонились, пропуская друг друга. Один вел свою с допроса вниз, другой своего на допрос вверх.

Ее щеки горели. Точеный носик посветлел, как слоновая кость. Знаменитая Венгржановская. Самая красивая гимназистка в городе. Именно с ней когда-то он танцевал хиавату. Он ее узнал. Она его не узнала. Полька. Аристократка, тогда от нее пахло резедой. Ее имя повторялось в городе.

Теперь оно тоже повторялось, но уже в другом роде. Она была участницей польско-английского заговора. Они решили поднять восстание, захватить город и, перебив комиссаров и коммунистов, передать его великой Польше «от моря до моря», войску маршала Пилсудского. Старая мечта польской шляхты завладеть этим городом на Черном море.

Теперь их всех, конечно, уничтожат. Может быть, даже сегодня ночью вместе с ним. Наберется человек двадцать, и хватит для одного

списка. Заговор англо-польский и заговор врангелевский на маяке. Работы на час.

Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин. По списку. Но перед этим они все должны раздеться донага. Как родился, так и уйдет.

Неужели Венгржановская тоже разденется на глазах у всех?

...Сначала с усилием снимет через голову тесное гимназическое платье с узкими рукавами, потом рубашку, кружевные панталоны, чулки на еще детских резиновых подвязках. Маленькие груди. Немытое тело. Каштановый пушок. Гусиная кожа...

Спускаясь по лестнице, она посмотрела на него. Может быть, узнала и удивилась. Высокомерно и вместе с тем подбадривающе усмехнулась краем искусанного рта. Родинка на шее под маленьким ухом.

— Не задерживайтесь. Проходите.

Стоптанные каблучки застучали вниз по ступеням.

Ему велели подняться еще на один марш. Площадка седьмого этажа. Седьмое небо. На один миг он как бы повис в пустоте неба над Маразлжевской улицей, над Александровским парком с кирпичными сквозными арками старинной турецкой крепости. Морской простор.

Как прекрасен, свободен и необъятен был мир, который у него отнимут.

Комиссар передал его следователю, сказав:

— Последний из маяков.

— Садитесь, — сказал со вздохом следователь, измученный предыдущим допросом.

Отлегло от сердца. Значит, не здесь и не сейчас. Еще может быть долгое следствие, допросы, очные ставки...

Но все-таки как же это получилось? Неужели я тогда не разорвал записку, а только хотел разорвать и сжечь? Сейчас все выяснится. Ведь, собственно, я ничего не совершил. Только маяк.

Стул стоял против окна. Нарочно так поставили. Он сел. На его лицо упал желатиновый закатный свет. Церковный свет.

Следователь оставался в тени. Молодое неразборчивое лицо. Уже не мальчик, но еще и не вполне молодой человек. Юноша, носатый. Лошадиные глаза. На громадном письменном столе возле локтя кольт, источающий запах смазки. Шикарный кабинет с кожаной мебелью. Может быть, здесь недавно жил какой-нибудь адвокат, коллега отца.

— Не будем отнимать друг у друга время. Его у вас еще меньше, чем у меня. Вы меня, конечно, не знаете и знать не хотите. А я вас, представьте, помню. Однажды я был у вас на даче. Нет, нет, отнюдь не в гостях. Красил террасу. Приходилось подрабатывать. Балуетесь живописью? Я сам живописец. Учился в художественном. Главным образом работал по пейзажу. Ну, как Исаак Левитан и так далее. Не закончил. Средств не хватало. Выперли. А вы покусаетесь на исторические полотна? «Пир в садах Гамилькара». Ого-го! Рабы, распятые на крестах, красный огонь и черный дым костров. Неверная перспектива и все это почему-то пастелью. Конечно! Пастелью легче: ни цвета, ни формы. Детский рисунок. Ну еще бы! Богатый папаша. Ему ничего не стоит купить своему гениальному вундеркинду ящик пастельных карандашей. Десять рублей — пустяки. Мамочкин сынок будет создавать репинские полотна! Я знаю, перед самой войной папочка возил вас в Санкт-Петербург, пытался по протекции влихнуть вас в Академию художеств. Но вы с треском провалились, только напрасно опозорились. А теперь папаша драпанул вместе с добровольческой армией в Константинополь, захватив с собой красотку из «Альказара», ма-

мочка осталась на бобах и распродает барахло, а вундеркинд подался в контрреволюцию.

Следователь склонил темное лицо и порылся в ящике стола.

Его слова были грубы, справедливы и ужасны, но еще страшнее было полотнище кумача с лозунгом «Смерть контрреволюции!». Это знамя он уже видел на первомайской демонстрации. Его несли во главе колонны сотрудников губчека.

На стене под знаменем висел знакомый портрет: пенсне без оправы, винтики ненавидящих глаз, обещающих смерть и только смерть.

— Займемся,— сказал следователь.— Имейте в виду — все ваши уже сидят у нас в подвале. Вы последний. Так, может быть, обойдемся без лишней болтовни?

Закатив зрачки и упершись в его лицо белками конских глаз, упершись руками в край лакированного стола с таким напряжением, что даже привстал, следователь сказал:

— Так как же?

— Хорошо,— произнес Дима, с трудом преодолевая тошноту страха.

Первое слово, произнесенное им после того, как те двое подошли к нему сзади в неестественно просторном полуциркульном помещении столовой, где некогда, в легендарном минувшем, показывали знаменитую панораму «Голгофа», смотреть которую водили маленького Диму.

...Перед мальчиком полукругом раскинулась как настоящая черствая иудейская земля: рыжие холмы на рыжем горизонте — неподвижный, бездыханный мир, написанный на полотне, населенный неподвижными, но тем не менее как бы живыми трехмерными фигурами евангельских и библейских персонажей в розовых и кубовых тонах, на ослах и верблюдах и пешком, и надо всем этим царила гора Голгофа с тремя крестами, высоко воздвигнутыми на фоне грозового неба с неподвижными зигзагами молний. Распятый богочеловек и два разбойника, распятые вместе с ним — один одесную, а другой опшю — как бы висели с раскинутыми руками над небольшой живописной группой римских воинов в медных шлемах, украшенных красными щетками.

Из пронзенного бока Христа неподвижно бежал ручеек крови. Голова в терновом венке склонилась на костлявое плечо. Римский воин в панцире протягивал на камышовой трости к запекшимся устам спасителя губку, смоченную желчью и уксусом.

Живот распятого был втянут под выступавшими ребрами грудной клетки, и чресла стыдливо прикрыты повязкой. Надвигающаяся пылевая буря уже деформировала неподвижно раздувающиеся одежды евангельских персонажей, и мальчику уже трудно было дышать полотноным воздухом панорамы.

Может быть, именно тогда зародилась мечта нарисовать цветными карандашами нечто подобное — величественное, бессмертное.

...Красные щетки медных шлемов римских воинов. Распятые на крестах...

«Пир в садах Гамилькара».

— Тогда подпишите, и не будем терять времени.

Он взял деревянную ручку с обкусанным концом, обмакнул перо в чернильницу и торопливо, как будто бы стараясь поскорее отделаться от жизни, подписался. И сразу почувствовал минутное облегчение, а потом, двигаясь в обратном направлении, очутился в полуподвале с белеными известью стенами, еще довольно ярко освещенном сквозь щели дощатых щитов светом уходящего дня.

Полно знакомых и незнакомых, а над ними семизэтажная громада дома, казавшегося днем мертвым, а теперь постепенно оживавшим. В нем как бы зашевелились какие-то неизвестно откуда появившиеся люди. Может быть, на каком-то этаже начала заседать тройка. Не ис-

ключено, что оглашались списки. Пишущие машинки стучали наперебой.

Товарный вагон полуподвала, где при жалком свете электрической лампочки слабого накала сидели, лежали и стояли фигуры знакомых и незнакомых, уносил его все дальше и дальше от дома, от дачи, от жизни в непознаваемую область с остатками кирпичной кладки, поросшей бурьяном. Тень бронепоезда с погашенными огнями как бы с тяжелыми вздохами медленно двигалась мимо разрушенной водочки. Угольки сыпались из поддувала, скупо освещая дегтярно-черные шпалы, пахнущие креозотом.

Каким-то образом становится ясно, что бронепоезд, прорываясь сквозь фронты, везет на юг особоуполномоченного по чистке органов от проникших туда врагов. Карающий меч революции в руках Наума Бесстрашного. Бронепоезд приближается. Рельсы несут его все ближе и ближе к городу.

Таинственная деятельность уже явственно ощущается во всех семи этажах. С наступлением ночи она усиливается. Тяжелое предчувствие охватывает товарный вагон полуподвала — всех знакомых и незнакомых.

В коридор полуподвала ворвался топот многих ног. Одна за другой отпираются двери камер. Приближается голос, произносящий фамилии — знакомые и незнакомые — по списку.

— Прокудин. Фон Дидерихс. Сикорский. Николаев. Ралли. Венгржановская. Омельченко.

Пронесет или не пронесет? Не пронесло. Щелкнул замок. В щели полукрившейся двери тускло блеснула кожаная куртка. Наплечные ремни. Кубанка. Ручной электрический фонарик. Зайчик света побегал по листу бумаги с треугольной печатью.

— Из камеры с вещами. Карабазов. Вайнштейн. Нечипоренко. Вигланд. Венгржановский.

Неужели их тоже? Он замер. Вот сейчас, сию минуту произнесут его фамилию, и тогда все кончится безвозвратно и навсегда.

Но нет. На этот раз его не вызвали. Других из маяка тоже не вызвали. Значит, их очередь еще не наступила. А вдруг случится чудо и очередь их никогда не наступит?

Те же, чья очередь уже наступила, вели себя по-разному.

Полковник Вигланд в английской шинели, имевшей на нем вид халата, сидевший в углу и безостановочно строчивший по-английски свой дневник, преждевременно седой, дурно подстриженный, быстро достроил начатую фразу и спрятал заветную тетрадку глубоко под шинель. Вероятно, он надеялся, что в конце концов его записки каким-то образом попадут в руки потомков, как важный исторический документ и его имя произнесут рядом с именем знаменитого Лоуренса-аравийского, — гордостью британской разведки, или, быть может, даже рядом с именем Уинстона Черчилля. Потряхивая серым хохолком на маленькой головке, с выпуклыми склеротическими английскими глазами, солдатским шагом он прошел мимо ручного электрического фонарика и скрылся в темноте коридора.

Приказчик мануфактурного магазина Карабазов в легкой короткой поддевочке долго копался в своем узелке, укладывая остатки сахара, кружку, ложку, салфеточку, оттягивая время, и шея его над вышитым воротом русской рубахи венозно покраснела.

— Побыстрее! Не копайтесь!

Вайнштейн, как только услышал свою фамилию, до неузнаваемости переменялся в лице, поднял согнутые в локтях руки и, как бы жеманно вытанцовывая фрейлахс, на цыпочках, остороженько, остороженько с ничего не видящими безумными глазами протанцевал в коридор, вполголоса напевая с сильным акцентом: «Каустическая со-

да, каустическая сода...» — как бы желая отстранить от себя эту проклятую каустическую соду, спрятанную в подвале и теперь отнявшую его жизнь.

Штабс-капитан Венгржановский в студенческой тужурке и длинных шевровых сапогах, гордо закинув голову, — как две капли воды похожий на свою младшую сестру, — вышел из камеры с дрожащей улыбкой, отбросив в сторону недокуренную папироску.

Фон Дидерихс суетливо раздавал на память остающимся в камере мелкую элегантную чепуху: замшевый кошелек, шелковый платочек для наружного кармана, портсигарчик, маленькую фотографию девушки с испанским гребнем в прическе, обручальное кольцо, долго не снимавшееся с пальца, и по его курносому курляндскому носику ползла аквамариновая слезинка, блеснувшая в луче электрического фонарика.

...он стоял недалеко от двери в третьей танцевальной позиции, окаменевший, с помраченным сознанием, загадавши, что если он не шелохнется, не вздохнет, не сдвинет ног с третьей позиции ни на один сантиметр, ни на волосок, то его не вызовут, если же хоть чуть-чуть шелохнется, то сейчас же услышит громко произнесенную свою фамилию, и тогда уже будет все кончено и он навсегда перейдет в ту непонятную, ужасную область, откуда нет возврата...

...нет возврата...

Снились ли им в эту ночь какие-нибудь сны? Они сами были сновидениями. Они были кучей валяющихся на полу сновидений, еще не разобранных по порядку, не устроенных в пространстве. Урожай реформы.

Ни в аду, ни в раю, ни в чистилище. Нигде.

Преодолевая угловатые препятствия, чудилось им, польские части, перевалив за Раздельную, приближались к станции Гниляково-Дачная. Вот они уже освобождают Сортировочную. Они непростительно долго путаются среди железнодорожных тупиков, закрытых семафоров, обратно переведенных стрелок. Морской десант прыгает прямо с барж в прибой. Десантники по грудь в пене, подняв над головой новенькие винчестеры и ручные пулеметы черной вороненой стали, устремляются на Мостдорфский пляж, но водоросли и множество медуз мешают им бежать. Вымокшие английские шинели горчичного цвета с трехцветными шевронами на рукавах стесняют движения. Движения угрожающе замедляются. Неужели они не успеют взять штурмом семизэтажный дом, где все время что-то происходит?

Их и без того непростительное замедление осложняется присутствием мамы, папы и его жены Инги с маленьким белым шрамом на губе.

Теперь, как и тогда, она была старше его. Не девушка, не барышня, а молодая женщина, опытная и страстная, которая силой взяла его, не отпуская от себя ни на шаг и не давая ему вздохнуть, и он слышал запах ее тельняшки и рук — сильных, как у прачки. Она повелевала им, как будто была не женщиной, а мужчиной. Женщиной был он. Их сожитие доставляло ему мучительное наслаждение, вытягивая из него все жилы, издававшие при вытягивании виолончельные звуки хроматической гаммы, переходящей во что-то церковное, панихидное, «творящее песнь». Они сопровождали таинство их бракосочетания в какой-то незнакомой пасмурной церкви.

Она была* одновременно и его жена и его мать, которую он совсем забыл, а теперь вдруг вспомнил, и она печально стояла возле него с лицом, не различимым под траурной вуалью. А он, оставаясь ее сыном, в то же время был как бы своим собственным отцом,

мужем матери, — в белом галстуке и во фраке с серебряным значком присяжного поверенного на шелковом лацкане, и перед ними стоял вышедший из царских врат священник в траурной ризе, и ко всему этому примешивалось ощущение коварства, погубившего их всех.

Священник помахивал кадиллом, но делал это без всякого одушевления, и кадильный дым был без запаха, и это давало понять, что жизнь висит на волоске. Он этого не понимал. Это понимала одна лишь его мать, у которой сердце трепетало, как белая бабочка, улетающая из церкви наружу через разбитое окошко в куполе в поисках спасения.

Лариса Германовна с отчаянием отбрасывала мысль, что все уже совершилось и она опоздала.

Море, еле заметное за деревьями парка за семизэтажным домом, куда она никак не могла проникнуть, кипело, как масло на раскаленной сковородке, и оттуда вместе со звуками жарения доносился запах гниющей тины и мертвых мидий, выброшенных на берег.

Десятки способов спасения сына приходили в ее воспаленный мозг, но ни один не подходил, а между тем она чувствовала, что есть какой-то один-единственный, но верный способ, но он ускользал из ее сознания подобно забытому слову, выпавшему из памяти, но оставившему неразборчивый след.

Это слово есть. Оно существует, но оно забыто, стоит только сделать усилие — и оно вспомнится. И вдруг, как забытое слово, возник перед ней еще не опознанный и не обозначенный словом человек с отторгнутым именем, спаситель сына. Пока еще человек и его имя существовали отдельно друг от друга. Но Лариса Германовна уже предчувствовала их слияние.

Сперва явилось имя. Оно явилось как бы из ничего. Серафим. И тут же имя слилось с человеком. Человек обрел форму: Серафим Лось. Да, именно он. Писатель. Он несомненно когда-то бывал у них на даче. Даже читал что-то свое, революционно-декадентское. Он всегда появлялся внезапно и так же внезапно исчезал. Ходили темные слухи, что он бсевик, бомбист.

В его профиле было действительно что-то горбоносо-лосиное, сохатое.

Он сидел, согнувшись над маленькой портативной пишущей машинкой «Эрика» с западающей буковкой «о» и выскакивающей над строчкой буковкой «к».

Он с такой силой стучал по стершимся клавишам, что буквы насквозь пробивали дрянную, почти клозетную бумагу.

Он сводил счеты с русской революцией. Он писал о себе, придумав для своего героя многозначительную фамилию Неизбыннов.

Комиссар временного правительства Неизбыннов. Это звучало прекрасно. Он мучительно переживает развал русской армии.

«Стоя в окне своего салон-вагона, Неизбыннов видел сон наяву. Явь сегодняшнего дня месяцев восемь тому назад была бы невозможной даже и во сне, под крышей мансарды на рю де Сантэ, куда Париж как бы в насмешку или в назидание и поучение русским пришельцам на один конец бросил сумасшедший дом, а на другой — в ночные улицы, заполненные «этими господами» в косоворотках и нелепых шляпах, — знаменитую тюрьму Сантэ, из ворот которой иногда по рельсам вывозили гильотину, так как по закону казни должны были совершаться не в стенах тюрьмы, а публично, на площади. Сон наяву, сон странный и временами непостижимый, где одно видение, не успев обрисоваться, уже рождало другое, более сумбурное, и, оплетаясь с третьим, десятым, сотым, чертило огромный круг, куда таинствен-

ная — кем предназначенная? — судьба, бросала все новые и новые звенья».

Это здорово, подумал Серафим Лось, именно звенья, и продолжал долбить по шатким клавишам.

«Каждое звено было отлично от другого, как различались сибирские каторжные тюрьмы от Сорбонны, и каждое звено не подходило к другому, как не подходил арестантский бушлат к кимоно крошечной гейши в Нагасаках».

Не чересчур ли насчет Нагасак? И как омерзительно выскакивает над строчкой буква «к», портя все впечатление от стиля, а буква «о» выбивает бумажные белые и черные кружочки, осыпая мои колени, черт бы их побрал!

Движение мысли несло его в обратную сторону, и он махнул рукой на маленькие досадные помехи печатания на машинке.

А почему бы, собственно, и не гейша? Но не слишком ли много звеньев? Он чувствовал их переизбыток, но не мог уже остановиться. Он торопился. Вечерний свет острым углом проник в комнату, полную мажорочного дыма. Надо успеть достучать главу до наступления темноты. Электричество было выключено.

«И ковался, ковался загадочный круг,— стучали буквы пишущей машинки,— таща за собой словно назло всему земному, разумному — но во имя неразумного! — Нерчинский острог, и Черемховский рудник с вагонетками и тачками, и номер петербургской «Астории» с бомбой в чемодане якобы английского инженера Джона Уинкельтона, и кандалы, и лодку-душегубку, плывущую вниз по Амуру к океану, к Азии, к воле, и смертный приговор, выслушанный в здании военного суда...».

Лось передохнул, отряхнул с колен бумажные кружочки.

«...и ночные парижские кафе возле рынка... и карцер, узкий, как гроб, откуда, кажется, не выйти живому... и коридор Смольного, и залы Таврического дворца... и знамена, знамена, знамена красные, как кровь человеческая, и толпы на Невском, и салон-вагон комиссара временного правительства...»

Дался мне этот салон-вагон. А все-таки приятно вспомнить.

«...с зеркалами, фарфоровым сервизом в голубых с золотом великокняжеских гербах...»

Измученный, обалдевший, он выкрутил из-под валика три листка, переложенных дрянной копиркой, которая уже не пачкала пальцев, и увидел стоящую в дверях женщину, даму, которая кинулась к нему и схватила за руки.

— Ради бога. Только вы один можете его спасти. Вы были на торговле вместе с этим Маркиным.

Он вытер рукавом френча слезящиеся от напряжения глаза. В его голове, в его лице, в его носе в самом деле было нечто лосяное, хотя Серафим Лось была всего лишь партийная кличка, литературный псевдоним, а на самом деле он был Глузман. Ему все еще казалось, что его куда-то уносит салон-вагон и что женщина стоит в дверях этого салона, за окнами которого проносится метель паровозных искр.

Сначала он не узнал Ларису Германовну, так она постарела, но,

придя в себя, вспомнил дачу, картину «В садах Гамилькара» и понял, что речь шла о ее сыне.

— Да, да, конечно, сейчас же... — торопливо забормотал он, слепо суясь по углам, — мы с Максом были на каторге, даже вместе бежали...

Он нашел в углу среди сора свои деревянные сандалии, сунул в них босые ноги, и они побежали по улицам, уже освещенным закатным багрянцем.

У него был мандат действительного члена общества политкаторжан. Тогда почти каждая бумажка называлась мандатом. Она открыла ему двери губчека.

Вчера по приказу Маркина не в гараже, а прямо во дворе среди бела дня, расстреляли двух оперативников, укравших во время обыска золотые часы и бриллиантовую брошку. Маркин до сих пор не мог успокоиться. Перед его глазами неустранимо стояла картина допроса, а потом казни. Они оба стояли перед ним, еще живые, но уже без поясов и без сапог, переминаясь босыми ногами с ракушками отросших, давно не стриженных ногтей больших пальцев. Потом уже во дворе они повалились в разные стороны, а из стены на них посыпалась кирпичная пыль.

У Маркина был неистребимый местечковый, жаргонный выговор. Некоторые буквы, особенно шипящие, свистящие и цокающие, он произносил одну вместо другой, как бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков — русского, еврейского, польского, немецкого.

Его бурая шея стала еще более бычьей, чем на каторге. Но тогда голова его была наполовину выбрита, а теперь густо заросла жесткими пыльными волосами с рыжеватым оттенком.

— Здравствуй, Глузман, — сказал он без удивления. — Ну что, до сих пор эсерствуешь?

В кабинет, толкнув дверь коленом, вошла молодая женщина в юбке клеш с небольшим шрамом на губе. Обеими руками она прижимала к груди тяжелый громадный «ундервуд». Увидев, что в кабинете посторонний, она поставила машинку на стол, отчего звякнули звоночки, и, кинув на Серафима Лося острый взгляд леденцовых глаз, порочно опущенных тенистыми ресницами, вышла из кабинета, плотно притворив за собой обитую клеенкой дверь.

Неужели на этом допотопном «ундервуде» печатаются проскрипционные списки? — подумал Лось. Ему не нравилось, что Маркин назвал его Глузманом. Но надо было терпеть.

— Заварки нет, — сказал Маркин. — Кипяток есть. Будем пить с ландринками.

Он протянул на ладони с резко прочерченными черными линиями судьбы три разноцветные ландринки. Лось выбрал и положил в косой рот с давно не леченными зубами одну ландринку, как бы отлитую из бутылочного стекла, а малиновый и желтый шарики оставил для Маркина — деликатность, принятая на каторге.

— У тебя сидит один юноша... — начал Лось.

— А ты откуда знаешь, что он у меня сидит? — перебил Маркин, произнося слово «знаешь» как «жнаишь» и слово «сидит» как «шидит».

— Ко мне приходила его мать.

— Ко мне она тоже приходила, но я ее приказал не пускать. А твой юноша — юнкер, член контрреволюционной организации. Сегодня мы их всех ликвидируем.

Лось помертвел.

- Макс, я прошу тебя, во имя нашей старой дружбы.
 — Ты просишь, чтобы я его выпустил?

Он произнес «выпустишь».

- Ради твоей матери. Ведь у тебя тоже была мать.
 — Замолчи! Была у меня мать или не была... Какого черта ты пришел сюда ковыряться в моей душе? Еще неизвестно, чем ты занимаешься у нас в тылу. Может быть, ты работаешь по заданию Савинкова и мечтаешь устроить у нас Ярославль... А вот я сейчас вызову коменданта, и он поставит тебя к стенке.
 — Я уже давно разоружился.
 — Ага! Осознал свои политические заблуждения? Так почему же ты не идешь работать к нам? Стал обывателем! Эх ты... А еще бросал бомбы в губернаторов.
 — Когда-то мы дали друг другу клятву дружбы.
 — Врешь. Я не давал никакой клятвы.
 — Вспомни напильник. Может быть, ты посмеешь отрицать, что напильник достал я?
 — Напильник достал ты,— смущенно пробормотал Маркин.
 — Так подари мне жизнь этого мальчика.
 — Заткнись! — крикнул Маркин.— Или я застрелю тебя на месте. «На месте» он произнес как «на мешти». Он вырвал из кобуры наган.
 — Уходи!

Кровь бросилась в лицо Лося. В нем заговорил старый боевик-эсер.

- Стреляй, подлец! — сказал он сквозь зубы.— Стреляй в своего товарища по каторге, если у тебя хватит совести.
 Маркин швырнул наган на стол и опустил глаза.
 Опустить глаза значило сдаться.
 — Даешь слово? — спросил Лось.— Не обманешь?
 — Мое слово железо.

На подоконнике продолжали сохнуть корки пайкового хлеба. По закопченному солдатскому бачку с остатками засохшей ячной каши ползали синие мухи. На куске газетной бумаги продолжали блестеть вещественные доказательства — золотые часы и бриллиантовая брошь.

— Но имей в виду, Глузман,— крикнул Маркин вслед уходящему Лосю,— если ты еще хоть раз попадешься мне на глаза, я не посмотрю, что мы когда-то вместе были на колесухе. Мы враги.

Солнце заходило. Трудно дышалось. В кабинет уже начали проникать предвечерние тени. Перед глазами Лося все еще стояла убитая горем женщина. Он видел, как голого юношу с родимым пятном под лопаткой, со сливочно-нежным телом вталкивают в гараж...

Только он один мог его спасти. И он его спас.

— Он дал слово. Его выпустят,— сказал Лось Ларисе Германовне, которая продолжала неподвижно стоять на том самом углу, где он ее оставил, на углу под акацией, увешанной ремешками стручков.

Она стала мелко и часто, по-дамски, креститься. Потом рванулась, схватила руку Лося и стала осыпать ее поцелуями.

— Лариса Германовна, ради бога, что вы делаете!..

...сновидение уже уносило ее вдоль пустынной улицы вон из города, вдоль заржавевших рельсов дачного трамвая. Она иногда присаживалась отдохнуть на станционной скамейке, вделанной в бетон, или просто на обочине, поросшей бурьяном. Сознание ее меркло. Душа от-

дыхала, хотя в товарном вагоне полуподвального помещения начиная со вчерашнего утра до наступления сегодняшнего вечера покорное умопомешательство охватило тех, кто там был заперт, и все их душевные силы сосредоточились на одной-единственной неподвижной мысли: успеет ли несуществующий десант высадиться в Люстдорфе и займут ли поляки Сортировочную.

Незадолго до вечера, когда в вертикальных щелях косых дощатых щитов еще слабо золотилось навсегда уходящее солнце, их стали вызывать по списку. Он услышал свою фамилию, произнесенную так отчетливо, что сомнений быть не могло. Когда сознание его прояснилось, он увидел себя (уже как бы в другом измерении) в большой комнате, все еще освещенной уже почти розовым послезакатным светом, перед ящиком старинного фотографического аппарата, громоздкого, на колесиках, с медными винтами и куском черной материи, брошенной на его потертую гармонику.

Сыпнотифозный запах вокзала смешивался с кислой вонью вираж-фиксажа.

Но все это уже не имело значения.

Взяв за плечо, его водили туда и сюда, распорядившись им уже не как живым человеком, а как скульптурной моделью человека.

— Сядьте здесь. Поверните голову. Выше подбородок. Не дышите.

Затылок уперся в железную скобу высокого штатива, тот самый старик, который, кажется, уже один раз когда-то очень давно снимал его, ходил перед ним, устанавливал объектив на фокусное расстояние. Полы синего халата развевались. Но когда-то на нем был бархатный жакет и галстук бантом. Карапузик с ямочками, голенький, веселенький, лежал перед ним на подушке с кистями: это был тоже он.

Все вызванные по списку были разъединены. Фотографировали каждого поодиночке. Анфас и в профиль. Голова твердо упиралась в скобу штатива. Визжал винт.

— Внимание. Выдержка десять секунд. Не моргайте. Смотрите прямо в объектив. Снимаю.

Опытная рука мягко сняла черную крышечку и, держа ее изящно на отлете, описала мягкий круг и так же мягко прикрыла объектив, в увеличительном стекле которого успели отразиться все три окна пустынной комнаты.

И опять фотограф с головой, ритуально покрытой черной тканью, полез на него со своим полированным ящиком, одноглазым, как циклоп.

Анфас и в профиль. Как преступника. Впрочем, он ведь и был преступник. Он не знал, какой у него профиль. Говорили, что греческий. Папа всегда говорил: «Господа, не правда ли, у моего мальчика артистический профиль Аполлона. Профиль мой, а овал лица материнский».

У него был несколько выдающийся затылок. Теперь этот затылок упирался в железную скобу. Затылок преступника. Неужели в этот затылок сегодня вбежит пуля?

Но пока еще был желтый, давно не натиранный паркет, тускло отсвечивающий восковым, послезакатным светом.

— Давайте следующего. А этот пусть подождет. Может быть, придется делать дубль.

Время перестало существовать, так как вокруг уже чернела ночь, пахло петунией и все они сидели в открытой беседке недалеко от гаража, где уже заводили мотор грузовика.

Лампочка слабого накала под жестяным кружком освещала всю эту картину. По списку он был восьмой.

Два первых уже исчезли. Их вещи кучей лежали на газоне. Стукнуло два выстрела, тупо поглощенных кирпичной стеной. Он почти не

услышал этих выстрелов. Он плыл не быстро и не медленно, с усилием продвигаясь в трудной среде неподвижного пространства.

За полуоткрытыми воротами гаража проводилась странная работа.

Прежде чем ему следовало войти туда, наступила еще не имеющая протяженности пауза, необходимая для того, чтобы он успел раздеться, как будто бы это был не гараж, а купальня на краю безбрежного пространства.

Его товарищ по реальному училищу, имя которого вдруг выпало из памяти, уже голый, с гусиной кожей на груди, неожиданно рванулся в сторону от гаража, побежал по клумбе с петуниями, фосфорически белея телом, его схватили, из носа его потекла кровь, он поник, его подхватили под руки и понесли обратно в гараж. «Боже мой, неужели они хотят то же самое сделать со мной? Неужели мне тоже надо раздеваться?»

Он был такой нежный, с материнским овалом лица, с греческим профилем красавца отца, с кисточкой шелковистых волос на затылке, над той мягкой ямочкой, которую нянька называла «врушкой».

Белая бабочка сердцебиения, зигзагами прилетевшая из степи, кружилась возле Ларисы Германовны. Она открыла глаза и с удивлением увидела над собой серебристый песок Млечного Пути, Большую Медведицу, хрустальную цепочку Ориона. Она неожиданно заснула, когда над степью еще дотлевала заря, а теперь было темно и тихо, и она благодарила создателя как бы повисшей над ней вселенной за жизнь, дарованную ее мальчику.

Легко сказать — двенадцать верст туда, да двенадцать обратно, да опять двенадцать туда, двенадцать обратно. Натруженные ноги горели огнем и опухли. Она сбросила порванные ботинки и пошла босиком, а небо уже отделилось от моря, выпала роса, она с наслаждением ступала босиком по мокрой полыни. Когда она подошла к своей даче, уже третьи петухи пели спросонья хриплыми голосами.

Она едва добралась до постели, легла не раздеваясь, и ее снова достиг глубокий сон во сне, полный мучительных видений, в которых участвовали не только знакомые и незнакомые люди, но также неодушевленные предметы и отвлеченные понятия, принимавшие странные формы.

Эвакуация являлась в виде полурусалки-полуцыганки, увлекаемой по фиолетовым волнам Ионического моря человеком, совсем не похожим на бросившего ее мужа, отца сына, однако именно он — красавец в адвокатском фраке. Золотые запонки, золотое обручальное кольцо. Одновременно этот человек был ей также и сыном, которого уже не полурусалка, а она сама увлекала из госпиталя на дачу, для того чтобы спасти от смерти.

Она продолжала бегать в город на базар, очень невыгодно меняя домашние вещи на хлеб и на сало, она за бесценок сбывала подпольным перекупщикам-спекулянтам меха и драгоценности, даже обручальное кольцо, лишь бы выходить мальчика.

Она опускалась, старела, нищала. Она с трудом узнавала себя в зеркале, хотя все время продолжала оставаться хозяйкой своего разоренного дома — дачи над высоким обрывом, поросшим полынью, откуда открывался широкий, но слишком пустынный морской вид.

Прислуга разбежалась. Некому было убирать комнаты. Оставался только садовник-немец — неизвестно откуда появившийся, — глухой старик из колонистов, все время возившийся со своими теперь уже бесполезными садовыми инструментами.

Полубезумный старик с головой Ницше.

«...А в наши дни и воздух пахнет смертью»...

Она, конечно, лучше других знала недостатки своего мальчика: душевную вялость, избалованность. Она понимала, что он совсем не талантлив: юноша-дилетант из богатого дома. Однако в его характере были и доброта, и нежность, и доверчивость, слабые порывы к красоте, но в то же время какая-то умственная неустойчивость.

У него не было взглядов.

Как наяву так и во сне она продолжала его любить страстно, отрешенно, с той силой слепой материнской любви, которая составляла смысл ее жизни.

О, как счастливо жила она вдвоем со своим выздоравливающим мальчиком на даче, которую еще не успели реквизируют.

Он быстро поправился, толстел. С коротко остриженной головой по целым дням он писал натюрморты и пейзажи. Ими были увешаны все стены его комнаты-студии.

Она примирилась с изменой бросившего ее мужа. Сын заменил ей все. Революция? Какое ей дело до революции! Она была счастлива. С ее плеч свалились заботы, связанные со зваными обедами, с ведением большого хозяйства. Из друзей и знакомых почти никого не осталось, все бежали с белыми. А те, кто остался — например, военный врач, сосед по даче, — старались не показываться, отсиживались по домам, ожидая десанта.

Наконец-то она получила возможность вести образ жизни, свойственный ее возрасту: пожилая женщина, мать единственного сына, занятая черной домашней работой, продажей вещей, доставанием продуктов, уходом за выздоравливающим сыном.

Ее сон был наполнен блаженным сознанием, что сын спасен, однако сновидения ее были тревожны. Они неудержимо несли ее все дальше и дальше от успокоения, которого она так жаждала. Минуя все прекрасное, что сияло вокруг нее — море, степь, луну, похожую на дневном небе на слабый отпечаток пальца, — ее уносило навстречу неизбежному горю. Сын, который все время был рядом с ней, вдруг исчез. Он ушел из родного дома и поселился в городе. Это исчезновение сына повторялось в ее сновидении несчетное количество раз со всеми подробностями, хотя все было очень просто и даже как бы предрешено судьбой.

Он исчез, пропал, подобно тому как выпадает из разрушающейся памяти хорошо знакомое, но вдруг забытое слово.

Иногда она ходила пешком — в город. Она не могла понять, какая сила увлекла его в город, переставший быть самим собой, чуждый, полный опасностей.

Кажется, он объяснил ей, что зарегистрировался в губвоенкомате и стал на учет, как бывший юнкер, имеющий гражданскую профессию художника.

Он прошелся по приморскому бульвару над опустевшим портом ввиду еще более опустевшего, одичавшего моря.

Во сне, уносившем ее за пределы собственной жизни, она продолжала жить жизнью сына, его впечатлениями, его чувствами. Она перестала быть собой. Она стала им, своим мальчиком.

Его поразил вид торгового города, лишеного своей торговой души: вывесок, витрин, банков, меняльных контор, оголенного, без фланирующей публики на тенистых улицах и бульварах. В своей целомудренной обнаженности город показался ему новым и прекрасным.

Выступила неповторимая архитектура, освобожденная от наслоений вульгарной торговой рекламы. Ему понравилось дневное малолюдство улиц. Казалось, что праздность навсегда изгнана из города, где царствовал освобожденный труд.

Это было так ново, что он и сам почувствовал себя не только обновленным, но как бы вторично рожденным. Он поступил на работу в Изогит и стал писать агитационные плакаты. Ежедневно ходить с дачи в город на работу было утомительно. Он получил ордер на комнату в городе. Он не подумал, что оставляет мать одну. Для него началась новая жизнь, а для нее это был удар, который она с трудом перенесла. Теперь она осталась одна и ходила по пустой даче, по неприбранным комнатам, где всегда гулял ветер — то морской, то степной.

...Однажды она пошла в город навестить сына и понесла ему в веревочной кошелке фунт абрикосов, выменянных на ажурные чулки. Она застала его в маленькой комнате вдвоем с незнакомой молодой женщиной. Он смутился. Молодая женщина с первого же взгляда не понравилась Ларисе Германовне. Она показала ей слишком привлекательной: свободно держалась, была старше Димы и, что особенно неприятно, называла ее мальчика не Димой, а вульгарно — Митей, а главное, она была старше его...

Что-то зловещее чувствовалось в этом неравенстве возраста. Нет, это не была обычная материнская ревность, хотя ревность тоже присутствовала. Нет, она чувствовала в подруге сына нечто необъяснимо опасное: женщина низшего слоя, может быть даже бывшая горничная.

Чутье не обманывало Ларису Германовну.

...питерская горничная из богатого дома, пошедшая в революцию...

Тревога не оставляла Ларису Германовну даже теперь, когда сын был спасен. Да, он был спасен. Но опасность еще не миновала. Мало ли что могло случиться после того, как его выпустят.

Она оберегала его от превратностей революции, а он тем временем уплывал на лодке вместе с какими-то будто бы хорошо ей знакомыми людьми через Днестр на противоположный берег, где в предутреннем тумане темнели густые прибрежные камыши и слабо маячили фигуры румынских пограничников. Теперь он был уже в полной безопасности, но навсегда потерял для нее, и это было невыносимо тяжело.

Почему же он бросил ее одну, не взял с собой?

Это был уже вещий материнский сон, провидение того, что ожидало сына в неизмеримо далеком будущем.

Чем дальше его уносило от смерти, тем вернее он к ней приближался. Но боже мой, какое это длительное приближение! Оно измерялось годами, десятилетиями, войнами, революциями, поражениями, победами. Рушились и возникали новые государства, лилась кровь, в разных частях земного шара гибли миллионы.

Мать и сын неслись рядом в пространствах сновидения, не имеющих никаких опознавательных знаков.

Он старел на ее глазах. Он уже превратился в почти незнакомого шестидесятилетнего старика с сизой щетиной на все еще красивом удлинённом материнском лице с неизгладимыми отпечатками всех его заблуждений, может быть даже пороков. Две клячи тащили конку по несвойственным ей рельсам бездействующего электрического трамвая, увозя его в безнадежно обратном направлении, и под звуки серенады Брага, которые вытекали из-под виолончельного смычка как приторный фруктовый сироп, он с горечью понимал, что уже никакая

сила не может его вернуть обратно. Вокруг него уже пахло лагерной дезинфекцией и сосновой смолой госпиталя, где он лежал на нарах один-одинешенек. В окнах, вделанных высоко над потолком и забранных решеткой, виделось небо северной России, которая представлялась ему совсем чуждой заповедной страной, виделась хвойная зелень степи.

На соломенном матраце возле него лежала коробочка детских акварельных красок, мензурка с бурой водой, кисточки и лист бумаги, где он начал и никак не мог закончить по-детски старательно вылизанный морской пейзаж с дачей на обрыве, маяком и большим облаком, как-то по-итальянски отраженным в воде. Дача была не вполне дописана, и сделать передний план у него не хватало сил. Он обливался потом.

Слабая попытка вернуть детство, юность, прошлое.

Он все время вспоминал мать, с которой они сначала неслись в незнакомом пространстве, а потом она вдруг пропала за остатками обрушенной кирпичной стены и больше уже не появлялась, хотя была где-то рядом, и он всюду ее искал, но всякий раз, когда чувствовал приближение к ней, его уносило в обратную сторону.

Иногда он видел ее вдалеке, недостижимую, бегущую в город в стоптанных ботинках, с веревочной кошелкой с абрикосами, ее, бедную маму, могилу которой он так и не нашел, когда вернулся в родной город вместе с чужеземными войсками.

«Ночь» из «Аиды», свернутая в рулон, тряслась по исковерканным дорогам войны в неуклюжем тягостно-сером немецком грузовике с брезентовым верхом. Лунный свет, разлившийся по таинственным водам Нила, казался ему тем самым лунным светом, которым он любовался в юности с обрыва возле Люстдорфа. Очень яркая полуночная луна сияла серебряными озерами по голубым айвазовским просторам. Но только вместо силуэта маяка чернели силуэты финиковых пальм и две далекие пирамиды — одна побольше, другая поменьше.

Начальство относилось к нему неплохо. Будучи много лет театральным художником в эмиграции, он научился хорошо писать декорации и теперь оформлял спектакли лагерной самодеятельности.

Он часто вспоминал о боге, в которого опять верил, горячо, как в детстве. У него на груди, под бязевой рубахой на тесемочке висел образок его ангела-хранителя. Он молился на этот овальный эмалевый образок и со слезами на потухших глазах целовал его. Он был уверен, что это бог карает его за грехи, и со смирением принимал божий гнев.

Он думал о своих брошенных мальчиках, которые уже теперь должны были быть взрослыми мужчинами, если они еще существуют. Где они теперь? Простят ли они его когда-нибудь? Знают ли они о его существовании?

Иногда ему являлся отец. Небольшого роста седоватый красавец с серебряной бородкой, хорошо поставленным адвокатским голосом, он декламирует на открытой террасе стихи Огюста Барбье, как бы предсказывающие судьбу его мальчика:

«Свобода — женщина, но в сладострастье щедром избранныкам верна, могучих лишь одних к своим приемлет недрам могучая жена...»

А он был слаб, беззащитен, он умирал, задыхаясь от кашля, грубо раздражающего его легкие, с розовой пеной на еще красивых губах, на соломенном тюфяке, залитом кровью, хватая за руки лагерного врача в халате поверх военной формы...

Его уносило туда, где мама склоняла над ним печальное лицо, где на миг появился и пропал папа — белый жилет, обручальное кольцо, золотые запонки, — где два маленьких мальчика в панамках — двой-

няшки Кирилл и Мефодий — с крашеными ведерками в руках бежали босиком возле Констанцы по песку золотого пляжа, на который языками напозла кружевная пена Черного моря...

...Кто-то взял его некогда за плечо и повел, но не в гараж, а в другую сторону, в то время как за его спиной через небольшие промежутки стучали винтовочные выстрелы, и он понял, что жизнь его спасена и в тот же миг умер на руках у матери, и эта смерть во сне была очень странной потому, что кто-то незнакомый с темным лицом опустился вниз по множеству лестниц и подошел к Ангелу Смерти, который держал в руке список.

Находясь как бы уже по ту сторону жизни, Дима тем не менее все видел и слышал, но только не мог понять смысла происходящего.

— Хорошо. Выстрел пойдет в кирпичи, а юнкера мы покажем как выведенного в расход. Но имей в виду...

Даже в темноте Дима увидел подозрение, мелькнувшее в фосфорических глазах Ангела Смерти.

...предплечье еще побаливало от укола, который ему сделали в комнате с белыми стеклянными шкапами и клеенчатой лежанкой...

На бугристом лице Маркина еще лежала тяжелая тень ночи. Но уже светало. Он велел Диме встать и повел его вниз по множеству лестниц — кухонных и парадных, — по просторным коридорам.

В подвале надо было долго идти, согнувшись под толстыми трубами отопительной системы, но наконец впереди забрезжил утренний свет, и они очутились наверху, во внутреннем дворике, возле кирпичной стены, покрытой плащом плюща, в котором пряталась маленькая потайная дверь. Маркин открыл ее своим ключом. Она взвизгнула и застонала как живая.

— Уходи и больше не попадайся.

Маркин грубо вытолкнул его на улицу, наполовину покрытую еще ночной тенью Александровского парка, до сих пор не переименованного.

Дима пошел куда глаза глядят, в то время как его мать несло на встречу ему, но их пути не пересеклись из-за какой-то разницы во времени. И вот уже их уносило друг от друга в пространствах утреннего города, пережившего страшную ночь.

Она давно уже ничего не ела, но не чувствовала голода, только божественную невесомость. Если бы не тяжесть опухших ног, обутых в старые туфли, найденные в чулане, она бы могла лететь, как бабочка.

Половину пути до города она прошла пешком, а потом ее подвезла на подводе баба из Сухого Лимана, везшая сало в обмен на мебель.

Лариса Германовна слезла с подводы у вокзальной площади и дальше пошла опять пешком. Город показался ей враждебным. Три человека стояли возле афишной тумбы и читали газету, только что наклеенную возле старой афиши «Аиды», еще не высохли потеки клейстера.

Один из читавших газету показался ей знакомым. Но она не могла вспомнить, кто он. Ее испугала почтительность, с которой он посторонился. Она подошла к тумбе, стала читать список расстрелянных и вдруг наткнулась на имя сына. Сначала она не поверила своим глазам и подумала, что это галлюцинация. Она еще раз стала медленно читать сверху вниз список и снова наткнулась на имя сына. Под списком было напечатано, что приговор приведен в исполнение.

Она хотела закричать, но успела только открыть рот. Она очнулась в аптеке. Собрав последние силы, она побежала к Серафиму Лосю. В ее помраченном сознании теплилась надежда, что все это еще как-то можно исправить, повернуть время в обратную сторону. Смерть сына не могло осилить ее воображение.

Серафим Лось, окруженный сизым махорочным дымом, колотил пальцами по клавишам.

«...вечером в соседнем флигеле он присутствовал на заседании дивизионного комитета. Председатель, солдат с усеченной головой и бельмами навывкате, задыхаясь и кашляя...»

Серафим Лось ясно видел солдата с усеченной головой. Но какое это имело значение теперь, когда уже прошло два года, а в России советская власть и он сам, бывший левый эсер-боевик, теперь разоружился и стал свободным художником, обывателем, хотя все еще продолжает сводить счеты с отвергшей его революцией.

— Его убили! — крикнула она с порога. — Список в газете.

Серафим Лось посмотрел на нее воспаленными, слезящимися глазами.

— Этого не может быть. Макс дал мне слово. Вам показалось.

Она ухватила за эту мысль. Может быть, ей действительно показалось. Или не так прочитала. В ее состоянии это вполне возможно. Просто галлюцинация. Или вообще никакой газеты не было. И афишной тумбы тоже не было. Ничего не было.

Серафим Лось положил голову на клавиатуру машинки. Пересиливая сердечный приступ, он стал шарить по столу, отыскивая дигиталис. Дать слово товарищу по каторге и обмануть? Чудовищно! Невежливо! Если это правда, он убьет Маркина, задушит собственными руками.

...Она бежала по улице, желая как можно скорее убедиться, что Лось прав и все это ей показалось. Она обошла вокруг ближайшей афишной тумбы и не нашла на ней ни «Аиды», ни газеты. Лось был прав: и газета и список были не более чем плодом ее расстроенного воображения...

О, если бы это было так!

Она побежала к следующей афишной тумбе. Но тумбы на обычном месте совсем не было. Пустое пространство. Как сон во сне, когда предмет вдруг исчезает бесследно и непонятно, существовал ли он вообще.

Надежда вспыхнула в ней с новой силой. Она даже засмеялась от радости и побежала дальше, желая убедиться в своей ошибке.

Сновидение несло ее по невидимым рельсам мимо афишных тумб, на которых не было и следа газеты. Но все же надо было окончательно удостовериться. Иначе невозможно жить.

Она стала разыскивать ту самую тумбу, на которой увидела проклятую газету со списком. Она была уверена, что этой афишной тумбы вообще не существовало.

Она выздоровела. Никакой тумбы больше нет и не будет. Она пойдет к сыну и убедится, что он жив и уже на свободе. Когда же она еще издали увидела ту самую афишную тумбу на углу против аптеки, где ее приводили в чувство, то она подумала, что это сон и она сейчас проснется. Сон во сне. Приблизившись, она увидела «Аиду» и наклеенную рядом газету, уже успевшую пожелтеть на солнце, с засохшими потеками клейстера. Она заставила себя вплотную подойти к тумбе. Газетный лист оказался как раз на уровне ее глаз. Стараясь читать как можно внимательней, она повела близорукими глазами сверху вниз по столбцу, набранному четким цитеро, и сразу же наткнулась на имя сына.

Она обернулась к людям, окружавшим тумбу, желая каким-то образом удостовериться, что все это ей лишь кажется, но увидев почтительно опущенные серые лица, поняла, что это не во сне, а на самом деле, хотя все-таки и во сне.

На этот раз она не закричала, не потеряла сознание, а только

аккуратно поправила пыльную шляпку и не оборачиваясь пошла ровной, механической походкой по тротуару, мощенному синеватыми плитками итальянской вулканической лавы столетней давности.

Равномерным шагом она возвращалась на дачу рядом с заржавленными рельсами, мимо трамвайных столбов, иные из которых были согнуты, а иные пробиты пулями.

Почти все дачи были заколочены и покинуты. Однако кое-кто из дачевладельцев остался, надеясь на скорую перемену. Сидя на скамейках перед калитками, они прислушивались к отдаленной пушечной пальбе, похожей на выбивание ковров. Весть о вчерашних расстрелах уже дошла до них.

С молчаливым почтением они кланялись Ларисе Германовне, и она тоже молчаливо, с раздражающим сердце достоинством отвечала на их слишком глубокие поклоны.

Она казалась спокойной.

Только один раз, когда она проходила мимо маяка, ее лицо искажилось.

Солнце уже висело совсем низко над степью, красное, как взрванный арбуз, когда она дошла до своей дачи, так красиво стоящей над обрывом. Это был последний час ее жизни.

Но задолго до этого часа список успел уже прочитать весь город, кроме Димы. Рассудок долго еще не возвращался к нему, а когда наконец вернулся, он, потеряв всякое представление о времени, вспомнил, что надо пообедать, и пошел в столовую.

Все головы повернулись к нему, словно в дверь вошло привидение. Он не придал этому никакого значения и, как всегда, помахал рукой товарищам — художникам Изогита. Они молчали. Он все еще не понимал их молчания и неподвижности.

Надо было бы не молчать, а радоваться, что его оправдали и выпустили. Но они молчали, и трудно было постигнуть смысл их молчания. Что это? Испуг или недоумение? Может быть, ужас?

Его жена Инга уже кончала свою ячную кашу с каплей зеленого машинного масла и теперь аккуратно завертывала остаток пайкового хлеба в газету.

Увидев его, она негромко вскрикнула. Он подошел и сказал со слабой улыбкой:

— Ты знаешь, меня выпустили.

Ей показалось, что с ней разговаривает призрак.

— Тебя же расстреляли, — сказала она.

— Не знаю, — сказал он, — меня выпустили.

— Читай! — сказала она, развернула хлеб и протянула ему газету.

Он увидел список расстрелянных и себя на восьмом месте.

Его все еще слабый после сыпного тифа ум не мог понять странности: он расстрелян и вместе с тем он стоит в столовой и разговаривает со своей женой. Может быть, он действительно уже мертв и все, что теперь происходит, есть всего лишь посмертное отражение прошлой жизни.

— Не знаю, — повторил он с недоумением.

Она посмотрела на него пристально, и вдруг как бы молния познания скользнула по ее лицу.

— Кто тебя выпустил?

— Не знаю. Какой-то человек. По-моему, это был Маркин.

Тени ночи лежали на его бугристом лице.

— Ага! — почти с торжеством крикнула она, не стесняясь, что вокруг много обедающих. — Я так и думала. Он бывший левый эсер. Значит, контра пролезла даже в наши органы! Ну, мы еще посмотрим.

Под ее голландкой он заметил пояс с потертой кобурой нагана. На его глазах она как бы вдруг превратилась в какую-то совсем дру-

гую женщину, ему незнакомую, злую, враждебную. И он понял, кто она была на самом деле и что она с ним сделала.

— Так это сделала ты? — с трудом выговорил он. — Моя собственная жена?

Тайное стало явным.

— А ты что думал, дурак? Подожди, мы еще разберемся!

Ему казалось, что все это уже когда-то было: полуциркульный зал с библейскими персонажами, с тремя крестами над лиловой горой, неподвижная молния, неподвижно надвигающаяся из Аравии буря, неподвижно развевающийся плащ удаляющегося Иуды.

Потом он долго стучал в дверь квартиры, где он занимал по ордеру комнату. Наконец дверь открылась, и, увидев его, квартирная хозяйка, глущая еврейка с преждевременной сединой в иссиня-черных волосах, в бумазейном капоте, застегнутом на горле английской булавкой, вдруг затряслась как безумная, замахала маленькими толстенькими ручками и закричала индюшачьим голосом:

— Нет, нет! Ради бога нет! Идите отсюда! Идите! Я вас не знаю! Я о вас не имею понятия! Вас расстреляны, и теперь вас здесь больше не живет! Я вас не помню! Я не хочу из-за вас пострадать! Убирайтесь!

Она захлопнула дверь и через некоторое время приоткрыла ее и выбросила его пожитки. Он кое-как связал их подтяжками и пошел прочь.

От подушки, которую он прижимал к себе, от ее наволочки еще пахло кольдкремом, которым Лазарева смазывала себе на ночь лицо. Он увидел вышитую гладью семейную метку и только тогда вспомнил, что у него есть мать, которая, наверное, беспокоится.

Он очень ее любил, но она выпала из его памяти. Все заслонила Лазарева. Теперь он ненавидел Лазареву, он понял, что мать — его единственное прибежище, единственное спасение.

То и дело подбирая вещи, падавшие из узла, он вышел на улицу, и сновидение понесло его к маме мимо маяка, как бы стоящего на страже морского штиля. Его несло по заржавленным рельсам, заросшим бурьяном, и от подушки слащаво пахло женщиной, которая его чуть не погубила.

Откуда она взялась?

...в ситцевой юбке клеш, с головой, повязанной женотдельским кумачовым платком, из-под которого выбивались кудряшки, она стояла в толпе, обступившей агитконку. Этот старый вагон конки отыскали в депо и пустили в дело. Художники Изогита расписали вагон всеми жанрами изобразительной пропаганды.

Две клячи, знавшие лучшие времена, потащили почти исторический экспонат дореволюционного городского транспорта по рельсам бездействующего электрического трамвая.

Один из самых древних работников Губтрамота, бывший кучер конки, мобилизованный профсоюзом для исполнения своего гражданского долга, в день первомайского праздника не без труда раскрутил повизгивающий чугунный тормоз ударом ноги по круглой бляхе звонка, вделанной в пол, хлестнул по клячам ссохшимися вожжами, щелкнул кнутом, и агитконка покатила по праздничным улицам.

...Солнце, молодая зелень еще не успевших запылиться акаций и каштанов, сирень, цветущая за оградами особняков, гранитная мостовая, отливающая аметистом после вчерашнего ливня, тени домов, звуки военных и заводских оркестров, несущих солнце на своих медных геликонах, кучки горожан, рискнувших выползти на свет божий из своих наглухо запертых квартир, где они отсиживались в ожидании перемен, полотнища кумача, реквизированного на складах местных мануфактурщиков.

...Этот день не без удовольствия вспомнила Инга теперь, когда все

уже было кончено и она получила в приказе благодарность за хорошо выполненную оперативную задачу...

И вдруг оказалось, что он жив. Нет, она этого так не оставит. Оказывается, измена проникла даже в органы!

...Раскаживая взад-вперед по большому ковру, еще покрывавшему номер люкс бывшей гостиницы «Лондонская», уполномоченный Троцкого, прибывший в город на бронепоезде, прорвавшимся через мажновские банды, слушал взволнованную речь Лазаревой.

Лицо его было мрачно.

Как! Выпустить на свободу контрреволюционера, приговоренного к высшей мере? Они за это заплатят кровью! Измена с участием бывшего комиссара временного правительства, правого эсера, савинковца! Это надо выжечь каленым железом.

Наум Бесстрашный привык, как Наполеон, мгновенно схватывать самую суть событий.

До революции он был нищим подростком, служившим подручным в книжном магазине, где среди бумажной пыли, по ночам, при свете огарка, в подвале запоем читал исторические романы и бредил гильотиной и Робеспьером. Теперь его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию.

Перманентная, вечная, постоянная, неутихающая революция. Во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось залить весь мир кровью. Ее надо утверждать огнем и мечом, нести на штыках! И никакого мирного сосуществования. У него, так же как и у Макса Маркина, был резко выраженный местечковый выговор и курчавая голова, но лицо было еще юным, губастым, сальным, с несколькими прыщами.

Для него не было никакого сомнения, что налицо измена, проникающая в органы, и что виновных четверо: бывший эсер, председатель губчека, комендант, не приведший в исполнение приговор, правый эсер Серафим Лось и женщина, жена выпущенного на свободу и скрывшегося юнкера.

— До него мы еще доберемся. Но сейчас не откладывая меч революции должен опуститься на эту четверку.

— Боже мой, что вы говорите,— прошептала она.

— Гражданка Лазарева, вы арестованы,— произнес он железным голосом Троцкого и сделал его легендарный жест: сжатым кулаком сверху вниз по диагонали.

И не успела Лазарева открыть рот, для того чтобы оправдаться, как в номер люкс вошли двое в кубанках, взяли ее за руки, и она, не успев прийти в себя от изумления и ужаса, очутилась в полуподвале того самого дома, где работала машинисткой.

Она сидела на полу одна, запертая в маленькой комнате, где до революции хранились национальные флаги, а также стеклянные иллюминационные фонарики, которые в царские дни вывешивали на проволоке вдоль фасада.

Она чувствовала, что Маркин и Ангел Смерти сидят в одиночках где-то рядом. Она понимала, что никакая сила в мире ее не спасет. Ей были слишком хорошо знакомы порядки этого семизэтажного дома. Она видела косой дощатый щит на окне и золотистые щели, куда проникал вечерний свет, грозивший скоро померкнуть.

Ее охватило то чувство «бренности и животной покорности, которые охватывали всех людей, попавших в этот полуподвал. Угасающее сознание стремительно несло ее против течения в манящую область невозвратного прошлого, где...

...Похожий на громадного навозного жука виолончелист втащил на крышу конки стул, а потом и свой инструмент, так же, как и он

сам, напоминавший жука, и в то время, как вагон, подрагивая на несвойственных ему рельсах, тронулся дальше, из-под смычка стали вытекать густые, как сироп, звуки серенады Брага, а уличные мальчишки бежали за конкой, восхищаясь написанными на ее стенах пейзажами, восходящим солнцем, символической фигурой свободы, красными фабричными корпусами с кирпичными трубами и карикатурами на врагов советской власти.

Среди артистов, фокусников, клоунов, агитаторов и поэтов в вагоне тряслись также художники Изогита.

Тут же присутствовала и она, не без умысла вскочившая в вагон на одну из площадок. Она уже давно завела дружбу с художниками и поэтами и считалась, как тогда любили выражаться, своим парнем. О ней было известно, что она работает где-то машинисткой, посещает совпартшколу, готовится в Свердловский университет в Москве и является большой поклонницей поэзии и живописи.

Отчасти это была ее маска, но отчасти она и вправду любила людей искусства. В ней все еще теплилось мещанское преклонение перед ними, перед их славой.

До этого дня она не выказывала никакого интереса к Диме. Он считался слабым живописцем, дилетантом, чуть ли не бездарностью.

Но на этот раз она сделала вид, будто впервые заметила Диму, правильный овал его красивого, несколько удлиненного женственного лица, его греческий нос, нежную шею и мысик уже порядочно отросших волос на затылке, под ямочкой врушкой.

В те легендарные дни у молодежи было принято как бы немного играть во Французскую революцию, обращаясь ко всем на ты и называя гражданин или гражданка, как будто новорожденный мир русской революции состоял из Сен-Жюстов, Дантонов, Демуленов, Маратов и Робеспьеров.

— Здравствуй, гражданин,— сказала она, ударив Диму по плечу и садясь рядом с ним на решетчатую лавку конки.

— Привет и братство, гражданка,— ответил он.

Она ему втайне давно уже нравилась, и она это чувствовала. Она продолжала держать свою непородистую руку с короткими, но красивыми пальчиками на его плече и заглянула ему в глаза; от нее пахло свежестыранной и выглаженной голландкой, заправленной в юбку, подпоясанную ремнем с медной бляхой с выпуклым якорем.

— Митя, хочешь быть моим первомайским кавалером? — спросила она.

Он молчал в смущении.

— Молчание — знак согласия,— сказала она, взяла его под руку и прижалась, пропев ему на ухо вполголоса фразу из романа:— «Отдай мне эту ночь, забудь, что завтра день».

Он заметил над ее глазом у самого нижнего века, или даже на самом веке, маленькую, как маковое зернышко, родинку. Даже не маковую родинку, а соринку. Эта соринка под красивым глазом решила его судьбу. Яд любви и похоти проник не только в его тело, но и в душу.

«Душа тобой уязвлена».

Его душа была уязвлена.

Она только еще слегка попробовала силу свой женской власти, а уж он был готов! Она удивилась столь быстрой победе: девичий румянец залил его лицо.

Она добросовестно выполняла задание. Однако такая быстрая победа не могла ей не польстить. Она принадлежала к числу тех

женщин, которые сразу дают много, с тем, чтобы потом взять все: он потерял всякое представление о том, что с ним происходит.

После первой ночи она стала появляться в его маленькой комнате внезапно и так же внезапно исчезать — как предмет исчезает во сне — иногда на несколько дней, в течение которых он сходил с ума от ревности.

Вся его жизнь была у нее как на ладони.

Несмотря на близость, он для нее оставался всего лишь юнкером, белогвардейцем. И все же временами она испытывала к нему жгучую страсть.

В день ликвидации группы маяка ее отпустили с работы раньше времени, незадолго до заката, как бы щадя ее чувства. Чаще всего она оставалась всю ночь на работе, где спала на раскладушке в секретно-оперативном отделе, хотя в «Пассаже» у нее был номер. Теперь она отправилась в этот номер и стала готовиться к завтрашнему уроку в совпартшколе, делая выписки из «Капитала» и стараясь не думать о том, что сейчас совершается. Она знала, что сейчас, судя по розовому цвету закатного неба, их начали фотографировать.

Она не испытывала ни душевной тяжести, ни угрызений совести, ни жалости.

Просто революция уничтожала своих врагов. Но, как это ни странно, в ней еще теплилось то сокровенное, женское, исконное, древнее, что отличает замужнюю от незамужней.

Она еще в Питере успела прочитать «Ключи счастья» Вербицкой и «Любовь пчел трудовых» Коллонтай. Она была трудовая пчела, он был трутень. Она его уничтожила. Но, несмотря на все соблазны свободной любви, сознание своей женской полноценности, тайной гордости было сильнее. Все-таки она была с ним если не обвенчана, то, по крайней мере, расписана. Какая никакая, а жена. Он какой-никакой, а законный муж. И сегодня ночью его, голого, с родинкой между лопатками, поведут в гараж и выстрелят в шелковистую кисточку волос на его затылке.

Она хорошо знала, как это делается.

Она была не силах заниматься. Хоть бы это все скорее кончилось! Ни о чем другом она уже не могла думать. Она выбежала на улицу. Ее понесло как по рельсам куда-то в обратную сторону. Она увидела утро Первого мая и лавочные весы с медными чашками, на которых бывший меньшевик, а ныне беспартийный, некто по фамилии Кейлис, завхоз, лысый пожилой еврей в старорежимном люстриновом пиджаке, педантично взвешивал первомайские пайки ржаного хлеба, нарезаая его острым ножом, каждый раз опуская нож в ведро с водой, чтобы липкий хлеб лучше резался.

Стрелка весов колебалась, как жизнь, и маленькие клейменные гирьки мал мала меньше стояли как дети возле весов, наблюдая за действиями Кейлиса и восхищаясь, как безошибочно точно он оперирует с продуктами, отпущенными революцией для своих граждан в день Первого мая.

На этот раз революция расщедрилась: кроме двойного пайка хлеба, сырого сахарного песка в фунтике, свернутом из листка арифметической тетрадки, восьмушки турецкого табака, каждому трудящемуся еще полагалась бутылка красного вина удельного ведомства, запечатанная сургучом.

Вечером он и она распили это лилово-красное вино в его комнате. Они пили его из одной кружки. Они заели его ржаным хлебом с кисловатой каштановой коркой, посыпая его сахарным песком.

Это был их свадебный ужин, их первая брачная ночь.

Она отгоняла от себя и никак не могла отогнать навязчивые воспоминания. Она стала быстро ходить по городу из улицы в улицу, стараясь не приближаться к тому дому, где совершалось последнее.

К вечеру город сделался еще безлюднее. Изредка слышался треск мотоцикла, везущего куда-то пакет с пятью сургучными печатями цвета запекшейся крови. Улицы, акации и дома были погружены уже в ночную темь. Кое-где в окне с незапертыми деревянными ставнями колебался дымный огонек масляной коптилки: фитилек из ваты на краю блюдечка. Лишь в одном месте возле некогда людного перекрестка, рядом с витриной, где стояло хорошо известное пыльное чучело тигра, ярко светился шипящий электрический фонарь над входом в «Зал депеш», где по вечерам выступали политические ораторы, вывешивались последние сводки с фронтов гражданской войны, поэты читали стихи и потом показывали какую-нибудь старую, дореволюционную картину с Верой Холодной и Мозжухиным, чьи белые глаза с магнетическими зрачками отца Сергия встретили Ингу, пробиравшуюся на ощупь по набитому людьми залу.

Прямо на эстраде перед экраном, свесив босые ноги, сидели мальчики и девочки из рабочих предместий.

Черный язык оборванной ленты слизал с экрана глаза Мозжухина, и тотчас на ярко-мелькающем экране показался худой, измученный болезнью Ленин. Он ходит взад-вперед по начисто выметенному кремлевскому двору, по его мостовой и плитам, между Царь-пушкой и Царь-колоколом. В стороне от него ходил Бонч-Бруевич в драповом пальто, черной шляпе, бородатый, с раздутым портфелем под мышкой. И все это документально доказывало, что слухи о смерти Ленина вздор, что он жив, что он поправляется и доктора позволили ему выйти на прогулку...

Прозрачно-темный язык лизнул по экрану. Зажегся свет. Свет был ей невыносим. Она снова как неприкаянная выбежала на улицу и увидела над крышами созвездия летнего ночного неба.

Наверное, ее Мити уже нет на свете.

Она пошла по мучительно длинной улице, где изредка ее оставляли патрули. Но у нее был ночной пропуск.

Где-то с шумом проехал грузовик, заставляя дрожать стекла окон. Она предстала, что это везут за город мертвые тела, покрытые брезентом, из-под которого торчит белое колено, может быть даже его колено.

Она прислонилась к черствому стволу акации и укусила потрескавшуюся кору.

Она оплакивала свою погибшую любовь, оплакивала своего Митю, еще не зная, что он жив, и ее сознание мутилось, угасало и, угасая, уносило ее в темные области пересеченной местности, где почти бесшумно и почти невидимо двигался бронепоезд, рассыпая из поддувала раскаленные угольки, а Митю уносило в обратную сторону все по тем же заржавленным рельсам трамвая, и уже не слабый отпечаток пальца на мокром акварельном небе сопровождал его, а полная луна над призраком маяка.

Но что же это, боже мой? Как назвать? Гараж? Не годится. Рельсы? Не годится. Роман сновидений? Нет, нет, что-то другое. Спящий? Но ведь есть же какое-то название. Оно где-то рядом, как слово, выпавшее из разрушающейся памяти. Чем ближе к нему подходишь, тем неотвратимей оно удаляется...

«...Уже написан Вертер...»

...он прошел через террасу — в коридоре при свете коптилки, которую он зажег и нес перед собой в руке, как римский христианин в катакомбах, попался на глаза пожелтевший от времени отцовский пикейный жилет с перламутровыми пуговицами,— прошел через террасу в гостиную, где при все усиливающемся лунном свете, проникавшем в венецианские окна, блестел рояль с черным крылом до сих пор еще поднятой крышки, а на стенах скорее угадывались, чем виднелись, знакомые картины в золоченых рамах — пейзажи южнорусских художников, друзей отца, и отдельно, особенно ясно выделялось розоватое облако на итальянском пейзаже кисти Лагиорио.

Само по себе это облако было уже Лагиорио.

...М. б. — попытка памятью?.. Вариант воздушных путей?

Лавируя среди знакомой мебели, обходя решетчатый трельяж с вьющимися растениями, как бы повторявшими сплетением своих стеблей звуки шопеновских вальсов, некогда звучавших в этой гостиной, он заглянул в спальню, где неясно золотились оклады венчальных образов и белели кружевные покрывала на двух супружеских кроватях его родителей с никелированными шарами, отражавшими лунный полусвет.

Матери в спальне не было.

Он обошел все комнаты первого этажа и поднялся по лестнице в свою студию, где в окне стояла луна. При ее свете он увидел фигуру матери, лежащей на тахте за мольбертом.

— Мама,— произнес он.

Она не пошевелилась. Она лежала лицом вверх, с открытыми глазами, отражавшими лунный свет. Он подумал, что она спит с открытыми глазами. Он осторожно тронул ее за плечо. Она не пошевелилась. Он коснулся губами ее ледяного лба. Ужасная догадка остановила его дыхание.

— Мама,— умоляюще сказал он, тряся ее за плечо.

Ее голова повернулась и осталась неподвижной на ковровой подушке. Он приложил ладонь к ее почерневшему рту, желая почувствовать ее дыхание.

Она не дышала.

Он уже понимал, что в ней нет жизни, но не мог этому поверить.

— Мамочка,— всхлиснув, как в детстве, заговорил он,— мамочка, ну мамочка же, ну мамочка...

Всеми силами души он упрашивал ее воскреснуть.

На полу рядом с графином и стаканом лежал хорошо видный лист ватманской бумаги, остаток его дореволюционных запасов. На бумаге обломком сиреневого пастельного карандаша было написано толстыми буквами:

«Будьте вы все прокляты».

Все, что она успела написать, прежде чем заснула.

Синие тени вечного покоя лежали на ее лице, с остекленевшими глазами и на ее босых мраморных ногах, покрытых степной пылью.

Туфли валялись на полу врозь каблуками. Видно, они причиняли ей адскую боль и она их сбросила.

Он смотрел на мертвую мать, не зная и не понимая, что теперь нужно делать. Он окаменел. Но вдруг потребность деятельности охватила его. Скорее за доктором. Может быть, еще можно вернуть ее к жизни. Ведь возвращают же к жизни утопленников.

Через пустырь, заросший бурьяном, через колючую проволоку незастроенного участка он выбрался на дорогу, куда выходила дача

их соседа-доктора, военного врача, который служил в добровольческой армии, застрял в городе и теперь отсиживался на даче в погребке, ожидая каждую ночь ареста.

Каждый список в газете, в котором часто попадались знакомые имена, сводил его с ума. Когда он увидел перед собой при лунном свете расстрелянного сына Ларисы Германовны, у него помутилось в глазах. Путаясь в словах, Дима стал рассказывать, что случилось. Хотя доктор боялся выходить из дома, но для него все еще была священна клятва Гипократа, которую он произнес в день окончания Военно-медицинской академии.

По даче уже ходил старик садовник с головой Ницше, и в комнатах мелькали огни зажженных и расставленных огарков.

Доктору достаточно было опытными пальцами опустить веко Ларисы Германовны на глаз с закатившимся зрачком, достаточно было взглянуть на пол с остатками рассыпанных таблеток, на графин, на стакан, чтобы покачать головой и сказать Диме, что смерть его матери наступила по крайней мере три часа назад.

Дима стоял на коленях возле тахты, целовал мраморно твердые холодные материнские руки и плакал, а доктор — в военном кителе со срезанными погонами, в фуражке с синим пятном от кокарды, с докторским саквояжем в руке — гладил его по еще колочей голове и говорил, что ему надо как можно скорее скрыться или лучше всего бежать вместе с ним за Днестр, в Румынию, до которой совсем недалеко, рукой подать, и все так делают, и у него, у доктора, уже все приготовлено и так далее.

Пол был покрыт растертыми ногами остатками таблеток веронала и кусочками пастельных карандашей — бледно-лиловых, бледно-розовых, бледно-голубых, бледно-зеленых, напоминавших детство, «Пир в садах Гамилькара», и неподвижно надвигающуюся бурю, и неподвижные молнии над Голгофой с тремя крестами, и неподвижно развевающиеся одежды удаляющегося Иуды, и полуоткрытые двери гаража, где уже заводили мотор грузовика. И туда по очереди вводили четырех голых людей — троих мужчин и одну женщину с несколько коротковатыми ногами и хорошо развитым тазом. В одном из мужчин было действительно нечто лосиное. Двое других были уже безлики.

Под голой электрической лампочкой слабого накала, на клумбе петуний и ночной красавицы, недалеко от кучи снятой одежды стоял Наум Бесстрашный, отставив ногу в шевровом сапоге, и ему представлялось, что он огнем и мечом утверждает всемирную революцию, в то время как неодолимая сила сновидения насильственно уносила его в обратную сторону по пересеченной местности все дальше и дальше от жизни, неудержимо и беспощадно — сначала мимо пыльного намека на крыши буддийского храма, мимо пыльного намека на верблюдов, мимо вращающихся громадных колес двуколки, а потом он вдруг пронесся мимо черной скульптуры и чаши итальянского фонтана посередине Лубянской площади и понял, что уже никакая сила в мире его не спасет, и он бросился на колени перед незнакомыми людьми в черных, красных, известково-белых масках, которые уже держали в руках оружие.

Он хватал их за руки, пахнувшие ружейным маслом, он целовал слюнявым разинутым ртом сапоги, до глянца начищенные обувным кремом.

Но все было бесполезно, потому что его взяли с поличным на границе, с письмом, которое он вез от изгнанного Троцкого к Радеку.

Его втокнули в подвал лицом к кирпичной стене, посыпалась красная пыль, и он перестал существовать, хотя сновидение продолжало нести спящего в обратную сторону непознаваемого пространства вселенной, населенного сотнями миллионов человеческих тел, насильственно лишенных жизни за одно лишь последнее столетие в

результате войн, революций, политических убийств и казней, контр-революций, диктатур, освенцимов, хиросим, нагасак, фосфорических человеческих тел, смешавшихся с водоворотами галактик, и если бы не внезапная боль, как раскаленная игла пронзившая коленный сустав, то оно бы занесло меня в эти траурные звездные вихри. Но боль вернула мне жизнь, и я, как бы всплыв из самых потаенных глубин сна на поверхность сознания, увидел нормальное, солнечное переделкинское утро, вертикально проникающее в комнату сквозь синие полосы занавесок.

Изголовье кровати было придвинуто к самому подоконнику. Я протянул руку, отвел занавеску и увидел жаркое солнце и хвою.

Рейсовый самолет с грохотом проехал как бы по самой крыше.

Я встал и, все еще ощущая боль в коленном суставе, открыл окно.

«Открыть окно, что жилы отворить».

Или, еще лучше, того же автора:

«Наверно, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже — жертвы века».

1979 г. Переделкино.



АНИСИМ КРОНГАУЗ

★

ОТЦЫ

Отцы всегда несовременны:
В буденовках и сапогах
Или с нашивками ранений
И орденами напоказ.

Приходят к сыновьям в компанию,
И начинается «ликбез»:
Про Халхин-Гол и про Испанию,
Про Ибаррури Долорес,
Про легендарную Касторную,
Про покорившийся рейхстаг...

Отцы!
Здесь не урок истории,
А вечеринка как-никак.
И это разница большая,
Не перепутывайте впредь.
Я сам отец,
Я сам мешаю,
Я сам хотел не устареть...

Но чуть начну о том, что свято,
Насмешливый встречаю взгляд:
То на меня мои ребята,
Как будто старшие, глядят.

Я среди них как путник странный
В своей серьезности смешной,
Что ляжками неловко стянут,
С нелегкой ношей за спиной.

А ЖИЛ ЛИ ТЫ?..

Уже я сомневаться начинаю:
А жил ли ты?..
О память, дай мне сил!
Достоинства еще припоминаю,
А недостатки, слабости забыл.

Припоминаю доброту улыбки:
«Не мучайся со мной. Иди, иди...»
Но повторять хочу твои ошибки
И боль твою почувствовать в груди.

И наши споры, колкости и шутки —
Все забывая, кроме доброты,
В отчаянье вопрос промолвить жуткий
Осмеливаюсь я:
А жил ли ты?

СЕМЬЕ

Дорогие мои, обреченные,
Как и прочие люди земли,
Но поскольку со мной обрученные,
Вас беречь мне, родные мои!

Непрерывно болел вашей болью я,
Разгребал и шугу и пургу,
Но ведь я человек
И не более —
Вечность вам подарить не могу.

Этой мыслью внезапно подкошенный,
Я встревожен который уж раз:
Слизываю
Дождинок горошинки
С губ,
Со щек
Или, может быть, с глаз.

Был для вас я броней и крепостью,
Только годы сильнее строки.
Извините мне эти нелепости,
Эти слабости,
Эти стихи.



ИВАН КИУРУ

★

БАЛЛАДА О СТАРОЙ ЕЛИ

Еловая шишка — чешуйка из радуги!
Где ты росла? Возле каменной Ладоги.
Я выростала на старенькой ели,
На камне суровом, под ропот метели,
В ливнях косых и в сиянии радуги,
Ранней весной у рокочущей Ладоги.

Помню днем и ночью:
Облачные клочья,
Плеск волны и лунный свет.

Матушка ель молоком нас поила
Из серого камня, из пены, из ила.
Матушка ель нас качала, растила
И руны старинные нам говорила —
В ливнях косых и в сиянии радуги,
Ранней весной возле каменной Ладоги.

Помню челн рыбацкий,
Солнца луч бродячий,
Беспокойной чайки крик...

Только достались нам годы суровые,
Годы суровые — вьюги свинцовые...
Пули от ветки меня оторвали,
А нежные руки потом подобрали
И увезли меня в дальние дали,
На добрую память другим передали.

Помню час разлуки,
Новой речи звуки
И чужой уютный кров...

Но не забыла я отчего края,
Где выростала я, с ветром играя,
С ветром играя да зори приветствуя,
Там проводила счастливое детство я!
В ливнях косых и в сиянии радуги
Там, возле Ладоги, Ладоги, Ладоги...

КАМЕННОЕ ПОЛЕ

Сохою обогрето, остужено косой,
Сияло поле светом и чистою росой.
А рядом (над протокой) стоял старинный дом,
Суровый, одинокий... В краю далеком том.

Кто жил в нем — мы не знаем,
И надо ли нам знать?
Но край тот не был раем
И не жила в нем знать.

Повсюду камень, камень...
Как много камня в поле!
Работа — великанья.
И кварц — белее соли,

И кварц — белее соли,
И розовый гранит
Следы великой боли,
Трудов следы хранит,
Подъят из почвы, собран
В безбрежные стада
Разумной мощью доброй,
Что по праву горда.

Мне дома того жалко и жалко той земли,
Где клевер, и фиалка, и рожь весной цвели.
Его легко понять мне, хоть весь я городской,
Но как его поднять мне не мощною рукой?

Повсюду камень, камень...

Как много камня в поле!

Работа великанья —

Венец труда и воли.

Торчат останки дома там, на краю земли,
Где рожь и клевер скромный приветливо цвели.
Песок в поту и в соли, бурьянная печаль...
Покинутое поле, кому тебя не жаль!

ЮЖНЫЙ ГОРОД

Вижу город над морем — в каком-то кочующем стиле
Республик игрушечных, дерзких летучих империй!
С коих пор пировали тут, и торговали, и мостовые мостили?
И уходили народы и оставляли открытыми двери...

Именно двери, а не ворота. Солнце по окнам

С коих времен тут блуждает по гулким каменным стогнам,
Гармонию мне открывая в статуях белых античных,

Вечность которых собой оттеняют стаи высокие птичьи?

Под ветром зеленым, оранжевым, просоленным, в степях

проперченным,

Везде-то прошедшим, везде побывавшим, в саваннах далеких и

близких,

Свои анекдоты несущим даже из джунглей индийских,—

Грек из Пирея ногами сиртаки рисует,

Старик в лапсердаке у тощенького фонтана

Почует новыми баснями глубоко отдыхающего уркагана,

А уркаган за спиной своей чужеродного ока не чует!

Божественной белизною над синью морской колоннада

Напоминает о том, что и здесь она побывала — Эллада!

Но за колоннадою — эллинских торжищ речистей и много

шумнее —

Я видел базары, где и философы и торговцы стали хитрее,

умнее!

Могло ли, что видено ими, хитрому греку даже присниться?

Но катится в небе, как прежде, солнечная Аполлонова колесница,

Кружится воздух над городом ласковый, нежный и синий!

И с корзинкою девочка предлагает прохожему золотистые

апельсины,

А жена рыбака — кучу всякой пареной, жареной, вяленой снеди

(Разумеется, по извилистой линии правильной государственной

сети!).

Порт наполнен гудками, заводы стучат молотками,

И вечную пляску здесь, кажется, пляшет земля под ногами,

И, кажется, улица здесь из эпохи в эпоху чучует,

Умы не врачует, а души движеньем врачует.

1979.



ИЗ ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ

★

ГАБДУЛЛА ТУКАЙ

Весна

Пиши, ясней пиши, перо, и пробуждайся ото сна!
Ведь на земле уже давно весна, лучистая весна!
Пиши, перо мое, пиши, хоть пару строчек напиши,
чтоб на бумагу перешли волненья, радости души...
Из-под снегов бегут ручьи; журча, зовут меня с собой.
Взошли туманы и пары над зачарованной землей.
Туман застенчивой весны напоминает мне с утра
прозрачный синеватый дым — последний легкий дым костра.
Льды оживают и текут, они сливаются с рекой,
дробясь, сшибаясь, вдалеке плывут, и неизвестен им покой!
И, наблюдая ледоход, подумаешь в конце концов,
что света наступил конец и льдины — войско мертвецов.
Они, заклятые, идут к порогу Страшного суда,
какие — в рай, какие — в ад, и неизвестно — кто куда.
В водовороте черных льдин смыкается последний круг;
вот всю вселенную уже объемлет ужас и испуг!
Природа в грохоте реки вдается в горестный обман.
Уродство цвета: бурый пар, сырой малиновый туман...
Но вскоре в настоящий цвет окрашивается земля:
готовь зерно, паши и сей, работай, душу веселя!
Светило сеет с высоты лучи горячие свои,
и прояснился наконец печальный, темный лик земли.
В напрасной ярости зима уходит в стужу и снегах,
и шелковистая трава зазеленела на лугах...
Так обновляется всегда, подобно зелени травы,
народ вселенной и земли, народ Адама и Хевы.
Так, с наступлением весны я размышляю ясным днем
о красоте моей земли, о жизни, смерти — обо всем.
1907.

Стихотворение публикуется впервые (на татарском языке впервые опубликовано в 1976 году в четырехтомном собрании сочинений поэта).

Родной язык

О язык родной, певучий, о родительская речь!
Что еще на свете знал я, что сумел я уберечь!
Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать.
Подрастая, сказки бабушки я начал понимать.
О язык мой! Мы навечно неразлучные друзья!
С детства стала мне понятна радость и печаль твоя.
О язык мой! Как сердечно я молился в первый раз:
господи, шептал, помилуй мать, отца, помилуй нас!

Перевел Р. БУХАРАЕВ.

МУСА ДЖАЛИЛЬ**У могилы Тукая**

В душе, свободной от мирской тщеты,
 храня наказ страны труда и свежа,
 я возлагаю красные цветы
 к священному пристанищу поэта.
 В живой земле кладбищенской цветут
 багряные цветы — они прекрасны!
 Но красота живет не только тут:
 по всей земле — широкой,
 светлой,
 страстной!

На родине, свободной навсегда,
 весенний ветер веет, возвещая
 народный праздник дружбы и труда,
 над вечным родником людского счастья!
 Прекрасна жизнь! Весенняя земля,
 лучами солнца яркого согрета,
 вначале благодарно зацвела
 над праведной могилою поэта!
 Возрадуйся, поэт! Ведь первым ты
 весну народа юным сердцем понял!
 Ты страстно верил в праздник бедноты,
 в свободный ветер над свободным полем!
 Давным-давно воспетые тобой
 великий труд, душевная свобода,
 любовь и счастье, доброта и бой
 пришли с единством и родством народа...
 Возрадуйся! Воспрянувший народ
 запомнил строки чудные навечно.
 В весенний праздник свой тебе он шлет
 посланье благодарно и сердечно.
 Твои заветы для него святы:
 в знак уваженья светом неизменным
 запламенели алые цветы
 над каменным надгробием священным!

1920.

Перевел Р. БУХАРАЕВ

ХАСАН ТУФАН**Говорящая материя**

Задумчивой прохлады полон лог.
 Легко фиалке дышится пригожей.
 Усталый от неведомых дорог,
 к ней мягко обращается прохожий:
 — Невыносим для сердца тяжкий путь.
 Все дальше, дальше горизонта кромка...
 Вблизи тебя позволь мне отдохнуть;
 ты не дичись, фиалка-незнакомка.
 Мы разные земные существа,
 но тайну сокровенную открою —
 из одного когда-то вещества
 мы были оба созданы с тобою.
 В неисчислимо давние года

энергией, влекомой звездной пылью,
 издалека стремились мы сюда,
 пока земной не воплотились былью.
 Но времени безудержная власть
 в пространстве поглощала век за веком,
 пока растеньем ты не назвалась,
 а я не оказался человеком...
 В степные утра или вечера,
 осенним днем, весенней ночью лунной
 как хороша ты, звездная сестра!
 Кто ж научил тебя быть вечно юной?
 Я вижу: вечной молодости труд —
 свой благородный подвиг повседневный —
 вершишь и лепестки твои цветут,
 чтоб жизнь продлилась на планете древней.
 Как счастлива ты на степном ветру!
 Ведь пара для тебя — в соседнем лого.
 Играя с мотыльками поутру,
 ты о судьбе не думаешь в тревоге.
 Разбег цветочной страсти недалек —
 не помышляя об иных усильях,
 здесь золотисто-синий мотылек
 пыльцу разносит на беспечных крыльях.
 Что со своею страстью делать мне?
 Мой путь земной простерся так далеко,
 но даже ветер не шепнет во сне,
 не принесет ни вести, ни намека...
 Я полетел бы мотыльком туда,
 где ждут меня, томясь неясным сроком!
 Душа моя крылата, как всегда,
 хоть крылья ей сломали ненароком.
 Пусть дождь сечет, пусть хлещет град, круша
 растенья в злобной ярости напрасной,
 жива, как прежде, звездная душа
 осеннею невянущею астрой!
 Мы разные, фиалка, существа,
 но тайну сокровенную открою:
 из звездного когда-то вещества
 мы были оба созданы с тобою.
 Я плоть от плоти камня и воды,
 мне атом — древний родственник, и снова
 я продолжаю вечные труды,
 материя с нетленным даром слова!

Перевел Р. БУХАРЛЕВ.

СИБГАТ ХАКИМ

Из челнинского дневника

Взбурлила жизнь, смещая все вокруг!
 Стал котлованом стародавний луг.
 Внимая сотне впечатлений сразу,
 брожу и я с блокнотом по КамАЗу.
 Струится вдаль великая река,
 как прошлое народа, глубока.
 Стою на берегу. Кругом луга,
 но в звоне кос не высятся стога.
 Текла веками темная вода;
 по Каме плыли к Болгару суда.

Подрагивала на волне луна,
но вычерпана нынче старина.
Ковшом поймали Болгара луну.
Луна у экскаватора в плену.
Взметенный вихрем времени простор
десницы кранов к небесам простер.
В вагончике строителей, в тиши,
я осознал смятение души.
Как, Время, ты испытывало нас,
с Магнитки отправляя на КамАЗ —
через бои на волжском берегу,
сквозь ржевский лес и Курскую дугу!
Вокруг бурлит, «КамАЗами» пыля,
моя преображенная земля,
веля — иди вперед! И наяву
твоими, Время, чувствами живу!

* * *

Проваливаясь в снежные сугробы,
брожу по чащам ржевской стороны.
Но, как ни тщусь, не узнаю чащобы.
Подлесок свежий скрыл следы войны.
Живая зелень блещет без опаски,
но все ж не уберечь заветный цвет:
на сложные оттенки вечной краски
наложит свежий слой течение лет...
Я знаю — было трудно, стало лучше.
Я за собой не чувствую вины.
Но целый день брожу по ржевской пуще,
ищу и нахожу следы войны.

Перевел Р. БУХАРАЕВ

ШАУКАТ ГАЛИЕВ

В поезде

Он смотрит в окно с интересом —
как можно в дороге скучать?
А поезд несется по рельсам
и все продолжает стучать.
О, как интересна дорога!
Проходит и день и второй...
Уже надоело немного.
И мальчик скучает порой.
Деревни за окнами охают...
«Все дальше деревня моя!
Деревья назад убегают...
Наверно, в родные края?»

Тишина

В притихший лес приходит снег,
приходит белый-белый снег.
И в тишине и в белизне
идет он в белом-белом сне.
Стоят дубы средь белизны —
колонны в храме тишины.
И видят сны — дубам слышны
шумы зеленые весны.

Перевела Э. БЛИНОВА

ИЛЬДАР ЮЗЕЕВ

* * *

На все я смотрю с удивлением:
 на волны, и звезды, и лица —
 на все, что с момента рождения
 всегда окружает нас.
 На все я смотрю с удивлением,
 как будто бы в первый раз.
 На все я смотрю с удивлением:
 на угли, закаты и листья —
 на все, что до вздоха последнего
 всегда окружает нас.
 На все я смотрю с удивлением,
 как будто в последний раз.
 Как будто родился я в это мгновенье.
 Как будто бы я умираю сейчас.

*Перевела Э. БЛИНОВА.***РЕНАТ ХАРИС****Командировка**

Иди, говорят, посмотришь, прибавишь ума! И вот —
 влечет меня неудержимо, дорога сама зовет...
 И душу свою, как будто стремительного скакуна,
 держу, натянув поводья, а ноги вдел в стремена...
 Найти бы дорогу такую, чтобы соединить
 и прошлое и настоящее в одну неразрывную нить.
 Иначе и дома нашлась бы одна половица, как знать,
 нехоженная, по которой еще не пришлось мне ступить.

*Перевел ВЯЧ. БАШИРОВ.***Коромысло**

Тело, как стрелу, нацелив ввысь,
 коромысло на плечи ложится
 словно крылья — только тянет вниз,
 словно лук — а все ж не распрямится.

*Перевела Э. БЛИНОВА.***Р. ФАЙЗУЛЛИН****Окно твоё в доме на склоне горы**

Силуэт скрывая твой от взгляда,
 летом стая птиц кружит, кружит...
 Осенью за сетью листопада
 и дождями образ твой сокрыт...
 Налетают зимние метели —
 и от белой мглы темным-темно...
 А весной, когда прозрачны дали,
 застилает пелена печали
 на глазах моих
 твоё окно.

*Перевела Э. БЛИНОВА.***Кредо**

Лишь тот велик, чьи дни прошли в борьбе.
 Себе и Времени он — Высший Судия.
 Счастливец тот, кто вопреки судьбе
 свободен в каждом вдохе бытия.

Перевел ВЯЧ. БАШИРОВ.

Короткий стих

Пулями слов
здесь не сорят.
Нет маскхалата,
в броню не одет.
Короткий стих — это солдат,
который в атаку один идет.

Перевела М. АВБАКУМОВА.

РУСТЕМ КУГУЙ**Встреча**

Памяти моего отца Аделя Кугуя,
погибшего на фронте.

Город видится кристаллом
издали,
а не камнем, не металлом
в пади утренней земли.
Снег — белее не придумать!
Потереть лишь стоит, дунуть —
жизни темное стекло
станет ясно и светло.
Я вхожу в холодный город,
даже тихо не дышу.
Нет ни радости, ни горя,
лишь в ушах какой-то шум.
«Сын?!» «Отец...» И мост прогнулся.
«Мать жива? Пстой, пстой...»
Я с испугом оглянулся.
«Ты — мой сын? И ты — седой!»
Но его слова не ранят.
Я вокруг, вокруг гляжу —
ледяные вижу грани
и теней не нахожу.
Ничего совсем не помню...
Гул в крови — со мной отец!
Светом белым переполнен,
никогда я не был здесь...
Отчего же он уходит?
Отчего же я стою?
Не зову, не плачу вроде,
глажу голову свою.
И к перилам примерзаю,
оторваться не могу.
И с открытыми глазами
леденею на снегу.

РАЗИЛЬ ВАЛЕЕВ**Пригородный пейзаж**

Жерло завода. Бурый дым.
На мир стремительна атака.
Деревьям тяжело молодым
взрывать корнями корку шлака.
Зимой здесь красные снега.
Здесь осень пепельного цвета.
Весна, печальна и строга,
бесплодно переходит в лето.
Цветенье вешнее забыв,
многострадальны, терпеливы,

сбежали на речной обрыв
с полей сраженья
даже ивы.
Но вновь летят в поля грачи.
Сопrotивляется природа.
Лучи сверкают, как мечи,
в дыму от пушек химзавода.

Перевел Р. БУХАРАЕВ.

ФАННУР САФИН

Подснежник

Подснежник, крошечный малыш,
куда торопишься, спешишь?
Средь синих снежных островков,
на лужицах проталин
ты словно первая любовь —
и свеж и гениален.
Цветешь по холоду всегда,
с надеждой раскрываясь...
Куда торопишься, куда,
весны не дожидаясь?
Куда, подснежник, ты спешишь,
мой крошечный малыш?

Перевел Р. БУХАРАЕВ.

МАРСЕЛЬ ГАЛЕЕВ

Память

Как хирург,
взрезав сердце кургана,
древний перстень
нашел археолог.
Народ
стал прахом.
В скорбном месте том
блестит слеза на перстне золотом.

Настоящее

Касанье бабочки почуяв,
цветок улыбнулся.

Человек не очнулся.

Осенней вестью
листок

в паутине качнулся.

Человек не очнулся.

Вжимаясь в землю,
змея проползла.

Человек не очнулся.

Он слушал:

кукушка — лесная гадалка —
считала грядущие годы.

Перевел Р. БУХАРАЕВ.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ



ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

В один из летних дней 1970 года я получил по московской почте две книги А. Т. Твардовского. Они только что вышли из печати и составляли двуединный комплект. На одной из них, «Василии Теркине», стояло посвящение: «Дорогому Сергею Сергеевичу Наровчатову — с глубокой признательностью за доброе слово в объеме моего 60-летия (безотносительно к тому, где оно было сказано). А. Твардовский. 12.VIII-70 г.». Под молодым портретом уточняющая дата, написанная той же рукой, — 1943. На портрете тридцатитрехлетний поэт в форме старшего офицера, в погонах с двумя просветами. Лицо сосредоточенное, твердое, молодое. На другой книге, «За далью — даль» и «Из лирики этих лет 1959—1968», стояла более краткая надпись: «С. С. Наровчатову, моему младшему однокашнику по ИФЛИ, с искренней симпатией — А. Твардовский». Дата та же — 12.VIII-70 г. Портрет поэта последних лет, каким все его помнят. Надписи сердечные и открытые, но с длительной предысторией, растянувшейся на три десятилетия с лишним. По сути говоря, на всю жизнь. Для того чтобы рассказать об этой предыстории, нужно вернуться к далекой весне 1939 года.

Учился я тогда на втором курсе литфака ИФЛИ. С полдюжины начинающих поэтов составляли шумную и напористую компанию, окруженную оравой сочувствующих ребят. Компания эта группировалась из студентов младших курсов, от первого до третьего. Такое обстоятельство необходимо подчеркнуть, так как оно многое может объяснить в дальнейшем. Дело в том, что студенческий контингент ИФЛИ волей судеб был разделен на две возрастные группы. В 1935 году впервые был объявлен набор студентов в вузы на общих основаниях. Широким потоком хлынули в аудитории вчерашние школьники и школьницы. На время отошла пора характеристик, направлений и путевок, по которым поступали в институты недавние производственники, сельские активисты, отслужившие красноармейцы. Молодежь с небольшой, но крепкой биографией шли на смену зеленые юнцы, жизненный путь которых пока что замыкался на пионеротряде и школьным комсомоле. Возрастная разница между старше- и младшекурсниками достигала примерно десяти лет, а в молодости такой срок огромен. Люди, что называется, говорят на разных языках. У одних жены и дети, партийный и производственный стаж, взрослые мерки и интересы, а у других самое начало начал, зелень зеленая. Помню разговор с Григорием Коноваловым, теперь известным писателем, а тогда старшим ифлийцем. Он мне рассказывал, как проводил коллективизацию в Заволжье. Я слушал его, боясь слово проронить. То, что мне знакомо было лишь по учебникам да «Поднятой целине», вставало здесь воочию. Стенгазету литфака «Комсомолия», выпускавшуюся под руководством ребят, пришедших в ИФЛИ из расформированного КИЖа (Коммунистический институт журналистики), можно было ста-

вить в образец всей вузовской печати. Умная, веселая, молодая, за-полненная стихами, карикатурами и фельетонами, она выполняла роль насмешливо-резкой наставницы, внимательно следившей за нашими литературными грехами.

В соединении разных возрастных категорий оказалось много полезного, но были и ощутимые минусы. О первом я уже сказал — разность возрастных интересов. Другой минус соседствовал с первым — отчужденность, порой усиленная высокомерием и пренебрежительностью. Разумеется, обе возрастные группы отлично обходились одна без другой, но контакты все же существовали и не всегда они были идеальными.

Крупная фигура Твардовского отчетливо выделялась на ифлийском небосклоне. Я его хорошо запомнил именно с тех времен. Высокий, подтянутый, строгий, он держался с холодноватой надменностью, отделявшей его от посторонних на расстоянии вытянутой руки. За ним обычно шла свита почтительных сверстников, ловивших каждое его слово. Таким он казался нам издали. Вполне возможно, что отношения поэта с ровесниками были куда ближе и сердечнее, но я говорю о впечатлении младшекурсников.

Что с самого начала входило в это впечатление, так это крупность фигуры, личности, характера. Это хорошо передала в своих воспоминаниях Маргарита Алигер. Крупность Твардовского воспринималась как нечто врожденное и прирожденное. Вот родился с этим человеком — и нигуда от этого не денешься. Его поэзия была в то время далека от нас. Городские ребята, мы нимало не интересовались деревенскими делами. А именно они, казалось нам, составляли суть стихов и поэм Твардовского. Принимали мы, помнится, «Перепляс» из «Страны Муравии». Нетрудно догадаться, что принимали по внешним признакам: смена и перебор ритма, метафоричность и т. д. Цикл стихов о «Деде Даниле» заставлял нас откровенно скучать. Никак он до нас не доходил, никак нас не трогал.

С Твардовским точек соприкосновения у нас не было. Встречали его в ифлийских коридорах, но даже не раскланивались, знакомы не были. Однажды вместе со своим товарищем я встретил его в арбатском «Париже». Было такое место, теперь там кафе. Дело было днем, Твардовский сидел один за бутылкой трезвейшего сидра, размышлял. В глупых наших башках плохо укладывалось такое скучное времяпрепровождение. Победоносно переглянувшись, мы заказали кое-что покрепче. Знай, мол, наших. Только что полученные стипендии претерпели значительный урон.

Кому пришла мысль о встрече с Твардовским, не помню. Литературный кружок ИФЛИ собирался от случая к случаю. Руководил им аспирант философского факультета Т. Ойзерман. Теперь он член-корреспондент АН СССР. Мысль сама по себе естественная и верная: надо же наконец познакомиться с известным поэтом, которого то и дело встречаешь в институтских коридорах. Авось будет сломан лед отчужденности, выйдет толк из близкого общения. Инициатива исходила, по-видимому, от руководства кружка, но и мы, наверное, участвовали в приглашении.

Занятия кружка проходили после лекций, во второй половине дня. Я, помнится, куда-то отлучался и опоздал. Опоздал ровно настолько, чтобы успеть к разгару сражения. А что сражение было налицо, угадывалось уже за дверьми аудитории, где шло заседание кружка.

Шум и гам стоял неопиcуемый. Выделялся рубящий голос Павла Когана, ему вторили поэты младших курсов и перебивали друзья Твардовского. Я с ходу ввязался в драку. Выражения не выбирались. К тому времени мы уже понаторели в литературных стычках.

Великое право безответственности! Много ли спросу с девятнадцатилетнего юнца?! Ругай кого хочешь — и море тебе по колено. Этим

великим правом мы воспользовались сполна. Неповоротливым языкам защитников известного поэта было не угнаться за нашим юношеским речитативом. Сомнительные лавры скороспелой кружковской победы мы пожинали сообща: «Наша взяла!»

В чем причины такого ожесточенного столкновения? Оно не было вызвано Твардовским, а его друзья только оборонялись от наших наскоков. Я не присутствовал при начале заседания, но думаю, что повода для ругни не пришлось ждать. Любое случайное и неосторожное слово со стороны старшекурсников создавало такой прецедент. Мы пришли на кружок уже готовыми к стычке.

По сути, столкнулись две позиции. Все обстояло не так невинно, как может показаться на первый взгляд. Противостояние городской и деревенской тем, двух поэтических школ, возрастных и биографических категорий — вот, собственно говоря, главные причины столкновения.

Знаю по позднейшим свидетельствам, что Твардовский эту стычку переживал болезненно. Много спустя, когда две войны — финская и Отечественная — были за плечами и мы давно с Твардовским находились в добрых отношениях, он неожиданно возвратился к давней схватке: «А помните, как в ИФЛИ вы на меня нападали?» Реплика в тот момент ничем не была вызвана. Дело было в начале 50-х годов, осенним полднем я шел через вестибюль Правления СП СССР, Твардовский сидел на диване рядом с зеркалом, мы поздоровались на ходу. «Господи, — ответил я, приостановившись, — неужели вы еще не забыли?» «Не забыл...» — и в глазах его мелькнула недобрая искорка.

Твардовского в стычке тридцать девятого года, кроме всего, уязвила наша неблагодарность. «Сами пригласили...» — эту фразу он повторял не раз. Думается, что обида была тем сильнее, чем резче выглядел контраст с его тогдашними успехами в поэзии. Серьезным событием он, естественно, наскок группы юнцов считать не мог, но подобный эпизод стал вроде заусенца на пальце. Если он даже не на указательном, а на мизинце, все равно донимает.

Что сказать о нас? Не помню, чтобы кто-либо высказывал сожаление по поводу случившегося. Наоборот, мы остались предельно довольны результатами стычки. Ведь мы считали себя целиком правыми. Выступил наш отряд отнюдь не с эстетских позиций: Маяковский не сходил у нас с языка, нас опекали Асеев, Сельвинский, Луговской, поэты первоначальные. Нам было на кого оглядываться и ссылаться. Глупостей мы нагородили много, но во взглядах наших была известная последовательность. Объяснять взгляды девятнадцати-двадцатилетних мальчишек излишне, это значит потерять чувство меры, придавая чрезмерное значение юношеской болтовне.

Моральный аспект происшедшего нас никак не интересовал. На наших студенческих сборищах ругня шла еще резче. Извиняться перед обиженным поэтом никому в голову не приходило. Допускаю, что кто-то мог принести повинную, но вообще-то это было не в наших тогдашних правилах. «Всыпали, и ладно» — таков был нехитрый ход наших рассуждений. Сам инцидент стал быстро забываться. Через какие-то полгода началась вторая мировая, а затем, ее эпизодом, война с белофиннами. Я ушел добровольцем на фронт, участвовал в боях, потерял лучших своих друзей, валялся обмороженный в госпитале — в общем, хлебнул лиха. А там уже встала Великая Отечественная, коренным образом перевернувшая судьбы мира, народа, каждого из нас.

С Твардовским я снова встретился в марте 1947 года во время I Всесоюзного совещания молодых писателей. Вместе с Платоном Воронько, Алексеем Недогоновым, Михаилом Лукониным, меня пригласили к его подготовке, и в организационной кутерьме я прозевал составление списков семинаров. Оказывается, я попал к Твардовскому! Тут-то я вспомнил стычку восьмилетней давности и даже при-

свистнул от огорчения. Никак это меня не устраивало. К автору «Василия Теркина» и «Дома у дороги» я относился с нескрываемым почтением, но давняя история могла вызвать чувство неловкости, а то и неприязни.

Мои опасения оказались напрасными. Произошел очень серьезный, взвешенный, заинтересованный разговор, в котором были точно и доброжелательно разобраны и проанализированы мои стихи. Мне даже показалось, что руководитель семинара оценивает строки молодого поэта где-то на балл или полбалла выше их подлинной ценности. Малейшего упрека в необъективности не хотел Александр Трифонович. «Александр Трифонович...» С тех пор это стало моим постоянным обращением к нему.

Естественно, я не мог не оценить такого великодушия. Да и благородства, если хотите. Не всякий на это способен.

Возможно, есть известное противоречие с репликой Твардовского в Союзе писателей: «А помните?» Но здесь разница ситуаций. Забыть давнюю обиду он, как говорится, и хотел бы, да не мог. Делать же какие-либо выводы, определять новые отношения по старой истории Александр Трифонович не считал справедливым.

На семинаре, да и на всем совещании мне были раскрыты широкие двери в литературную жизнь. Теперь мы стали встречаться с Твардовским систематически и регулярно. Дело в том, что при Союзе писателей СССР была организована Комиссия по работе с молодыми авторами. Ее председателем назначили А. Т. Твардовского, меня его заместителем, а Платона Воронько ответственным секретарем. Я, кроме того, стал инструктором ЦК ВЛКСМ с теми же обязанностями.

Работы оказалось много. Чем только не приходилось заниматься! Трудоустройство и прописка недавних фронтовиков, рекомендация их произведений в печать, организация совещаний молодых писателей на местах, распределение карточек (тогда они еще существовали), финансовая помощь, творческие обсуждения на предприятиях, в вузах, воинских частях. Все здесь вперемешку, но так и было на самом деле. Телефонная трубка была горячая, как пулемет во время боя. Да мы и чувствовали себя на передовой, «когда нам приказали снять шинели, не оставляя линии огня».

Твардовский работал с интересом и охотой. Никакого пренебрежения к молодежи и в помине не было. Твардовского нельзя было не ценить за самоотверженную работу в той же комиссии, неуклонную внимательность к начинающим поэтам, огромную переписку, которую он с ними вел, наконец, за наглядный пример и образец собственной его поэзии. В свое время Чехов сказал о Толстом нечто вроде того, что люди должны быть ему, Толстому, благодарны просто за то, что он живет среди них. То же самое можно отнести к Твардовскому.

Через несколько лет Твардовского поставили во главе «Нового мира». Я стал носить ему стихи. Редактором он оказался взыскательным, но умным и точным. Вот пример со стихотворением «Тихий океан». Оно начиналось строкой:

Ты был не прав, Фернандо Магеллан.

Дальше говорилось, что океан отнюдь не Тихий и зря великий мореплаватель так его окрестил.

Александр Трифонович поморщился: «Зачем вам этот павлиний хвост, да еще в первой строфе? И уж больно вы с ним запросто, прямо на «ты». — Тут он усмехнулся. — Как-никак он ведь в адмиральском чине. Начните прямо со второй строфы».

Я посмотрел — и впрямь лучше:

У рифов каменистых островов,
То набежав, то снова вдаль отпрянув,
Гремят, столкнувшись, волны двух миров
В сто раз сильней, чем волны океанов.

Сразу обозначается идея, никаких предисловий не нужно. Так он прошел через все стихотворение, и оно, как говорится, заиграло. В другой раз я начал стихи с безапелляционного заявления:

Евангелie давно уже не в силе.

Твардовский на полях бисерным своим почерком вывел:

Евангелie пока осталось в силе —

и, чтобы не было сомнений в принадлежности ему уточнения, подписался известными инициалами — А. Т.

Я был правильно наказан за легкомыслие. Такими вещами не кидаются. Александр Трифонович, как всем понятно, отнюдь не выступал с позиций православной, католической или лютеранской веры, равно признающих Новый завет. Но «мир дому сему» провозглашено на евангельских страницах, притча о рабе, зарывшем талант в землю, рассказана там же. Нет, с наивным атеизмом 20-х годов в серьезную литературу идти нельзя. Урок был хороший.

Шли годы. После четырехлетнего перерыва Твардовский вернулся в «Новый мир» и не оставлял его почти до самой смерти. Мое уважение к нему возрастало с каждым новым его творческим свершением. Меня поразила меткостью наблюдений и обобщений статья о Бунине, и я откликнулся на нее в «Литературной газете». Твардовский оценил по-доброму мое выступление. Свои стихи я, как правило, отдавал в «Новый мир». Отказов почти не было. Далеко не все поэты могли этим похвалиться. Особый путь оказался у «Василия Буслаева». Окончив поэму в начале 60-х годов, я отнес ее Твардовскому. Суть проблемы — столкновение личности и общества — заинтересовала его остро, но возникли замечания по характеру героя. В Буслаеве не принимались Твардовским жесткие черты, которые в начальном варианте были прочерчены с излишней резкостью. Затем он обратил внимание на буслаевский вызов Великому Новгороду, заметив, что былина дает ему более простое обоснование, и посоветовал обратиться к народному толкованию. К самой фактуре стиха претензий у него не было, хотя он и посетовал: «Если б это еще было на современном материале!» Стремясь, по его выражению, «сохранить поэму для журнала», он заключил со мной договор.

Договора я не выполнил. Согласившись было на переделку, я вдруг почувствовал, что просто устал от поэмы и никаких изменений внести в нее не смогу. Махнув рукой на свои обещания, я опубликовал отрывки из поэмы. Твардовский при встречах посмеивался: «Ну, как «Буслаев»?» Я отвечал, что сперва Васька сломал голову, а теперь над ним ломает голову автор.

Время шло. Роясь в старых книгах, я внезапно обнаружил, что Василий Буслаев именуется в списках новгородских посадников XII века. То есть он живой современник автора «Слова о полку...» у нас на Руси, а за рубежом — Ричарда Львиное Сердце и Фридриха Барбароссы. До того Буслаев представлялся мне целиком созданием народного воображения вроде Ивана-царевича. Толчок для переосмысления образа был получен.

Мало-помалу стала вырисовываться новая поэма, в которую вошли, разумеется, и прежние главы, но частично переписанные в связи с данными обещаниями. Смерть Твардовского превратила память о договоренности с ним в ощущение долга. «Василия Буслаева» я закончил на другой год после ухода поэта из жизни. Поэма, хоть и с большим опозданием, была «сохранена для журнала». Я ее напечатал, естественно, в «Новом мире». Так получилось, что и после смерти Твардовский направлял мою руку.

В 60-х годах на меня шквалом обрушились общественные обязанности. Александр Трифонович не любил заседательского говоре-

ния, но бывали собрания, избежать которых было трудно. Я тогда курил вовсю и в этом ничем не отставал от Твардовского. На вооружении у нас находились сигареты дешевые и крепкие. У него «Ароматные», у меня «Гризма». Во время заседаний мы нередко выходили курить за кулисы. Обстановка полудозволенности способствовала обмену репликами. Иногда это переходило в обмен мнениями.

Блиzkих отношений у меня с Твардовским никогда не возникало. Дело не только в возрастной разнице. Алексей Фатьянов мой ровесник, а он с ним держался накоротке. Сушествовала не то что отчужденность, а скорее отъединенность. Александр Трифонович читал мои статьи и слушал мои выступления. Мнения и оценки у нас расходились. Однажды вот так за перекур он спросил об этом впрямую: «Вы, наверно, во многом со мной не соглашаетесь. Почему же не возражаете?» «Ваши взгляды на вещи складывались годами,— ответил я,— и я их не переменяю в минутном разговоре. Да и нет у меня к этому охоты». «Занятно. Ну, быть посему».

Многих взглядов Твардовского я разделить не мог. За редким исключением он не принимал поэзии XX века, включая самых больших поэтов. Ставил особняком Исаковского и Маршака — своих учителей.

Мне думается, что неприязнь Твардовского к иным поэтам 20—30-х годов объяснялась вполне определенными причинами. Он входил в поэзию, когда в ней безраздельно торжествовали урбанистические мотивы. Отлитая в стихах Багрицкого, известная «троица» Тихонщ, Сельвинский, Пастернак прошла огонь, воду и медные трубы изошренного стиха, различных «измов», рифменных и ритмических изысков. Некоторые поэты такого ряда отнеслись к молодому смолянину с обидным равнодушием. Известны реплики и оценки его стиха, исходившие от Асеева, Заболоцкого, Кирсанова, Сельвинского. Они способны раздражить кого угодно.

Нужно было немало смелости и даже дерзости, чтобы, махнув рукой на все эти мнения и оценки обратиться к классическому стиху. Но заодно пришлось отринуть и поэтов, дававших такие оценки. Круги пошли очень широкие. Они захватили даже Есенина, который, казалось, должен был нравиться Твардовскому. Нечего говорить о Смелякове, Мартынове.

Конечно, давались и ответные залпы. Восхищенный отзыв Бунина отнюдь не имел той запелляционной силы, которая ему теперь приписывается. «Тоже авторитет! — усмехнулся Асеев. — Что он там видит, в своей эмигрантской норе?».

Твардовским была проведена резкая граница между искусственностью и естественностью. Все, что относилось к первой категории, шло от дьявола и, соответственно, предавалось анафеме.

Это очень старый спор. Как будто естественность всегда должна одерживать верх. Но что вы поделаете с условностью в искусстве? С тем, что никому еще не удалось ликвидировать разрыв между актерами и публикой? В поэзии рифма и ритм постоянно напоминают о заданном происхождении стиха. Найдите человека, который бы все время говорил в рифму!..

Твардовскому такие вещи, конечно, были хорошо известны. Я, кроме всего, не собираюсь предпринимать запоздалых попыток оспорить его взгляды. Его требования естественности в основе своей безусловно здравые. Думается лишь, что к ряду поэтов они применялись с излишней жестокостью.

К лучшему, что я не высказывал ему своих замечаний вслух. Он, впрочем, почти никогда не давал к этому повода. Каждый оставался при своем.

Зимой 1970 года Твардовский ушел из журнала. Через какое-то время мне позвонили из Союза писателей и предложили войти в новый состав редколлегии. Сославшись на загруженность, я отказался.

Вот в такое время я и написал к шестидесятилетию Твардовского большую статью и отдал ее в «Новый мир». Я писал о том, чем характерно, на мой взгляд, литературное явление, носящее имя Твардовский. Ибо Твардовский — это, конечно, явление, размеры и содержание которого определяются не только личными качествами поэта, но и литературным процессом, общественными устремлениями, всей нашей действительностью. Оно, это явление, в силу своей значимости и весомости стало не просто объектом, а субъектом этих движущихся сил — литературы, общества, действительности — и само оказывает влияние на их динамику. Такова, впрочем, судьба художественного творчества всех значительных писателей прошлого и современности, к числу которых можно спокойно и уверенно отнести Твардовского. Его творческое развитие шло не от малого к большому, как у многих талантливых людей, а прямо от большого к большему, что уже представляется исключением.

Статья, как можно судить по надписи на присланных книгах, тронула и обрадовала его. Я никак тогда не думал, что дни Александра Трифоновича уже сочтены.

Осенью с Твардовским случился удар. Я навестил его в больнице. Он находился в отдельной просторной палате, рядом сидела Мария Илларионовна. Подушки были высоко подняты, Александр Трифонович полулежа-полусядя разговаривал со мной. Впрочем, «разговаривал» плохо передает характер беседы. Речь у него была замедленна, он время от времени вставлял короткие реплики в мой рассказ. Я стараясь всемерно облегчить свои сообщения. Никаких тяжелых и неприятных новостей. И, хоть сердце щемило, пытался развеселить его и несколько раз вызвал улыбку на его лице. Болезнь уже сильно схватила его, он осунулся, побледнел, подался. Уходя, я зашел к врачам. Прогнозы были малоутешительны, доктора подозревали еще более худшее, чем эпизодический удар.

Минул год. Из Красной Пахры пришла жестокая весть — Твардовского не стало. Меня назначили председателем комиссии по похоронам. Мне же пришлось вести траурный митинг над его гробом. Венков было без числа. В гробу он выглядел величественным, спокойным и едва ли не отдохнувшим. Толпы народа проводили его прах до Новодевичьего кладбища. Я сохранил для себя на память траурную повязку.

Свою статью к его шестидесятилетию я закончил словами: «Только пуританская сдержанность журнальных оценок да естественная боязнь смутить хорошего и серьезного человека заставляют меня опустить те эпитеты к его имени, которые он вполне заслужил. Я выберу из них пока лишь один, освященный нашей традицией и прилагаемый только к нескольким писателям нашей страны, — выдающийся».

В дни семидесятилетия Александра Трифоновича Твардовского мы со спокойным сердцем можем взять другое определение, которое и тогда подразумевалось само собой, но отодвигалось из-за «пуританской сдержанности журнальных оценок». Мы спокойно и уверенно называем его великим.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Б. ПАСТЕРНАК

★

НАЧАЛО ПРОЗЫ 36 ГОДА

«Начало прозы 36 года» — крупно и размашисто написано карандашом на согнутом в виде обложки двойном листе мелованной бумаги. На следующем листе вариант: «Начало романа о Патрике». Внутри 74 страницы пожелтевшей бумаги. Текст переписан на машинке и исправлен автором. Рукопись сохранила Зинаида Николаевна Пастернак, зная привычку мужа уничтожать неиспользованные материалы и неоконченные работы. Более поздние попытки продолжения этой прозы, так же как беловая рукопись и черновики, по обыкновению пошли на растопку переделкинской печки.

О своем стремлении написать большую прозу, в которой отразилось бы пережитое и виденное им, Пастернак постоянно упоминает уже с 1916 года. Единство намерения, конечно, не свидетельствует о том, что его конкретные представления и задачи оставались неизменными.

Характер работы над прозой тесно связан с особенностями того периода, который переживал автор в своем творческом развитии. Центральные работы первого — книги стихов «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации». Им соответствует роман в 15 авторских листов, написанный в 1918 году, вскоре после возвращения Пастернака с Урала. Отделанное начало романа печаталось как повесть «Детство Люверс». Горький одобрил эту прозу и написал предисловие к предполагавшемуся переводу повести на английский язык («Литературное наследство», т. 70, стр. 308—310).

Этот неоконченный роман Пастернак очень долго не мог оставить, стремясь довести весь текст до степени отделанности «Детства Люверс». Во многих письмах мы читаем жалобы на неосуществимость этих намерений. После завершения «Охранной грамоты», которая явилась итогом первого периода жизни и творчества, Пастернак уничтожил рукопись романа о Евгении Люверс (сожжена в 1932 году).

Следующий период начинается стихами книги «Второе рождение». С начала 1933 года Пастернак приступает к работе и над новым романом.

При ином эстетическом, композиционном и эмоциональном подходе новый роман связан с предыдущим именем героини — Евгении Викентьевны Люверс, в замужестве Истоминой, и местом действия — уральским городом, в котором могут быть угаданы топонимы Свердловска или Омска. Но в то же время героиня этой прозы по всему своему облику и обстоятельствам ее детства отнюдь не совпадает с Женей Люверс. Большую роль в романе играют события революции 1905 года, в описании которых личные воспоминания автора подкрепляются материалами, изученными Пастернаком в процессе работы над революционными поэмами «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

Работа протекала трудно. К весне 1935 года наступило нервное переутомление, бессонница. В конце июня Пастернака направили в Париж, дополнительно включив в состав уехавшей раньше делегации на антифашистский Конгресс защиты культуры (его выступление там в заключительный день было восторженно принято участниками). Прибавившееся утомление от поездки привело к необходимости лечения в санатории. К работе Пастернак смог вернуться лишь в 1936 году. Именно этим годом датировано отделанное и сохраненное начало романа.

Из предлагаемого ниже читателям «Начала прозы 36 года» было опубликовано несколько отрывков («Литературная газета» от 30 декабря 1937 года и от 15 декабря 1938 года, «Огонек», 1939, № 1 и «30 дней», 1939, № 8-9).

Е. Б. ПАСТЕРНАК.

1. УЕЗД В ТЫЛУ

Многую вечер, он как сейчас предо мною. Это было на мельнице тестя. Днем я ездил по его делам верхом в город.

Я выехал рано. Тоня с Шурой еще спали, когда я на цыпочках выбрался от них на свет кончавшейся ночи. Кругом по колено в траве и комарином плаче стояли березы, всматриваясь куда-то в одну точку, откуда близилась осень. Я шел в ту же сторону.

Там за оврагом был двор с домом, где мы жили раньше и откуда незадолго перед тем перебрались в лесную сторожку, чтобы освободить место для дачницы. Ее ожидали со дня на день. Среди дел, предстоявших мне в городе, должен я был президать и ее.

На мне были новые, неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями лупили друг за дружкой сквозь листву. Там и сям оживали деревья, враскачку перебрасывая их с верхушки на верхушку.

Хотя преследование это прерывалось частыми перелетами по воздуху, но с такой гладкостью, что оставляло впечатление какой-то беготни по ровному предрассветному небу. А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота конюшни и седлал Сороку работник Демид.

Последний раз я был в городе в середине июля. Прошло три недели, и за это время произошли новые перемены к худшему.

По правде сказать, мне трудно было о них судить. Свою безумную покупку Александр Александрович совершил в самом начале войны. В первый наш наезд из Москвы на мельницу, как здесь по старой памяти звали его лесное приобретение, уральское лицо Юратина уже было заслонено беженцами, австрийскими военнопленными и множеством военных и штатских из обеих столиц, заброшенных сюда все усложнявшимися нуждами военного времени. Он сам уже ничего не представлял собою и только отражал как в зеркале изменения, происходившие в стране и на фронте.

Волны эвакуации докатывались сюда и раньше. Но когда с железнодорожного переезда за Скобянниками я увидел горы оборудования из Прибалтики, сваленные вдоль путей товарной станции под открытым небом, мне подумалось, что пройдут годы, прежде чем кто-нибудь вспомнит об этих Этнах, Ревельских трубопрокатных и Перунах, и что не мы, а именно эти груды ржавчины будут когда-нибудь свидетельствовать, чем все это кончится.

Несмотря на ранний час, присутствие у воинского начальника было в полном разгаре. На дворе старший из толпы татар и вотяков объяснял, что деревня плетет корзинки под сернокислотные бутылки для Объединения Малояшвинских и Нижневарыинских, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми волостями. Ошибкой этой партии было то, что они сами проявили жизнь и кому-то показались. Их дело затеряли и теперь, тяготясь скучными поисками, гнали на фронт. Хотя в теплом помещении канцелярии признавали их доводы, на дворе их никто не слушал. Мои бумаги оказались в исправности, и статья о килах и грыжах, по которой гулял Демид, также пока еще не оспаривалась.

За угол от воинского, на Сенной, против собора был заезжий двор, куда я поставил Сороку, стеснявшую меня в городе за короткостью его расстояний. Был успенский пост. Больше года не продавали вина в казенных лавках. Но своей тишиной и мрачностью двор выделялся и среди всеобщего потрезвения. Под широкой его крышей тайно промышляли кумышкой. Если не считать хозяина, здесь было теперь бабье царство. Лошадь приняла одна из его снох.

— Продаваться не надумали? — спросил хозяин откуда-то сверху, высунувшись из окна и подперши голову рукою.

Я не сразу сообразил, к чему относится его вопрос.

— Нет, не собираемся, — ответил я. Очевидно, слухи о наших лесных владениях дошли до города и стали притчей во языцех.

Улица ослепила меня после дворовых потемок. Очутившись на своих ногах после седла, я ощутил наступление утра как бы вторично. Поздней обычного та-

щились на рынок возы с капустой и морковью. Датьше Дворянской они не доезжали. Их уже останавливали на каждом шагу как какую-то невидаль и раскупали дорогой. Стоя на телегах, бабы-огородницы, как со всенародного возвышения, клялись угодить каждому, но это не остепеняло толпы, не по-провинциальному шумной и сварливой, которая вокруг них вырастала.

По крашенной под мрамор лестнице в городскую контору Устькрымженских заводов я нагнал седобородого юрятинского горожанина в сибирке сборами, придававшими его талии сзади что-то бабье. Он медленно взбирался передо мной и, войдя в контору, высморкался в красный платок, надел серебряные очки и принялся разбирать объявления, испещрявшие ближайшую от входа левую стену. Кроме издавна ее покрывавших печатных реклам и проспектов, одноцветных и в краску, на ней белело несколько столбцов бумажек, исписанных на машинке и от руки, которые и привлекли его внимание.

Здесь были публикации о покупке лесов на корню и в срубе, объявления о торгах для сдачи подрядов на всякого рода перевозки, извещение рабочих и служащих о единовременной прибавке на дороговизну в размере трехмесячного заработка, вызовы ратников ополчения второго разряда в стол личного состава. Висело тут и постановление об отпуске рабочим и служащим продовольственных товаров из заводских лавок в твердой месячной норме, по ценам, близким к довоенным.

— Муки ржаной сорок пять фунтов, цена за пуд один рубль тридцать пять копеек; масла постного два фунта... — читал по складам юрятинский мещанин.

Я застал его потом перед одной из конторок за справками, согласилось ли бы правление рассчитываться по объявленным подрядам не кредитками, а карточными системами — как именно он сказал — вывешенного образца. Долго не могли взять в толк, что ему надо, а когда поняли, то сказали, что тут ему не лабаз. Я не слышал, чем кончилось недоразуменье. Меня отвлек Вяхрищев.

Он торчал в главном зале счетного отдела, разгороженного надвое решеткою со стойками, и, заставляя сторониться молодых людей в развешивающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдоты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, ни одного не допивая, брал с подноса у стряпухи, в несколько приемов разносившей его по конторе.

Это был военный из Петербурга, в чине капитана, бритый и саркастический, состоявший приемщиком Главного артиллерийского управления на заводах.

Заводы находились в двадцати пяти верстах к югу от Юрятина, то есть в противоположную от нас сторону. Это было далекое путешествие, и его приходилось совершать на лошадях. Мы ездили иногда туда в гости, когда за нами посылали, однако это не имеет никакого отношения к Вяхрищеву. Надо рассказать, чем поддерживалось его постоянное остроумие.

Роль его была не из легких. Он был официальным лицом на заводах и жил там на положении гостя в доме для приезжающих, называвшемся приезжею Кругом были специалисты, выдвинутые на первое место новыми военными требованиями, перед их авторитетом ступшеывалось значение властей и владельцев. В большинстве это были люди университетские, по-разному, но все до одного прошедшие школу девятисот пятого года. Для примера назову главного директора, Льва Николаевича Голоменникова, имя которого, ныне покойного, известно по нескольким институтам, которым оно присвоено.

В студенческие годы он принадлежал к той группе российской социал-демократии, которой суждено было сказать миру так много нового. Однако было бы анахронизмом стносить это замечание, в нынешнем его значении, к тем зимним вечеринкам, на которых принимал или появлялся этот высоченный, рано поседевший и слегка насмешливый человек.

Приезжая помещалась на выезде, близ нефтехранилища, вынесенного с заводской территории на пустырь к реке, и Вяхрищев уверял, что там-то и содержится лабораторный спирт, раствор которого так оживлял эти вечерние собрания. Во всех увеселениях участвовал, разумеется, и он, и когда разговоры при нем немного умеряли не из страха перед его присутствием, а из опасения, как

бы его чем-нибудь не обидеть, он, естественно, оскорблялся и, таким образом, нехотя сам способствовал их революционности.

Эту несуразность он отлично сознавал и при случае выражал достаточно ядовито. «Русский военный аташе на Крымже», — представлялся он, давая понять, что заводы считает самостоятельной державой. Или пускался в перечисление союзников и, дойдя до Румынии (это было позднее), продолжал: хлорный, хромпиковый Лев Николаевич Голоменников. И все хохотали.

При виде меня он притворился, будто от неожиданности глотнул кипятку больше нужного, в испуге выкатил глаза, перекрестился и, поставив блюдце со стаканом на край загородки, стал отмахиваться, как от призрака.

— Значит, вы живы? — кончив представление, затараторил он. — Где же вы пропадали? Что слышно в ваших лесах? Сепаратного еще не заключили?

— Тут сверток для господина Громеко. Не захватите? — спросил вышедший из-за решетки конторщик.

— Как же, конечно. Я за ним. А не тяжело? На себе утащу?

— Для ваших заплочных ремней, пожалуй, тяжеловат. Кулек ощутительный.

— Тогда я часа через два, я сейчас без лошади. Простите, — обратился я к Вяхрищеву, — меня отвлекли. Я к вашим услугам.

Он стал таскать меня из комнаты в комнату, засыпая невозможным вздором и убеждая тотчас же ехать с ним на Крымжу на какой-то тамошний семейный праздник. По счастью, нам навстречу попался доктор, член юртинской врачебной управы, выходявший в это время из директорской.

— Вас ли я вижу, дорогой доктор? — воскликнул Вяхрищев.

Фарс начался. Воспользовавшись освобождением, я поспешил в наше отделение Союза земств и городов, ютившееся в одной из квартир того же дома со стороны Ермаковского сада.

Хотя Союз больше всего был занят задачами снабжения, в которых Александр Александрович не смыслил ни бельмеса, отделение, собственно, было местом его службы. Он состоял при разделе резервов вольным консультантом по молочному скоту и его селекции — специальность, по которой и окончил в свое время женевский политехникум, и даже с каким-то отличием. Сам он наведывался в Юртин не часто и для подачи консультации пользовался представлявшимися случаями или посылал в отделение с записками Демида. Делать ему в отделение было решительно нечего, и он лишь изредка напоминал о себе, чтобы не вышло скандала, то одному сослуживцу, то другому, видоизменяя поводы для живости и правдоподобья.

Сейчас я под самым праздным предлогом должен был повидать одного из основателей отделения, редактора прогрессивной газеты края, почему-то охотнее принимавшего в земствах и городах, нежели у себя в редакции. Однако оказалось, что он накануне выехал в Москву. Я отправился к Истоминой.

Об этой женщине что-то рассказывали. Она была родом из здешних мест, кажется из Перми, и с какой-то сложной и несчастною судьбою. Ее отец, адвокат с нерусскою фамилиею Люверс, разорился при падении каких-то акций и застрелился, когда она была еще ребенком. Другие приписывали это какой-то неизлечимой болезни. Дети с матерью переехали в Москву. Потом, по выходе замуж, дочь каким-то образом снова считилась на родине. Ходившие о ней рассказы относились к позднешему времени и займут нас не скоро.

Хотя преподаватели казенных учебных заведений мобилизации не подлежали, ее муж, физик и математик юртинской гимназии, Владимир Васильевич Истомина, пошел на войну добровольцем. Уже около двух лет о нем не было ни слуху ни духу. Его считали убитым, и жена его то вдруг уверялась в своем установленном вдовстве, то в нем сомневалась.

Я избежал к ней по черной лестнице нового здания гимназии с несколько удлинненными маршами очень тесного и потому казавшегося кривым лестничного колодца. Лестница что-то напоминала.

Чувство той же знакомости охватило меня на пороге учительской квартиры. Дверь в нее была открыта. В передней стояло несколько мест дорожной кладки, дожидавшейся обшивки. Из нее виднелся край темной гостиной с пустым и сдвинутым с места книжным шкапом и зеркалом, снятым с подзеркала. В окнах,

вероятно выходявших на север, горела зелень гимназического сада, освещенного сзади. Не по сезону пахло нафталином.

На полу в гостиной хорошенькая девочка лет шести укладывала и стягивала мотком грязной марли свое кукольное хозяйство. Я кашлянул. Она подняла голову. Из дальней комнаты в гостиную выглянула Истомина с охапкой пестрых платков, низ которых она волочила по полу, а верх придерживала подбородком. Она была вызывающе хороша, почти до оскорбительности. Связанность движений очень шла к ней и была, может быть, рассчитанна.

— Вот, наконец решилась, — сказала она, не выпуская из рук охапки. — Долго же я вас водила за нос.

Среди гостиной стояла раскрытая дорожная корзина. Она сбросила в нее платки, отряхнулась, огладила и подошла ко мне. Мы поздоровались.

— Дача с обстановкой, — напомнил я ей. — На что вам туда мебель? — Основательность ее сборов меня смутила.

— А ведь и в самом деле! — заволновалась она. — Что ж теперь делать? К трем сговорены подводы. Дуня, сколько у вас там на кухонных? Ах, ведь я сама послала в дворницкую. Катя, не мешайся тут, ради Христа.

— Двенадцать, — сказал я. — Надо отказать лишним ломовикам, а одного оставить. У вас еще много времени.

— Ах, да разве в этом дело!

Это было сказано почти с отчаянием. Я не мог понять, к чему оно относится. Вдруг я стал догадываться. Вероятно, ей отказывают от казенной квартиры и она надеется найти у нас постоянное пристанище. Этим объясняется ее поздний выезд. Надо предупредить ее, что зимы мы проводим в Москве, а дом заколачиваем.

В это время с лестницы донесся гул голосов. Вскоре им наполнилась и прихожая. В дверях гостиной показалась девушка с несколькими связками свежей рогожи и дворник с двумя ящиками, которые он со стуком опустил на пол. Опасаясь новой провоочки, я стал прощаться.

— Так что же, — сказал я, — в добрый час, Евгения Викентьевна. До скорого свиданья. Дороги просохли, ехать сейчас одно удовольствие.

Выйдя на улицу, я вспомнил, что с постоялого мне не прямо домой, а еще в контору за тючком, отложенным для Александра Александровича. Однако до Сенной я решил зайти пообедать на вокзал, буфет которого славился дешевизной и добротностью своей кухни. Дорогой мысли мои вернулись к Истоминой.

До этого разговора я видел ее два или три раза, и во всякую встречу меня преследовало ощущение, будто сверх того я уже ее когда-то видел. Долгое время я считал это ощущение обманчивым и не искал ему объяснения. Сама Истомина ему способствовала. Она должна была что-нибудь напоминать каждому, потому что некоторой неопределенностью манер сама часто походила на воспоминанье.

На вокзале было сущее столпотворенье. Я сразу понял, что уйду несолоно хлебавши. Растекаясь рукавами от билетных касс, толпа уже без промежутков заливала все его залы. Публику в буфете составляли по преимуществу военные. Половине не хватало места за столами, и они толпились вокруг обедающих, прогуливались в проходах, курили, несмотря на развешанные запрещения, и сидели на подоконниках. Из-за конца главного стола все порывался вскочить какой-то военный. Товарищи его удерживали. За общим шумом ничего не было слышно, но судя по движениям оправдывавшегося официанта, на него кричали. Направляясь туда, зал пересекать содержатель буфета, толстяк, раздутый, как казалось, до своих неестественных размеров посудными гулами помещенья и близостью дебаркадера.

На дебаркадер было сунулся я, чтобы, минуя давку, пройти в город путями, но швейцар меня не пустил. Сквозь стекла выхода бросалась в глаза его необычная пустоватость. Стоявшие на нем артельщики смотрели в сторону открытой, в глубь путей отнесенной платформы, служившей продолжением крытых перронов. Туда прошел начальник станции с двумя жандармами. Говорили, что при отправке маршевой роты там недавно произошел какой-то шум, рода которого никто толком не знал.

Обо всем этом вспомнил я в конце обратного пути лесной дорогой через рыньвенскую казенную дачу, где Сорока, точно заразясь моей усталостью, сама, встряхивая головой и поводя боками, пошла шагом.

В этом месте с лесом делалось то же самое, что со мной и с лошадью. Мало-екая дорога пролегла сечью. Она поросла травой. Казалось, ее проложил не человек, но сам лес, подавленный своей необъятностью, расступился здесь по своей воле, чтобы пораздумать на досуге. Просека казалась его душою.

В ее конце мысом в жердяной изгороди вклинивался белый прямоугольник. Это были ясырские яровые. Немного дальше показывалась бедная деревенька. Обрамлявший ее с горизонта лес смыкался дальше новою стеною. Ясыри с их овсами оставались позади ничтожным островком. Вероятно, как и в соседнем Пятибратском, часть земли крестьяне арендовали у уделов.

Я ехал шагом и, хлопая комаров на руках у себя, на лбу и шее, думал о своих, о жене и сыне, к которым возвращался.

Я думал о них, ловя себя на мысли, что вот я приеду и опять никогда им не узнать, как я думал о них этою дорогой, и будет казаться, будто я люблю их недостаточно, будто так, как хотелось бы им, я люблю что-то другое и отдаленное, что-то подобное одиночеству и шаганию лошади, что-то подобное книге. Но растолковать им, что это-то все и есть они, не будет никаких сил, и их недовольство будет меня мучить.

Поразительно, сколько было на их стороне правды. Все это были знамения времени. Их улавливало бесхитрое чутье близких. Нечто более неведомое и отдаленное, чем все эти пристрастия, уже стояло за лесом и вихрем должно было пронестись по человеческим судьбам. И они угадывали веянье грядущих разлук и перемен.

Что-то странное было в той осени. Будто перед тем как выпить море и закутить небом, природа вздумала перевести дыхание и его вдруг захватило. Не так куковала кукушка, не так белел и плющился спелый послеобеденный воздух, не так рос и розовел иван-чай. И не так возвращался человек к себе в семью, дорожке которой он ничего не знал.

Через некоторое время лес поредел. За неглубоким логом, межевою его границей, куда спускалась и откуда подымалась затем дорога, показался пригорок с несколькими строениями.

Роща, в которой стояла усадьба, заменяла ей ограду. Она была до того запущена, что могла позавидовать зимним кордонам лесников, попадавшим в разных концах соседнего леса. Изю всех глупостей, совершенных Александром Александровичем, эта была самая непростительная. Какой-то школьный товарищ, занятый в здешней промышленности, присмотрел для него этот ведьмовской уголок. Александр Александрович не глядя дал письменное согласие на сделку вместо приобретения луговых земель где-нибудь в средней России, где ему с большей пользой пригодились бы его животноводческие познания. Но о пользе меньше всего думал этот образованный и тогда еще не старый человек. Он тоже посвящал свои мысли далекому и отвлеченному. Недаром получил я воспитание в его доме наравне с Тоней, его дочкой. Как бы то ни было, становилось не до шуток. Сокровище это надо было как можно скорее продать на дрова, благо был на них спрос. Фабрики переводили с минерального топлива на древесное, в городе больше всего говорили об этом.

При виде флигеля под малиновой крышей Сорока пошла вскачь. С горы я увидел Тоню и Шуру, со смехом бежавших ко мне со стороны оврага. Конюшня так и стояла с утра настезь. Только ступил я на землю, как лошадь, вырвав поводья, ринулась в нее к корму и отдыху, слишком дразнившим ее глаз и обонянье. Шурка запрыгал и стал хлопать в ладоши, точно это было сделано нарочно для его забавы.

— Пойдем ужинать,— сказала Тоня.— Что это, ты хромаешь?

— Никак на ногу не ступлю, отсидел. Ничего, разомнусь, пройдет.

Из-за угла сарая вышел Демид и, скучливейше поклонившись, пошел расседывать и убирать Сороку.

— Да, там в ремнях за седлом папе подношенье. Надо отвязать и отнести. Где он, кстати?

— Папа уехал до вторника. Днем были с заводов. Сегодня девятое, там какая-то Марья именинница. А что это такое?

— Продовольственный паек. Если он на Крымже, то тем лучше. Второй получит.

— Ты, кажется, сердиться?

— Суди сама, это начинает входить в систему. Мы не бездельники, не юроды, а папа твой так и попросту отличный человек. Между тем все детство я на хлебах у вас, папа у своей родни, та еще на чьих-то и так далее и так до бесконечности. Мы могли бы жить не дармоедствуя. Сколько раз предлагал я подчитать наши знания и способности...

— Ну и что же?

— В том-то и дело, что теперь уже поздно. Это распространилось и стало всеобщим злом. В городе спят и видят, как бы попасть в приписанники к какому-нибудь горшку посытнее. Это возвращение possessions времен, знаешь ли ты, что это такое? Каждый, кого ни возьмешь, к чему-нибудь прикреплен и даже не знает, из каких рук в чьи завещан и передоверен. Источник самостоятельного существования утрачен. Согласись, радости в этом мало.

— Ах, как все это старо и надоело! Смотри, что ты делаешь. Это действие твоих монологов.

Мальчик плакал.

После ужина и примирения я ушел на кручу, обрывающуюся в задней части роши над рекою. Странно, как я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места, упоминаемом в песнях и занесенном на карты любого масштаба.

Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом как бы в сознание своего речного имени и тут же на выходе, в полуверсте вверх от нашего обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежащие ее занятию. Каждое ее колебание разливалось излучиной. Ее созерцание создавало заводи. Самая широкая была под нами. Здесь ее легко было принять за лесное озеро. На том берегу был другой уезд.

Я лег на траву. Я давно уже лежал растянувшись в ней, но вместо того, чтобы смотреть на реку, шевелил без смысла ногами тесных сапог, разглядывая их с высоты подложенного локтя. Чтобы увидеть реку, глаза надо было чуть-чуть приподнять. Я все время собирался это сделать и все откладывал.

Все шло не по-моему, но и не наперекор мне и, следовательно, ни по какому. Пожеланиям моим не хватало настойчивости. Уступчивость моя была не с добра. Страшно было подумать, от чего только не был я готов отказаться. Без меня родным было бы лучше, я портил им жизнь.

Постепенно мною завладел круг мыслей, привычных в те годы всем людям на свете и разнообразившихся лишь их долею и личным складом, да еще отличьями поры, в которую они приходили: тревожных в четырнадцатом году, еще более смутных в пятнадцатом и совершенно беспросветных в том шестнадцатом, осенью которого это происходило.

Мне снова подумалось, что было бы, может быть, лучше, если бы, несмотря на повторные браковки, я все же понюхал военного пороха. Я знал, что сожаленьям этим грош цена, добро бы я что-нибудь для этого делал.

Но прежде я жалел об этом из любви к жизни. Я жалел, что в ней останется пробел, если в памятный для отечества час я не разделю военных подвигов своих ровесников. Теперь я сожалел об этом из отвращения. Мне было жалко, что неучастие в войне сохраняет мне жизнь настолько уже на себя не похожую, что с ней хотелось расстаться раньше, чем она сама тебя покинет. А расстаться с нею всего достойнее и с наибольшей пользой можно было на фронте.

Тем временем наш берег покрылся тенью. У противоположного вода лежала куском треснувшего зеркала. Он повторялся в ней на лаках зловещей яркости, в духе этой недоброй приметы. Берег был низкий. Отраженья засасывало под травяную бровку луга. Они стягивались и уменьшались.

Скоро солнце закатилось. Оно село за моей спиной. Река запылилась, поросла щетиной, засалилась. Вдруг ее бородавчатая гладь задымилась в нескольких местах сразу, точно ее подожгли сверху и снизу.

В Пятибратском чуть вятно, но с видимой причиной залаяли собаки. Их лай подхватили на ближнем кордоне громко, но без причины. Трава подо мной заметно сырела. В ней лесными ягодами бредовой ясности зажглись первые звезды.

Скоро лай вдали возобновился, но роли в пространстве переменялись. теперь с явным поводом лаяли ближние, а дальние только подвывали. С лесной дороги

послышался стук колес. Донеслись неровные звуки ровного дорожного разговора. Разговаривающих подбрасывало в тарантасе. Поднявшись с мокрой травы, я пошел встречать нашу дачницу.

2. ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

Не успела переехать Истомина, как промелькнула осень, и мы стали собираться в Москву. А тем временем как в каждом из нас пробуждался столичный житель, сама природа городом обступила нас отовсюду.

Темным утром конца сентября Тоня попросила меня вывезть Шуру на прогулку. Ей самой нездоровилось. Погода показалась мне неподходящей. Не выходила и Катя, каждое утро игравшая с Шурой на дворе. Однако, настаивая на своем, Тоня уже кутала его и одевала. Взяв его за руку, я вышел с ним в лес.

Тьма и сырость тотчас огласились его разглагольствованиями. Это было щебетанье возраста, щелканье данного вида. Так, как он, рассуждала вся земная тварь, обществом которой, на аршин от земли, он наслаждался.

Вдруг он отбежал и стал звать меня к себе. По траве скакал и обрывался на взлетах галчонок с волочащимся крылом. Он не сразу дался нам в руки. Наконец, сложив ему крылья и выпустив из пригоршни колпачком нахлобученную головку, я с ним поднялся. То показывая его сыну, то поднося к груди, я долго стоял нагнувшись. Глаза мои были прикованы к рукам, а руки заняты колотившимся сквозь пух и перья сердцем. Когда, выпрямившись, я посмотрел кругом, глаз мой не поспел за быстрой переменой положения. Тогда дружная обособленность лиственного леса в хвойном, главное чудо осени, бросилась мне в глаза чуть ли не впервые.

Расписным и золоченым городом стоял первый во втором, и его улицы, колокольни и кровли дождевым небом облегал черная, дымом ввысь уходящая хвоя. В этом городе все и произошло.

С тех пор прошло двадцать лет. Они падают на революцию, главное происшествие, заслоняющее все остальные. Родилось новое государство, никем не описанное, небывалое. Его родила Россия, та Россия, которую застанут и потом покидают мои воспоминания.

Мой сын, физик с будущим, стал человеком в более прямом значении, чем если бы вырос, может быть, при мне. Мужественнее моего справилась со своими испытаниями так долго меня ему заменявшая мать. Жив Александр Александрович, неутомимый шестидесятилетний специалист-генетик. Казалось бы, на их счет я мог бы наконец успокоиться. И, однако, всякий раз, как я ворошу в памяти сцены той осени, я опять надолго заболеваю бессонницей, как в позапрошлом году, когда еще при жизни их главной виновницы стал впервые записывать эти происшествия.

Для их хода несущественно, в каком порядке они располагались. Внешность Истоминой не давала мне покоя. В этом не было особого дива. Она приглянулась бы всякому. Однако бешенство, называемое увлечением, завладело мною позднее. Сначала я испытал действие других сил.

На пороге третьей военной зимы, неотвратимо близившей народное бедствие нашего полного разгрома, Истомина единственная из нас была человеком с откровенно разбитой жизнью. Она всех полнее отвечала моему чувству конца. Не посвященный в подробности ее истории, я в ней угадывал улику времени, человека в неволе, помещенного во всем бессмертии его задатков в грязную клетку каких-то закабальюющих обстоятельств. И прежде всякой тяги к ней самой меня потянуло к ней именно в эту клетку.

Приближался день нашего отъезда, билеты были заказаны. В отличие от прошлых зим Демид на эту просился к родным в Пятибратское. Учительскую квартиру в Юрятине получило новое лицо. Но не видно было, чтобы эти приготовления чем-нибудь беспокоили Истому.

— Поговори с ней, — попросил меня Александр Александрович. — Не брать же ее, в самом деле, с собою в Москву.

Я не помню ее ответа, так памятно мне, что его-то я при этих обстоятельствах все равно что не получил. Может быть, она сказала, что собирается стеречь дачу, если мы ее не гоним, но готовность прозимовать одной с ребенком в огла-

шаемом волками и заметенном вьюгами лесу, какой же это был ответ? Жаль, что не прибавила она, что одна не останется и защитники у ней найдутся.

Я передал разговор Александру Александровичу и сказал, чтобы они ехали, а я задержусь еще немного на мельнице, чтобы дописать статью об исторических источниках пугачевского преданья, начатую тем летом по его почину; когда же помогу Евгении Викентьевне приискать угол в Юрятине, вернусь домой с готовой статьей — по моим расчетам в ноябре или, во всяком случае, не позже его исхода.

Здесь не было задней мысли. Таковы были мои истинные намерения. Никто в этом не сомневался. Но родные оказались дальновиднее. Они приняли мое решение с большой тревогой, точно знали наперед, что случится, и стали меня от него отговаривать. Разговоры затягивались за полночь, нарушали распорядок дня и оканчивались общими слезами. Но я не сдавался. Отъезд пришлось отложить на несколько дней, после чего его больше не отменяли.

После одного такого разговора с Александром Александровичем я долго не мог уснуть на полу в сторожке, на который перебрался с постели, чтобы не мешать крепко спавшей Тоне напряженностью моего бодрствования.

Весь день недвижный дождь на границе измороси без капанья каплями висел в воздухе. Временами прояснялось. Набрав в жабры облаков сколько они вмещали свежести и свету, вплавь показывалось небо, низко мчавшееся над двором. Мглу раздирало до ушей. Это длилось мгновенье. Ее концы сходились. Становилось темно, как ночью.

Мы разговаривали у него наверху, над истоминским низом. С некоторого времени упоминанья о ней в ее отсутствие ранили меня, получив осущитость лишенья. Мне хотелось избежать этой слабости. Мы о ней не заикались.

В этот день она в первый раз топила. У Александра Александровича было жарко и накурено. Все время он то зажигал, то гасил огонь сообразно погоде и всякий раз, прежде чем насадить ламповое стекло на решетчатый кружок горелки, играл им, перекачивая в руке и согревая дыханьем. Но это не облегчало пошманья. У него было установлено, что я охладел к Тоне и недостаточно люблю Шуру, и легче было бы сдвинуть гору, чем переубедить его.

— Я больше не могу, — говорил я. — Тевтоны и проливы у меня вот где сидят. Я чувствую, как дичаю и дурею. Тоня и Шура не видят жизни. Выжиданием мира я развеществляю ее. Вспомните Протасова из «Живого трупа». Мне надо устраниваться. Когда родился Шура, я был на его счет спокоен. Как все мне удавалось, какая деятельность рисовалась впереди! Я мог надеяться, что ему будет на кого оглянуться, как мне на вас, хоть вы мне и не отец. Какое детство вы мне обеспечили, какими окружили картинами! Правда, жалко, что я не обучен какому-нибудь ремеслу, но такие сожаленья в России будут раздаваться часто. Образование, направленное на обман, долго будет нашим проклятьем. Но это не ваша вина. А за воспитанье навек вам спасибо. Нечто подобное хотел я оставить своему ребенку. Но кто мог думать, что на нас надвинется такая небывальщина. Вглядывались ли вы когда-нибудь в Шуру как следует? Чертами лица он в Тоню, а их жизнью и игрою — в меня. Глаза же у него не от нас, это свое, но лучше бы этого не бывало. В них мольба и недетский испуг. Точно это не зрачки, а руки, вытянутые в отвращенье близящегося несчастья. — Я не выдержал и заплакал. — Так смотрят обманутые. Это я обманул его, залучив в жизнь неосуществимыми надеждами. — И, окончательно разрыдавшись, я закрыл лицо руками.

Александр Александрович задул лампу. Бледный день, до неузнаваемости обезображенный ненастьем, пробрался в комнату. Александр Александрович шагал по ней и разносил меня на чем свет стоит. Внизу пекли картошку в золе и гремели печной заслонкой.

Вдруг какой-то удар в оконное стекло заставил нас обернуться. По нему, плющимаая ветром, серебром и ртутью разбегалась вода. Два кленовых листа сидели на нем как приросшие. Мне страшно хотелось, чтобы они отвалились; точно это были не листья, а мое решение зимовать на мельнице, тяготившее меня не меньше близких. Но вода бежмя бежала по стеклу, а листья не трогались, и это меня угнетало.

— Что же вы остановились?— спросил я Александра Александровича. — Вы что-то хотели сказать о моих родителях. Ну да — ссыльный поляк и дочь кантониста... И я потерял их трех лет от роду и слишком поздно узнал по рассказам. Что же дальше? К чему вы их приплели?

— Так как же тебе не стыдно! В кого ты уродился? Уж ежели кому сокрушаться об отечестве, так мне сам бог велел. Я явление потомственное, Александр Громеко, член военно-промышленного комитета, ну не член, черт с тобой, а консультант, и не комитета, — с тобой язык сломаешь, но дело не в этом. Я с верой смотрю на будущее, а тебя пугает приближение революции.

— Боже мой, боже мой, что за пошлость! Уши, честное слово, вянут! Смейтесь надо мной, но хоть без подчеркивания.

— Какой тут смех. Тут, брат, не до шуток. Любопытно, что бы ты мне ответил, если бы это было не в шутку.

— Я бы вам напомнил ваши собственные слова по возвращении от Голоменникова — помните, вы туда ездили на Марью? Помните, как он вас тогда срезал? Развал армии, понявшей свое поражение, еще не революция — так, по крайней мере, вы передавали. Волны общественного недовольства выше, чем в пятом году, но обстановка другая. Дни рабочей группы в военно-промышленном комитете сочтены, и ее не сегодня-завтра арестуют. Если собрание распыленных сил не произойдет раньше, чем разразится ураган, нас может ждать анархия. А это — Голоменников, не мы с вами, человек свой в революции, со связями в Финляндии и петербургском подполье... Да что вы, в самом деле, глазами хлопаете? Ведь я вам повторяю, что сам от вас слышал, если только вы этого не сочинили. Так о какой же вы тогда революции? Да и разве в этом дело?

Разговор замедлился и вернулся к прежней теме. Я напомнил Александру Александровичу сцены детства, проведенного в его доме. Эти сцены и обступили меня ночью. Из-за печной разгородки доносилось бормотанье Шуры. Он смеялся во сне. Рядом раздавалось мерное дыхание Тони.

Я отдался воспоминаниям тем охотнее, что они куда дружнее соединяли меня со спавшими, нежели тогдашняя моя, на смех мне данная свобода. Кое-что я расскажу.

3. НАДМЕННЫЕ НИЩИИ

Тысяча девятьсот второй или третий год, жаркий день апреля. Видимо, это на Фоминой перед обычным в Москве майским похолоданием. Кругом простор и широкая слышимость, сменившие долгошумные проводы пасхи. Небо еще не просохло от целодневного звона, которым его поливали всю святую.

Мне девять лет — десятый. Уже полчаса как я без дела слоняюсь по 3-му Богоявленскому, заглядывая в его дворы и зазевываясь на колокольни. Скоро я тут поселюсь в доме Громеко. Пока же, хотя и частый его посетитель, я переулку еще чужой и плохо знаю эти места.

Какая-то площадь виднеется вдалеке, за дровяным двором, обрывающимся в нижнем конце переулка. Я не знаю, что это Большие Скотники, которые так поразят меня через два или три года, и что из двух домов на площади один, многостекольный и из голого кирпича, — Щепихинские мастерские, а другой, крашенный в охру, — Анилиновая фабрика Анонимного общества. Также не знаю я, что вопреки настоящему своему названию красивая церковь с тринадцатью куполами в верхней части переулка зовется Взысканием погибших, по имени чудотворной иконы, в ней находящейся.

Еще квартирую я у Федора Степановича Остромысленского, дальнего родственника Громеко, их седьмой воды на киселе, которого вслед за всеми зову дядей Фелей. Никогда не задумываюсь я над тем, кем он мне приходится. Матерна Ивановна Белестова, дочь псаломщика, молоденькая его сожительница и по этой причине отверженница родной семьи, величает его моим сухотником, то есть человеком, призванным обо мне заботиться. Сколько себя помню, я всегда с ним, хотя и не знаю, как у него очутился.

Сейчас он у Громеко, а меня оставил на улице, чтобы я случился под рукой, когда ему туда понадобится. Я на часах — караулю эту минуту, хотя и не ведаю, как о ней узнаю.

Вчера его письмецом вызвали сюда, и, видимо, неприятным. Его подали вечером, а до этого день прошел по-заведенному. После обеда дядя Федя разобрал сломанные кухонные часы. Это была главная его страсть. Их он разобрал на своем веку несчетное множество, но не собрал ни одной пары. Потом, разобрав меня не за тот табак и послав на Сретенку за новым, набивал папирсы. Потом, вспомнив про расшатанные табуретки, со стамеской и рубанком пошел на кухню пристрагивать им новые ножки, но, не закончив дела, только задал хлопот Моте: засыпал стружками белье на гладильной доске и опрокинул на пол жбан с горячим столярным клеем.

Потом присел к окошку с «Единственным и его достоинством» Макса Штирнера, книгой действительно вредной и полной грубых заблуждений, но на которую он стал бы шипеть и в том случае, если бы это был глагол самой истины. Книги, вообще говоря, читал он только затем, чтобы потом их опровергать в моем и Мотином обществе. За чтением имел он привычку напевать что-нибудь вполголоса, а слуху у него не было никакого. Штирнера этого читал он почему-то на мотив «Среди долины ровные», прерывая его восклицаньями: «Ах разбойник! Ну погоди же, покажу я тебе!»

Тем временем жизнь двора шла своим чередом. Он помещался в одном из переулков между Сретенкой и Цветным бульваром. Цежеными трелями заливались канарейки у бобыля, промышлявшего ими на Трубе по воскресеньям. Тагарам, торговавшим кониной, привозили и выгружали синие конские туши с умными мраморными головами. Кот из конских барышников, недавно выпущенный из тюрьмы, избивал свою мамашку, как тут говорили, и она возбуждительно визжала, а потом в соблазнительной растерзанности вырывалась наружу плакаться встречным и поперечным. Но всему безучастная и как бы окаменев от запоя, раскорякой стояла старая нищенка близ помойной ямы. Старуха ветошница со щепой в мешке, казавшемся костлявым ее продолженьем, угощала ее козьей ножкой. Обе, жмурясь, затыгивались, отхаркивались басом и, сплевывая и почесывая зады, смотрели на круглое небо с круглым солнцем, стоявшим прямо над дворовою дыроу.

Письмо подали перед ужином. За рассольником с потрохами и студнем из телячьих ножек дядя Федя жаловался на людскую напраслину, смолоду его преследовавшую.

— Лучше б вам все-таки куда-нибудь определиться, — робко замечала Мотя. — И самим было бы приятнее, и легче смотреть в глаза людям. При типографии Архива чем была не служба? Ну, о городском училище я не говорю. Обучение детей, видно, не по душе вам, и это правда, хуже нет, когда начальство в букварях ищет смутьянства.

«Чем живет дядя Федя?» — думаю и я, разгуливая по 3-му Богоявленскому. Александр Александрович читает в Петровской Академии и пишет руководства по естествознанию, его брат Николай — профессор римского права, его зять Канчугин занимается врачебной практикой. Я перебираю всех, кого знаю, вплоть до знакомых столяров, сапожников и горничных и прихожу к заключению, что у дяди Феде есть какой-то секрет ни жать, ни сеять и питаться как птицы небесные, если не лучше.

В противоположность нашим краям окрестности четырех Богоявленских полны чистоты и поэзии. В тени без утомону возятся воробьи, бульжины пахнут скорородной пригарью солнцепека. Точно в частом поту свешиваются липовые побеги в крепко, до едкости пахнущих почках. А в церковном саду у Взысканья погибших тополя уже в молодом листе, точно во всем жары ради сменном летнем.

А внизу еще сыро. Груды белшафранного швырка на дровяном дворе плавают в горячем шоколаде черной слякоти.

Как яйцо в глазунью, выпущен в лужи синий белооблачный полдень. Всю страстную тут гоготали гуси, соперничая в белизне с последними сугробами.

Но теперь тут ни гусей, ни снега. Головастые ветлы над конторой угорают от грачиного крика. По двору дрогливо и рассудительно похаживают куры. Дворы всем околотком отвечают петуху, скрытому за поленницей. Но вот и сам он, масленоголовый и шелковобородый, — рясоформная бисерящаяся птица самоварного золота. Видно, опять пора ему раскатить свое «слушай» по всем карауль-

ням — так выпрямляется он, точно аршин проглотил, перед тем как загорланить. Потом давится, как костью, кукареканьем и, обугливаясь жаром пера и хвостом осыпая искры, оправляется от запевки, точно облегчив желудок. Тихо кругом. Жарко.

Но что это? Не сигнал ли мне? Зажмурясь, как перед выстрелом, обеими руками открывает окно гостиной старая громековская девушка Глафира Никитична. Приткнув половинки крючками и сложив руки под передником, она локтями и грудью ложится на подоконник. Перед ней через дорогу три этажа каменного противоположного дома.

— У вас, видать, новенькая, — негромко, как из комнаты в комнату, обращается она куда-то под крышу. — Вы ей прикажите наперед мелом, а то что ж это такое: возит, возит, не отмаетеся.

Не слышно, что ей отвечают. Из громековского полуподвала выходит обойщик Мухрыгин, личность, прежде времени сморщенная смешливостью и склонностью к душевным угрызениям.

— Вы их послушайте, мадам, — говорит он в ту же сторону. — Подол задирать — все равно крыши не покроешь. А окна мыть — на это самые знающие маляры. Тут не мыло, тут надоть мел.

Обогнув дом, я двором прохожу в него с черного хода.

Тут первым делом попадаю я в обширные сени. В них широкое трехстворчатое окно. Из них поднимается лестница в мезонин.

На дворе перед сенями растет старый трехствольный тополь. Летом, когда он зазеленеет, стекло в окне кажется бутылочным и все играет пивными зайчиками бурого зноя.

Посмотрев через дверь, я вижу у окна в гостиной Тоню с детским рукодельем. Не глядя на работу, она к чему-то прислушивается.

— Что ты тут делаешь? — спрашиваю я, подойдя к ней.

Ничего мне не ответив, она прикладывает палец к губам, а потом вдруг говорит:

— Ты теперь бедный. Совсем-совсем. Они говорят, он тебя как кустик объел. Не спорь, я сама слыхала. Все, говорят, спустил и профарфорил. Тебя отдадут в гимназию. Ты будешь жить у нас.

Дверь из будуара Анны Губертовны, называемого бабушкиной угловушкой, приотворена. Ее за ручку придерживает изнутри дядя Федя. Видимо, он собирается уходить. Но вот он снова ее притворяет, оставив щель. Там дымно и много народу. Но это может быть обман чувств. Этому способствует обстановка угловушки.

Там с потолка низвергается целый дождь благозвучных стеклянных подвесков, с бамбуковых жардиньерок спускаются усики вьющихся растений, перед окнами просвечивающие слюдяные картинки на цепочках, а у входа камышовая с бисером занавесь, в струйчатых изломах которой и стоит дядя Федя.

— Главное, он обижается! — голосом тигрицы вырывается из этой тростниковой заросли. — Подумаешь, казанская сирота!

Это голос громековской невестки, запойной кофейницы и любительницы меховых палантинов, бровастой брюнетки. Дяди Феде не слышно, он говорит вполголоса. Вероятно, он предлагает очную со мной ставку. Это вызывает новую бурю негодования. Все говорят разом, нельзя отличить кто о чем.

— Детей впутывать? — Опомнитесь! — Вы тунеядец! — Недавно у нас в сиротском суде... Мамуриться, брат, можешь с кем тебе угодно, но дети... — Не ваше дело, бога вы не боитесь. — Лучше скажите, что вы сделали с закладной? — Bravo, Анета. Да, да, ты нам ответь, что ты сделал с закладной. — Наука? — В интересах науки? — Нет, он мертвого рассмежит! — Ну и горе-аптекарь, нечего сказать. — Анисову настаивать или зверобой... Ха-ха-ха! — И спаситель наш... Моментально, Федор, прекратить, а то я при всех такую покажу тебе паперть — будешь у меня жалобить, как на Хитровке. — Успокойся, Саша, умоляю. Тебе вредно расстраиваться.

Голоса выравниваются. После общего крика их спокойствие кажется гробовой тишиной. На семейном совете обсуждают что-то практическое. Дядю Феде просят вглубь, к круглому столу. Частыми вызовами посылают Глашу то за чаем

с птифурами, то за чернильным прибором. Она его приносит на подносе, с сургучом и свечкой в подсвечнике. Составляют и подписывают какую-то бумагу.

Мы с Тоней собираемся наверх в ее детскую, но как пригвожденные остаемся на месте. В дверях показывается дядя Федя, долговязая орясина в очках, с отращенными волосами, живая всему на свете укоризна в серых штанах, заправленных в мягкие валенки.

Он нас не видит. Дойдя до середины зала, он с разбегу останавливается. Наклонившись вперед и ладошкой подгребая бороду, он задумывается. Решив оставить последнее слово за собой, он поворачивает назад к будуару.

— Дядя Федя! — окликаем мы его, предупреждая о своем присутствии.

— Зачем вы тут, дети? — говорит он, забыв о данном мне поручении.

Передумав заходить в угловушку, он в рассеянности направляется к выходу, но, вспомнив о нас, возвращается.

— Прощай, Патрикий, — с дрожью в голосе говорит он. — Расти и тут, как рос у меня. Добрые семена, которые я заронил в тебе, не пропадут даром. Малы вы еще понимать, что тут приключилось, в этом женском кабинете. Господь терпел и нам велел. Прощай, Патрик. Прощай, Антонина. И, прошу, не провожайте меня.

На другой день я поселился под одним кровом с Тоней.

Впоследствии, когда наряду с историографией пристрастился я к литературе и призвание столкнуло меня с учением о типах, доверие к теории было у меня в корне отбито воспоминаниями о первом моем покровителе. На своем детском опыте научился я думать, что всякая типичность равносильна неестественности и типами, строго говоря, бывают лишь те, кто в ущерб природе сами в них умышленно лезут. Зачем, думалось мне, тащить типичность на сцену, когда уже и в жизни она театральна? Силу свою дядя Федя полагал в пародии на народника и светлую личность, которую, не имея об этих вещах никакого представления, он из себя корчил.

Свою склонность к отвлеченным существительным среднего рода и неопределенным местоимениям принимал он за философскую жилку. Каким-то срезгенским Диогеном казался он себе и свою ничем не выделяющуюся серость считал качеством простого народа.

Как могло родиться такое притязание? Рядом жил и двигался этот народ, сплошь ремесленник, деталист, знаток чего-нибудь одного, мастер и фанатик частности, дитя страсти и игрушка случая, а он не видел его острой отчетливости, воспринимаемая в той водянистой и напыщенной общности, которую сам являлся, ничему толком не обученный, приблизительный, никакой, всякий.

Прошли годы и не изменили его. Не изменило и несчастье. За него отдувалась Мотя, распродававшая его книги и благодаря каллиграфической руке зарабатывавшая перепиской бумаг и нотариальных актов.

Химик-любитель по Рубакину, кипятил он однажды какую-то смесь. По неизвестной причине пробирку разнесло вдребезги. Мига не прошло, как лицо его превратилось в кровавую кашу. Он ослеп в несказанных мучениях, оба глаза были забиты мельчайшими стеклянными осколками.

В последних классах гимназии занимался я платным репетиторством. Один из уроков давал я на Царицынской. Остромысленские после несчастья жили в Хамовниках. У меня был их адрес. Я решил их навестить.

Окна кухоньки, которую они снимали в нежилой, сдававшейся под контору квартире, выходили на улицу. Из них раздавались ровные звуки Мотина голоса. Она вслух что-то читала. По перводвигателю, материи и форме можно было догадаться, что это Аристотель в каком-то допотопном переводе.

— Вы это понимаете? — перебила Мотя свое чтение.

— А что тут понимать? Явная галиматья. Автора не трону, имя почтенное, а переводчику не поздоровится. Продолжай, пожалуйста.

Тут я их окликнул. Оба мне обрадовались и стали звать внутрь. Но у меня было подряд два урока. Я пообещал зайти в другой раз, а пока, сказал, постою на улице. Так мы и разговаривали.

Некоторое время все шло хорошо. Дядя Федя мало изменился. Ранения на лице зажили без следов. Он слегка поседел. Разговор шел в соответствии с теп-

лым уличным воздухом, с нашими местами в кухне и на тротуаре, с разницей нашего возраста.

— Ах, годы, годы, — говорил дядя Федя. — Где же ты столько пропадал? Мотя, обсмотри его со всех сторон и опиши. Важничает? Вырос? Небось важничает, морда лошадиная. А Матрена Ивановна в январе папашу похоронила, ты почувствуй.

С этой фразы все переменялось. Мне бросилась в глаза Мотина молодость и миловидность. В нее так легко было влюбиться. Не должен был так говорить об ее утрате этот старый дурак, никакая ей не поддержка и горю ее вероятный виновник. Мне стало противно.

— Слухами земля полнится. О пробах пера твоих знаю, — сказал он и заговорил о них подробнее. В принципе он их одобрял, но предостерегал от дурных примеров. Под последними разумел он как раз все то, чему поклонялся я тогда, пред чем благоговел.

В вырезе усов и бороды двигались его губы, самодовольные, как две астраханских виноградины. На них страшно было глядеть, потому что в живом своем блеске производили они впечатление зрячего места на этом гладком лице, затянутом и успокоенном слепотой. Он поучал, наслаждаясь, точно десерт ел, а я вынужденно соглашался, чтобы не огорчать его.

— Хоть на крылечко бы зашел. На минутку, — позвала Мотя, чтобы прекратить мученье моего недобровольного предательства.

Я послушался. Завернув во дворик, я застал ее сидящей на ступеньке с толщеннейшим священным писанием на коленях. Мусля палец, она быстро его перелистывала и, не подымая головы, подала мне для пожатия левую руку.

— Вот гляди, Патричок, что покажу тебе. Вот гляди, на что на днях нагнулась. Ах да куда ж оно занастылось? Вот. Вот смотри.

«И три рода людей, — прочел я в стихе, — возненавидела душа моя: надменного нищего, лживого богача и старика прелюбодея...»

— Надменного нищего, — с торжеством повторила Мотя. — Каково, Патричок? Не в бровь, а в глаз!

4. ТЕТЯ ОЛЯ

У Александра Александровича была сводная сестра Ольга Васильевна, слушательница Высших женских курсов Герье. Это была миловидная блондинка, любившая поговорить и подурачиться, существо компанейское и страшная непоседа.

Она принимала близко к сердцу все частности академической жизни у себя и в университете, и значенье, которое она им придавала, часто производило комическое впечатление.

В девятьсот четвертом году, работая одно время в студенческой столовой, она с увлечением рассказывала о борьбе, которая ведется между кассой взаимопомощи и прежним Обществом вспомоществования, которое она призвана заменить.

Александр Александрович не понимал, как можно с таким жаром толковать не о помощи нуждающимся, а о том, где и под каким именем она будет производиться.

— Что ж тут непонятного? — в свою очередь удивлялась Оля. — Общество — учреждение официальное, утвержденное попечительством, а касса — начинанье демократическое и, занимаясь текущими нуждами, не будет чуждаться политики.

— Виноват, — поправлялся тогда Александр Александрович. — Я не говорю, что не вижу разницы. Наоборот, она так очевидна, что разговор выеденного яйца не стоит. Ты же рассуждаешь об этом как об историческом событии.

Историческим событием все это потом и стало.

Весь год Оля носилась по студенческим сходкам и не пропустила ни одной демонстрации, с которых иногда влетала к нам со свежими политическими новостями. К весне тысяча девятьсот пятого года она была уже записной и признанной пропагандисткой. Тогда случай свел ее с одним любопытным человеком.

В середине января, вскоре после событий девятого, выступала она на парфюмерной фабрике Дюшателя, где было много рабочих. Собрание происходило на фабричном дворе, под открытым небом. Возбравшись на перевернутый ящик, Оля призывала собравшихся примкнуть к забастовке протеста, готовившейся в ответ на происшедшее. Ее слушали с земли и таких же ящиков, во множестве загромождавших вход в экспедицию и браковочную.

Хозяева вызвали казаков. В те месяцы их было не узнать. Булыгинский проект¹ узаконивал крамолу. Им все чаще давали отпор на улицах. Казаки стали в отдаленье за воротами фабрики и нагаек в ход не пускали.

Как бы то ни было, собравшимся предложили разойтись, и Оле, которую застали говорящей, грозил неминуемый арест. Тогда, чтобы запутать картину, работницы стали влезать на ящики и перекрикиваться издали и, постепенно окружив Олю, дали ей с ними смешаться. В давке, образовавшейся перед проходною, чьи-то руки накинута на нее тулуп и платок. В тулупе внакидку вместе со всей ватагой Оля вышла с двора и неузнанною прошла мимо казаков. Дальше толпа разбилась, и когда улицы через три Оля вспомнила про платок и тулуп, не у кого было спросить, кому их отдать.

За ними от Дюшателевой работницы пришел в воскресенье упаковщик той же фабрики Петр Терентьев, рослый малый в ватном пиджаке и высоких сапогах. Он стал у двери и не проронил ни слова, пока Оля суетилась, оправдывалась и увязывала вещи в худую, но чистую простыню.

В марте она его видела два раза на загородных массовках. На первой, где она выступала, они только поздоровались. На второй, по нездоровью отказавшись от слова, она сама попала в его слушательницы, и они потом разговорились.

Массовку устраивали мебельщики со Стромьинки при участии соседей, рабочих Ярославской железной дороги. Ни к тем, ни к другим Терентьев не имел никакого отношения. Олю удивило, что все его знают.

Весна только начиналась. По ложбинам кусками черного мела залеживался снег. Сидели на пнях и бревнах недавней лесной валки.

На собрании выступил анархист. Еще раньше Терентьев подсел к Оле. Разложил на коленях газету, он резал хлеб и чистил крутые яйца. Когда заговорил анархист, он стал сопровождать его речь замечаниями, обнаружившими ум и начитанность. Оля подумала: «Какой же это укладчик?»

Вдруг анархист кончил и все закричали:

— Терентьев! Петька! Валяя анархию по косточкам!

Он не дал себя упрашивать, аккуратно стряхнул с платья яичную скорлупу и крошки ситного, утер рукою рот и, поднявшись, стал возражать предшествующему оратору.

Интеллигенты-общественники любят говорить под народ, что выходит нарочито, даже когда не перевирают словорек. Подымаясь в общественники, народ потом копирует эту копию, хотя мог бы без чувства фальши пользоваться живущим в нем оригиналом. Так, то вдруг нескладно-книжно, то неумеренно образно, говорил и Терентьев. Но все это было умно и живо.

Пустую вырубку окружали голенастые ели и сосны. За ними лиловела голая, еще только что отзимовавшая чаща. Из нее заплывал паровозный дым и тянул ключьями до самой заставы.

Обратно шли пешком. По Сокольническому шоссе летели вагоны недавно проложенной электрички. Оля что-то сморозила насчет тока и тяги, и Терентьев подивился ее техническому невежеству. Чтобы сгладить неловкость, он сказал:

— Тянет «Коммунистический манифест» почитать, а по истории я ни в зуб. Скоро лето, вам не учиться. Что, если б вместе?

После двух-трех встреч она узнала. Он сын клепальщика Люберецкого депо, чуть ли не с двенадцати лет стал на ноги, одну за другою окончив две школы, городскую и ремесленную; шестнадцати лет поступил на службу мастером на пятнадцатирублевое жалованье; учась на каждом новом месте и чтением пополняя образование, переходил с фабрики на фабрику; рано просветился политически; сидел в частях и высылался по этапу; а главное, как она давно уже подозревала, в парфюмерных упаковщиках скрывался с последнего места, где, кроме

¹ Проект привлечения избранных лиц к законодательству министра внутренних дел Булыгина. Так называемая Булыгинская дума не состоялась.

сборки дуговых фонарей, был организатором среди товарищей и откуда должен был исчезнуть.

— Вы очень способны, знаете ли вы это? — говорила она ему, когда невзначай он ненадолго заходил к ней, всегда куда-нибудь торопясь.

От хозяйки приносили самовар, и, заварив чай, Оля принималась что-нибудь рассказывать, про что сама узнавала из десятых рук утром или накануне. Про недавно состоявшийся Третий съезд, например, или про то, как относятся к вопросу власти в Лондоне и Женеве. «Мы, социал-демократы, полагаем», — говорила она. Или о тогда еще новом расколе: органы социал-демократии стали органами борьбы против социал-демократии². И на цыпочках подходила к двери проверить, не подслушивают ли. Терентьев выпивал стакан-другой и уходил, поблагодарив за беседу.

Иногда, но это было позднее, летом, дождь или какая-нибудь другая нечаянность задерживали его. Он садился что-нибудь обдумывать и вычерчивать. Идеи механических упрощений занимали его и задачи вроде изобретения сверла, развертывающего четырехугольные отверстия.

Оля читала что-нибудь вслух, а он сопел, откидывая голову набок, справа и слева осматривал рисунок и насвистывал, и эта работа нисколько не мешала ему следить за Олиным чтением. Комната была в два света, и они отворяли в ней все окна.

В задних, за спинками стульев, виднелся двор, в передних — переулок, и трудно было поверить, что и в природе они не разделены так же полно. Но внешне их объединяла смена тождественного освещения.

Двор и переулок заливался желтым, как сера, светом, признаком кончающегося дождя. Но он возобновлялся, весь в мерцающих струях, точно натянутых на раму ткацкого стана. Желтое освещение сменялось черным, если такое выражение допустимо, черное — красным. В закате загорался притвор Спаса в Песках и черепные впадины его звонниц. Заглухший самовар приходилось раздувать. Это почти никогда не удавалось. Его разводили сызнова.

Подирадывались сумерки. Оля закрывала книгу. Чай садились пить в надвинувшейся темноте. Только руки, сахарница и что-нибудь из закусок озарялись на минуту красноватым вздохом угольков, падавших в решетку самоварного поддувала. Вдруг занавески или страницы книги приходили в трепещущее движение, легкомысленное и тревожное, как мелькание ночной бабочки. Отблеск уличного фонаря заскакивал на вздрагивающую оконницу, или на глазной белок Терентьева, или на голую кафлю голландки. И тогда неловкое волнение, давно охватывавшее Олю, становилось очевидным.

— Опять гроза от Дорогомилова, — говорила Оля и поднималась, чтобы затворить окна надворного ряда, а когда возвращалась на место, мысли ее полужали неожиданное направление.

Ей вспоминалась работница, не пожалевшая для нее платка и тулупа, и все, относящееся к этой неведомой женщине, начинало необычайно ее занимать. Но что-то не нравилось Терентьеву в ее расспросах. «Вдова, трое детей мал мала меньше, золотое сердце», — почти отмалчивался он, и Оля не знала, чем ей огорчаться: тем ли, что она может причинить огорчение незнакомой женщине, ничего, кроме добра, Оле не сделавшей, или тем, что никакого огорчения она ей причинить не может, такая у той власть и сила.

Но это было летом, а друзьями они стали раньше, и раннее еще весной предложил он ей как-то навесить своих. Она стала перелистывать расписание, думая, что он приглашает к старикам в Люберцы. Но свои оказались инструментальною Казанских железнодорожных мастерских.

На станках рядами притирали какие-то части, и так как гул валов все равно заглушил бы голоса, то Терентьеву только знаками выразили свою радость и неопределенно кивнули Оле. Кто помахал рукой, ладонью разгоняя круглую рукоятку тисков, кто, нагнувшись к соседу, мотнул на вошедших головой и, что-то крича ему в самое ухо и смеясь, почесал бритую морщинистую щеку и стал рыться с выбором в грудке железной мелочи, чтобы сменить резец в гнезде или пере-

² Имеется в виду III, Лондонский съезд РСДРП(б) и Женевская конференция меньшевиков. Из состава центрального органа «Искры», которая стала меньшевистской, Ленин вышел осенью 1904 года.

менить деталь в патроне. С ленивой телесностью, как волос в парикмахерской, на пол падало жирное серебро стальной стружки. Как иные звания объединяет язык и платье, все движенья вплоть до сверканья зубов и улыбки подчинялись ходу незримого двигателя, раздувавшего тещины языки вытянувшихся трансмиссий. Мимо обширного застекления с полопавшимися стеклами, сотрясая полы и своды, пробегали поезда и паровозы. Но свистков не было слышно, лишь видно было, как отрывались от клапанов петушки белого пара и отлетали в пустое послеобеденное небо.

Все же несколько человек терентьевских приятелей вышли в разных местах из рядов. Одни, отлучаясь на короткое время, перевели станки на холостой ход. Другие, имея в виду постоять и поговорить, сняли их с привода.

Части, при вращении сплошь казавшиеся круглыми, по его прекращении лишались симметрии. Воображаемые валы и оси, приходя с замедленного бега в состояние покоя, оказывались четырехгранными брусками неправильной формы, с вынутыми шейками и непарными шипами. То же самое делалось с товарищами Терентьева по мере их приближения. Общеприличное отступало перед силой разностей и несходств.

С видом его ровесников, хотя некоторые были вдвое старше, они окружили стол у входа с какими-то наглухо приделанными к доске лекалами и винкелями, на который он сел и, помогши Оле вспрыгнуть, усадил ее рядом.

— Никак престол на парфюмерной, что в прогулочке? — спросили его, здороваясь.

— Н-да, святомученика Дюшателя, — понимающе усмехнулся он и прибавил: — Нет. Сами по себе шабашуем, — и рекомендуя округленьем показал на Олю, знакомя.

Все стали здороваться за руку, и, как всегда, рук оказалось больше, чем кажется сразу в толпе. Некоторые знали ее по митингам в консерватории. Это ей польстило. Посыпались новости. Кто-то сказал:

— Помнишь Назарова?

— Ну как же.

— Попадетя — остерегайся. Провокатор.

— Быть не может.

— Будьте покойны.

— Где ж он теперь?

— А мы что — каменные? В февральскую стачку четверых уволили по нашему требованию. Ну, то же и он.

— Видите, как вас убажуют. На задних лапках ходят. А вы не верили.

— Это кто ж не верил?

— Да я первый.

— Вот так клюква!

— А что же ты думаешь? Бывало, подымаешь вас на шарап, сулишь вам золотые горы, а самого раздумки берут. Быть-то оно, думаешь, будет, да только за тем морем, что хвалилась синица зажечь. А она его, стерва, возьми и зажги. Зажгла. Показали мы им прибавочную стоимость.

Ему стали рассказывать о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы и других улучшениях, достигнутых без него, в февральскую стачку.

В разговор давно старался вмешаться темный, как прокуренный мундштук, модельщик с пучками волос в ушах и ноздрях, морщивший лоб с такой натугой, точно весь его надо было упрятать под черные очки. Ввиду неисполнимости намеренья верхняя часть лица выходила у него разочарованно-сердитой, а нижняя, в свисающих усах, удовлетворенно улыбалась. Наконец к нему прислушались.

— Это что! — рванул он и, как клещами гвозди, стал тащить хрипотою погнутые слова со дна самой, казалось, селезенки. — По свистку в главной конторе курсы Французской революции. Ей-богу правда, расшиби меня гром. Лектор каждую среду, по казенному найму.

— Правда, правда, — подтвердили остальные.

— А также Соединенные Штаты, — добавил кто-то для точности.

— Это для желающих, — одернули выскочку, чтобы не портил цельности впечатленья.

Слово вернулось к модельщику.

— Пуговкин в ночной смене, — пожалел он. — А то б ты послушал, как он солдат перевозил.

— Это какой же Пуговкин?

— Да знаешь ты его. Такой сознательный. Песочная пара.

— Не знаю. При мне не было.

— Выдумывай! Двадцать раз вместе видали. Выговор такой польский: ах, быуа не быуа, песочная пара. Такой аккуратенький.

— Не помню.

— Сижу в бюро и часы от Буре...

— А, Козодой, что ли?

— Во-во.

— Так бы ты прямо и сказал.

— В феврале дорога нас поддерживала. Он от мастерских прошел в комитет. Пуговкин. Да, да, Пуговкин — ты не мешай. Приходит на линию военный эшелон, возвращающийся с Дальнего Востока. С направлением на брестскую ветку. Но, как сказано, состав ни тпру ни ну. Забастовка. В один прекрасный день отворяется дверь в комитет и входит сам начальник тракции фон Дебервиц-Свистелкин. Мать честная, те так и ахнули! Ты, конечно, имеешь понятие про эту селедочную потроху, какой это фурор и язва здешних мест. А он фуражку в кулачок и чуть не надвое расстилается. И, можете себе представить, прямо к Пуговкину; просит, чтобы он позволил перелать эшелон на ветку. «Господа члены стачечного комитета, говорит. Прошу, говорит, вашего разрешения передать эшелон на ветку». И чуть не плачет. А в комитете виднейшие теоретики сидели. Вот и делают виднейшие теоретики Пуговкину указания бровями и глазами. «Ступайте, говорят, товарищ Пуговкин, на паровоз, как бы с машинистом не получилось недоразумения». А эти брови и глаза он так понял, что сам, дескать, не промах, срывай, как говорится, цветы, пока горячо, и, как сказать, лови момент. То есть чтоб он их разагитировал. И действительно, что он и сделал.

Терентьев сидел, опустив голову и свесив между колен сложенные руки. Не все в этих рассказах нравилось ему. «Что малые дети, — думал он. — Напроказили и радуются. А что дальше, об том никто и не думает».

— Ну а ты как? — спросили его.

Вместо ответа он выпрямился и, закинув руки за голову, потянулся.

Он сказал, что как это все ни распрекрасно, но далеко еще не все. Надо вперед смотреть. Даже когда и форма правления полетит в тартарары, это будет с полдела, пока мы сами не переменяемся. Самим надо по-другому жить, повторил он, ничего не объяснив. Вот они кое-чего добились, а о том не подумали, что на то и перемены, чтобы их обживать по-новому. И опять все осталось в неясности.

Тут была какая-то важная для него идея. Ближе определить ее он не мог и про себя решил, что надо будет насчет этого справиться в местах распорядительной мысли, где это должны знать лучше. Таких мест тогда было два: окружной и городской комитеты. В окружном он никого не знал, а в городском у него были знакомые. Как бы то ни было, в мастерских о таких вещах и не задумывались, и, следовательно, как ни смутны были его собственные догадки, во вразумители сюда он еще годился. И тогда он вспомнил, зачем, собственно, пришел сюда. Он сказал, что собирается вернуться в мастерские. Время стало легче, прятаться больше нечего. На днях он потребует расчета у Дюшателя и попробует устроиться у них. Есть у него, кроме того, одна вещичка, которую надо будет у них выточить и потом испытать.

— Пойдемте, Левицкая, — сказал он, спрыгнув со стола, и стал прощаться с товарищами, а когда вышел с нею за двери, предложил: — Хочешь в Сокольники?

5. НОЧЬ В ДЕКАБРЕ

Осенью в гимназии, где я учился, произошли беспорядки. В младших классах они выразились в глупейших безобразиях, в старших сомкнулись со студенческим движением. полным смысла и мужества. Мы забастовали.

Я жил в семье либеральной, а то как бы очутился я в ней, безымянный отпрыск осужденных политических. Не ругать правительство считалось у нас дурным тоном. Да и как было его не осуждать.

Из многочисленной громековской родни были взяты на Дальний Восток кто военным врачом, кто инженером запаса. Но и без того о войне нельзя было забыть ни на минуту. В отличие от предшественников царствование любило шум. Оно не только обманывало народ, но всеми видами слова ежедневно ему об этом обмане напоминало.

Нас били — оно выдавало это за победы. Мы шли на постыднейшую капицуляцию — оно и этот позор ухитрилось обернуть в какой-то трофей. Обнародовался манифест о свободах, которыми пользуется все образованное человечество, но каким-то образом обстоятельство это ничего в наших порядках не изменяло.

Александр Александрович швырял газету на стол и в раздражении шагал по комнате. Потом надевал медвежью шубу и, зайдя к Анне Губертовне, отводил у ней душу, после чего, нахлобучив шапку и сунув ноги в глубокие ботинки, делал на извозничьих санках к кому-нибудь из университетских товарищей и жертвовал на организации.

В октябре после университетской осады нас посетила полиция. Сразу подумали, что разыскивают Ольгу Васильевну. Тогда Александру Александровичу было бы несдобровать. Но произошло недоразумение. Требовался некто Фалетеров, которого никто у нас не знал. Помощник пристава преобразился, установив ошибку, и изопнул надвое, устремившись к выходу, точно дверная притолока опустилась и ему предстояло лезть от нас как из погреба. «Ничего, помилуйте, пустяки», — говорил Александр Александрович, а он все рассылался в извинениях, прикладывая руку к козырьку и, изящно отступаясь, стучал кожаными калошами с медными подшпорниками.

После этого Ольга Васильевна перестала бывать у нас. Но этот визит имел еще другие последствия.

В сени к нам пришел с повинною пьяный обойщик Мухрыгин и покался в совершенном на нас ложном обносе.

Если бы о деле надо было догадываться по собственным показаниям обойщика, толку добились бы не скоро. Но оно было наполовину известно. Появлению Мухрыгина предшествовали пересуды нашего дворника с соседскими, перешептыванья Глафиры Никитичны с Анной Губертовной.

Мухрыгин сложил об Александре Александровиче кудрявую сказку, будто тот по подписному листу набирает охотников в жидовскую веру, сам подписался первым и даже его подбивал. Это была его основная мысль. Он ее на разные лады варьировал.

С ним на правах кума был соседский дворник. Сопровождение провинившихся было второй его природой. Забывая о кумовстве, он ни в чем обойщику не давал потачки. Усы в сосульках придавали ему вид бластительный и свирепый.

Почему-то все мы оказались при этом в сборе. Анна Губертовна с утра просила мужа обойтись с обойщиком гуманно, дабы не сталкивать его с доброго пути, на который он вступил. Александр Александрович с трудом себя пересиливал.

— Отчего огня не зажигают? Лампу заправили? — спрашивал он. — Тогда пора зажигать. Да и что его слушать? Гнать в шею, и кончено. Я тебя, милочка, не понимаю.

Но Анна Губертовна делала ему знаки глазами. Александр Александрович пожимал плечами и, засунув руки в карманы, зевал и переминался с ноги на ногу. В сенях было холодно. Он скучал и зябнул.

Мухрыгин не сразу овладел речью. Он долго плакал, неутешно болтая поникшей головой. Несвязные восклицания душили его. Им в подкрепление собирал он пальцы в триперстие и, задерживая руку на подъеме, медленно осенял себя широким крестом. Потом, распустив щепоть, вытягивал руку вперед и плавательными движениями разгребал перед собою воздух в поисках слова. Он не раз рухнул бы лицом наземь, если бы плечо не ныло у него в плоской клешне дворниковой рукавицы. Это раздражало его.

— Да что ты, шут гороховый, меня держишь? — возмущался он. — Кто ты

есть такой, воротная петля, так меня держать? Я у их квартирующий в обоюдном согласье, а твое дело скребок да метла. Дозвольте, барин дорогой, слово сказать. Вы не то глядите, что я, как говорится, пьян, а глядите, об чем я плачу и убиваюсь. Слова нет, может, я действительно не в своем виде, ну я весь перед вами как на ладони, ваша воля казнить, ваша миловать, и притом не в буйном хмелю. Матушка барыня Анна Кувертовна, детки дорогие, надоть глядеть, откедова у человека слезы, верно я говорю? Какой, может, о душе, а какой об закащичком кредите, это надоть понимать. Теперь, к примеру, может, которому вашему знакомому гарнитур перетянуть или, скажем, новый лак и чтобы человек знающий и, главная вещь, с рекомендацией. Так ведь у вас в настоящее время на мою фамелию и язык не повернется, видите, какой грех. И как такое попритчилось, ума не приложу. Люди ведь, не кто-нибудь, коренные домовладельцы, своя косточка, а вот поди ж ты, на таких людей да вдруг такую канифоль.

— Что ж ты там все-таки сказал? — хмурясь, перебивал Александр Александрович.

— И не говорите, грех поминать. Тут и ночи курлянские, и пятьдесят два разбойника, и под Кремль подкоп.

— Как это пятьдесят два? Не много ли сразу?

— А его карты-с, ежели вы насчет разбойников. Обновенный ночной картеж.

— Ну и враль же ты, сукин сын! Карты он у нас видал, как это тебе, Анна, понравится? Ну да черт с тобой. Кремлю поверили, вот ты мне что скажи?

— А кто ж, ваша милость, такой околесной станет верить? Из Сущева, сами знаете, крик немалый. Диви б какой антирес, а то какой вам расчет копать?

— Так какого ж черта ты все это молол? — Терпенье Александра Александровича истощалось. — Вот что, — сказал он. — За тебя барыня просила. А то б ты мне за клевету ответил. На этот раз ступай. Но вперед смотри. Таких квартирантов мне не надо.

В тот же день проводили мы вечер у Тониных двоюродных сестер. Все взрослые были в отлучке. Мы играли во мнения. Когда пришла моя очередь выйти из круга, меня вывели через две комнаты в третью дожидаться обратного вызова.

Это была гостиная. В ней горела одна стенная лампа в круглом абажуре. Тусклое сиянье кое-как добиралось до первого блестящего предмета, которому можно было бы сдать это трудное ночное дежурство. Ближайшим был ящик аквариума. Листья водорослей перехватывали луч-другой сквозь стекло и воду.

Мне не игралось. Я из этих глупостей вырос. Меня не занимало, что наврут обо мне братья Лунцы или сестры Ярыго, но подумав о Тоне, я вдруг почувствовал, что огорчусь, если и в шутку она отзовется обо мне обидно. Этой чувствительности я раньше за собой не знал. «Да еще и этот Мухрыгин...» — ни к селу ни к городу подумал я.

Сцена во всех нас оставила неловкий осадок. Я смутно чувствовал, что надо что-то поправить не в обойной под нами, а во всем свете, но что именно и каким способом, не пытался и думать, такая томительная неразрешимость исходила от вопроса. Что ж это они? — удивился я. Неужто еще не готовы? Ну и наслушаюсь!

По переулку со жмущим капустным скрипом прошел пешеход. Видно, сильно подморозило. В два яруса сразу, по земле и небу, пронеслась карета. С занавеси на занавесь поплыли безногие блики. Рыбки в аквариуме вспомнили, что они живые, и какая зеркальцем, какая медной денежкой обошли грот с фонтанчиком, распылив несколько капель огня этой части гостиной.

В комнату влетела младшая из сестер, хохотушка Нонна.

— Он подслушивает! — крикнула она в глубь темной анфилады. — Надо переиграть. — И с хохотом убежала, затворив за собой дверь и задернув портьеру.

На ролях падал свет уличного фонаря, горевшего через дорогу. Он стоял у садового забора. Над рожком свешивалось несколько сучьев. Они бросали на окно, покрытое зернистой мутью мороза, серые тени в бревно толщиной.

Вдруг низ дома огласился шагами и звунами. «Неужели сами? — подумал я. — Здорово ж тогда мы засиделись у дочек!» Но это была бабушка девочек, старуха Харлушкина.

Только она появилась, как пустой дом наполнился по всем направлениям головами и изъявлениями задушевности. Медленно следуя через их ряды и делясь с ними какою-то очередной радостью, она вплыла в гостиную с туго замотанною в шаль головою. От нее пахло миндальным мылом. Она как-то вкусно отдувалась. Я сразу понял, что она из бани.

— С легким паром, Нимфодора Пеоновна, — сказал я ей, подходя к ручке из своего прикрытия, и густо покраснел, так это глупо получилось.

— Ну тебя совсем, как напугал! — сказала она, тряхнув пухлою ладошкой в перчатке, и продолжала: — А я правда из маскарада. Ну, спасибо. Это что, что с легким, ты скажи с последним. Во всем мне счастье, на все легкая рука. Еду, ничего не знаю, приезжаю, и что же? Завтра не топят, понедельник — трудный день, а во вторник станут бани, забастовка. Я последний пар захватила, честное слово! Что же ты стала как пень, неси в спальню, — сказала она молодой горничной с такою же закутанной в платок головою, которая вошла в гостиную с саквояжем на одной руке и пустым тазом с мочалкою под другою. — Что на свете творится, баррикады, как в Париже, ты подумай! А я с мыльным подарком и на санях прокатилась. Эх, сбавить бы мне десяток-полтора, я двух не требую, — я б вам показала. Все мать твою вспоминаю, покойницу. Немного не дожидка, порадовалась бы, бедняжка. Правда восторжествовала, ты вникни. Это, брат, знаешь ли, не шутка. А вы у вертихвосток наших? Ну ладно. Спустишь потом, или сам ко мне подымись, небось знаешь дорогу.

Этим намекала она на частые мои посещения всякий раз, как мы бывали у девочек. Только ради нее и ходил я сюда. Слушать ее было истинное удовольствие. Выставляя вперед подбородок, она говорила нараспев и несколько в нос, растягивая слова, с чуть замедленными придыханьями и столь же мало заметными ускореньями. При круглоте и дородности была она неподражаемая умница и, что называется, шило, то есть, видя всякую вещь насквозь, сверлом входила в ее обсуждение, сверлом выходя наружу. И не удивительно, что считали ее близкой приятельницей старика Лужницына, всей Москве известного хранителя одного из музеев, а также радикала из славянофилов Татбищина, в свою очередь друживших с Федоровым, Толстым и Соловьевым.

Но не всегда бывала она в таком ударе, как сейчас, когда ее обурежала банная удаль. Любила она и поплакать.

Тогда, откинувшись в кресло и подперши голову рукою, вдруг переходила она со мной на вы, точно чья во мне какое-то воспоминанье. Щурясь от приятности, она медленно, с грудными скрипами говорила:

— Ах, Патрик, ваша мать была такая милочка. Она бесподобно пела, ее знали братья Рубинштейны. А Соня, Софья Григорьевна, та просто в ней души не чаяла. Вы скажите вашему Громеке (все второе поколение она презирала, терпя лишь третье, внучатное) — пусть вас когда-нибудь к ней сводит. Перемерет наша гвардия, тогда хватится. А главное, это был человек не от мира сего.

При этих словах Нимфодора Пеоновна изящно, углышком платка, точно извлекая из глаз соринку или мушку, утирала слезы, а потом с кряхтеньем, утвердись на ручках кресел, из них поднималась. Достав из комода пачку шелковистых, как карты, фотографий на скользком картоне, она мне их совала, забывая, что мамы среди них не будет, потому что, как сама она мне раз поведала, мама не любила сниматься. Но между этими мужчинами в форме и штатском и красивыми и некрасивыми женщинами были две молочно-сиреневых выцветших карточки, на которых снят был в молодости мой отец.

Глядя на это лицо, полное силы и представительности и в доверчивости как бы готовое улыбнуться, я заключал, что, значит, я целиком в маму, потому что ничего своего я в этих приятных чертах не находил.

— Если бы не этот человек, — продолжала Нимфодора Пеоновна, снова одушевшись в кресло, — она бы никогда своего таланта в землю не зарыла. Но она была человек не от мира сего. И у нее были более высокие цели.

И тут в очень общих выражениях, рисовавших мамино самопожертвованье, Нимфодора Пеоновна подводила разговор к концу и убирала фотографии, и мама моя, молодая моя мамочка кончалась на моих глазах, не успев родиться, потому что далее следовала история освободительного движения в России, в которой Нимфодора Пеоновна не была сильна.

Отчего так скудны были эти сведения? Это не было случайное забвение. Его обидную дымку я обязательно бы отличил и ни с чем на свете не спутал. Но нет, этой неизвестности не хотелось трогать. На ней лежала печать безмятежности и удовлетворения. Очевидно, она была добровольна. Покойная сама хотела остаться в тени и сумела этого добиться. Откуда же могло явиться такое желанье?

Не может быть, чтобы она стыдилась своего происхождения. Я этой мысли не допускал. Это слишком расходилось с ее нравственным обликом. С этим не мирились мои чувства.

Вероятно, это был ревнивый характер с повышенными представлениями о душевной красоте и долге, все с меньшим удовлетворением меривший ими свою жизнь. К поре, когда человек начинает управляться привычками и дает санкцию всему, что не в его власти, она попущенью предпочла одиночество. Неизвестно, как это внешне у ней проявилось, но утверждающего одобренья прожитому она не дала: след невольной к нему причастности стерла и на память о себе ничего не оставила, кроме меня, единственного и прямого своего продолженья...

Предсказанья Харлушкиной оправдались. В ту же ночь артиллерия осадила училище Фидлера на Чистых прудах. Драгуны обстреляли мирную толпу на Тверской. В наших местах и по соседству стали строить баррикады.

Улицы опустели. На них было небезопасно соваться. Бледные ряды зданий в крышах, подъездах и чердаках стояли как отсутствующие, точно пространство отступило от них и повернулось к ним спиной.

Что делалось при этом с воздухом! Это заслуживает особого описания. Весь он с земли до неба был приобщен к восстанью и весь, морозный, высокий и безлюдный, вертелся и гудел, как медный волчок, до смерти закруженный выстрелами и взрывами. Они уже не воспринимались раздельно. Оглушенное небо было сплошь пропитано их колебаньем. Слуха достигало другое. Назойливое комариное зуденье, усыпительное чоканье и тихое шелестенье...

Пулей пробило форточку в домашней лаборатории Александра Александровича. Пройдя сквозь стену, она сколупнула кусок штукатурки с потолка в его кабинете. Нас держали взаперти и сэкономили керосин и дрова, потому что их не запасли и они были на исходе. В эти дни случилось несчастье с Анной Губертовной.

В ноябре между обеими забастовками любитель старины Александр Александрович купил где-то по случаю чудовищных размеров гардероб, величиной с екатерининскую выездную колымагу. Человек в пальто, доставивший эту вещь на ломовике, внес ее по частям в зал. Возник вопрос, где ее собирать и ставить. Анна Губертовна была в отчаянье от покупки. Комнаты ломились от мебели. В них негде было повернуться.

Дело было к ночи. Ломовик просил отпустить его. Человеку в пальто не хотелось возвращаться пешком по морозу. Он не торопил Анну Губертовну, но и не снимал пальто. Это ее нервировало.

Второпях, за невозможностью выбрать место получше решили гардероб временно оставить в зале как самой просторной комнате дома, где он и был в пять минут без шума собран искусником в пальто, который безмолвно затем откланялся, как артист, исполнивший на большом вечере свой коротенький номер. «Смерть это моя, а не шкап», — вздыхала Анна Губертовна, когда проходила мимо него из своей угловушки. Он мозолил всем глаза. Я тоже его возненавидел.

Одиннадцатого вечером, доставая с пыльного его верха какой-то узел с теплыми вещами, Анна Губертовна ступила в темноте на борт выдвинутого ящика, ухватилась за край развершки и, потеряв равновесие, упала, усложнив падение тем, что, балансируя, повернулась вперед всем корпусом. Она так больно расшибла коленку, что в первые минуты лишилась сознания.

Двенадцатого в перестрелке наступило затишье. Пользуясь им, в ближайшей окрестности разыскали и с трудом уговорили прийти врача не по специальности. Хотя он и не установил перелома, но допускал возможность костной трещины и велел прикладывать лед.

С этой вылазки Глафира Никитична явилась победительницей, полная гордого достоинства. Все ее расспрашивали о виденном, но ровням она отвечала неохотно, а в спальне рассказала, что Скотники и прилегающие переулки перегорожены пустыми баррикадами. Народ с них ушел и засел в Верхнем Копытников-

ском, но к ночи фабричные беспременно спустятся и устроят страженье на площади.

Александр Александрович посылал ее за льдом и просил не утомлять больной таким вздором, потому что члены боевых дружин не такие дураки, чтобы укрепляться в яме, по которой можно стрелять отовсюду сверху. Глаша обижалась и надувала губы. Нас на несколько минут выпустили во двор.

Состояние, царившее на нем, в обычное время называется тишиной. Однако в те минуты оно казалось лишенным имени и необъяснимым. Воздух, который столько дней подряд дырявили плеточные щелчки выстрелов, поражал нетронутостью и благодаря заре и сумеркам был румян и гладок, как кожа у девушки.

В этой тишине и раздался вдруг негромкий разговор, слышный от слова до слова. Ерофей, старый наш дворник, завел его, может быть, нарочно для нас. Он беседовал с Мухрыгиным за углом дома, в воротном проходе. Край стены скрывал их от нас.

— В троицу веровать не диво,— говорил Ерофей,— так уж люди роятся. Да ино вещь делом, ино языком. Эли запущать поглыбже, так сейчас встрелись семик и антисемик, какие за весну народного освобождения, а какому наплевать. И верно про тебя господа сказали антисемик, как ты хоша и богомольный, ну выходишь супротивник семика. Жисти ты настоящей не знаешь, живешь без проветру в каменном помещенье, как мокрая склизь или какая-нибудь древесная губа, и тута и кашель твой, и табак, и запой, а дворник завсегда находящийся на вольном воздухе, и от этого польза уму и грудям.

Среди ночи я проснулся.

— Вставай, мы горим!— кричала в дверь Тоня, одеваясь.

— Тише, дом подымешь. Это костры. У нас отходники качают. Слышишь, какая вонь?

И я тотчас захрапел, но через несколько минут снова проснулся.

Весь дом был на ногах. Внизу хлопали дверьми. Стрельба в городе возобновилась с неиспытанной силой. Верно, это были пушки. Тоня, растолкавшая меня на этот раз, стояла надо мной одевшись.

— Выйди на минуту,— сказал я ей. Накинув одеяло, я вскочил на подоконник и распахнул форточку. Меня обдало прежним зловоньем, но раз ощутив его, я больше не стал его слышать. Его очистила дикая тревога, исходившая от зрелища.

Небо лопалось и дышало огнем и гулом орудий. Его опоясывали зарева нескольких пожаров. Один поыхал где-то поблизости. Неразличимые голоса стлкнувались в темноте, бежали друг за другом, друг друга обгоняя. Кто-то кого-то звал, куда-то посылал, что-то приказывал. Срывая дома с оснований, по переулку проскакала кавалерия. Языки пламени дернулись в ту сторону. Все смолкло.

Я не заметил, как оделся. Вверх по лестнице прогремели шаги Александра Александровича. С никогда не слыханной зычностью он звал нас вниз со средней площадки.

Услышав наш ответ и еще раз в нем уверясь, он с грохотом сбежал с лестницы.

Мы собрались в столовой все в верхнем, чтобы быть наготове, если придется идти из дому. Сукожные гардины на окнах задержали пола за полу, свечку на обеденном столе заставили стойком поставленной книгой.

Анна Губертовна в накинутой на плечи ротонде лежала на диване, закатив по своей привычке глаза под опущенные веки. Из-под ресниц просвечивали полоски белков. Тоня бросилась целовать ее. Покусывая губы, она высвободила руку из ротонды и, кривясь от слез, стала с прерывистым шепотом крестить себя, и дочку, и стены собравшей нас столовой.

Вдруг в дверь заглянул бледный, как смерть, Ерофей и позвал Александра Александровича. Оба были слишком озабочены, чтобы заниматься мною. Пользуясь замешательством, я выбежал за ними.

Каждое утро выходил я отсюда при огне, на исходе синей зимней ночи. По гимназической привычке показалось мне, что светает. С улицы стучали в ворота. Они трещали. Их высаживали силой.

— Сбежать бы на парадное, посмотреть кто, отпирать ли.

Не успел Александр Александрович договорить, как во двор вбежало человек пять-шесть вооруженных, кто в ватном пальто, кто в полушубке.

— Кто хозяин?— спросила порт-артурская косматая папаха.

— Я, — отвечал Александр Александрович.

— Можно спрятаться?

— О, конечно! Прячьтесь, господа. Можно в сарай. Можно в дом. Ерофей, ключи! Впрочем, уж не знаю как... В доме больные...

Дружинники переглянулись. Десятник в папаче, а за ним и другие стали осматриваться.

— Что за забором?— спросил десятник.

— Глухой соседский сад.

— А сзади?

— Пустырь со свалками.

— А дальше?

— Система переулков с выходом на Долгоруковскую.

— Прятаться не будем?— полувопросом-полуутвердительно предложил старший.

— Нет, — отвечали остальные. — Двор невелик и стоять не велит.

Все рассмеялись.

— Правильно. Айда, товарищи, — сказал старший, и все бросились к забору.

— Лестницу, Ерофей! — крикнул Александр Александрович.

Но все до одного уже были по ту сторону.

Прошло несколько минут.

— А мороз-то злющий, — сказал Александр Александрович и зевнул.

— Как есть злющий. Так точно.

— Ты, Ерофей, смотри. Длинный у тебя язык.

— Что вы? Глыбше могилы... Лестницу прикажете убрать?

— Да. Давай вместе снесем. Фу ты, следов сколько, затоптать бы.

Этим и занялись, когда заперли в сарай лестницу.

— Заходи от забора. Опять ты задом, дуралей! — кричал Александр Александрович. — Я ведь тебе сказал как, а ты все норовишь по-своему. Надо, чтобы от нас шли следы, а не к нам.

В это время переулок огласился тем же топотом, что я слышал, проснувшись. По легкости разбега отряд должен был пролететь дальше. Вдруг он остановился. Лошадей осадил у нашего дома. Они стали, скользя и разъезжаясь.

Послышался шум прыжков, шаги и бряцанье. Ерофей спрятался за сараем. Александр Александрович вбежал на крыльцо и стал в дверной коробке. На середине двора, освещенную заревом, вышли несколько спешенных казаков.

Ремни и винтовки за плечами кургузили их. Все казались окривевшими от водки, мороза и недосыпу. Им было скользко в сапогах. Кавалерийская походка их сутулила.

— Дубровин, пятерых к забору! — орал хорунжий. — Онисименко, я сказал — дворника! Ах вот он, каналья! Кому служишь, мать твою в пяла? Приказ градоначальника знаешь? Отчего ворота расстегашкой? Отчего, я спрашиваю, ворота хлясь, хлясь, — я тебя научу — хлясь, хлясь, — отвечать, вихлозадый черт. Иметь наблюденье. Очухается — допрошу. Ничего не понимаю, рапортуй толком, Дубровин. Следы? Какие следы? А, следы на снегу!

Тут он оглянулся и забыл об ефрейторе. Он отскочил в сторону и выхватил револьвер.

— Застрелю! Ни с места! — закричал он. — Подымите руки! Кто вы такой, милостивый государь?

— За что вы дворника бьете? — тихо, с дрожью в голосе спросил Александр Александрович.

— Прошу меня не учить. После девяти запрещено выходить на улицу. На каком основании вы здесь и кто вы сами?

— Я владелец дома и должен вам сообщить что-то важное. Но вперед велите обыскать меня. Я не могу отвечать под дулом револьвера. У меня затекают руки.

— Фамилия?

— Громеко.

— Не слышал. Так вы хозяин? Тем хуже. Вас придется привлечь к ответственности по всей строгости закона. Вы приказ градоначальника читали? А знаете ли вы, в каком виде у вас наружные ворота? Вот видите. Ну нельзя же так, нельзя же так, молодой человек. Вы только рот раскрыли, и ваше первое слово — дворник. А знаете ли вы его? Готовы ли за него поручиться? Да и только ли это. Отчего в доме не спят? На душе беспокойно? Это курьезно. Отчего же у вас беспокойно на душе? Ну хорошо-с. Оружие есть?

— Нету.

— Вы дворянин?

— Да.

— Можете опустить руки.

— Мерси, — машинально пробормотал Александр Александрович и, спускаясь со ступеньки на ступеньку, сошел с крыльца на землю.

— В доме спали, — начал он. — Ворота были на запоре. Вдруг переполох. Бужу дворника. На дворе несколько вооруженных. Рабочие.

— Какие это рабочие. Надо называть вещи своими именами. Это воры, висельники, хамово племя.

— Ну да. Несколько этих... висельников. — Александр Александрович замялся. — Вижу, они с Долгоруковской пробрались соседними владеньями и рубят ворота, пробиваясь в переулок. Удивляюсь, как вы с ними не столкнулись. Это было назад минут пять, десять. Значит, они кинулись в Скотники.

— А скажите, откуда эти дни не постреливали? С соседних садов. Не замечали?

— Нет. Там все спокойно.

— Так-с, так-с. Вы ответите, если это неправда. Вольно, Дубровин. Ты докладывал — следы. Пойдем, покажи. До свиданья, милостивый государь. Помните, чем вы рискуете. Я охраны не выставлю, но вас везде найти сумею.

Они удалились. В темной глубине двора раздалась слова команды. Было слышно, как построились казаки и стройно, стройнее, чем входили, вышли на улицу. Отряду скомандовали в седла. Лошадей тронули и с нескольких шагов перешли в галоп. Беспмятный скак, слышанный мною ночью и как раз возле нас так страшно пресекавшийся, возобновился с прежней гладкостью и стал стихать и замер. Все скрылось, как прерванное сновиденье.

На крыльце стояли Глаша с Тоней и дергали меня за рукав.

— Сейчас. Отвяжитесь, — отмахивался я, но уже сам все им рассказывал.

Но Александр Александрович не мог вымолвить ни слова. Невольное унижение не давало ему покоя. У него дрожали губы. Он что-то с трудом в себе перевозмогал.

Как только отряд тронулся, он подошел к Ерофею. Но тот и сам поднялся без труда. Обморок его был наполовину притворен. У него слегка подбит был глаз и на скуле кровавилась небольшая ссадинка с содранной кожей. Нас отправили по кроватям, и, странно, мы тотчас заснули.

Я встал поздно. Занавеска, как в варенье, вымокала в гранатовом соку заката. Спросонья мне показалось, что весна. Со двора неслись влажные чавкающие звуки. Проваливаясь в мокрый снег, по нему что-то тащили. Была оттепель. Убিরали остатки ночного обстрела. И по-прежнему воняло тепло и тошнотворно.

Я все вспомнил. Но в такой час вставал я впервые. Это чувство было ново. Оно затмевало ночные воспоминанья. Знакомство с ним так мне понравилось, что я решил искать случая встать еще раз в такое время.

У Анны Губертовны обнаружили воспаление коленного сустава. Она плохо спала и стонала ночами. Если бы я устерег такую минуту и спустился к ней за сиделку, я заработал бы это право. Но я эти возможности безбожно просыпал.

Я не помню, каким для этого воспользовался предлогом. Восстанье кончилось. Все полно было сознанием его крушенья и слухами о расправе. Рассказывали об изуверстве семеновцев и наглости уличных казачьих пикетов. Начались выезды военно-полевых судов.

Александр Александрович ходил сам не свой. Сверх общих огорчений его удручало состояние больной. Чтобы сделать ей приятное, он в первый выход в город, когда открыли магазины, купил ей синих и белых гиацинтов, несколько

кустов цинерарий и три горшка лакфиоля. Когда вслед за остальными цветами лакфиоль внесли в спальню, она раскапризничалась. Оказалось, лакфиоля она не любит. Непамятливость мужа ее обидела. Лакфиоль поставили в столовой.

Я проснулся в шестом часу вечера. Как и в первый раз, неведомо как без меня прошедший день был весь позади. Пока я одевался, сгущался сумрак, похожий на облако дорожной пыли, поднятой его отбытием. С непобедимой грустью смотрел я на бордовый глазок заката, как на кондукторский фонарь в хвосте отошедшего поезда. И так же болела голова.

Я спустился в столовую. Там спиной ко мне стояла Глафира Никитична, чем-то занятая. Она только что полила цветы и расправляла подвернутые края лиловой обертки. Я спросил чаю. «Сейчас», — ответила она, наблюдая, как натекает вода в поддонники, чтобы подтереть, если перельется.

Из спальни от Анны Губертовны вышла массажистка. Ей должны были сегодня отказать. Вчера новый доктор пришел в ужас, узнав, что целую неделю материю разгоняли по всему телу. Глафира Никитична пошла провожать ее.

В это время позвонили с улицы. «Ну вот. Теперь она про чай забудет...» — подумал я и подошел к горке с лакфиолем.

Вдруг в гостиную рядом вихрем ворвался дядя Федя. По каким-то признакам я узнал его. Он нервно прошелся по коврам из угла в угол. Александр Александрович вышел к нему. Разговаривая, они вошли в столовую.

Дядя Федя был в страшном возбуждении. Слова рвались из него с такой силой, что он заплевывал бороду и мычал, утирая губы платком, чтобы не потерять ни минуты в безгласности.

— Ты знаешь, Саша, как я люблю тебя, — говорил он. — Но вы чудовищные люди. Кажется, свет перевернись, а вы будете развлекаться массажами и возделывать комнатные растения. Приготовься к самому страшному. Где сестра твоя, Оля?

— Если ты что-нибудь знаешь, то говори прямо.

— Нет, вперед ты. Вспомнил ли ты ее хоть раз? Догадался ли подумать?

— Я разыскиваю ее третий день. И пока — безрезультатно. Но это в порядке вещей и меня не смущает. Потому что, согласись, на другой день после подавления при нынешних условиях отыскать ее — это, понимаешь ли, не лапоть сплесть.

— Лапти! Условья! Не то ищешь! Не там ищешь! Тело надо!.. В приемных покоях!.. В анатомическом...

Но Александр Александрович уже держал его за руку выше кисти.

— Остановись! — крикнул он. — Что с ней?

— Она убита.

— Откуда ты знаешь?

— Чувство подсказало.

— Но... ты его проверил?

— Я был два раза у общих знакомых. О ней ни слуху ни духу.

— Свинья же ты после этого, типун тебе на язык! Спасибо за сведенье и... участие... Все равно, с дубу ли, с ветру ль, лишь бы шум и эффект. Во сне ли там приснилось или под шелудядами завелось, он тут как тут. «Чувство подсказало».

— Постой, Саша, не горячись. В таком случае что же... Я не жалею, что пришел. Я рад. Ты меня успокоил. Мне сообщила твоя вера.

— И это в такое время, когда я буквально изнемогаю... Нюта хворает...

— А, это колена? Бог даст, обойдется.

— Ну, конечно. В особенности твоими молитвами. К сожалению, я естественник. Существо и опасность септических процессов мне известны... И вместо того, чтобы помочь мне, когда я буквально разрываюсь...

Его напоили чаем. Он сходил в спальню проведать больную. Потом стал прощаться. Уходя, он сказал:

— Я догадываюсь, зачем у вас цветы. Но никакими тут кактусами и рододендронами не поможешь. Не заглушают. Перешибает смрад. Откуда такое?

— Это двенадцатого ночью у Жогловых снарядом колодец разворотило. Выгребной, ты понимаешь.

Через два дня Ольга Васильевна отыскалась.

6. ДОМ С ГАЛЕРЕЯМИ

Надо описать нашу последнюю встречу. Александр Александрович взял меня с собой. Мы наняли извозчика. Никогда в жизни нас не везли так далеко и долго. Это было у черта на куличках, где-то в другом конце Москвы.

Положение об усиленной охране еще не было снято. Пока мы ехали нашими краями, нам попадались следы недавних разрушений.

На углу Расторгуева переулка показывали насквозь прогоревший дом с провалившимися полами и обрушившейся лестницей. От нее оставались одни перила. Скрутившись от жара, они висели в воздухе мотками железного серпантина.

Несколько дальше стоял трехэтажный дом с выдававшимися над тротуаром углами верхних этажей. Дому недоставало ворот. По стенам чернели четырехугольные следы сорванных вывесок. Из земли торчали круги спиленных телеграфных столбов. Видно, здесь залегали дружинники, и я вспомнил. На одной из баррикад, рассказывали, смерть следовала за смертью от таинственных выстрелов без видимого противника, пока не догадались выследить их происхождение.

Их производили из такого же, как эти каменные выступы, фонаря. В квартире жил скотопромышленник, член союза Михаила Архангела. Стрелял его сын, новопроизведенный прапорщик. Обоих отвели в революционный штаб, помещавшийся где-то поблизости. Может быть, здесь это все и происходило.

Два раза попались нам казаки разъезды, патрулировавшие по городу.

— То-то осмелели, — сказал извозчик и смолк.

Александр Александрович ничего не ответил.

У въезда в Леонтьевский солдаты в поисках оружия с головы до ног охлывали прохожих, а выезд из Газетного преграждали конные жандармы, и лошади под ними ходили боком, скача от тротуаров к середине мостовой между идущими и едущими. Тут и там нас пропустили не глядя.

Дозоры и заставы возобновлялись у вокзалов. Остановившись по требованию жандарма, подскакавшего на лошади, мы подслушали разговор между четою в соседних санях и другим конным, их остановившим.

— Не задерживайте извозчика. Мы опоздаем к поезду, — возмущалась дама. — Покажи им паспорт, что за наказание.

— Вы за границу? — спросил жандарм, нагибаясь с седла и зажигая спичку за спичкой.

Мы тронулись дальше. Но и их пропустили. Оглянувшись, я увидел, как их извозчик стоя нахлестывал к Николаевскому.

— Какая же с этих вокзалов «заграница»? — изумился я.

— Сколько угодно, — отвечал Александр Александрович. — Во-первых, Финляндия. Морем из Петербурга. Кроме того, через Тосно или Режицу. А с Ярославского так даже и в Америку.

Наконец мы приехали. Я потом таких домов больше не видел. Скользкая лестница с сильным капустным кваском пролежала крытою холодною галереей. На нее выходили окна и двери квартир, по три, по четыре на ярус. К наружной стене жались кладовки и нужники. Первые были под висячими замками, вторые с деревянными завертками на гвоздиках.

Квартира за требующимся номером оказалась в третьем этаже налево. На медной, ввинченной в протесьменную клеенку дощечке без дальнего значилось «Вязлова» и больше ничего: ни буквенных инициалов, ни звания.

Я знал, что в квартире помещаются частные курсы, на которых готовят во все классы гимназии, в юнкерские училища и прочая, и удивился, что снаружи нет об этом объявления.

Не найдя звонка, Александр Александрович стал дубасить в дверь кулаком, но удары получались слабые. Их глушили войлочные подушки обивки.

Недалеке стояла кадка с питьевой водой под немного сдвинутою крышкой. Вода была, наверное, на самом дне, а нутро кадки стягивал лед в несколько пустых, насквозь проломанных пластов. На краю верхнего с лучеобразно рассачивающимися трещинами стояла цинковая кружка.

Наконец нам отперли. Сухая старушка с часиками на черном шнурке молча пропустила нас вперед, ни о чем не спрашивая. Потом я узнал, что это сама Вязлова.

— Виноват, — сказал Александр Александрович. — Мы к Левицкой. Если не ошибаюсь, она у вас. Как к ней пройти?

К концу его слов Вязлова очутилась у него под самым подбородком.

— Пожалуйте. Она отдыхает, — сказала она, подняв голову и снизу заглядывая ему в глаза.

Из темной передней, куда мы за ней последовали, мне представилось зрелище, по тихой выразительности похожее на писаную картину. Громеко с Вязловой прошли дальше, я же остановился как вкопанный.

Передо мною было три комнаты. В средней, наверное, занимались. Дверь в нее была закрыта. Из нее доносились голоса, сменявшиеся в порядке, не похожем на разумную беседу.

В обеих боковых горели висячие лампы и вполголоса, чтобы не помешать занимающимся, сидя и стоя переговаривались бедно и скромно одетые люди. Разговоры были не общие. Их вели парами и по трое по разным углам. Потом я узнал, что большинство — учащиеся других групп, дожидавшиеся очереди в среднюю комнату.

В квартире стоял тяжкий, настоящий на нужде и стесненье, кроватно-тюфячный запах. Вдруг я ощутил зуд в висках. Потом за ушами. Скоро у меня зачесалось запястье. Здесь было много клопов.

В комнате слева народу было меньше. С помощью комода и умывальника, скрытых откидным пологом, в ней отгорожен был угол. В проеме полога, как у входа в палатку, стоял угрюмого вида молодой человек. На нем была грубая рубашка с шитым воротом. Косясь за драпировку, он кого-то слушал. Судя по взглядам, которые он бросал за плечо, товарищ его лежал, не отпуская его от себя и в чем-то урезонивая. Молодой человек закашлялся, махнул на товарища рукой и вышел из-за полога в комнату. Мужская рука сунулась за ним вдогонку, но не поймала. Он пересек комнату и чуть не столкнулся со мной в дверях.

Справа вышла Вязлова. Она подошла к нему вплотную.

— Скоро вам, Нелль? — сказала она. — Митя кончает. Сейчас телеграфисты меня чуть до хрипоты не довели. Уверяют, будто при округе требуются сложные проценты. Точно я сейчас родилась и никогда программ не видала, а я любую назубок скажу. Например, в кадетских...

— Дайте мне ячменного сахару и ну вас к черту с вашими корпусами, — сказал молодой человек и закашлялся.

— Как вы переменялись, — вздохнула Вязлова. — С тех пор как вы повернулись к Леле спиной...

— Мамочка, какие выражения. Ноги меня не держат, ей-богу, так вы меня пронзили. Вон Петька валяется, если у вас язык чешется. Это почва благодарней.

Вязлова пожала плечами и отвернулась. Тут она меня заметила.

— Ах вот он, малютка, — воскликнула она, впадая в тот же насмешливый тон. — А мы думали, вы в пути затерялись. Что же вы в передней топчетесь, юный классик? Ступайте за мной, там ваши старшие.

Миновав правую боковую комнату, мы вошли в крошечную спальню.

Комната освещалась с потолка цветным фонарем. Александр Александрович сидел в темноте. Золотистый свет падал решетчатым кружком на Олино лицо и платье. Она поражала худобой, лихорадочной говорливостью и утомительностью поз, которые принимала, лежа на незастланной кровати.

— Как, и Патрик тут? Что ж ты мне, Саша, не сказал, — упрекнула она Громеко и, соскочив с постели, меня расцеловала.

Наступило молчание. Продолжению разговора мешало присутствие Вязловой. Когда она вышла, Оля его возобновила.

— Накануне вечером Фидлер, директор, при мне просит к телефону генерала Руднева. Ради бога, говорит, что вы делаете, ведь это дети, это просто безбожно. Потому что половина были его ученики, реалисты старших классов. Ты себе представляешь, Сашенька, волнение? Там такая мраморная лестница с золотыми досками медалистов. Типичный институтский вестибюль. Ее забаррикадировали скамьями и классными досками. Так и провели всю ночь. На рассвете нам дают слово, что сдавшихся не тронут, и мы всей ватагой из училища. Но это обещал ротмистр осаждавшей части, кажется Рахманинов или Рахманов. А тем

временем как мы в Мыльников, из Машкова откуда ни возьмись другая. Рахманов кричит — стой-стой, потому что он поручился честью, ему стыдно, а тем хоть кол теши на голове, и ну рубить. Господи твоя воля, что тут сделалось! Кругом темным-темно, на уме одно — поскорей бы в подворотню, а рядом валяются, у кого ухо отсечено, кому отхватили пальцы. А крики. А стоны. Ротмистр, кричу, так вот оно, ваше честное слово? А что он может сделать, когда его не слушают... Но воде перед тем, что дальше было, Фидлер — капля в море.

Она спустила ноги с кровати и рассеянно это повторила. По звуку ее голоса я догадался, что она думает о чем-то другом и каждую минуту может расплакаться. Она привстала и прошлась по комнате. На каждом шагу она на что-нибудь наткнулась. От круженья на одном месте юбка стала хлестать ее по ногам. Вдруг она остановилась и закрыла глаза. Содроганье прошло по ней, точно ее знобило.

— Нет, нет и нет, — сказала она, словно очнувшись от сна, — вон из этого клоповника. Завтра же куда-нибудь перееду. Посадят, подумаешь, какая важность. По крайней мере хоть выплещу. У вас не искали?

— Нет покамест.

— А в Спасопесковский наведывались.

— Да купи ты себе, дура ты этакая, персидского порошку и будешь спать как убитая.

Снова наступило молчание. Александр Александрович посмотрел на часы и, крикнув, стал подыматься.

— Ты куда это? — встрепенулась Оля. — И не думай. С семи до девяти перерыв, можно будет уединиться. Оставайтесь, прошу вас. Петя тоже не спит. Хочешь, я позову его. Вы с ним еще не видались? Послушай, будь с ним повнимательней, у него ужасное горе. Мы от него скрываем, но он догадывается. По Казанской прошла карательная экспедиция, ты слышал? Волосы встают дыбом, какие душегубства. А в Люберцах у него родные.

Оля не выдержала и, упав лицом в подушки, зарыдала. Прошло несколько минут. Послышался храп со свистящими переливами. Мы переглянулись. Оля спала разинув рот, ничком и наискось поперек кровати.

Как мы провели следующие час или полтора, не помню. В их исходе мы очутились в комнате рядом с той самой, что располагалась вправо от меня, пока я был в передней.

Ученики разошлись. Наступил перерыв, о котором говорила Оля. За столом сидело человек пять-шесть народу — сын Вязловой Дмитрий Дмитриевич, студент-путеец; желчный молодой человек Анемподист Дудоров; Петр Терентьев, которого я видел впервые; да еще два-три студента университета. Нас перезнакомили.

— Сперва все шло хорошо, — рассказывал Терентьев. — У полиции хлопот по горло. Их еще не хватились. Но только добираются до деревни, мужички их чуть ли не в колья. Вот вы как, говорят. Фабрику у себя сожгли, нас пришли бунтовать? И грозятся собрать сход. Еле унесли ноги.

— Ничего удивительного. Это в порядке вещей, — сказал Дудоров.

Все на него накинулись.

— Что ты рисуешься? — возмутился Вязлов. — Объясни ты мне, пожалуйста, эту бессмыслицу. Ты совсем не то, чем прикидываешься. Никуда ты из Москвы не выезжал, видели тебя на баррикадах. Тогда к чему ломанье?

— Глупости. Не могли меня видеть, я под Муромом охотился. Это какой-нибудь двойник.

После долгих споров он признался, что не устоял против искушения и действительно дрался в районе Мещанских, но особняком и только за свой страх.

Тут я узнал, что он из княжеского рода Дудоровых, несмотря на молодость, отбыл три года административной ссылки, но теперь отошел от привычного круга и к теоретическому марксизму охладел совершенно. С родными он давно порвал и жил бедно и одиноко, принятый обратно в университет по чьей-то сильной протекции. Он что-то переводил и пописывал, но еще без того имени, которое составил себе позднее, а сюда ходил преподавать языки и историю, выслушивать нападки бывлых товарищей и на них огрызаться. Здесь не могли ему в особенности простить разрыва с одной девушкой этого круга.

Терентьев развивал две излюбленных мысли. Что по своей молодости про-

летариат у нас еще неотделим от крестьянства и что индустриальный рабочий является носителем новой грядущей культуры. В защиту этой мысли приводил он следующие соображения. Природа и законы природы для современной интеллигенции — две разные вещи. Первое — предмет праздного любования, второе — пища для сухого и бесстрастного изучения. Для рабочего же это одно. Он и за формулами не забывает того, что это законы именно природы, а не чего-нибудь другого, той самой производящей земной природы, которая в грубом упрощении есть его родная деревня, но на этот раз в ее всеобщности, с целую подлунную, во вселенском, так сказать, ее размахе. Потому что физические устои мира открываются ему за работой, в той первичности, как его бабке сроки и особенности коровьего отела. Для этой мысли находил он свои слова, смелые и яркие. Но вдруг профессиональная дидактика завладевала им, и, забывая про то дорогое, живущее и меняющееся, что было в этой мысли, он терял ее нить и принимался за доказательство доказанного и вытверживание общеизвестного. Делал он это книжно, по-заученному и совсем не к месту, потому что кругом на этом сабоку съели, и повторять это в этой компании было все равно что яйцам учить курицу.

— Всмотримся пристально в процесс, — говорил он, — что мы имеем. В ходе обнищания деревни крестьянский сын прощается с домом и в геометрической прогрессии отликает в города. Погодите, Варвара Ивановна. С другой стороны, в потребности рабочих рук промышленность все щедрее и щедрее черпает из этого резервуара. Но обратимся к нашему бездомному скитальцу, где мы его оставили, что мы увидим. В ходе развития промышленности приставленный к котлам, охладительным змеевикам и аккумуляторам, он мало-помалу подымется по железной лестнице на такую площадку, где с него с неизбежностью спрыснутся начатки механики, знание электричества и бойкое, не сходя с места умозаключение. Знакомство с машиной откроет перед ним заветные страницы физики. Вот вы говорите, природа. Это, грубо говоря, молоко, грибы и ягоды в березовой роще, летний отдых в тенистой усадьбе. А потом вы говорите, законы природы. Это, грубо говоря, тихие своды университета, приборы, зимние теоретические выкладки. А он и над магнитным полем гнется, как над паровым перед распашкой под озимь. Потому что для него это одно...

Тут и следовала мысль, которую он выражал так самостоятельно и не избито. Дальше возвращались очевидности.

— Теперь последуем, однако, за ним по этой лесенке, где мы его оставили, и посмотрим вниз через перила, что мы увидим. Дамы-благотворительницы между собой стараются, как бы елку ему устроить и общество трезвости, и дай им волю — первой грамоте будут учить или, чего доброго, соску купят или погремушку. Ну вот он руки об паклю, а потом об блузу и с этой лесенки прямо к ним вниз. Вот хомут и дуга, больше я вам не слуга.

— Да ты меня не агитируй, — говорил Дудоров. — Торжества революции я жду нетерпеливой всех вас. Сто лет как ее у нас готовят. Лучшие силы России ушли на эту подготовку, и в нравственном плане она даже уже будто когда-то была. Однако платонизм тут неуместен. Ее надо увидеть своими глазами. Еще лет десять оттяжки, и мы задохнемся. Погоди улыбаться. И, конечно, она придет. На первых порах это будет именно то, о чем мы так много говорим. Освобождение от самодержавия, от уродств капиталистической эксплуатации. Но придет наконец и настоящая свобода. Освободится время, отданное несколькими поколениями ей, ее обсуждению, жизни и гибели за нее, освободятся мысли и силы. А согласись, за свои вековые жертвы Россия это заслужила... Только ли огорошивать ей и ошарашивать. А вдруг дано ей выдумать что-нибудь непредвосхитимо непритязательное, просиять, улыбнуться...

Его перебили в самом интересном месте. С галереи позвонили. «Звонок, — сказал Вязлов. — Петька, мотай на ус, потом ответим» — и вышел отпирать. Вернувшись, он наклонился сзади к Терентьеву и шепнул ему что-то на ухо. Оба посмотрели на Дудорова и вышли. Тот тоже поднялся, смутился и в нерешительности затоптался на месте.

— Оставайтесь тут, — приказала Вязлова. — Они у Мити переговоят. Незачем вам встречаться.

Минут через пятнадцать послышались шаги и голоса у самого входа в столовую, но, минуя ее, удалились через переднюю и кухню наружу.

В столовую быстро вошел Терентьев. Он сиял и спешил к Оле.

— Митя провожать пошел, Варвара Ивановна,— сказал он на ходу.

В эту минуту сама Оля вышла из спальни красная и заспанная. Она взглянула на его глаза и губы и как бы прочла новость, рвавшуюся с его языка.

— Леля Осипович? — воскликнула она и сделала такое движение, точно собиралась вцепиться в ответ руками.

— Да. Большая радость. Папаша и все домашние живы, здоровы и невредимы. Она прямо от них, минуту б раньше сама расспросила. Папаша,— продолжал он, обращаясь ко всем и в особенности к Александру Александровичу,— оказывается, об нас расстраивались. Этим и избыли беду. А то ведь там... язык прилипает, что было... И попадись он им под горячую руку... не знаю, чем от мысли зачураться. Но они еще раньше расстроились. Мамашу с сестрой спрятали в матушкиной семье, Бронницкий уезд, дальняя волость. А сами пешком в Москву за справками. Оттого и дом пустой, ни души, а мы-то напугались.

Оля слушала и смотрела на него. Он кончил и все сиял. Какая-то радость, еще одна, была у него про запас для нее, тайная, неизрасходованная. И вот забыв правила не то что конспирации, а просто-напросто благоразумия (чтобы не сказать приличия), Оля на минуту задумалась...

— Паспорта принесли? — с тем же движением вскричала она, и все поднялись, замахали на нее и зашикали.

— Ну что ты с ней поделаешь,— сказал Терентьев, по-прежнему обращаясь к Александру Александровичу.



НА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМЯХ

ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО



НА ДОРОГАХ И ЗА НИМИ

Перед окнами гостиницы на тротуаре укладывается на ночлег высокая фигура. Ее темная голова и плечи закутаны в серую шаль. Сухие, как палки, ноги обнажены до колен. На бедрах из куска некогда белой материи нечто среднее между юбкой и шортами. Если бы я не видел этого человека днем, то сейчас принял бы за женщину. Шаль, юбка и длинные, закрученные в тугий узел волосы. Это крестьянин, привезший из деревни кокосовые орехи. В неярком лунном свете кокосы тускло поблескивают на асфальте горой булыжников. Днем было почти 30 жары, и я выпил у этого крестьянина прохладный сок кокосового ореха.

— Зима... люди мало пьют,— сожалеюще сказал крестьянин и будто от холода передернул плечами.

Да, сегодня 1 февраля — разгар зимы. Но днем в Бомбее нестерпимо палило солнце, а вот теперь жара спала — всего 17 градусов, и это уже для индийцев настоящий холод. Продавец кокосов развел на асфальте небольшой костер из мусора и щепок, постелил какую-то тряпицу и, еще сильнее закутав голову и оставив ноги открытыми, отошел ко сну. Голова в тепле, а ноги в холоде. Здесь все наоборот.

Там, впереди, за гирляндами огней, которые опоясывают набережную, плещется невидимый океан. Я знаю — это не океан, а только Аравийское море, но, прилетев за тысячи километров, хочется говорить «океан». Уже неделю в Индии, но только сегодня увидел его. Первым желанием было немедленно искупаться. Голубое бездонное небо, ослепительное солнце, лазурная зыбь бескрайней воды. Но когда спустился на песчаный пляж, забитый лавчонками с прохладительными напитками, фруктами и всякой торговой мелочью, понял — купаться невозможно. Вблизи вода оказалась черно-бурой. Фиолетовые разводы нефти в лучах тропического солнца. И сразу многомиллионный город, нависший с холмов над удобными бухтами, показался не столь красивым. Такое я уже переживал в Неаполе и других городах Европы...

Но Индия, наверно, та страна, где легче всего виден срез всей истории цивилизации: от первобытного человека, открывшего огонь, соху и приручившего диких животных, через величайшие памятники архитектуры и искусства до создания искусственных спутников Земли и использования атомной энергии в народном хозяйстве.

Крестьяне ковыряют сохую землю, и рядом по великолепной автостраде проносятся «шевроле», «форды», «фиаты» и отечественные «премьеры», «амбасадоры», «стандарты», грузовые «таты» и другие машины. Еще вчера, когда возвращались из великолепного города на севере Индии Чандигарха, построенного по проекту великого французского архитектора Корбюзье, видели, как бредущая по дорогам Индия с заходом солнца укладывалась на ночлег. Тысячи огоньков вспыхивали по обочинам дорог и дальше. Это сезонные рабочие и, возможно, просто бродяги и безработные, весь дом у которых на плечах в виде стеганой подстилки или куска старого одеяла.

Зимой в этих местах по ночам температура падает до 10 градусов тепла, а то и ниже, и раздетому человеку без огня в лесу или в открытом поле не обойтись. Костер разводится экономно из всего, что есть под руками и что может гореть, тлеть всю ночь, и рядом ложится человек.

Так сделал сейчас и крестьянин под окнами бомбейской гостиницы. Я вижу, как он ворочается на своей дырявой подстилке, встает, поправляет огонь и опять ложится.

Как и его братья в джунглях, он всю ночь промается между сном и явью, подставляя стынувшее тело крохотному костерку...

У меня начинает колотиться сердце. Оказывается, наши далекие праотцы не так уж далеки. Все рядом. Этот крестьянин, свернувшийся калачиком у костра на тротуаре семимиллионного города, и крупнейший в Азии Бомбейский атомный центр, где я пробыл сегодня несколько часов, — совсем рядом. Те десятки лабораторий, оснащенных совершенными приборами и оборудованием, в которых тысячи ученых и инженеров приручают самую страшную и, может быть, самую нужную сейчас человечеству атомную энергию, не отделены тысячелетиями от первобытной Индии. Там в атомном реакторе бушует энергия Солнца, повинувшись гению Человека, а здесь тот же Человек корчится на холодном асфальте и его спасительное солнце — тлеющие угли костерка.

Мне кажется, я могу взять в одну руку начало цивилизации, а в другую то, к чему мы пришли сейчас, и свести все в одно кольцо или ту магическую спираль, по которой развивается история человечества. Впечатления раздирающие, будто ты вскочил на гигантские качели и тебя то возносит в зенит, то бросает в бездну.

А началось это так. Вечером 24 января вылетели из Москвы, было минус 18, а утром прилетели в Дели — плюс 18. Индийцы надели теплые свитера, закутали головы. Им холодно.

Когда пролетали над хребтами гор, нашу сторону я определил по снегу, а индийскую по зелени леса. Потом пошла пустыня. Словно летишь из Ташкента на Хиву или Красноводск: те же серо-желтые пески, паутины дорог, высохшие озера и редко островки поселений, домишки, будто сбившийся в гурты скот. Только не видно на месте высохших водоемов белой изморози солончаков. Наверное, земля здесь лучше.

Через час лета селения пошли гуще. В первых лучах солнца они вдруг заблестели чем-то бело-матовым, жестяным. С высоты десяти тысяч метров крохотные городки и поселки казались свалками у старых консервных заводов, которые я видел в детстве. Глядел и не мог никак понять: что же там может так блестеть? Понял только через три дня, когда ехали из Дели в один из центров индуизма, город Хардвар: оказывается, то, что сверкало, как жемчуг, это люди в белых одеждах. Людей так много, так потрясающе много, что, куда бы я ни глядел все двести двадцать километров пути, везде были только люди и люди.

Мы выехали из Дели в семь утра. Уже взошло солнце, прохладно. Дороги забиты. Люди идут пешком, заматавшись в одеяла, шали, куски материи и бог знает во что. Одни босиком, другие в шлепанцах, третьи в ботинках и во всем, что можно натянуть на ноги (не видел только валенок). Люди едут на велосипедах по одному, вдвоем, втроем и даже вчетвером, висят как гроздь.

В дорожной толчее двухколесные повозки, запряженные мулами, ослами, маленькими жилистыми лошадами. Все это я видел на картинах и рисунках Верещагина, Рериха... Люди едут в машинах грузовых и легковых и даже на тракторах. Люди, люди, люди... Ощущение такое, что вся Индия с восходом солнца гигантским лагерем поднялась и тронулась в дорогу. Это впечатление усиливается тем, что вокруг по обочинам, в кюветах и за ними дотлевают крохотные костерки, а в лощинах и низких местах стойко держится дым, смешавшийся с утренним туманом.

Города вытянулись вдоль главной дороги. Все живое в них сдвинулось, прижалось к этой трассе, обняло ее базарами, лавчонками, мастерскими, маленькими кухоньками, где варятся и жарятся душистые сладости и пряная еда.

Здесь продают диковинные фрукты, овощи, сладости. Готовят всевозможную снедь, жарят орехи, шьют одежду, тачают обувь, режут дерево, кость, гравировать металл, стригут и бреют людей — и все это открыто взору каждого. Ты можешь стоять перед человеком, сидящим на асфальте под палящим солнцем, и быть свидетелем рождения фигурки разъяренного слона, прекрасных сандалий... Если у вас есть рупии, можете купить эти произведения искусства, они стоят гроши, но, сколько я ни глядел, вокруг почти никто ничего не покупал, а все только продавали.

Бескрайняя улица кипит, как котел. Она забита людьми, крикливыми рикшами, сигналищими автомашинами, молчаливыми и важными коровами, которым все уступают дорогу. Здесь же бродят чумазные тощие свиньи, похожие на своих диких сородичей, роются в мусоре цветные куры, все движется, переливается яркими цветами. Маленькие, распахнутые настесь лавчонки и мастерские, они одновременно и жилье торговцев и ремесленников. В их глубине на виду у всех идет жизнь: стирается белье, готовится пища, вокруг смиренно сидят и спят дети.

Говорят, что дети во всем мире дети. Они шалят, беспричинно капризничают или без удержу смеются. Таких я почти не видел в Индии. Здесь дети ведут себя на удивление тихо. Они или помогают родителям по хозяйству, или заняты своими младшими братьями и сестрами. На улице вы тоже не увидите празднующихся мальчишек ватаг, ребята или что-то мастерят перед домом, или волокут вязанки дров, травы — все чем-то обязательно заняты.

Но на главных улицах индийских городков живут, работают и торгуют изделиями своих рук ремесленники и торговцы, если можно так выразиться, среднего достатка, а вот когда сворачиваешь в сторону, становится не по себе. Здесь люди живут в слепленых из ящиков халупах, под навесами, в изорванных палатках. Вокруг ни с чем не сравнимая бедность и потрясающая нищета. Детей еще больше.

Появиться здесь незнакомому человеку невозможно. Все сразу бросают свои занятия и стремглав бегут к нему. Худые ручонки, делая выразительные жесты от рта к животу, хватают вас за руки, за полы пиджака. Вам суют ракушки, безделушки из дерева, проволоки, прикалывают к рубаше цветки, и все просят пайсы, рупии, все, что вы можете дать.

Когда я впервые попал в это плотное кольцо галдящей детворы, то меня вытасил чиновник министерства информации господин Бхатнагар, который сопровождал нас. Я раздал всю мелочь из карманов, а толпа катастрофически росла, и мне стало по-настоящему плохо, как бывает плохо человеку, когда он бессилён что-либо сделать, хотя и знает, что сделать надо обязательно.

Рассерженный Бхатнагар силой вырвал меня из объятий оборванной детворы и строго сказал:

— Больше никогда этого не делайте.

— Как же, ведь дети...

Он еще строже посмотрел на меня и добавил:

— Всех не накормите, а сбежится весь штат.

Дальше мы ехали в машине молча. Я вспоминал разговор с государственными служащими и журналистами, который состоялся в день нашего приезда после официальной встречи в министерстве, когда мы пили великолепный душистый индийский чай. Речь зашла о бедности и нищете определенных слоев населения, и один журналист запальчиво сказал:

— В Индии по крайней мере двести, а то и больше миллионов людей лишних. Их нечем занять, они камнем висят на шее у остальных четырехсот миллионов и тянут страну назад.

Это заявление не вызвало протеста у других наших индийских собеседников, и, когда я ринулся спорить, они лишь пожали плечами: дескать, каждый волен говорить что хочет.

Сейчас я смотрел в окно машины на бредущих усталых, голодных людей. Во мне все бунтовало: нельзя, нельзя, так нельзя! Это же люди! Почему лишние? Кто определил? Кто выгнал их на эти дороги?

Человек тащится из села в село, из города в город в поисках любой работы за кусок хлеба. Весь его дом — одеяло или мешковина, наброшенная на плечи и спину. Никто ничего не несет с собою, нет ни рюкзаков, ни сумок, где бы могли лежать одежда и еда. Одежда вся на нем, а еда, видно, как только попадает, так ее сразу съедают. Лица ничего не выражают, глаза потухшие. Людям холодно, они хотят есть.

Отвожу глаза от дороги, даже закрываю их, но никак не могу отойти мыслью от этих несчастных.

Навсегда в моей памяти останутся голодные, просящие милостыню индийские дети. По одному я еще не встречал здесь детей, они держатся стайками, целыми выводками, грязные, полуголые, и все что-то собирают, копаются в земле, несут, волокут. Таких детей я видел в Сталинграде. Я и сам был таким, потому что пережил страшную осень и зиму сорок второго — сорок третьего.

Да что же это такое? Мы страдали потому, что шла убийственная и разорительная война, а здесь голубое, бездонное небо, пальмовые и банановые рощи, манговые и папайевые сады, здесь земля родит по два и три урожая в год. Нельзя, чтобы страдали дети...

«Будто идет война... Будто на войне...» — перехватывает дыхание, и меня относит памятью в мой израненный, истерзанный Сталинград сорок третьего. Я вдруг соображаю, что именно в эти дни — в конце января — тридцать семь лет назад кончились муки и

страдания сталинградцев, а они еще не знали, сколько осталось дней до конца боев в городе.

Нашего дома давно нет, как нет и улицы и всего рабочего поселка. Вокруг только пепелища и развалины: мертвые горы рухнувших зданий, глыбы камня, битый кирпич, раскисшая штукатурка, из которой страшно, будто руки погребенных, торчат скрюченные и изломанные балки. Я уже давно не боюсь ни убитых, ни заваленных, ни умерших от ран. Боюсь только смотреть на белое расщепленное дерево, оно мне напоминает обнаженные кости ног красноармейца, убитого взрывом бомбы у нашего дома. Его я увидел давно, еще в августе, а теперь зима.

Те жители Сталинграда, кто уцелел, прячутся под развалинами в подвалах, блиндажах, голодают, мерзнут, лихорадочно хватаются уже и не за жизнь, а за какие-то ее жалкие обрывки и все-таки надеются, ждут конца этого ада...

Из нашего восьмого класса НСШ (неполной средней школы) № 47 из 38 учеников выпуска 1942 года осталось 7 человек. Некоторые умерли от ран и истощения уже после освобождения Сталинграда и даже после войны, и среди них мой младший брат Сергей, которого тяжелая контузия мучила до 1977 года...

Мы уже въехали в Хардвар, и я смотрел на город, забитый людьми, а сам все еще был там, в своей военной юности...

Террасами налепленных друг на друга домов город прижался к быстрому Гангу. Набережная занята паломниками. Сотни людей стоят по колено в реке, свершая омовение. Еще больше их на берегу — черпают воду в кружки, бачки, наливают ее в бутылки, кропят водой свои лица и тела. Среди паломников много калек и больных. Они буквально приползли сюда. Зрелище библейское, смотреть жутковато, но тянет как магнитом и самому коснуться «священной» воды, ради которой эти несчастные прошли и проехали сотни и тысячи километров, пронесли через всю свою жизнь надежду на исцеление, веру в счастье и исполнение желаний.

— Совсем нет времени,— говорит Бхатнагар.— Опаздываем на завод.

Но я все-таки сбегая по крутым ступеням, а потом по валунам вниз, к берегу...

Обычное ощущение реальности вернулось ко мне, когда въехали на территорию завода и пошли по пролетам громадного светлого цеха. Он мне показался удивительно знакомым, будто я бывал здесь много раз. Знакомы металлообрабатывающие станки, мостовые краны и другое оборудование, наконец, сам интерьер цеха... Ничего удивительного: завод построен по советским проектам и при техническом содействии нашей страны.

Сейчас это крупнейшее в Азии предприятие современного электромашиностроения выпускает гидроагрегаты конструкции ленинградского объединения «Электросила», которые своим высоким классом и надежностью в работе снискали всемирную славу.

— У нас двенадцать тысяч рабочих,— рассказывает индийский инженер.— Первые учились у ваших специалистов, а теперь управляем сами и учим других.

Осматриваем заготовки будущих гидроагрегатов, у которых деловито хлопочут смуглые рабочие, проходим сквозь перенги станков и машин с марками наших заводов, и не могу отделаться от ощущения, будто я в Свердловске на Уралмаше или «Урал-электроаппарате», где довелось бывать десятки раз.

Здесь совсем другая Индия. Мы идем по пролету огромного цеха и время от времени останавливаемся. Рабочие в опрятных комбинезонах и спецовках управляют сложными современными машинами и оборудованием. Узнав, что мы из Советского Союза, они охотно вступают с нами в разговор. Лица улыбчивые, приветливые. Говорят о советских станках, наших специалистах, которые здесь работали. В устах индийцев русские имена, фамилии, названия городов звучат забавно, но мы их понимаем.

— Симон Кахтанф. Ленинград.— Невысокий смуглолицый мужчина лет тридцати пяти берет меня под руку и ведет к своему станку.

Над столиком, где разложен инструмент, висит крохотный вымпел с родными буквами «СССР». Подоспевший переводчик поясняет:

— На заводе работала группа специалистов из Ленинграда. Господин Радж Чавла просит передать привет его другу Семену Каштанову, который учил его работать на этом фрезерном станке.

Рабочий горячо пожимает мне руку и, улыбаясь, повторяет:

— Ленинград. «Электросил»... Кахтанф...

Вечером побывали еще на одном государственном предприятии — фармацевтичес-

ком заводе. Он тоже построен с помощью советских специалистов и работает на нашем оборудовании и по нашей технологии. Осмотр заканчиваем в небольшом музее. С фотографий смотрят улыбающиеся лица наших соотечественников.

— Ваши ученые и инженеры,— рассказывает менеджер Р. С. Джапта,— в пятьдесят шестом и пятьдесят седьмом годах приезжали сюда, чтобы выбрать место для завода. Тогда в Индии не знали, как производить лекарства. Джавахарлал Неру ездил по зарубежным странам и просил помощи. Но все искали свои выгоды. И только ваша страна была бескорыстна, ваши специалисты учили наших инженеров и рабочих строить, а потом и осваивать производство. Индия платила только за машины и оборудование. И когда в шестьдесят седьмом году завод выдал первую продукцию, все понимали: это подарок советского народа индийскому народу. Такой гуманный шаг могла совершить только страна, где у власти народ, сам испытавший в прошлом нужду и отсталость.

Господин Джапта — невысокого роста, лет пятидесяти — говорит волнуясь, не ожидая, пока его слова переведут, и, когда переводчик его останавливает, недоуменно смотрит на нас, будто спрашивая: «Что же тут непонятно? Нам помогли друзья...»

И на других предприятиях, построенных с помощью Советского Союза, нам не раз доводилось слушать слова благодарности и принимать дружеские приветствия советским ученым и специалистам из Москвы, Ленинграда, Киева, Свердловска, Новосибирска, Еревана... Они работали здесь и оставили добрую память о себе, о нашем народе, и меня всегда при этих беседах охватывала гордая радость, что именно мы, советские люди, наша страна, первое в мире социалистическое государство, раньше других пришли на помощь освободившемуся из-под колониального гнета народу Индии. Начали помогать, когда еще не залечили полностью раны, нанесенные войной. Ведь это было только начало 50-х годов.

В предгорьях Гималаев, где сооружена крупнейшая в Азии гидроэлектростанция, я услышал почти тот же рассказ:

— В сорок пятом году начали прокладывать в горах дорогу. С пятьдесят третьего — рыть котлован, укладывать бетон, а в шестьдесят третьем стройка была закончена и появилось вот это.

Мы стояли на гребне двухсотметровой плотины, перегородившей ущелье и образовавшей гигантское водохранилище гидроузла Бхакра Дам.

Инженер Пракаш Сингх подвел нас к бронзовой доске, на которой мы прочли: «Бхакра Дам была передана народу Индии. Д. Неру 22.10.1963 года».

— Наша гидростанция — одно из первых государственных предприятий,— говорил Сингх.— Она сооружена при техническом содействии вашей страны. Здесь работают ленинградские гидроагрегаты. Надежные машины. У нас работают английские, японские, югославские и другие агрегаты, но машины «Электросилы» лучшие. Здесь пять ваших агрегатов, и с ними нет проблем...

Вечером, когда сидели за ужином, генеральный директор электростанции и оросительной системы господин Х. Дхаван, высокий, атлетического сложения человек с роскошной седеющей шевелюрой, рассказывал нам о том, что в сооружении их гидрокомплекса участвовало три штата: Пенджаб, Харьяна и Раджастан.

— Как у вас говорят,— улыбнулся он,— всенародная стройка. А сейчас мы снабжаем электроэнергией и орошаем эти штаты и другие районы севера Индии. Мы были первыми, кто создавал государственные предприятия. Тогда же строили свой городок для рабочих и инженеров. В нем есть школа, больница, кинотеатр, детсад, плавательный бассейн.— Он сделал паузу, видно задумавшись о том времени, когда строились и гидроузел и городок.— Было трудно. Не все получалось. Сейчас на некоторых новых государственных и частных предприятиях условия жизни людей лучше, чем у нас. Но надо помнить: мы были первыми. Здесь зарождалась государственная индустрия Индии и с ней будущее страны. К сожалению, не все так думают; в Индии теперь растут частные компании, но для нашей страны важнее государственный сектор. Так государство может быстрее решить социальные проблемы.

Когда слушаешь эти рассказы, а потом проезжаешь через рабочие городки государственных предприятий, где обнаруживаешь все, о чем тебе говорили — и приличное жилье, и школы, и больницы, и даже бассейны,— горячо разделяешь веру наших индийских друзей в то, что, развивая государственную промышленность, Индия твердо становится на путь прогресса и благополучия.

Потом в Гималаях на высоте в две тысячи метров мы осматривали дворец магараджи. Хозяин живет в Дели и занимается бизнесом. Дворец пустует, хотя в нем до 70 че-

довек прислуги. Приезжает магараджа сюда два раза в год на неделю-две. Дорогое и не очень понятное удовольствие.

Был день отдыха, но мы устали. Это от индийских дорог. Постичь, как здесь ездят, пришельцу невозможно, надо родиться индийцем. Тяжелые, груженные выше кабины грузовики «тата», легковые авто, велорикши, повозки, запряженные мулами, быками, тучи велосипедистов — все это вытянулось в одну извивающуюся пеструю бесконечную ленту. Дорожных знаков почти никаких. Даже в городах редко встретишь светофор. Всем управляет магическая кисть руки шофера, высунутая из кабины. Движения ее несутливы и даже грациозны. Рука повернута ладонью назад, делает легкую отмахку — это знак идущей вслед машине: обгонять нельзя! С теми же движениями руки шофер выезжает с боковой на главную дорогу. Он не ждет, как у нас, пока пройдет весь транспорт, а, грациозно помахивая кистью, врывается в поток машин, и тем ничего не остается как замедлить ход. Если кисть делает вращательные движения вперед, значит, путь свободен и машина может идти на обгон. Тут целая система знаков, которые должен свободно читать каждый, кто выезжает на индийскую дорогу.

Сидеть рядом с водителем пытка. Машины мчат друг на друга, будто идут на таран, и только в самое последнее мгновение, когда у тебя сами собой закрываются глаза, они расходятся. Нас нещадно слепили фарами. Велосипедисты без света и даже без отражателей вырастали перед самыми колесами нашей машины. Как это ни странно, мы все же добрались благополучно и сразу поехали в гости к Бхатнагару.

Живет он весьма скромно. Одна комната, маленькая кухонька, веранда в общем доме. Правда, Бхатнагар один, семьи нет.

— Раньше жениться не удалось. Сначала служба в армии, потом работа с низкой зарплатой. А сейчас и ни к чему, за сорок...

Пришли его соседи и друзья — чета служителей муз. Она в прошлом танцовщица, а сейчас руководительница балетной школы, он музыкант. Бывшая танцовщица говорила по-русски. В начале 60-х она три года стажировалась в Москве в ГИТИСе и сейчас восторженно рассказывала о своих советских учителях, знаменитых наших балеринах. Ее рассказ — сплошные превосходные степени.

Не понимая русского языка, ее муж, снисходительно улыбаясь, смотрел на нас и мягко кивал головой старого льва, а потом вдруг сам горячо заговорил по-английски:

— Надо чаще встречаться людям культуры. Они легко понимают друг друга и могут договориться быстрее, чем дипломаты. Мы должны уберечь мир от войны.

Видимо, сдерживая неожиданный словесный напор музыканта, наша переводчица пошутила:

— Это в нем заговорил офицерский коньяк.— И, мягко усмехнувшись, кивнула на бутылку, стоявшую на столе.— В мужчинах чаще говорит вино, чем они сами.

Но музыкант никак не отреагировал на шутку. Он только подался к нам своим могучим торсом.

— Если начинаешь сравнивать, сколько в мире тратится денег на вооружение — и на искусство и культуру, то становится грустно. Индия тоже вынуждена держать армию, выпускать вооружение, а надо бы строить школы, жилища. У нас столько неграмотных и столько людей без крова, что средства, затраченные на содержание армии, кажутся настоящим безумием.

— Война — это страшно,— подхватывает хозяин дома.— Я долго был солдатом, попал в плен во время индо-пакистанского конфликта и знаю, что это такое. Всем надо бороться против этой мерзости. Наши страны понимают, что несет людям война, и выступают вместе. Две великие страны много могут сделать, защищая мир. Но пора всем людям, всем странам браться за демонтаж военной машины...

— К сожалению, не все это понимают,— продолжает музыкант.— Наш северный сосед — Китай, его нынешние руководители, видимо, думают по-другому... Во всяком случае, их действия далеко не мирные. Такое случается с людьми. У спокойного, доброго человека обычно нет претензий к соседям, он занят своими заботами, а у агрессивного всегда конфликты, ссоры... Таким людям кажется, что на них кто-то покушается, их обманывают, и они ведут себя нахально, задиристо. Когда такое происходит с человеком, плохо только тем, кто живет с ним рядом, когда такую политику ведет целая страна, да еще такая большая,— плохо всему человечеству. Это уже трагедия...

— Только доверие и взаимное понимание проблем, над которыми бьются народы, могут уберечь от конфронтации,— заметил вновь хозяин дома.— Неужели этого не могут понять люди?

— Могут! — горячо парировал музыкант. — Должны! Но им надо чаще встречаться и выяснять точки зрения. Люди наконец должны осознать, что так не может дальше продолжаться. Не может без конца нагнетаться напряженность, подозрительность, недоверие. Надо остановиться! И первыми должны быть мы, люди культуры...

Его супруга еле успевала переводить, путая значение русских слов, и тогда ей на помощь приходил кто-то из нас, но ее легкая рука всякий раз птицей взлетала над столом: «По-про-о-щю... Я одьна!» — и было видно, что ей доставляет огромное удовольствие эта неожиданная возможность поговорить на языке, который она когда-то знала, видимо, хорошо, а теперь вот стала забывать.

— В Индии живут люди, — говорил музыкант, — которые не понимают друг друга. Разный язык. У вас тоже: русские, грузины, узбеки, армяне... Но все понимают, что такое война. Пусть будут споры словесные, а не военные. Когда сталкиваются слова, мнения, то, как при сбивании сметаны, рождается масло истины. В спорах военных нельзя добиться истины, они всегда рожают смерть и разрушения. Это показал конфликт Китая с Вьетнамом. Прошло время, когда силой можно навязать идеи...

Наш собеседник говорил все время образно, как поэт.

Когда мы вышли из дома и стояли во дворе в ожидании машины, он, немного успокоившись, весело сказал:

— В Индии есть вера, что человек живет не один раз, превращаясь или в растение, или в другого человека. Я стану советским человеком, — улыбнулся он своею ослепительной улыбкой артиста, — и буду жить в вашей стране при коммунизме.

— А мы превратимся в индийцев, — поспешили заверить мы нашего нового друга. — Мы встречались с одним из великих учеников Ганди — Джавахарлалом Неру, когда он приезжал в Советский Союз, и один из нас брал у него интервью. Во вторую свою жизнь будем помогать вашему народу строить новую Индию.

Наш собеседник картинно развел красивые руки и стал поочередно заключать нас в объятия, приговаривая:

— Индия примет всех, у кого доброе сердце.

Завороженно стою перед лебединой красотой Таж-Махала. Именно здесь я впервые понимаю весь смысл поговорки: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Знаю, что пытаться добавить к тому, что сказано и написано о мавзолее в Агре, занятие бесполезное. Но удержаться не могу...

Как это сделано — непостижимо. Спроектирован мавзолеем так, что со всех четырех сторон у него фасад. Откуда бы человек ни подходил к Таж-Махалу, он празднично распахнут перед ним. Будто выточенные из слоновой кости, на каждом углу, как безмолвные часовые, гордо и величественно высятся минареты. Наверное, это они делают дворец воздушно-легким, отрывают его от земли и создают иллюзию, что он парит на фоне голубого индийского неба.

Слова гида о том, что Таж-Махал строили в течение двадцати одного года 20 тысяч рабочих, ничего не могут объяснить. Перед его неземной красотой ничтожной кажется дворцовая интрига, которая разыгралась здесь почти три с половиной века назад. Как только мавзолеем был построен, молодой магараджа заточил отца. Сердобольный отпрыск разрешил папаше любоваться своим творением из окна в крупную клетку, а когда тот стал слепнуть, подарил ему большой алмаз, и умирающий старец через него смотрел на чудо Таж-Махала.

Сейчас и отец, и сын, и любимая жена отца Мумтаз-Махал, в память которой был воздвигнут этот мавзолеем-дворец, лежат в гробницах, которые изо дня в день омывают нескончаемые потоки туристов.

Гробница Мумтаз-Махал из белого цейлонского мрамора, инкрустированного рубинами, сапфирами, агатами и другими диковинными камнями. Гида подносят карманные фонарики, и инкрустация вспыхивает внутренним светом, который будто бы идет из самой гробницы.

Огромные плиты белого и светло-розового мрамора, которым облицован дворец внутри и снаружи, расписаны тончайшей и удивительной резьбой. Неведомые мне восточные цветы — как живые. Рука сама тянется к ним, не веря глазам, что это камень.

Снимая обувь перед входом в мавзолеем, туристы оживлены, слышен смех, бесконечное щелканье и жужжание фото- и кинокамер. А выходят из дворца люди молча.

Даже самые шумные умолкают, потрясенные красотой и могучим духом человеческого гения, сотворившего это чудо света.

Не знаю, что шептала пожилая американская туристка, увещанная фотоаппаратами и сумочками, когда мы все заворуженно стояли перед мраморным кружевом настенных украшений мавзолея, но я все время повторял:

— Не может быть... не может быть. Это же только камень. Не может быть!

А когда покинули храм и шли вдоль гранитной кромки водного зеркала, в котором лебедем плыло отражение Тадж-Махала, мне показалось, что и сам я уже в этой прекрасной сказке.

Такое может сделать с человеком только великое искусство.

Через час в семи километрах от Агры осматривали другое архитектурное чудо Великих Моголов — мавзолей Акбара.

— Акбар, один из тимуридов, жил в конце шестнадцатого века, — бойко рассказывал наш гид. — Он не умел ни писать, ни читать, но на всякий случай держал во дворце богатейшую библиотеку...

Этот «всякий случай» не рассмешил меня. Я все еще был под впечатлением Тадж-Махала. Что-то мешало воспринимать красоту и великолепие мавзолея Акбара, хотя он был действительно красив и великолепен, а в лучах заходящего солнца горел розовым жаром.

Смотрел на строгие очертания башен, острые линии карнизов, на искусную резьбу порталов, округлые купола и чувствовал: что-то мешает мне в самих строениях храма. И вдруг понял: давит смешение стилей архитектуры — индийской, персидской... Здесь нет той чистоты, завораживающей гармонии и той музыки, которая охватывает при созерцании Тадж-Махала.

Во все последующие дни пребывания в Индии мне довелось осмотреть еще десятки дворцов, храмов, пагод, музеев, скульптурных групп и других памятников. У них были имена восточных повелителей, их любимых жен, служителей культа, святых... К каждому имени гиды неизменно добавляли «великий», «прославленный», «священный», и во мне против них стала потихоньку закипать злоба. По какому праву те, кто не положил здесь ни одного камня, не вбил ни одного гвоздя, узурпировали своими именами несметные богатства человеческого духа, мастерство и гений создателей!..

И я подумал о другом. Все великие памятники на земле — гигантские аккумуляторы и могучие сосредоточия труда, мысли и духа тех, кто чередой прошел по нашей земле. Только они, эти счастливые хранилища творческого гения человека, и могут нам достоверно рассказать, какими были наши предки и каких вершин они достигли. Страшно подумать: а вдруг все исчезнет? Человечество останется голым, оно будет бродить в потемках, даже если ему и оставить современный уровень науки и техники. Люди лишатся опоры, корней, а что же может стоять без фундамента и расти без корней?

И мне будто послышался горячий шепот индийского музыканта: «Любой спор, только не война. Войны еще никогда не сбивали масла истины».

О городе Бангалоре я почти ничего не знал, кроме того, что в нем живет русский художник Святослав Николаевич Рерих. Я спросил у шофера такси, сколько жителей в городе. Тот задумался и неуверенно ответил:

— Наверное, полмиллиона, а может, и больше.

Я усомнился. Полчаса назад с воздуха Бангалор показался мне огромным.

— Возможно, миллион, — подтвердил мои сомнения Бхатнагар. — Да, не меньше миллиона.

Я уже не раз замечал, что сведения о населении индийских городов разноречивы. Один мог говорить — в городе живет 300 тысяч, другой — 500, и никогда между собеседниками не возникало спора, а если я допытывался, сколько же, они пожимали плечами: «А какая разница? Много».

В отношении населения Бангалора мои собеседники ошиблись еще более разительно, и это выяснилось при нашем посещении Святослава Николаевича.

...В небольшом дворике-саде нас встретила высокая женщина в сари, и тут же вышел сам Рерих-сын. Он был какой-то светлый, залитый солнцем. Белая борода, белые волосы, светлые брюки... Темная цветная рубашка навыпуск, с короткими рукавами подчеркивала эту белизну. Худощав, подтянут, выше среднего роста, говорит неторопливо, спокойно, как говорят люди, знающие, что их внимательно слушают.

Входим в небольшой светлый холл. На стенах картины, резные изделия, на столиках книги на английском и русском языках. В скромном интерьере выделены предметы и вещи, относящиеся к памяти отца. Скульптура Николая Константиновича, его картины, книга «Н. К. Рерих», изданная недавно издательством «Искусство». На нашу просьбу сфотографироваться Святослав Николаевич отзывается несколько смущенно:

— Если это нужно, то надо сейчас, а то уйдет солнце.

Опять выходим во двор-сад. Фотографируемся, как в старину, с застывшими лицами. Потом я прошу Святослава Николаевича разрешить наш спор: сколько же в Бангалоре населения? Глаза Рериха весело лучатся, он оглаживает седую клинышком бороду и спрашивает:

— А как вы думаете?

— Запутались, Святослав Николаевич. Нам называли разные цифры. Сегодня на электромашиностроительном заводе, где мы были, сказали — больше двух миллионов.

— Сейчас в Бангалоре, — улыбнулся Святослав Николаевич, — уже почти три миллиона. Город очень быстро растет. Ежегодно в нем прибавляется по сто двадцать тысяч жителей. А в сорок девятом году, когда мы сюда приехали, было только триста пятьдесят тысяч.

Мы вспомнили, что в Индии, как нам говорили, ежегодно прирастает 14—15 миллионов человек.

— Да, — согласился хозяин, — но Бангалор растет, наверное, еще быстрее, чем все население страны. Считается, что здесь лучший в мире климат. И это так. Зима и лето почти с постоянной температурой. Нет изнуряющей жары. Город как бы все время прикрыт облаками, поэтому жара умеренная. У нас не бывает более тридцати—тридцати пяти градусов.

Я заметил, что вчера было 32 градуса и нам показалось: мы попали в пекло.

— Вы не знаете индийской жары, — мягко улыбнулся Рерих. — Мы жили на севере, в долине Гималаев; Николай Константинович бывал в Бангалоре, но никогда тут не жил. Я приехал сюда уже без него и увидел, что здешний климат похож на северный, гималайский, который любил Николай Константинович. Высота здесь тысяча метров над уровнем моря, город находится на том же семьдесят седьмом меридиане, что и долина в Гималаях...

Святослав Николаевич умолкает, словно стараясь припомнить еще что-то из того времени, когда они переселялись из Гималаев сюда, на юг. Руки его покойно лежат на коленях, лицо задумчиво.

— Вы, наверное, знаете, что первый раз мы приехали в Индию в двадцать третьем году. Много путешествовали. Николай Константинович был удивительный человек, и он столько делал для сближения русских и индийцев. Сейчас в мире начинают понимать и оценивать его подвижническую жизнь. В разных странах о нем выходят книги. Хорошая книга вышла и у нас в Союзе. — Он берет со столика светлый томик издательства «Искусство» и добавляет: — О Николае Константиновиче еще далеко не все сказано. Он был человеком удивительно цельным при поразительной разносторонности своего таланта: художник, ученый, писатель...

Во время разговора Святослав Николаевич ни разу не произнес слово «отец». Он называл его только по имени и отчеству, видимо намеренно отгораживая себя от отца, выдающегося художника и общественного деятеля. Было подчеркнуто: отец — это отец, а он — это он; сын не хочет, чтобы даже отблеск славы отца падал на него.

— Вы недавно были на родине. Что для вас эти поездки и встречи? — спросили мы у Святослава Николаевича.

— Всегда волнение и радость. — Лицо Рериха оживляется. — Соприкосновение со страной, где ты родился, с нашими советскими людьми всегда дает мне новые силы. А последняя поездка особенно дорога и приятна. Мне присуждена почетная степень академика нашей Академии художеств. Это большая честь. Как всегда, радостные встречи с друзьями. Их у нас в Союзе много.

В комнату вошел пожилой индеец и начал молча ставить на низенькие столики, за которыми мы сидели, чай по-русски — с лимоном, но в чашках.

Рерих продолжил прерванный разговор:

— У нас много друзей не только среди художников, людей искусства, но и среди ученых. Есть добрые друзья в Сибири, в Академгородке. Мы не смогли поехать к ним, были заняты выставкой, так они приезжали в Москву. Чем больше люди смотрят на

произведения искусства, чем больше они соприкасаются с миром прекрасного, тем больше сами делают доброго и полезного в жизни. Искусство должно всегда быть перед народом, перед глазами простых людей и перед его судом. Надо, чтобы картины, скульптуры и другие произведения чаще двигались из города в город, из страны в страну. Меня всегда трогала реакция нашего советского народа на искусство. (Святослав Николаевич много раз повторял «наш советский народ», будто хотел выделить это словосочетание.)

Не выпуская светлого томика из рук, Святослав Николаевич продолжал:

— Искусство всегда лучше и надежнее служит народу, если оно перед его глазами, если оно на площадях, улицах, в гуще людей...

В это время в холл вошла яркая статная женщина, которую, как мне показалось, я уже видел, и не однажды. Она по-хозяйски приветливо кивнула всем нам и заговорила с Рерихом по-английски. Когда женщина ушла, Святослав Николаевич сказал:

— Это моя жена, киноактриса Девика Рани. Еще недавно она была очень популярна в Индии и за рубежом. Возглавляла крупнейшую в стране ассоциацию звукового кино...

Конечно, я не ошибся: я видел Девиду Рани в индийских фильмах.

Мы спросили у Святослава Николаевича, когда он собирается приехать на родину.

— Скоро. В этот раз надеемся обязательно побывать у друзей в Сибири. Там один из пиков Белухи назван теперь именем нашей матушки Елены Ивановны. Он рядом с пиком Николая Константиновича. Это хорошо, что они рядом. Там же есть два ледника. Они носят имена старшего Рериха и вашего покорного слуги. Так что в Сибири у нашей семьи есть свои родовые места.— И он опять улыбнулся одними глазами.— На Алтае, в Верхнем Уймоне, восстанавливается дом, где мы жили. Сейчас делается многое по увековечению памяти Николая Константиновича. Восстанавливается также дом Рериха и под Ленинградом. Издана вот эта книга... Творчество Николая Константиновича все больше и больше завоевывает людей. Его знают во многих странах мира, потому что он всю свою жизнь служил идее сближения народов. Идее сближения нашего народа с индийским Николай Константинович посвятил всю свою жизнь. Он начал эту большую работу еще в конце прошлого века, и теперь нужно, чтобы она пошла вглубь, чтобы люди почувствовали, что они действительно братья, дети одной матери земли. Людям нечего враждовать, у них одна земля, они пассажиры одной планеты. Только слепой может не видеть, как развивается самосознание людей во всем мире. Я замечал: если человек живет активно, если захвачен большой созидательной идеей, то он всегда стоит ближе к искусству и лучше его понимает. Наши советские люди, все те, кто строит новую жизнь, кто сам творит будущее, очень глубоко и верно понимают искусство. Чувствую это и по записям в книгах отзывов и по тем беседам, которые я люблю заводить на выставках с посетителями. Чтобы понять, надо хорошо посмотреться. А если уж человек понял, то он может все. Не зря говорят: понять — это простить...

Святослав Николаевич говорит немного глуховатым, но чистым голосом. Грамматически речь его верна, но все же можно заметить, что это не наш нынешний бойкий, торопливый язык, а тот старый, степенный, литой русский язык, каким говорили герои Бунина, Куприна, Замятина, Ремизова. И не только потому, что Святослав Николаевич некоторые слова произносит на старинный лад («библиотека», Туркестан, Вильно и т. д.), а потому, что сама кладка слов, мне кажется, идет в другой манере.

Спрашиваем у Святослава Николаевича, как он работает.

— Встаю всегда в пять тридцать и считаю, что раннее утро — самое лучшее время для творчества. Но работаю практически весь день, меняя свои занятия. Если не пишу картины, то сижу над статьями, отвечаю на письма, еду на встречи и выступления. Дел всегда много. Ведем большую переписку. Пишут со всего света. Отвечаем на письма здесь, на городской квартире, где бываем три раза в неделю. Сегодня как раз такой день... А вчера был детский рисовальный конкурс в честь Николая Константиновича,— оживает хозяин, и глаза его вновь лучатся теплым светом.— Первый раз мы его проводили в семьдесят четвертом году, в день столетия Рериха, а теперь он у нас ежегодный и в нем участвуют дети от трех до пятнадцати лет. Конкурс однодневный. На него собирается обычно более тысячи детей. А вчера, представляете, было полторы тысячи мальчиков и девочек. Все это на природе, в парке... Рисует каждый что хочет, по желанию. Мы, художники, ходим, смотрим, помогаем, оцениваем. Город специально выделил нам место для проведения этих художественных конкурсов — четыре акра

земли. Его называют центром искусства. Там теперь учатся и приобщаются к искусству тысячи детей.

— Святослав Николаевич,— спрашиваем мы,— а кто были ваши учителя?

— Конечно, Николай Константинович. Он прежде всего...— Герих задумывается, потом кладет книгу на столик и добавляет:— А знаете, у меня прямых учителей не было. Я долго изучал искусство многих стран Европы, Азии, Америки, Африки...

— А кого вы больше всего цените из наших художников?

— Павла Дмитриевича Корина очень ценил. Сарьяна, конечно...

— А из современных?

— Их я знаю меньше. У Ильи Глазунова иногда интересные новые искания. Но не все удачно. Есть очень любопытные решения, когда он соединяет старое и новое. Здесь могут быть вообще большие открытия...

Чувствуем, что немного утомили Святослава Николаевича, и начинаем прощаться.

— До встречи в Москве,— говорит он нам во дворе, и мы еще раз фотографируемся на память.

Жара такая, что стоять на солнце невозможно. В середине дня вышли с намерением пройтись по Бангалору и уже через четверть часа вбежали в холл отеля «сваренные» и «обожженные» и долго сидели молча, наслаждаясь прохладой кондишена. В такое пекло я иногда попадал в родном Волгограде или в Ташкенте. Но то было в середине лета, а сейчас середина зимы. Даже нельзя себе представить, что где-то там у нас сейчас заснеженный лес и гулко, словно выстрелы, трещат стволы деревьев. Еще ни в одну из моих пятидесяти зим не врывалось знойное лето. И произошла забавная штука, какую я и объяснить-то толком не могу. Во мне будто что-то повернулось, и я стал по-другому смотреть и понимать привычное. То, что раньше видел и, казалось, понимал, теперь обернулось загадкой или открылось незнакомой мне стороной.

Каждый знает по себе, что с нами что-то происходит при смене времени года. Эту перемену люди особенно остро замечают весной и осенью. Половодье обновляющей природы захватывает человека, будит забытые сны детства, неисполненные желания, тело требует движения, дух раскрепощается. Осенью же происходит совсем другое. Увядающая природа вызывает приступы грусти, сожаления, а часто и горькой тоски: уходят дни, уходят месяцы и годы и столько пропущено, столько оставлено на потом... Возможно, с другими происходит по-иному, а со мною каждую весну и осень именно так. Однако в Индии смешались мои осени и весны, лед и пламень.

А может, я шалел от раздражающих индийских контрастов: ослепительного блеска роскоши и оскорбляющего уродства нищеты, ярких красок райских цветов и грязи, затхлости скученных жилых кварталов, бездонного лазурного неба над голубым океаном и зловония сточных канав, которые, как черные щупальца, протянулись к нему в прибрежных городах-спрутах...

Может быть. Но теперь я точно знаю одно — человеку надо обязательно вырываться из привычного, налаженного годами и десятилетиями ритма жизни. Надо, чтобы лютая зима севера обрывалась нестерпимой жарой тропиков, и не искусственно, как это мы иногда позволяем себе в бане (парилка — холодный душ), а в натуре, где экспериментальная площадка — земной шар. Надо, чтобы человек хотя бы раз попадал из одного социального мира в другой. Действительно, однажды надо видеть все самому, прыгнуть из зимы в лето, минуя традиционные весны и осени, порвать пути привычек и привязанностей, и тогда возможно чудо обновления. Как с корабля, поставленного в док, с человека можно будет соскести налипшие ракушки обыденности, снять ржавчину обид и дурные наросты самомнения.

...Когда немного спала жара, мы все же поехали осматривать город. Зашли в художественный салон, где продаются изделия государственной компании «Кавери», объединяющей ремесленников-художников. На эмблеме этой компании — симпатичный индийский слон, которого хочется приветствовать улыбкой.

— Такие магазины-салоны «Кавери»,— рассказывает молодой энергичный администратор,— есть во всех крупных городах Индии. Продаем изделия и за границей. Сейчас послали нашу продукцию в Москву и ждем ответа.

Изделия удивительной красоты и изящества, Картины, резьба по дереву, металлу, кости, камню, национальная домашняя утварь, чеканка, ковры, гобелены, чудес-

ные инкрустированные столики, женские украшения из драгоценных и полудрагоценных камней, ракушек, стекла, керамики, благородного дерева, скорлупы орехов и даже семян фруктов.

Есть очень дорогие изделия — столики по 2500 рупий, вырезанные фигуры слонов и других зверей по 1000 и более рупий. Но есть и дешевые вещи. Деревянную ручку, отделанную медными пластинками, можно купить всего за две рупии (20 копеек), 12 рупий стоит оригинальное ожерелье из семечек яблок. Искусно нанизанные на нитки и сплетенные в красивый жгут каплевидные зерна, покрытые лаком, переливаются чешуей змеи и складками живой гусеницы.

Даже дешевые изделия поражают чистотой отделки и тем, с какой любовью выполняется каждая работа. В ней угадывается тысячелетний опыт, то совершенство, простота и высочайшее мастерство, которые из поколения в поколение передавали ремесленники-художники.

В дворцах, мавзолеях, музеях и храмах я видел такие удивительные творения рук человеческих, что готов был поверить в колдовскую силу древних мастеров, потому что чем больше я смотрел на их изделия, тем сильнее меня поражала загадка: как же это сделано? А вот теперь в этом салоне, рассматривая прекрасные, но все же на порядок ниже современные работы, я, кажется, начал понимать загадку древних мастеров. Ни один художник даже таланта Рафаэля или Рублева не в силах создать великие произведения, если он не постигнет опыта своих предшественников. Существуют приемы, методы, то, что мы сейчас называем технологией изготовления изделия. Она накапливается и совершенствуется в течение сотен и тысяч лет. И это я сам ощутил здесь, в стране высочайшей культуры труда. Я увидел, что и посредственные, но добросовестные ремесленники, научившись древнейшим приемам, овладев технологией прошлого, создают прекрасные произведения.

Из художественного салона попали в музей художника Х. Венкатаппа, жившего в 1887—1965 годах. В центре музея на большой витрине под стеклом лежат орудия труда, а вернее чуда, которыми творил этот чародей живописи и скульптуры: кисти, режущие инструменты, минералы, из которых он натирал свои удивительные краски, и другие предметы. Выставлены они здесь не случайно; человек, обойдя музей, ищет разгадку волшебства искусства Венкатаппа. Среди пронзительно реалистических портретов, ясных и звонких пейзажей, изящных скульптур и барельефов меня больше всего поразили миниатюрные работы. Они выставлены в конце зала и как бы венчают творчество художника, показывая, каких вершин мастерства может достичь человек.

Это миниатюрные портреты на фарфоре или другом материале размером со средний медальон, такой ясности и чистоты рисунка, какие трудно вообразить себе. Невозможно поверить, что это нарисовано кистью или еще чем-то. Оно будто перефотографировано в цвете на еще неведомую людям пленку такого качества и такой изобразительной силы, какой еще не достигали на земле. Руками такого сделать нельзя, все говорит в тебе, это под силу только тончайшей технике, которую создали разумные существа за пределами нашей планеты.

Такие мысли рождает у человека знакомство с миниатюрами Венкатаппа, и он пораженный бредет к витрине в центре зала и долго огушенный стоит перед незатейливыми земными инструментами и красками, которыми художник творил свое чудо.

Индия — страна, где человек, впервые попавший сюда, не перестает удивляться, даже если он и до предела переполнен впечатлениями и, кажется, его уже ничем не удивишь. В своей записной книжке я нашел: «Впечатления мои от непостижимых контрастов этой страны вроде бы постепенно улеглись, я стал спокойнее смотреть на дворцы и хижины, блеск богатства и грязь нищеты. Видно, и самые острые чувства склонны к притуплению. Человек не может все время кричать от восторга или горя».

Эта запись сделана на десятый день пребывания в Индии. Мы выезжали тогда из Бангалора в город Майсор — посмотреть его удивительные памятники Древнего индийского зодчества. Хорошо помню свое состояние, когда вечером, снова в Бангалоре, пошли в прекраснейший парк-дендрарий — Красный сад.

Жаркий февральский день догорал за гигантскими деревьями, окропив небо и кроны деревьев золотыми бликами расплавленного солнца. Казалось, и эти яркие цве-

ты, заполонившие парк, расплескало уходящее за горизонт щедрое солнце... Но в Майсоре мы увидели столько чудесного, посетили такие прекрасные дворцы и музеи, что, казалось, сейчас уже не осталось сил смотреть ни на что. Даже «пожар» в западной стороне парка и его багряные отблески на клумбах цветов не смогли захватить моего воображения. Я бездумно бродил вдоль широких, сделанных с щедрым размахом аллей, пока вдруг пораженный не остановился перед двумя исполинскими деревьями. У них были огромные шатровые кроны не менее тридцати метров в диаметре, и сами они походили на неведомых исполинов, воинов, поставленных охранять этот чудесный Красный сад. У великанов было простое и прозаическое для нас название — фикусы.

Гордые и величавые красавцы упирались в самое небо. Особенно поражали — нет, вызывали ожог удивления их могучие и в то же время элегантные и даже нежные стволы. Представьте себе громадину диаметром не менее трех-четырёх метров, которая, как тугая девичья коса, сплетена из коричневых корневищ толщиной в руку человека. Дерево обвораживающей красоты, оно словно создано для украшения храма природы. В то же время в нем, как мне показалось, есть и что-то от человека — гордое достоинство и живая одухотворенность.

С этого момента я уже заболел Красным садом и смотрел на него другими глазами. Оказывается, здесь росли деревья и цветы со всех континентов. Я переходил от дерева к дереву, читая дощечки с надписями. Узнавал те, с которыми уже не однажды встречался у нас в парках Кавказского побережья или Крыма. Но были и такие, каких никогда не видел, и среди них знаменитые араукарии — тоже деревья-гиганты, но уже совсем другой формы и, я бы сказал, иного стиля. Похожие на наши кедры, они так же свечами возвышались над всем массивом парка, как те над зеленым морем сибирской тайги. Араукария — хвойное тропическое дерево все в злых шиповидных колючках, и его, как и кедр, не спутаешь ни с чем.

Теперь я не только отдыхал, но и смотрел во все глаза, не переставая поражаться тому, какие чудеса может творить земля, когда ей небо в разумных пропорциях посылает тепло и воду...

Красный сад вернул способность воспринимать чудеса Индии, и весь остаток дня мне вновь суждено было удивляться и переживать.

Уже поздним вечером, когда в наших ресторанах начинают предупреждающе гаснуть огни, мы вошли в небольшой национальный ресторан. Решили послушать старинную индийскую музыку. В большинстве ресторанов и кафе, где нам доводилось ужинать, исполняют современную — европейскую и американскую.

Продолговатый зал, где стоит десятка два столиков, погружен в зыбкий полумрак. Лишь кое-где горят свечи, лиц людей не видно — только силуэты, повернутые к светлomu пятну эстрады. Четыре музыканта и певец обрушивают в зал надрывные звуки. Между столиками тенями мелькают официанты в яркой униформе и знаками различия на погонах: официанты-майоры, полковники и даже генералы...

Певца сменяет певица, потом — пение дуэтом, и наконец под негромкие аплодисменты выходит юноша, и зал заливают прекрасный бархатный баритон, которому, когда он берет низкие ноты, на нашем столе подпевают хрусталь. Это уже настоящая музыка и прекрасные песни, ради чего мы сюда шли...

Осматриваю темный зал и вдруг почти рядом замечаю столик, за которым сидят трое детей. Даже вздрагиваю: три мальчика — четырех, семи и, возможно, десяти лет. Рядом отец. Все слушают концерт. Если бы не полуночное время — семейная идиллия, да и только. Смотрю на самого меньшего: у бедняжки слипаются глаза. Старшие стойчески борются со сном, поглядывая то на певца, то на строгое лицо папы. И вдруг вконец разморенный малыш роняет головку и, свернувшись калачиком, ложится на просторное кресло. Все это не вызывает никакой реакции ни у его старших братьев, ни у отца.

Из темноты, как привидение, появился официант-генерал. Он ставит перед детьми и папой мороженое с фруктами в высоких фужерах. Спящего мальчика никто не будит. Теперь уже меня больше занимает эта странная семья, чем эстрада, на которую к тому времени вышел знаменитый американский чревовещатель.

В зале оживление. За столиками сначала неохотно, а потом все громче похихивают над диалогом чревовещателя с куклой. А когда артист спросил у куклы: «Зачем вон тот респектабельный господин носит очки?» — и кукла ответила: «Он не до-

веряет своим глазам», — зал разразился аплодисментами. Оживляются и мальчики. Они выражают неподдельный восторг, горячо хлопают вместе со всеми лучшей остроте заокеанского чревовещателя, а я не могу оценить этого наигранного экспромта, потому что в перегруженной за день впечатлениями голове опять роятся десятки проклятых «почему?». Почему в столь поздний час здесь эта семья? Где мать этих мальчиков? Почему к их усталости равнодушен отец? Кто он? Артист, бизнесмен, чиновник? Местный житель или заезжий иностранец?

Когда второй малыш стал безмятежно укладываться на кресле, я, не удержавшись, обратился к папаше. Разгадка оказалась простой. Отец ребят — управляющий этого ресторана. И, как мне кажется, сейчас он находится на работе. Нам же рассказывает такую версию. Всей семьей они были в театре. Мать у них врач. После спектакля ее вызвали к внезапно захворавшему пациенту, а они, чтобы не скучать дома, поехали сюда поужинать. Он рассказывал легко, непринужденно, но видно, что это придумано. «Хорошенькое «скучать» в полночь», — хотелось сказать ему, но я только указал глазами на спящих мальчиков. Папаша как-то неопределенно махнул рукой, показав этим жестом, что здесь ничего необычного нет, и стал оглядывать зал.

Теперь уже нельзя было не заметить, что управляющий зорко следит за всем, что происходит на эстраде, в зале, за стойкой бара и даже за занавеской кухни, откуда с подносами появляются официанты.

Старший его сын продолжал бодрствовать. Он раньше других издал все тот же восторженный вопль по поводу очередной шутки чревовещателя и, захлопав в ладоши, увлек весь зал. Потом незаметно локотком подтолкнул уже засыпавшего брата, и тот поддержал его, но тут же опять начал клевать носом. Под общий хохот подвыпивших посетителей ресторана мальчик вступил в «милую» перебранку с куклой чревовещателя. Дети работают здесь, как и их папа. Мне стало грустно. Остро пожалел мальчишек.

Чревовещатель покинул эстраду, опять играл оркестр. Приглушенная, мягкая музыка обволакивала зал, чадили свечи, трепетно подрагивая робкими язычками пламени. В зале перестала ощущаться прохлада кондишена, и мне показалось, что я опять в одном из самых красивых храмов Индии где-то под Майсором.

Там не было музыки, но был такой же полумрак, чадили свечи и так же остро пахло разгоряченными человеческими телами. В глубине храма, где в православных церквях алтарь, возлежала громадная фигура бога Вишну с коброй. Каменный идол — как и положено индийским божествам, дородный и могучий — был погружен в сладостную дрему, а над ним витало четыре или пять (в полумраке трудно разобрать) голов кобры, которая стерегла его сон. Перед богом Вишну за железной загородкой священнодействовал обнаженный до пояса жрец. Лицо его размалявано белой и красной краской, в руках поднос, на котором горит огонь. Он проходит мимо людей, и те суют свои ладони в пламя, а потом будто бы им умывают лицо. Еще один проход жреца мимо шеренги жаждущих чуда, но теперь уже в его руках планшета с жидкостью (возможно, просто со «священной» водой). Он кропит протянутые ладони прихожан, и опять омовение лица, головы теми же жестами, какие я видел у паломников на берегах Ганга. Люди бросают жрецу деньги... Шеренга сменяет шеренгу. И так с утра до вечера, изо дня в день, из года в год сотни и тысячи лет.

Когда смотришь на гигантские, почерневшие от времени глыбы камня, из которых сложен храм, ступаешь на прохладные мраморные плиты, истертые миллионами босых ног, кажется — над тобою и в самом тебе гудит вечность. Сколько прошумело веков, сколько сменилось поколений, а люди в слепой вере идут и идут к этим камням, назвав их священными, и не иссякает их череда...

Возможно, музыка навеяла эти мысли. Во всяком случае, когда в толпе паломников я бродил по храму Шийранага Паторан, их не было.

Чандигарх одновременно столица двух штатов — Харьяны и Пенджаба. Эти северные штаты считаются в Индии сравнительно зажиточными. Здесь развитое сельское хозяйство. Проезжая по дорогам, мы впервые видели на полях тракторы и другие сельхозмашины. Крестьяне применяют севообороты, вносят в землю удобрения, высевают сортовые семена. Встретили мы здесь и сорта твердой пшеницы, выведенные в нашей стране.

Особенное впечатление производят пенджабцы — высокие красивые люди, о которых в Индии говорят, что они умеют хорошо работать, хорошо воевать и хорошо

веселиться. Наш шофер оказался пенджабцем и всю дорогу рассказывал о своих родных местах.

Край действительно богатый, здесь растет все. Как говорят у нас, посадишь оглоблю — вырастет тарантас.

— Но земли мало, — жалуется шофер-пенджабец. — Семья живет в деревне, а мне приходится работать в городе. Почти двадцать лет прослужил в армии — тоже шофером. Дома бывал в отпусках и наездами. Дети росли без меня. Скоро дослужу до пенсии и вернусь домой.

На голове шофера голубой тюрбан, густая черная борода аккуратно расчесана и повязана сеткой. Он знает десятка два русских слов. Молчит-молчит и вдруг сыпанет, как горох из мешка: «давай-давай», «карашо», «водка», «здравствуй», «барахло»...

В городе Чандигархе он знает каждую улицу и охотно берет на себя обязанности гида. Начинаем с великолепной магистрали, где разбит прекрасный парк. На берегу водохранилища сидят с удочками рыбаки. Я бросаюсь к ним как к родным братьям, спрашиваю про улов. Оказывается, результаты те же, что и у рыбаков на Москве-реке. Главное — процесс, а не рыба.

Город насчитывает свыше 400 тысяч жителей, его строительство началось сразу после получения страной независимости. Осматриваем правительственные учреждения — они сооружены по проектам Корбюзье. В здании парламента можно разглядеть очертания пирамиды Хеопса и гигантского восточного кувшина, сосуда еще более древнего, чем египетская пирамида. Каждый волен по-своему расценивать и понимать эти символы, но великому архитектору не откажешь в глубоком содержании, которое он вложил в свое творение.

Чандигарх необыкновенно чистый и, конечно, зеленый. Жилые кварталы состоят в основном из небольших двух- и трехэтажных домов и вилл. Это производит впечатление небольшого и очень уютного городка. Несмотря на почти полумиллионное население, размеры скрадывает свободная и, на мой взгляд, в высшей мере рациональная планировка. Здесь много воздуха, простора и в то же время хозяйского расчета. Эти качества я заметил во многих современных городах Индии, в том числе и в новых жилых кварталах Дели, Бангалора, Майсора. Нет европейской скученности и угнетающего диктата бетона, стекла и металла. Судя по свободной застройке, земля здесь, наверное, не столь дорога, как в Европе. И все же меня удивляет, как можно при такой перенаселенности строить малозатяжные дома.

В который раз ловлю себя на мысли, что, видимо, я чего-то не понимаю, подходя к здешним проблемам с нашими мерками. Не могу постичь, как это голодные, падающие от истощения рыбаки могут ловить в океане или реке рыбу и не употреблять ее в пищу, а вывозить свои уловы на поля как удобрение. Не могу постичь, почему бедняк должен всю жизнь копить деньги на свадьбу дочери или сына, залезть в тяжкие долги и потом до конца своих дней выплачивать их, но обязательно сыграть свадьбу такую, чтобы роскошь подарков затмила все вокруг.

— Выдать дочь замуж, — жалуется шофер-пенджабец, — настоящее разорение для семьи. Свадьба обходится до двадцати, а то и более тысяч рупий.

Меня поражает эта сумма. Ведь средний заработок рабочего 300—400 рупий в месяц. Сезонники могут зарабатывать только по 3—4 рупии в день. Представляете, сколько надо работать человеку, чтобы в два дня прогулять эти сбереженные по крохам средства!

— Зачем же это делать? — говорю шоферу.

Он пожимает плечами, снисходительно улыбается и смотрит на меня, как глядят на неведомо что говорящих людей. Мне уже не раз объясняли: «Обычаи, традиции, религия...» Знаю, но постичь не могу...

Но есть в Индии и такое, что мне понятно. Люди, особенно бедные, живут в удивительном согласии и гармонии с природой. Они ее часть и ничем не выделяются из нее. Не видно, что это цари природы, как любили у нас повторять... Проезжая по дорогам Индии, не раз видел такие сцены. На зеленых лужайках сидят люди. Между ними расхаживают птицы: вороны, горлицы и еще какие-то птахи. Если люди едят, то птицы настороженно замирают в ожидании, что им обязательно бросят оставшееся. И им бросают — кожуру банана или апельсина, огрызок яблока или какого-нибудь овоща. Или вот: человек у обочины дороги сдирает шкуру с убитой или умершей буйволыцы, а рядом сидят десятка два грифов и спокойно ждут...

Грифов в Индии много, но они меньше тех, каких мне довелось видеть у нас.

Вообще мне показалось, что птицы здесь заметно меньше наших: вороны худые, длинные, как веретено, голуби небольшие и тоже поджарые, будто их высушило злое южное солнце. Скот тоже мельче, суше. Если человеку живется плохо, то домашним животным еще хуже, уж это так.

Глядя, как перегоняли через дорогу стадо низкорослых, с плохой шерстью овец и коз, я снова вспомнил войну... Мы, мальчишки, работали на тракторах-развалюхах в колхозе, поля которого начинались прямо за разоренным Сталинградом. Голодали нещадно. Наши карточки иждивенцев (300 граммов хлеба и какие-то граммы крупы) оставались в семьях, а мы жили на «приварке» в тракторной бригаде. Один раз в сутки здесь варилась жиденькая каша-кандер или затируха из муки. И нам и скотине, которой обзавелся колхоз, особенно тяжело было дотянуть до весны. Главное — дожить до «подножного корма», для нас им были суслики, для коров — прошлогодняя трава. Как только начинал сходить снег, мы уже были в поле, организовывали промысел на бойких степных зверьков — бегали с ведрами воды от норы к норе, а десятка полтора коров и две пары волов теньями бродили по ложкам, где сохранились кулиги ломкой прошлогодней польны, жесткого, как проволока, чернобыла и осота. Так было у нас в войну. Но здесь же не война...

Когда въезжали в прекрасный город Чандigarх, на одной из улиц у забора великолепной виллы на солнцепеке согбенно сидел старик. Худые руки обхватили голени ног-палок, голова уронена на острые колени, старик замер, не проявляя признаков жизни. Машина попала в пробку, и я несколько минут смотрел на этого человека, стараясь понять, жив ли он. Мимо шли люди, двигались автомашины, повозки, велосипедисты, и никто не обращал внимания на старика.

Часа через три возвращались той же дорогой и увидели, что старик сидит на том же месте и в той же позе. Попросили остановиться, чтобы выяснить, что с ним случилось, но нам сказали, что этого нельзя делать.

— Если вы поднимете этого человека, а он окажется больным, вы должны будете везти его в больницу и платить за его лечение.

Вначале это предостережение показалось мне диким, я возмутился, потом стало горько, и в конце концов ничего не оставалось, как в бессилии развести руками да вспомнить нашу пословицу: в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Город Мадрас и штат Тамиланду — последнее место нашего пребывания в Индии, и пора уже было приводить в порядок свои разноречивые впечатления. Но когда прилетели в этот крупнейший экономический и культурный центр Южной Индии, меня опять захлестнули все те же раздирающие впечатления.

В аэропорту поразила индустрия сервиса. Впечатление такое, что фирмы буквально охотятся за каждым пассажиром в отдельности. В руках у них дорожные сумки, сумочки, кейсы, картонки, корзинки и корзинки. Носильщики волокут громадные чемоданы, саквояжи и целые сундуки из пластмассы, металла, кожи, парусины, брезента и бог знает еще из каких неведомых мне материалов. Чемоданы прямоугольные, сферические, круглые, полукруглые, длинные, короткие, пухлые, тонкие... Видно, что фирмы, снаряжающие людей в дорогу, конкурируют друг с другом с сатинской самоотверженностью. Делается все, чтобы выжать из человека деньги. В Индии этот контраст сервиса и нищеты выглядит особенно дико, бессмысленно и оскорбительно.

На встрече с журналистами Мадраса нам рассказали, что специально созданная при правительстве штата комиссия многое делает для улучшения жизни в бедных кварталах. Изыскиваются средства для строительства недорогих домов с коммунальными удобствами, куда переселяют бедняков. Да я и сам видел в рабочих районах Мадраса, что такие дома растут и в них уже живут тысячи бедняков, но проблем у властей штата много и их каждый год прибавляет неиссякаемая армия разорившихся крестьян, прибывающих в город.

Как и на севере, мы здесь не раз слышали мнение: выход в создании государственной национальной промышленности, которая может дать работу миллионам свободных рук. На одном из крупнейших в Азии мадрасском заводе железнодорожных вагонов, где работают 14 тысяч рабочих, уже видно практическое решение этой проблемы. Те, кто работает на предприятии, имеют основное для нормальной жизни: жилье, питание, возможность учить детей... Завод снабжает пассажирскими вагонами не только Индию, но и поставляет их во многие страны Азии и Африки. Гордостью

этого государственного предприятия явился заказ на изготовление вагонов для первого индийского метрополитена, сооружаемого с помощью Советского Союза в Калькутте.

Когда мы ходили по цехам, беседовали с рабочими и инженерами, я опять как бы смотрел в окно, через которое видна новая Индия, страна огромных возможностей и удивительно трудолюбивого и талантливого народа. Перед нею только открываются горизонты научно-технического и социального прогресса, но это уже сейчас освещает надеждой жизнь миллионов и миллионов простых тружеников.

В одном из цехов меня привлек макет белого слона, вырезанный из фанеры. На нем странная надпись: «Мое питание в прошлом месяце обошлось в 8000 рупий». Оказывается, эта своеобразная наглядная агитация рассказывала рабочим, к чему приводит брак и расточительство на производстве. В Индии есть такая шутка: если вы хотите досадить своему врагу, то подарите ему белого слона. Это животное настолько привередливое, что оно разорит его. Брак на заводе — это белый слон, и на его пропитание цех потратил 8 тысяч рупий, что составило месячную плату 20 рабочих.

Если учесть, что завод осаждают тысячи безработных и его заборы сплошь испишаны лозунгами: «Дайте нам работу!», «Мы хотим работать!», «Работы, работы!» — то наглядная агитация вполне доходчивая. Ее понимают все.

Поиски работы — всеобщая забота в Индии. Правительства страны и каждого штата добиваются того, чтобы больше людей было занято, хотя это и идет иногда в ущерб производительности труда.

— Там, где можно поставить одну дорожную машину, у нас часто работают два десятка рабочих. Они зарабатывают себе на пропитание и что-то могут выделить семье, — говорили индийские журналисты. — Конечно, все это не в ладу с техническим прогрессом, но когда речь идет о жизни или голодной смерти, то и это выход.

Но, насколько я понял, такое позволяют себе только предприятия государственного сектора. Частного предпринимателя не интересует, сколько за воротами его завода голодает или умирает людей. Если ему выгоднее труд машины, чем человека, он платит деньги за машину...

На вагоностроительном заводе и других предприятиях государственного сектора я видел по два-три человека на рабочем месте, где у нас трудится один. Но понятно, ради чего это делается и что это временная мера.

Мы вышли из здания заводоуправления и увидели, что в небольшом сквере косят траву трое мужчин. Работы здесь на одного. За пару часов он справился бы, причем если бы косил не машинкой, а нашей косой. Индийцам, которые расправлялись с травой большими ножами, похожими на мачете, наверное, хватит работы до вечера...

Я вспомнил мой спор с индийским инженером Х. Кришнаном, который у нас произошел три дня назад в Бангалоре на заводе электрооборудования частной фирмы «Мотор индустрия К°». Завод поставляет в Советский Союз свечи и другое оборудование для автомобилей. Компания основана в 1951 году в сотрудничестве с западногерманской фирмой «Бош», на двух ее заводах в Бангалоре и Бомбее работают 19,5 тысячи рабочих, которые производят на 600 миллионов рупий продукции. Все это мне не без гордости рассказал энергичный, спортивного вида Х. Кришнан. Он молод, ему еще нет и тридцати. Когда я спросил, кому принадлежит фирма, он ответил:

— Семи тысячам индийских акционеров.

— А контрольный пакет за кем?

— За фирмой «Бош». У нее пятьдесят пять процентов акций. Но это ничего не значит.

— А может, все же значит?

Кришнан покачал головой. Он довольно сносно говорил по-русски. После окончания технического института в родном Бангалоре пять лет пробыл на севере страны, где работал вместе с советскими специалистами на строительстве промышленных предприятий. Летом прошлого года три недели был в Москве на индийской выставке и там, как он говорит, тоже «постигал трудный русский язык». Спор зашел у нас о рабочих, которые не хотят работать.

— Да, — горячился инженер, — есть и такие: лентяи, лодыри, всячески увиливают от работы, а зарплату хотят получать. Я намучился с ними на государственных предприятиях, а вот сейчас служу в частной компании — и никаких проблем. Заделился —

получай расчет, за воротами десять рабочих ждут твоего места. А кто трудится хорошо, тот хорошо и зарабатывает. Вот меня фирма уже дважды повысила в должности.

Чем-то очень знакомым и в то же время чуждым повеяло от этого разговора.

— Когда-то и в нашей стране кулаки говорили: «Бедных нет, есть лодыри!» — заметил я. — А ведь человек может плохо трудиться и потому, что еще не умеет работать...

— А мое какое дело? — сердито парировал инженер.

— Мастерами не рождаются, ими становятся. Даже простой работе человека надо учить, и вы, как инженер, это знаете...

— Знаю, но мне до этого нет дела. Каждый человек должен заботиться о себе. Не хочешь работать — умирай.

— А может, не умеешь — умирай?

— Захочешь — научишься... А нет — освободи.

— Как это «освободи»?

— А так... — развел руками мой собеседник.

Спор, начатый на заводе, продолжался за обедом, на который пригласила нас администрация фирмы, и я бы отнес запальчивость Кришнана за счет виски с содовой, но он пил содовую с виски.

— Подобный разговор мы уже слышали, — сказал я инженеру. — Один ваш журналист говорил, что в Индии двести миллионов лишних...

Кришнан улыбнулся:

— Нации нужны сильные люди, а они выживают в борьбе. И не надо жалеть слабых...

— И эти разговоры мы слышали, — сказал я Кришнану. — Правда, лет сорок назад. Они доходили до нас из фашистской Германии.

— Да, я знаю. У вас была война с Германией. Война — это плохо. Мы пережили войну с Пакистаном. Это ужасно.

— Советский Союз помог нам добиться мира, — вмешался в наш разговор другой индийский инженер, — в Индии помнят это все.

— А сейчас в Азии опять беспокойно, и наша страна должна быть сильной, чтобы постоять за себя, — продолжал Кришнан. — Я работал в пограничных районах с Китаем и знаю, что там часто происходят инциденты. Китайцы ведут себя нагло, нарушают границу, подстрекают местное население на провокации. Они все время чего-то требуют, выражают недовольство...

Тема гегемонистских притязаний Китая была подхвачена другими индийцами. Я уже не раз замечал, что северный сосед остро волнует наших хозяев, но они обычно высказывались осторожно и деликатно, как и положено в официальных встречах. Здесь же была частная беседа, и разговор пошел откровеннее.

— Я ни в какую политику не хочу вмешиваться, — говорил менеджер, сопровождавший нас по заводу, — но Индия, чтобы гарантировать свою безопасность, должна иметь хорошо вооруженную армию.

— Мне довелось видеть вашу армию на параде в Дели в день празднования независимости, — заметил я. — Мощная современная техника: танки, ракеты, артиллерия, морские силы, в небе — сверхзвуковые самолеты...

— А что вам больше всего понравилось на параде? — улыбаясь, спросил менеджер, видимо желая замять нашу пикировку с Кришнаном.

— Праздничное шествие, — признался я, вспоминая самое экзотическое зрелище, которое мне когда-либо доводилось видеть. — По площади проносилась конница, важно ступали верблюды. Боевые слоны, на которых в ярких лучах солнца горело золотое шитье доспехов. А затем начались выступления национальных ансамблей знаменитых индийских танцев...

— Да-да, — кивнул Кришнан. — У нас любят такие представления. А еще что вам понравилось на этом празднике? Какая военная техника?

— Вертолеты. Над миллионами дельцев пролетели вертолеты и высыпали на их головы лепестки роз. А один из них был наряжен гигантским красочно расписанным слоном и демонстрировал великолепные фигуры высшего пилотажа. Он кланялся, приветливо помахивал хоботом, перебирал ногами, ложился на бок и ловко проделывал другие смешные трюки.

— Конечно, театральное представление лучше театра военных действий, — пошу-

тил менеджер,— но мир пока таков, что люди никак не могут договориться иметь только один театр — искусство. Народам надо скорее договориться о разоружении, переводить экономику на мирные нужды...

— И тогда не будет разговоров о лишних людях,— заметил я.

Кришнан улыбнулся, отпивая из бокала содовую:

— Но каждый все же сам должен заботиться о себе.

— Сильный выживает, а слабый погибает...

— Это придумала природа,— задиристо блеснул глазами Кришнан, показывая, что он готов доспорить со мной о частных и государственных предприятиях.

А мне вдруг расхотелось доказывать дальше очевидное, и я спросил у него:

— Из какой вы семьи?

— А какое это имеет значение?

— А все же?

— По-вашему, из богатой,— выпалил он, стараясь досадить мне.— Отец — профессор, мать — преподавательница музыки, старшая сестра содержит маленькую торговую фирму...

— Ну вот, теперь все проясняется.

— Что проясняется?

— Это пропаганда...— Уже не раз наши споры с некоторыми индийскими журналистами кончались на этом: когда у них иссякали аргументы, они прятались за слова «пропаганда», «коммунистическая агитация».

...Разная Индия, разные люди живут в ней, по-разному они понимают одни и те же проблемы, но в одном мнении мы всегда сходились в наших бесчисленных беседах — на земле не должно быть войны. Люди могут спорить, отстаивать свою точку зрения, свой образ мыслей, свою веру и свою социальную систему жизни, но не воевать.

— Война — это бессилие и позор человечества,— заявил руководитель группы физиков атомного исследовательского центра доктор Р. К. Айангар,— а те, что подстрекают или развязывают войны, достойны народного проклятия и забвения.

Я видел, как буквально потрясло наших индийских друзей заявление пекинских правителей о том, что они проучат Вьетнам. А когда эта угроза была приведена в исполнение, вероломство вызвало открытое возмущение.

— Теперь мир понял, с кем он имеет дело,— говорили индийцы.— Агрессора осудили все, даже в тех странах, где подстрекали Китай.

Эти мысли хорошо выразил в нашей беседе редактор бомбейского издания «Индиян экспресс», одной из самых крупных индийских газет, С. Кришнамурти:

— У нас совсем другие отношения складываются с вашей страной, чем с Китаем. Мы питаем доверие к Советскому Союзу, потому что он всегда понимал наши проблемы, помогал нам экономически и поддерживал нашу политику в международном плане. Иное дело Китай. Мы не верим Пекину. У нас уже были с ним серьезные споры. И индийский народ настороженно смотрит на политику этой страны: ей не хватает искренности. А страна, как и человек, должна быть искренней, чтобы завоевать доверие соседа.

Даже в последний отведенный нам для отдыха день в Мадрасе — и в самом городе и когда поехали за семьдесят километров на пляжи — на меня тропическим ливнем продолжало обрушиваться новое, необычное, то, чего я еще не видел. Все время подхлестывало сознание того, что, если мы сейчас не остановимся и не посмотрим, я уже до конца своей жизни никогда этого не увижу. И мы останавливались, смотрели, спрашивали, щелкали фотокамерами, делали пометки в блокнотах, хотя и договорились ехать без остановки и скорей наконец-то выкупаться в Индийском океане.

Проезжаем через деревню. Асфальтовая дорога завалена слоем скошенной пшеницы или ячменя. Машины проскакивают по мягкому настилу, а крестьянин подобием наших граблей переворачивает и подправляет колосья, чтобы они попадали под колеса. Это он ведет обмолот урожая, используя даровую силу машин бездельников-туристов.

В ста метрах от дороги под тенью низкорослых и развесистых финиковых и высоченных кокосовых пальм — островерхие хижинки «туземной деревни». Я много раз

видел их в кино, по телевизору, на картинах и фото, но никогда не разглядывал вот так, в натуре. Ну как тут не остановишься, хотя и знаешь, что эти деревни размещены вдоль туристской трассы не без особого умысла...

Останавливаемся и в обычном поселении, где люди живут не в хижинах из бамбука и банановых листьев, а в каменных и глинобитных домах. Сворачиваем в проулок, подходим поближе к одному двору. Он полуогорожен — жиденький заборчик из веток какого-то кустарника отделяет жалкие строения только от улицы. Во дворе женщина веет на ветру зерно, возможно то, которое обмолотил на дороге ее муж. Бегают тощая собака. Как и ее хозяйка, не обращает на нас никакого внимания. В куче навоза рожются пестрые мелкорослые куры, где-то повизгивает поросенок. Жилое помещение (что-то среднее между сараем и землянкой с плоской крышей) небольшое, всего одна комната метров пятнадцать — восемнадцать. Пол земляной, одно окно.

— Лучшее место в доме, перед окном, — для коровы, — поясняет наш гид. — Корова для семьи — это все. Она как мать.

Я уже столько насыщан об индийской корове и в эти дни постоянно сталкиваюсь с ними в таких неожиданных местах, что не удивлюсь, если сейчас увижу безмолвное священное животное в комнате. Однако коровы в доме нет, наверное, она еще не вернулась с пастбища, а возможно, ее никогда и не было в этой семье.

Возвращаемся к машине. Нам продолжают рассказывать о культе коровы в Индии, о ее святости, а я вспоминаю свое детство, и для меня нет ничего удивительного, что индийцы обожествили это домашнее животное. В наших бедных крестьянских семьях корова тоже была часто единственной кормилицей и на нее если и не молились, как в Индии, то уж ухаживали и заботились о ней, как и подобает ухаживать за кормилицей. Теленок, родившийся зимой, до весны рос в доме как член семьи, и ему было отведено самое лучшее, теплое место в хате — у печки, перед окном... Когда в первую бомбежку убило нашу Зорьку, мы все плакали и причитали по ней, как не плакали ни по дому, который разбило той же бомбой, ни по тому, что было в доме. Мама не могла есть мясо Зорьки, хотя было и голодно. «Вот здесь останавливается, — хватала она себя за горло, — не могу». И она ела противный кисель из казеинового клея...

Не знаю, почему Индия так часто вызывает во мне воспоминания, связанные с детством и войной? Наверное, потому как все, что я видел здесь — и нищету, и голод, и страдания людей, — у меня навсегда слилось с тем далеким и горьким временем. Интересно, а какие ассоциации вызвала бы Индия у моих детей, что бы они и те, у кого было совсем другое детство и другая жизнь, вспоминали? Верю, что человеку не надо переживать все самому, чтобы понять и отозваться на горе другого. Он — человек и понимает брата-человека сердцем.

...Ехали вдоль океанского побережья, мимо великолепных песчаных пляжей, над которыми склонялись шатры кокосовых пальм, а от берега и до самой дороги разметались роши банановых, манговых, папайевых и других деревьев.

Если есть рай на земле, то он обязательно должен выглядеть именно таким, как это побережье: небо — голубое, океан — синий, песок — золотой, а берег — зеленый. И когда я бросился в ласковую теплую воду, как то парное молоко нашей коровы Зорьки из далекого детства, то и впрямь поверил, что на планете Земля есть рай и он здесь, в семидесяти километрах от Мадраса.

Все эти дни меня вели по Индии не только удивление и восторг, но нередко горечь и отчаяние. А эти крайние точки проявления человеческого духа — плохие советчики, они сказались и на моих оценках того, что я видел, и, наверно, надо было обозначить эти записки как субъективные. Но это уловка. А кто набрался терпения дочитать их до конца, и сам видит — конечно, очень субъективные...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ



О ВОЙНЕ И О МИРЕ...

Статья первая

В книге «Необыкновенные собеседники» Э. Миндлин приводит любопытный разговор с Паустовским. На скептическое замечание, что все гениальные творения гуманистов не смогли помешать возникновению фашизма, Гитлера и тому подобного, Паустовский горячо, даже сердито запротестовал: «Разве можно представить себе, что за жизнь была бы теперь, каковы были бы люди, если бы не Бетховен, Рембрандт, Толстой! Разве мир смог бы объединиться против фашизма, если бы в мире не было Толстого, Гёте, Бетховена, Леонардо!»

Менее чем за полвека до Освенцима, Хатыни, Хиросимы Толстой взывал в статье «Одумайтесь!»:

«Глядя на то могущество, которым пользуются люди нашего времени, и на то, как они употребляют его, чувствуется, что по степени своего нравственного развития люди не имеют права не только на пользование железными дорогами, паром, электричеством, телефонами, фотографиями, беспроволочными телеграфами, но даже простым искусством обработки железа и стали, потому что все эти усовершенствования и искусства они употребляют только на удовлетворение своих похотей, на забавы, разврат и истребление друг друга».

Сколько анекдотов, издевательских или снисходительных, сочинялось по поводу «чужачеств старика Толстого», который «отрицает науки и технического прогресс». А время показало, что Толстой был «всею лишь» провидцем, таким же, как Жюль Верн. Только Толстой предвидел и угады-

вал не технические идеи и решения, а те нравственные проблемы, которые встали (и встали) перед наукой и человечеством.

Многое, что мы читаем и слышим сегодня из уст крупных ученых, звучит как подтверждение мыслей «старика Толстого»: люди возводят города, изобретают машины, воюют, занимаются политикой, искусством, но они остаются людьми или становятся ими в той мере, в какой одновременно проясняют, решают для себя вопрос, что есть добро, а что — зло и как жить человеку с людьми. То есть решают нравственные вопросы. А над всем еще один вопрос: зачем все? Вопрос вопросов. У Толстого самые частые, казалось бы, вопросы, проблемы восходят к кардинальным. Которые человека мучат, терзают, однако и делают жителем не одной лишь планеты Земля, но и Вселенной.

Насколько они не праздные, вопросы эти, и для современного материалиста, хорошо засвидетельствовал разговор А. Л. Чижевского с отцом космонавтики К. Э. Циолковским. Воспоминания крупного советского ученого Александра Леонидовича Чижевского о его любопытной беседе с Константином Эдуардовичем Циолковским напечатал журнал «Химия и жизнь».

«Многие думают,— сказал К. Э. Циолковский,— что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о ее судьбе из-за самой ракеты... Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не самоцель... Вся суть — в переселении с Земли и заселении космоса. Надо ид-

ти навстречу, так сказать, космической философии! К сожалению, наши философы об этом совсем не думают».

И дальше:

«Есть вопросы, на которые мы можем дать ответ — пусть не точный, но удовлетворительный для сегодняшнего дня. Есть вопросы, о которых можно говорить, которые мы можем обсуждать, спорить, не соглашаться, но есть вопросы, которые мы не можем задавать ни другому, ни даже самому себе, но непременно задаем себе в минуту наибольшего понимания мира. Эти вопросы: зачем все это? Если мы задали себе вопрос такого рода, значит, мы не просто животные, а люди с мозгом, в котором есть не просто сеченовские рефлекссы и павловские слюни, а нечто другое, иное, совсем не похожее ни на рефлекссы, ни на слюни... Иначе говоря, нет ли в мозговой материи элементов мысли и сознания, выработанных на протяжении миллионов лет и свободных от рефлекторных аппаратов, даже самых сложных?.. Да-с, Александр Леонидович, как только вы зададите себе вопрос такого рода, значит, вы вырвались из традиционных тисков и взмыли в бесконечные выси: зачем все это — зачем существует материя, растения, животные, человек и его мозг — тоже материя, — требующий ответа: зачем все это? Зачем существует мир, Вселенная, космос? Зачем? Зачем?»

«Говорят, — иронизирует Циолковский, — что задавать такой вопрос — просто бессмысленно, вредно и ненаучно. Говорят — даже преступно. Согласен с такой трактовкой... Ну, а если он, этот вопрос, все же задается... Что тогда делать? Отступить, зарываться в подушки: опьянять себя, ослеплять себя?.. Этот вопрос не требует ни лаборатории, ни трибуны, ни афинских академий. Его не разрешил никто: ни наука, ни религия, ни философия. Он стоит перед человечеством, огромный, бескрайний как весь этот мир, и вопиет: зачем? зачем?»¹.

У Циолковского была своя научно-философская гипотеза будущего развития человека и человечества — неожиданная, парадоксальная, оперирующая миллиардами миллиардов лет, когда, по его предположению, человеческое тело эволюционирует в «лучевую энергию» и, разлившись, «рассветившись» по космосу, став космосом, «может быть», осознает, поймет, «зачем все». Потому что человек и будет этим всем...

Но не о его концепции здесь разговор, лишь в связи с Толстым мы ее затрагива-

ем. У Льва Толстого вопросы «зачем это все?» и «зачем я?» звучат в более личном плане, нравственно-практическом: как жить, чтобы не было бессмысленным и бессмысленным мое присутствие в мире? Нет возможности, да и никому еще не удавалось достаточно полно сформулировать, как Толстой ставил и решал эти вопросы. Гений и совесть Толстого всю жизнь бились в противоречиях кричащих, действительностью усложняемых, и тем более это относится к решению самого кардинального из вопросов, вечного для людей, как утверждает и Циолковский. Важно видеть силу, неотступность, страсть, с какой Толстой уходил и другой звал, зовет уходить от жизни, лишенной высших целей и смысла. И так всю жизнь, до последних минут, когда натруженная рука его даже в предсмертном беспомоществе все пыталась что-то «записать» на одеяле, еще что-то оставить людям от своего опыта и любви.

Слова его последние обращены были как бы и ко всему роду человеческому, который с болью, тревогой, отчаяньем народным, но и с суетным газетным любопытством, а то и с полицейской злобой в едином движении весь повернулся и смотрел на сразу ставшую известной всему миру станцию Астапово... Всей силой художественного и нравственного гения стремился он научить людей труднейшему, как свидетельствует вся история, искусству любви к людям. И стремился тем сильнее и неотступнее, чем прозорливее замечал, что «культурная дикость» паразитирующих классов все опаснее оснащается «техническим прогрессом». Высшее проявление и предназначение человека видел он в желании блага всему существующему. За абстрактно-религиозной вроде бы формулой этой стояло, однако, вполне определенное отношение Толстого, самое непримиримое ко всему, что реальных людей, тружеников лишало вполне конкретных благ существования: мира, трудового счастья, нравственно осмысленной жизни.

Литература возникает из пережитого. Самим автором и народом пережитого. Такова уж природа искусства. Незачем искать изощренные объяснения, почему да как может родиться великая литература даже в «аракчеевские времена». Объяснение именно в этом: пережитое, особенно если с народом, с миллионами людей пережитое, — вот почва и одновременно материал большой литературы.

Среди бесчисленных сюжетов научно-фантастической литературы возможен и

¹ «Химия и жизнь», 1977, № 1, стр. 24—26.

такой. Вообразим себе, что вопреки пессимизму нашего астрофизика Шкловского Млечный Путь нашпигован «мыслящими планетами» — сверхцивилизационными цивилизациями, на фоне которых наша Земля,— обидно, до слез сермяжная (шарачковая, как говорили о старой белорусской деревне). Те, другие, следящие за нами глазами «летающих тарелок», давно могли бы сверхцивилизовать и планету землян, попутно избавив их от войн и тиранов. Тем более что под своей мантией старушка Земля прячет нужные позарез драгоценнейшие минералы, металлы... Но такая колонизация не прельстила инопланетян. Минералы они добудут и на других небесных телах, а с этой планеты, самой для счастья необорудованной, а потому и самой «мечтательной» при всей ее жестокости, они получают, вывозят то, чего не производят сами, давно не производят,— «варварское», «дисгармоническое искусство»: трагедии Шекспира, романы Достоевского, философские труды Шопенгауэра, картины Пикассо. (Картины они подменяют копиями и навлекают этим обидное подозрение на хранителей и директоров музеев.) Все есть у сверхцивилизированных инопланетян, а этого нет: пронизанного состраданием, вселенской болью за все живое и сущее искусства. Их планеты давно, слава богу, высушены от слез и крови. Одна лишь осталась «от коры до центра» (Ф. М. Достоевский) кровью и слезами пропитавшаяся — планета Земля. Ее они и держат, сохраняют как заповедник, не решаясь нарушить естественный ход развития, пусть жестокий, пусть варварский во многих отношениях, но рождающий Шекспиров и Достоевских, Бетховенов и Толстых...

Но мы-то, земляне, своей кровью и муками своими оплачиваем будущие шедевры. И получают их как раз новые поколения, а не те, что проходят по колено в крови. Все это трагично, но ведь и этим все испытанным поколениям некто тоже завещал и боль свою и красоту. А у следующих за нами свои будут испытания, и кто знает какие!

Нет, не нам, людям, желать себе и другим всего этого — ради новых шедевров! Но уж коли есть, были, ждут людей испытания, так пусть не постигнет, по крайней мере, никого историческая судьба греческого племени сибаритов, от которых осталась... ночной горшок. Ночной горшок и ничего больше — от всей истории, забот и терзаний!

Закруглим эти наши рассуждения великолепными словами Александра Твардов-

ского, прозвучавшими с трибуны XXI съезда партии:

«Подтверждать и закреплять действительность — не слишком ли много берет на себя литература? Нет, она берет на себя как раз ту функцию, которая свойственна и принадлежит ей по праву, как и всякому другому искусству...

Разве война и победа русского оружия в 1812 году означала бы столько для национального, патриотического самосознания русских людей, если бы они знали о ней только по учебникам истории и даже многогоумным ученым трудам, если бы, допустим на минуту, не было гениального творения Толстого «Война и мир», отразившего этот исторический момент в жизни страны, показавшего в незабываемых по своей силе образах величие народного подвига тех лет?..

То же самое можно сказать о литературе, которую вызвал к жизни беспримерный подвиг советских народов в Отечественной войне 1941—1945 годов. Он подтвержден и закреплен в нашем сознании, в том числе в сознании самих непосредственных носителей этого подвига, средствами правдивого художественного слова...»

То испытать и то пережить, что выпало на долю наших народов, принявших на себя главную, может быть, историческую ношу XX века, это значит и понять многое, очень многое о себе, о человеке, о человечестве.

Но как это важно и как много значит для писателя — исторический опыт его народа. Через него художник лучше понимает (а если опыт недостаточен, то не понимает) также и другие народы (как мы через себя, через свой внутренний мир проникаем в миры других людей). К. Симонов справедливо говорил: расспрашивайте и записывайте народ если хотите знать всю правду об Отечественной войне! Спросите свой народ! Но и чужой спрашивайте, добавим мы. Потому что свой опыт неизбежно односторонен.

На международной встрече писателей военной темы в Москве («Исторический опыт второй мировой войны и ответственность писателя за судьбы своего народа и всего человечества в условиях разрядки...») в октябре 1975 года выступил американский писатель и посетовал, что советская литература о войне ни в чем не знает меры. «Памятники в городах-героях и ваша литература о минувшей войне, они, видимо, заменяют вам религию», — сказал он.

Говорил это писатель прогрессивных взглядов, известный в Америке «смутьян» — борец против вьетнамской войны. Но наши чувства и нашу память о войне ему было не понять. Да и невозможно это, очевидно, понять до конца, если твой народ жил далеко от полей сражения. Или видел не совсем ту войну.

Во время выступлений в ФРГ, где мы читали и рассказывали о наших Хатынях, одна голландская писательница нас упрекнула: «Мы тоже воевали, но о войне уже почти не пишем. Ведь тридцать лет прошло!»

Другой американец — Майк Давидов, — побывавший в Хатыни, сказал: «Трудно почувствовать полностью глубину мучений другого, если сам не узнал беспредельность трагедии. Я пришел к выводу, что данные о тяжелых испытаниях Белоруссии выходят за пределы моей способности постичь и осознать трагическое. Четвертая часть ее населения убита, и восемьдесят процентов ее территории превращено в пепел. Как представить такое? Это было бы подобно трудно воображимой картине: более пятидесяти миллионов американцев убито и вся наша страна разрушена, за исключением ее восточного побережья».

Новый роман Германа Канта «Остановка в пути» — произведение немецкой литературы на редкость глубокое и точное по нравственному чувству. Наверное, немцу нелегко писать об этой странице истории своего народа — о второй мировой войне. Но Герман Кант умеет правду поставить превыше всего — над любыми чувствами и предрассудками. Впрочем, он не склонен считаться с чувствами, если они ложные, многих из своих земляков. Это Герман Кант написал в газете «Нойес Дойчланд» (а «Литературная газета» перепечатала):

«Знаю, знаю, у всех у нас есть родственники, которые время от времени рассказывают нам, что помогали пленным, невзирая ни на какие препятствия, и что наши отцы были сама доброта, когда этого никто не видел.

Я не подвергаю сомнению то или иное доброе дело той или иной доброй тети, и я знаю, что среди наших отцов были и такие, что вели себя смело. Я только хочу напомнить, что необходимо было сверхмужество, чтобы перевязать истекающего кровью человека, если этот человек был родом из Киева или из Ленинграда. И подобное мужество встречалось отнюдь не так часто, как хотелось бы верить, слушая нынче рассказы родственников».

Не знаю, читал ли Герман Кант «Нагрудный знак «OST» В. Семина, где обо всем об этом — глазами самих пленных. За полгода лишь один раз узники наши на столбике кем-то из немцев положенную для них конфетку. Если и не читал эту книгу, то, безусловно, многое другое читал, знает Герман Кант и потому не склонен очень уж доверять запоздалой памяти «родственников».

Да, конфетка та многого стоит в условиях фашистского озверения и одурения. Она как апокрифическая луковица для грешника, которую он когда-то подал страждущему и за которую вцепился, держится, чтобы его вытащили из адской смолы. И выбрался бы, спасся, если бы не повисли на нем гроздьбу другие, кто никому не подал даже луковицы за всю свою жизнь...

Большое достижение и много значит для национальной литературы — уметь слушать свой народ, подключаться к его памяти. Но в сегодняшнем мире особенно важно еще и это: умение слушать голоса соседей — другие народы, их память и исторический опыт. А это дается непросто, нелегко людям. И литературам тоже.

Взгляд народа на самого себя со стороны — глазами близких и дальних соседей — что и говорить, не очень привычная для национальных литератур проблема. Еще Гёте об этом говорил, и он подчеркивал, что будет очень полезно, «если мир заставит нас задуматься о самих себе». Это не одних немцев касается. Естественно. Но в Европе, по-видимому, в первую очередь — после того, как они позволили милитаристским силам превратить себя в убийцу, говоря словами фюрера тысячелетнего рейха, «целых расовых единиц».

Нет, Герман Кант знает, что вся правда нужна, необходима прежде всего и больше всего самим немцам, немецкому народу...

Вспоминается поездка в страну, где звучит немецкая речь, и как это было странно — привыкать, что в маршевых радиоритмах нет ничего обязательно фашистского. И что слово «хальт» на фанерной стойке, о которое споткнулись глаза, не угрожает немедленным выстрелом, а всего лишь предупреждает, что опасно, открыт люк на мостовой, то есть о тебе же забота. А когда запели народные песни, мчась в ночном автобусе по дорогам Баварии, и пели их по-немецки громко, как бы с вызовом громко, вдруг подумалось: а ведь им неловко, поощим. И им и нам неловко. Какая-то неправда и недосказанность слышались мне в

этом пенье, желанье забыть и не помнить. Да страшным бывает прозрение у народа, который поддался сладенькой дудочке крысолова и пошел куда повели. Обещали ему все что угодно, чего только не обещали, но не дали, а отняли — все: доброе имя, язык, даже песни отняли. То, что всегда звучало как немецкое (равно как польское, французское, английское), зазвучало для всей Европы да и всего мира как ф а ш и с т с к о е. Ведь и песни народные гитлеризм превращал в орудие пропаганды нордического, арийского превосходства немцев над «нижними расами».

Похмелье бывает тяжелое, и тогда «сверхлюди» как высшего признания сильнее всего жаждут, чтобы забыли, кем они хотели стать, и чтобы смотрели на них просто как на людей, на обыкновенных. Оказывается, это так много, это самое великое благо и признание — быть обыкновенным, считаться обыкновенным! Не сверх чем-то там, а просто людьми, человеками. Как за тем столом в кабачке западногерманского городка Миндена, где как раз об этом подумалось. Дружелюбные хозяева сидели рядом с французом, голландцем, евреем, русским, белорусом, все разговаривали, все шутили, улыбались, но и тут казалось: прошлое висит над нами и чем они обыкновеннее, тем заметнее их стремление быть, как все люди, просто людьми. Надо, оказывается, еще заслужить, чтобы тебя снова приняли в разряд просто людей. После того как крысолов увел тебя от них, поманив в «сверхлюди», возврат дается нелегко. И не через забвение прошлого, а через самоочищение правдой, через суд над прошлым.

Записывая ленинградских блокадников, мы с Даниилом Граниным натолкнулись на такой случай, такую историю записали. Женщина нам рассказала, учительница Мотовская Мария Васильевна, как в первые дни войны, когда немцы разбомбили эшелон с детьми, она кричала плененному немецкому летчику: мол, подождите, и ваших детей ждет то же самое! Живая боль и гнев в ней кричали... И эта же женщина через несколько месяцев, в самый разгар войны и страданий приняла, могла принять решение, которое и в мирное время, сегодня принимаешь (мысленно, ставя себя на ее место) с превеликим трудом. В Киров, куда ее с ленинградскими детьми эвакуировали, следом привезли пленных немцев.

«— Вот там надо было для пленных госпиталь отвести,— рассказывает Мотовская М. В.— и можно было только одно здание взять, в котором наши ребята бы-

ли размещены. А вы знаете, как население? «Это преступление! Как так, ленинградских детей...»— и все такое! Вот, я помню, вызывают меня в обком и говорят: «Мария Васильевна! Тут надо занять правильную позицию. Скажите им, что существует международная комиссия для наблюдения, как мы тут этих немцев устриваем. А вам хорошее помещение дают».

— И переместили все-таки детей?

— Переместили. Ну, детей очень хорошо переместили. Я туда ездила. Очень хорошо, а ребятам-то даже веселее в новом месте...»

Вот видите, даже хорошее в этом нашла: новое место, веселее ребятам!.. А за этим — чувство, что так и следовало поступить: не «как они с нами», а по-человечески. И не для того, чтобы они почувствовали, а потому, что это нам самим надо!..

Особенно важно, что такое было возможно и происходило в условиях, когда десятки миллионов людей в Европе и во всем мире настойчивыми усилиями (и не без результата!) «освобождались» от обязанности быть человеком.

К. Симонов в «Разных днях войны» пишет, как плененный под Вязьмой немец-фашист реагирует на то, что его не избивают, не расстреливают, а разговаривают с ним, даже вежливо. Пленный на глазах стал наглеть. Нашел для себя объяснение: ага, они знают, что через десять дней «Москау капут», и потому заискивают перед ним — завтрашним победителем! Что можно в любых условиях быть, оставаться человеком, он забыл давно. А точнее, не знал, не успел узнать: ведь его замесили совсем на других идеях, слепили болванчика и пустили, направили «обновлять мир» по своему образу и подобию...

Этот не понял, да еще и не способен был ничего понять. Но другие восприняли и понесли в себе высший дар человечности, полученный на земле, которую недавно жгли, заливали кровью.

Пройти через такую войну, такие страдания и такую ненависть и сохранить душу живу — какой для этого душевный потенциал должен был иметь народ! Какую силу человечности! И не мы сами о себе это говорим, а те, кто испуганно смотрел, поверженные под ноги, и ждал неизбежной гибели своей нации,— вот это и было самой главной нашей победой в самой тяжелой и бесчеловечной из всех войн.

Когда мы записывали рассказы наших людей о самом страшном — о Хатынях, о голоде в Ленинграде,— без конца поража-

лись удивительным проявлениям доброты, человечности, благородства в условиях, когда могло показаться, что в мире остались одни жестокость и эгоизм.

Нельзя не поражаться, какой справедливой и благородной является память народа нашего — при всей ее жестокой правдивости. И прав Герман Кант, горько прав, иронизируя над «удобной» памятью тех бывших немков и немцев третьего рейха, которые убеждают сегодняшнюю молодежь, что народы-соседи неблагодарны, если забыли, как им помогали, как их спасали...

Сколько доброты, немыслимой ясности и неистребимой мягкости в глазах и лицах, в голосах полесских женщин, с которыми приходилось разговаривать:

«Стали мы там делить добро на сирот. Ну, я и думаю, что как мне плохо, то и другому так же это плохо. Один говорит: что которое дитя от тех, кто за немца были,— то оно другое. А это ж все равно наши дети, а то, что мать его и батька невесть где, то что ж оно, дитяtko, виновато?..

И я благодарю, что лягу и сплю спокойно. Не то что которые: «Дай, дай!..» А я довольна, что лягу спать да переночую спокойно. И я благодарю наше государство, наших бойцов, что нас освободили и что у меня осталось хоть немножко деток. Уже и внучки наши полягут и поспят, и сама я лягу, добрые люди, да поспаяю...»

«А дочка моя с дитем в лес утекла. Один сынок остался... Вернулся раненый тогда. Лечила я ему ту ногу, купала в зельях и целовала ее от радости, что осталось в хате хоть одно дитя...»

«А потом освободили наши. Такие они, ой, идут, такие молоденькие — не солдаты, а деточки. Они ж, как снаряд падает, не кричат, что «война», а кричат «мама». Пообрастали. И я сижу плачу, и они идут. Рады они, что есть хоть наши дети, так они в котелок набрали воды и три сухарика вынули мне, в ту воду намочили и дают — детям есть.

А мы, когда увидели, что наши, так сразу не верили...»

Вот он, простой и человеческий мир, народной доброты мир, который стоял за нашей сталью, сокрушавшей бесчеловечную фашистскую машину.

Сбереженная, пронесенная через все века и испытания живая душа народа — не этим ли дышит, не об этом ли прежде всего рассказывает та проза, которую сегодня называют деревенской? И если пишут и говорят, что проза военная и деревенская — истинные достижения современной нашей

литературы, так не потому ли, что здесь писатели прикоснулись к самому нерву народной жизни? В дискуссии о деревенской прозе, которая на страницах «Литературной газеты» горячо начата статьей Александра Проханова (12 сентября 1979 года), уже определились позиции за и против, но не в отношении того, настоящая ли, большая ли это литература — деревенская (сегодня об этом уже не спорят), — а в вопросе: как и что писать литературе о деревне сегодня, завтра?..

У меня тоже вертятся на языке рекомендации и прогнозы: ничем другим мы не распоряжаемся так легко, охотно, как будущим. Если бы оно еще слушалось нас!..

В статье А. Проханова «Метафора современности» с наибольшей прямотой и даже (по первому ощущению) убедительно выражена мысль, что блестящая проза (как сказано: «рождающая шедевры») Абрамова, Можаяева, Белова, Носова, Астафьева, Распутина добыта... не на том, что ли, пути. Нашли золотую жилу, добыли редчайшие самородки, добились русской культуру, язык, как давно писатели не обогащали, но вот беда... Не там искали и не там все это нашли. А за это «деревенщиков» можно упрекнуть в желании «духовного комфорта» и даже поиске легкого хлеба. Нет, нет, у А. Проханова это об эпигонах! Но и не об эпигонах тоже, если не прислушаются и не начнут отныне искать золотую жилу там, где предвидит, предсказывает критика.

Забываем, что легким литературный хлеб не бывает, если это истинная литература. Спросить бы у Федора Абрамова, Елизара Мальцева, Василия Белова — легко ли им было, когда деревенская проза делала первые шаги? Да и не первые. И если ей на самом деле стало легче пробиваться и жить, то это лишь благодаря очевидности ее достижений. И еще упорству тех, кто ее делает. Хотя это и не прямо касается литературы, но вспоминается, как приезжали в Болшево к сценаристам работники Комитета по делам кино. Приезжали все почему-то парами, и каждая пара восторженным дуэтом вспоминала, какое взаимопонимание было у них с Василием Шукшиным: сценарии его утверждались и запускались буквально за неделю-две! Шукшин был уже мертв, его вопросов можно было не ожидать. Но спросили другие: а почему же тогда главная киноэпопея — о Стеньке Разине — за столько лет так и не смогла осуществиться? Обиделось. Надо ли помнить, вспоминать, напоминать, когда все мы так любим Шукшина?! А вот сегодня

ня все так любим «Привычное дело» и «Прощание с Матёрой»!

До чего же мы в одном пункте все похожи — и критики 40—50-х годов и критики 70-х. В убежденности, что настоящая, большая литература — это нам ничего не стоит! Захотим — создадим, а надо, так заменим на еще более значительную. Вот только прикинем на литературно-критической карте, куда и как шагать, где свернуть. Никогда-то у нас не бывает времени просто порадоваться. Сначала не могли, потому что «Привычное дело» и прочее было чрезмерно не похоже на все знакомое и привычное в литературе о деревне. А когда привыкли, приучили нас упрямые «деревенщики», что и вот так можно, мы вдруг заспешили, засобирались в дальнюю дорогу. Нашли наконец зеленый оазис, а нам говорят, что впереди и лучший и больший — обязательно! Дождивается нас. Куда все-таки следует спешить? В день сегодняшний, говорят. Как будто «Прощание с Матёрой» Распутина или «Дом» Федора Абрамова не сегодняшний день нашей деревни и литературы. Другое дело, что в сегодняшнем здесь живут и продолжают дни вчерашние — болезненно острая память русской, да и не только русской деревни. Но большая литература, которую именуют деревенской, в настоящее и будущее всматривается сквозь такую же реальную, как и день сегодняшний, народную память о всем пережитом. Она ничего не оставляет позади, все несет с собой, в каждом шаге — история народа. А это возможно? Для Солоухина, Айтматова, Белова, Друцэ, Распутина — да. Спросим по-другому: а без этого возможна по-настоящему истинная литература о народной жизни и судьбе, о всем новом, что А. Проханов видит на целине, а некоторые критики у себя в республиках? Без всей памяти литература о Деревне, может быть, и стала бы маневреннее — легче было бы причаливать к любым новым темам и проблемам. Но осталась бы она литературой — истинной, большой? В одной старой книге о гениальности говорится как о качестве, свойстве памяти: степень гениальности в степени готовности памяти. Гений, о чем бы ни думал в каждый данный момент, что бы ни ощущал, думает и ощущает в сем пережитым: все, что когда-либо было, думалось, ощущалось, со всей силой всегда присутствует, собрано на острие его сознания как электричество...

Не так ли и настоящая литература? Ведь литература и есть воспоминание. Так ее понимал, объяснял Лев Толстой. Воспоминание об испытанных нами чувствах, со-

стояниях. Радуемся, плачем, действуем — это еще сама жизнь. Вспоминаем (в процессе писания), как человек радуется или горюет — с этого начинается искусство. То есть воспоминание не только определенный жанр, но обязательный момент любого произведения искусства, важнейшее содержание самой психологии творчества. Не потому ли в прозе, например, несмотря на все призывы и старания критиков, чаще удавались и удаются произведения о днях минувших, чем о дне бегущем, — и ничего с этим не попишешь. Но ведь и о бегущем литература рассказывает вспоминая. Принцип тот же.

Но память чем старше, тем многослойнее. «Старая» отличается от «новой», как район города, где постройки разных эпох, от микрорайона новостроек. Но даже, повторяем, когда писатель берет жизнь с пылу с жару, и тогда он не обходится без воспоминания. В работу идут старые заготовки, «блоки» памяти — о себе самом, о чувствах, состояниях, осмысленных за всю предыдущую жизнь. Через память проясняется, обнаруживается, как в реактивах, и то новое в людях, в жизни, чего прежде не знал, с чем не встречался.

Но когда мы ведем разговор о сегодняшней деревенской или военной прозе, следует подчеркнуть осознанное стремление многих писателей влить в свою память воспоминания как можно большего числа людей, очевидцев. Свою память подключить к народной. Удастся, не удастся, в большей или меньшей степени удастся, но тенденция эта усилилась, и не видя, не учитывая этого, трудно понять, оценить многое в современной прозе.

Мне уже приходилось писать о поколении Валентина Распутина, Ивана Чигринова, Вячеслава Адамчика, а также о писателях помоложе — Викторе Козько, например, о том, как близка, необходима им чужая память, как неотторжима от своей. Трудно понять, невозможно объяснить прозу, например, Виктора Козько, не учитывая такой особенности художественного мышления. Войны, о которой пишет, он вроде бы не должен помнить — рождения 1940 года. Но пишет с реальным чувством — и мы это ощущаем со всей силой, — что он все видел, помнит. Не другие, а он. Сам над этим задумывается и пытается объяснить:

«Я уже сам не могу себе ответить, когда в памяти впервые были написаны первые куски «Високосного года». Первоначально это был какой-то калейдоскоп, просмотренный, если можно так сказать, в забытом

уже детстве, мешанина красок, звуков и запахов. И сегодня мне даже трудно судить, откуда они пришли ко мне, трудно отгединить вымысел от того, что было в жизни. Многое из того, что, кажется мне, помню, я просто-напросто не могу помнить... Мучителен был не процесс письма, я страдал от материала, который был во мне. Он обжигал меня до слез. Я писал не о себе, хотя все в повести в той или иной мере автобиографично, но я и тогда не знал, и сегодня не знаю, где в этой повести начинается «я» и где начинается кто-то другой, так, кстати, обстоит дело со всем тем, что написано мной и что пишется. А Високосный мой год был о матери, которой я не помнил, из жизни которой в моей памяти сохранилась только смерть ее, не осталось в памяти ни лица, ни глаз, а только сапоги, в которые она была обута, бушлат, который был на ней. Смерть матери — это вторая вспышка моей памяти, второе мое пробуждение в войне. И ощущение вины, не за смерть матери, а за смерть сестры Тамары. Мне трудно было жить без единой родной кровной души на свете. Но могла у меня быть сестра. И сегодня, сейчас мне с трудом даются эти строки. Мать убило шальным снарядом. А мы с сестрой остались живы. Ей два года, мне -- три. Я был старшим. И я убежал от разбитого дома от мертвой матери и живой сестры. Заблудился в ночной деревне. Сестра заползла под печь и замерзла там».

Иван Чигринов вот уже сколько лет пишет хронику жизни белорусской деревни в годы фашистской оккупации — подробнейшую хронику событий и состояний. Можно подумать, что сам пережил, помнит все — день за днем. Многое и помнит — он постарше Виктора Козько. Но еще больше впитал, как губка влагу, детской памятью чужую память. Деревни своей, близких людей память, память самой земли нашей, все еще излучающей жар войны.

Виктор Козько так объясняет свое и других «каноническое пристрастие к определенному человеческому типу», говоря словами А. Проханова, а проще — образы старух и стариков в современной прозе:

«Шел, видимо, уже сорок шестой год, и кое-кто из похороненных, пропавших без вести возвращался домой. Анисовичи были полны неясными, но радостными слухами: из Лампек вернулся такой-то, в Козловичи пришел такой-то. Бабка спешила по деревенской улице, принимала и разносила эти слухи. Рядом с ней бежал и я. Слушал старух и женщин. А в Анисовичах в ту пору, так кажется мне сегодня, жили одни только

старухи. Женщины и дети. Мужчин не было. Они, конечно же, были, но в то время потерялись для меня в колхозной работе. Мы, мальчишки, девчонки, жили среди старух. Жили их миром, их представлениями, их пониманием жизни. Мы были старые уже дети. И то, что многие пишущие, вышедшие из того времени, пишут о стариках и старухах, наверное, именно с этим, с тем, откуда они вышли, связано. Новое, еще не знающее грамоты поколение, уже не будет писать о стариках и старухах. У него есть книги, журналы, газеты, радио, телевизор. А у нас были только бабушки».

У меня нет оснований говорить то же самое за Валентина Распутина, а у него таких признаний мы не читали. Но почему-то думается, что и он объяснил бы многое в своем творчестве если не таким же, то подобным образом. С поправкой, конечно, на сибирские условия. Проза его, как мореный дуб донной влагой, вся пропитана народной памятью, в его повестях — эхо памяти, уходящей в народную даль, глубину.

Но вернемся к спору о деревенской прозе. Куда же нас кличут из этой литературы? В день сегодняшний, завтрашний? Ну а «Прощание с Матёрой» — всенародное наше прощание с крестьянской Атлантидой, постепенно скрывающейся во всем мире, не только у нас, в волнах энтээрвского века, — разве не сегодняшний и даже не завтрашний это день? А «Дом» Федора Абрамова, продолжающий к 80-м годам XX столетия историю северной русской деревни, — о чем же, если не о насущнейших моральных проблемах века повествует, хлопочет эта проза? Не мельчит, а как раз укрупняет она проблемы нашего времени тем, что измеряет и оценивает их реальным существованием реальных, а не только «планируемых» людей.

Может быть, я не видел, не наблюдал того, что знает А. Проханов, но наше Полесье, осушенное и выровнявшееся, с почти украинскими просторами, по масштабам перемен и обновления напоминает целину. И те же вопросы напрашиваются: а что написано, где об этом литература? Что читают новые полешуки? Читают «Полесскую хронику» Ивана Мележа, и вряд ли мы станем жалеть их за это. Да, читают о 20-х и 30-х годах Полесья, как трудно жили люди, предки которых почему-то приросли и душой, и телом, и трудом к этому нещедрому болотному краю. Как трудно жили, но как яростно рвались к лучшей доле. И как люди на болоте и молодыми были, и счастливыми, и несчастными, и добрыми, и злыми, как бывают везде, были и

будут — и на болоте, и в пустыне, и на море, и на освоенных новых планетах...

Читают полешуки этого Мележа. А могли бы и другого читать: Иван Павлович сам говорил, что вначале хотел писать роман или повесть о мелиораторах, об осушении Полесья. Мы не знаем, что получилось бы и что получили бы полешуки. Как говорится, от добра добра не ищут! Нет, ищем, о чем свидетельствует и дискуссия.

Когда я слышу или читаю, что людям нужна обязательно о них самих, и об их непосредственном деле литература, вспоминаются спорящие слова Толстого. Его мысль о том, что люди работают, торгуют, воюют, а в это время совершается самое главное: люди выясняют для себя, что есть добро, а что — зло. И как людям жить с людьми. Вот оно — главное и для литературы: не что растят или что и как куют, а что и как уясняют. И не надо тут говорить о презрении к практической стороне жизни, к труду. У солдат, у партизан Великой Отечественной куда как высоко было понимание важности и необходимости их воинского дела. А что любили слушать, читать — какую поэзию, песню, литературу? Грохочущую, «громкую»? О войне и бое? Этого им хватало и без поэтов. Да, истинные музы не молчат, когда гремят пушки. Но безнадежное это занятие — пытаться перекричать рев орудий. Тихий голос, как это ни удивительно, на войне был слышнее. Голос поэтов, идущий от сердца к сердцу, слышен был по всему фронту — от Черного моря до Белого. Бессмертный «Василий Теркин» написан именно таким голосом. И необязательно о бое, как раз не о войне, а о том, что связано с миром; дом, дети, солдаты, женщины — вот что было нужнее всего труженикам войны.

Но, может, в мирное время все по-другому и даже наоборот? Кто знает. Каждый может привести и свои аргументы и свои случаи.

А. Проханов говорит об антитезе машины и духа, которой быть не должно — ни в хорошей литературе, ни в разумно организованном обществе. А вот для меня, например, обещанием такой гармонии будет как раз целинник с «Последним сроком» Распутина в кабине сверхсильного трактора.

Ну, а если вдуматься, разобраться: зачем она ему, черному от пыли и мазута, молодому и веселому, повесть о том, как умирает старуха? Не ради чего-то или за кого-то погибает, а потому что срок пришел и надо пройти и через эту необходимость и неизбежность — умереть.

Умирает старуха. И еще — умирает Матёра. В другой повести Распутина. Обе повести связаны одной мыслью. Мыслью о смерти? И о ней. Человек, а значит, и большая литература всегда задумывались о смерти. Правда, задумывались, задумываются по-разному. Лишь человек смертен — в том смысле, что знает о неизбежном своем конце. Своей и других, всего живого смертности. И это тоже отличает его, делает осознавшей себя, свое существование материей — человеком.

Но повести — и «Последний срок» и «Прощание с Матёрой» — все же о другом. Прежде всего о другом: о памяти и беспамятстве. О смысле жизни, человеческого существования. Не смертью, а беспамятством жизнь обесмысливается. А что кажется неизбежной смерти — такой, как у старухи Анны из повести «Последний срок», — о ней в народе говорят: «Умер как жил». Когда напечатано было «Прощание с Матёрой», критики были сильно смущены вопросом: так заливать или не заливать остров, строить или не строить гигантские электростанции? Как будто об этом повесть. «Прощание с Матёрой» о другом: остров умрет, как умрет старуха, как умирает, «уходит под воду» крупнейший материк старого крестьянства; печаль и о них, но еще большая о вас, остающихся. Кто вы, какие, с чем остаесться, если смотреть не вашими глазами (кто и когда видел самого себя таким, каков есть на самом деле?), а глазами старух матерей и Матёры глазами — самой земли, планеты, в которой людей больше, чем на которой?..

«Дарья стала объяснять:

— Путаник он несуетный, человек твой... Че не хочет, то и делает... Ему смеяться совсем неохота, ему, может, плакать надо, а он смеется, смеется...» «...Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко!.. И бесится, дурит — ребяенок, и плачет — ребяенок. Я завсегда вижу, кто втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А сколько на его всякого направлено — страшно смотреть. И вот он мечется, мечется... По-пустому же боле того и мечется. Где можно шагом пройти, он бежит. А ишо смерть... Как он ее, христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не боится смерти, как он. Хуже всякого зайца. А от страху чего не наделаешь...»

И как итог трудной ее жизни: «Я не знаю ишо такого человека, чтобы его не жалко было».

Да, жестокие слова! Но и любящие. Истинно любящие, а потому и жестоко прав-

дивые. Жалеть ли надо человека, надо ли его жалеть?..

Жонглировать подобными вопросами литература еще могла во времена, когда Заратустра и его «нагорные» проповеди «антиморали», презрения к состраданию воспринимались как всего лишь бунт против рутины и лицемерия. А потом объявились «дети Заратустры» с эмблемами смерти на эзсовских мундирах...

У Распутина прямое и открытое обращение к высокой традиции русской литературы — не стыдиться жалости к человеку. Сострадание, говорит любимый герой Достоевского князь Мышкин, главнейший и, может быть, единственный закон существования всего человечества...

Но сострадание в повестях у Распутина особенное: глазами самих страдающих, сердцем именно страдающих жалеет (и судит) писатель тех, кто, казалось бы, не нуждается в сострадании, не ищет, не просит, не подозревает даже, что жалеть его надо.

Вот молодой, здоровый, идущий в жизнь внук бабки Дарья Андрей. Простоват, незлой, хотя и без активного чувства доброты, — что его уж так жалеть? Не его затопляют, не у него жизнь на исходе. А жалеет в повести его Дарья...

«Она (Дарья.— А. А.) помнила хорошо: со вчера, как приехал, и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошелся по Матёре, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не подвинул душу... ну, есть же все-таки, к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор.

Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой».

Так о чем же повести? И кто кого жалеет? Матёру жалко или тех, кто остается без Матёры? Старуху Анну — умирающую или ее детей — остающихся? Повести Валентина Распутина «жалеют» беспамятных, легко живущих, легко расстающихся со всем — с Матёрой ли, с матерью ли...

Памятливость и беспамятство — отчего об этом вдруг задумалась наша литература? Что ищет в этом, какие ответы?

И если для сибиряка Валентина Распутина память, памятливость даже спасение («Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни»), то для автора «Судного дня» белоруса Виктора Козько память, памятливость — это и нечто ужасное, что че-

ловека убить может, добить того, кого война пощадила... Так что есть у этой проблемы своя география, не все тут однозначно.

Не однозначно, сложно это и у Распутина: только сверяя, сверив свое нынешнее с прошлым, с опытом предыдущих поколений, которые «стали землей», можно надеяться получить «полную правду»...

Чем могущественнее делается рука человека, изобретательнее технический ум, тем «упрямее» пишет советская литература и о душе — о психологической связи с прошлым... Отчего так? Действительно из упрямства? Ностальгия по ушедшему? Или еще что?.. Нет, именно технический век потребовал этого, сам он побуждает литературу делать акцент на этом. Диалектика развития.

Не учитывая всех последствий затопления или, наоборот, осушения какой-то части территории, люди рискуют столкнуться с необратимыми отрицательными последствиями, результатами. «Век техники» — люди в этом неоднократно убеждались.

Ну а человек, его «преобразование» — менее сложная, ответственная и рискованная деятельность? Если в обращении с неживой природой приходится быть столь осмотрительным, бережливым, то сколько уж надо знать, учитывать, сколько всего помнить, формируя общественное, человеческое сознание и саму жизнь общества! Ведь и здесь возможны необратимые потери. Не оттого ли «деревенщики» так судорожно рвутся спасти, вынести на высокое, сухое, видное всем место все то в народной жизни, чего техника не родит и что может навсегда исчезнуть вместе с погружающейся Атлантидой старого крестьянства.

А там, где прошелся огненный каток войны, например в Белоруссии, в белорусской литературе этому сопутствуют еще кое-какие психологические моменты. Миграционные мотивы и психологические, социальные проблемы деревенских людей, торопливо обживающих городскую жизнь, сближают деревенскую прозу некоторых белорусских писателей с шукшинской. Хотя для большинства из них, выросших на традициях мягколирической или эпической прозы Коласа, Горецкого, Чорного — и для Стрельцова, и для Кудравца, и для Сипакова, и для Жука, — мало свойственна та взъерошенно-ироничная, нервная интонация, что пронизывает шукшинский рассказ о городских блужданиях сельской души. А если произведения белорусских «деревенщиков» сравнивать с прозой Василия

Белова, Бориса Можаява или Валентина Распутина, то проявится и еще одна особенность — резкое, острое присутствие военной памяти во всем, о чем бы мы ни писали, ни вспоминали. И распутинская деревня войну помнит и поминает недобрым словом. Но из далекой сибирской дали и помнит и поминает. Вот как старуха в «Последнем сроке», которая в свой смертный час ждет не дождется после войны уехавшую на Украину младшую дочку:

«— А там, где она теперь живет, там война шла или нет?— Старуха боязливо покосилась на Люсю и сжалась, вдавливая ее в постель.

Ей ответил Илья:

— В Киеве? Киев немцы брали — ага. Это я точно помню.

— Ну дак и от,— с горькой правотой закивала себе старуха и запричитала:— Дак она пошто такая-то? Она пошто у людей-то не узнала? Я бы рази туда поехала? Она в кого такая беспутная-то? А я ее жду. Да рази отгуль теперь выберешься?! Ну. Это ить она сама голову в петлю затолкала, сама. Это подумать надо.

— Подожди, мать, подожди,— перебил ее Илья.— Ты с луны, что ли, свалилась?! У нас война-то когда кончилась?

— Все равно.

— Что «все равно»?

— А где тогда она, где? Почему ее тут нету?»

С луны не с луны, но и Киев, война, которая где-то там была,— тоже близко ли?

Понять можно старуху, сибирскую женщину. И как нелегко эта далекая война ей далась, как дорого обошлась, если и теперь у нее такой страх за дочку, которая, беспутная, туда поехала! Это возвращение войны в память. А из памяти «деревенских людей» — белорусов Стрельцова, Кудравца или Козько — война и не уходила, никогда не уходит. И не уходит из нашей деревенской прозы. Даже если о молодых, послевоенных поколениях повествуется. Старые люди забыть не могут. Молодым напоминает память отцов, земли память. И литература наша. Хотя память эта и нелегкое бремя для души человеческой. А насколько нелегкое — об этом повесть Виктора Козько «Судный день».

Можно и так взглянуть на путь нашей литературы о Великой Отечественной войне: чья память в ней главенствует, определяет ее тональность, накал на том или ином этапе? Солдата, партизана память или же тех, с кем война обходилась особенно жестоко,— женщин, детей? Если всмотреться, почувствовать в то, что писалось сра-

зу после войны, когда раны, казалось бы, особенно ныли, болели, там было больше не живой памяти, не реального чувства боли, а откровенного стремления литературно «перевоевать» войну — да так, чтобы неудач, трагедий, жертв было как можно меньше. Чтобы и жертв и побед было не столько, сколько на самом деле было, а сколько мы должны были иметь. (Даже в 60-е годы, когда уже писали о 20 миллионах павших, до чего же затруднительно было убить своего героя, одного-единственного, знаю из собственного опыта работы с редакциями журналов.)

Затем, в 50-е и 60-е годы, пришла пора личной, солдатской и партизанской, памяти в литературе о войне, как бы отрицающей прежнюю, усредненно-безличную. Это был Ренессанс исповедальной литературы, пронизанной живым, полемическим чувством правды, искренности. Чувством гордости и боли и за живых и за мертвых: «Живые и мертвые», «Пядь земли», «Последние залпы», «Танки идут ромбом», «Наш комбат», «Журавлиный крик», «Атака с хода», «Сотников», «Огонь и снег», «Сосна у дороги», «Пущанская Одиссея» и многое другое, написанное Симоновым, Баклановым, Бондаревым, Ананьевым, Граниным, Быковым, Шамякиным, Науменко, Карпюком и другими.

Этот период и путь военной литературы плодотворно продолжается и сегодня — «Сашка» Вячеслава Кондратьева, «Навечно — девятнадцатилетние» Григория Бакланова, «Печаль белых ночей» Ивана Науменко...

Но если обозревать военную литературу в целом, и особенно ее документальное крыло, нельзя не отметить некоторый сдвиг фокуса памяти в сторону женских и детских судеб в войне. А это означает и новый накал чувств, и непривычную даже для военной прозы боль памяти. Это, пожалуй, особенно замечаешь в современной белорусской литературе. У того же Виктора Козько. Мы приводили слова из его автобиографии о гибели матери, о «вине» его, трехлетнего, в смерти двухлетней сестрички, замерзшей под разбитой снарядом печкой... Вот когда они познавали и темный ужас смертей и смутное начало вины — в возрасте самом невинном.

«Мне иногда говорят, что все, о чем я рассказываю, вспоминая, я придумал. В четыре, даже в пять-шесть лет я не смог бы столько запомнить. Но я сам помню все. И это нелегко. Особенно стало тяжело теперь, сейчас, когда я понял, что смог бы спасти сестру...»

Тяжело было солдату, партизанам, польщикам. Но насколько заостряется показ войны, ее жестокости и бесчеловечности, когда в фокусе литературы — дети и их матери, их памяти! Как спущаются тени и спят вспышки памяти...

«Сам видел,— убеждает Дима немцев.— Папа пришел и винтовку в камешник, к веннику поставил...

— Не верьте ему.— У Василисы упало сердце.

Верьте ему, люди. Верьте им, трех-четыре-летним. Они лежат под крестами и без крестов по всей Белоруссии, по всему миру. Но их не убило, потому что они не знают, что такое смерть, и никогда не узнают. Замерзая, заходясь плачем у трупов закончивших матерей, горя живьем в избах, угаса от голода, задыхаясь в обвалившихся щелях и землянках, захлебываясь в воде, они проклинали мир, в котором их заставляют играть в такие игры. Они никогда не захотят вновь появиться на этот свет».

Это из «Високосного года».

Детдомовец Колька Летечка, герой «Судного дня», вместе с жителями полесского городка и деревенскими дико ломится в новое здание Дома культуры. Зачем?

«Ему было жутко от этого прорвавшегося вдруг в людях неистового, звериного. Что же должны были представлять из себя эти гады полицейские, если спустя столько лет пробудили такое в людях, человеки ли они, на человека так не ходят смотреть. Что же они натворили тут, какой знак, какую незажившую рану оставили в сердцах людей».

Детдомовец Летечка не знает ни фамилии своей настоящей, ни имени, ни кто его отец и мать, откуда и кто он сам — отступившая в прошлое страшная война унесла, поглотила и это. Он всю свою мальчишескую жизнь пытался прорваться в прошлое своей памяти: мучит, давит его собственная «анонимность» на этой земле. И даже зная, что при его ранней тяжелой болезни сердца (которая тоже отсюда, из прошлого) смертельно опасно все это, ломится он вместе с разгоряченной толпой в клуб, на суд. И он снова и снова стучится, хочет прорваться в собственную память, где вздрагивает, мерцает какой-то лучик... Так уж устроен человек, потому что состоит он весь не из чего другого — из памяти.

Ну а если она вот такая — память?

«В других детдомах по всей Белоруссии были свои Летечки, свои Стаси, свои Козелы, повязанные единой судьбой, единым

страшным детством, которого многие из них, подобно Летечке, и не помнили, а те, которые помнили, не хотели помнить, хотели избавиться от этой памяти, потому что страшнее этой их детской памяти ничего на земле не было и не могло уже быть. Здесь, на земле, при жизни, только вступив в нее, только открывая глаза, они прошли через то, чему нет названия».

Детскими (и женскими) глазами смотрит наша литература сегодня на то, чего человеку вообще не видеть бы! Тут уж не скажешь, как Распутин говорит (и говорит справедливо, если делать поправку на географию памяти): «У кого нет памяти, у того нет жизни».

Память, к которой устремлен, куда прорывается детдомовец Летечка, подобна неразорвавшемуся, опасному снаряду: у нас их время от времени откапывают, вывозят, обезвреживают, но на них иногда подрываются. Подорвется на загаившемся «снаряде» своей памяти и Летечка. Вот эта память, к которой он с ужасом, но и с облегчением (все-таки вспомнил, кто он, и что, и откуда!) прорвался в тот «судный день», она и добьет его, остановит больное сердце Летечки...

«Киндерхайм, киндерхайм» — осенней мухой бьется сейчас в голове у подростка чужое страшное слово. Он знает, вспомнил, что это слово означает. «Детский дом, детский дом...» Был оказывается, детдом и у немцев. И недоумение и дрожь охватывают его: немцы, фашисты — и детский дом. И вновь перед ним оживает сверкающий никелем и стеклом медицинский шприц, мужские крупные, крепкие, добела вымытые, пахнущие лекарством и чистым полотенцем руки. Вместо пальцев на этих руках пять черных змеек. Змейки, извиваясь, нацеливают на его тело огромную змею — шприц. Шприц-змея, гоняется за ним, жалом целится в его синее тело. И туман. И из тумана два цвета — синий и красный...

...Он забился под стол, его вытащили отсюда за ногу. Он укусил кого-то, его ударили по лицу. Удара он не почувствовал, его было бесполезно сейчас бить, боль ушла из тела. Тело было деревянным. И от удара лишь деревянно вздулись губы и на губах появился вкус дерева, будто он грыз дерево, и в губы впились занозы. Его бросили на стол. Прикрутили руки и ноги к столу. И тут он закричал, но не горлом, а прикрученными к столу ногами и руками, которые все видели, но не могли защитить его. Видели красные стеклянные трубки с кровью, нацеленную на него иглу — жало шприца.

Глаза понимали, что шприц рвется к нему, чтобы взять его живую кровь. Всю до капли. Он останется без крови, и его выбросят на помойку. Весь земной ужас сосредоточился для него на черной, косовато срезанной дырочке шприца. Вся земная боль смотрела на него из этой дырочки. Жало шприца настигло его и впилося, всосалось в его руку. И он снова провалился в бездну, в белесо-молочный, сосущий из него соки туман. Выжатой тряпкой лежал он на чем-то жестком и рубчатом. Быть может, он был даже мертв. Но это его не испугало. Чего бояться, если в тебе нет больше крови, если змея пила ее из твоего тела долго-долго, пока сыто не отвалилась, роняя кровавые капли, уползла из твоего тела...»

А надо ли так — детскими, женскими глазами видеть и показывать то, чему и названия нет? Верный ли это путь для литературы? К этому мы вернемся еще в конце статьи.

А пока снова обратимся к деревенской прозе и той памяти, из которой она выросла, вырастает. Это и Залыгина, и Елизара Мальцева, и Мележа, и Шукшина, и Абрамова, и Можая, и Белова, и Друцэ, и Айтматова, и Распугина, и других писателей — личная их, детская, юношеская, взрослая, довоенная и послевоенная память, но это и память народная, зачерпнутая из самой глубины.

За страницами «На Иртыше», «Жизни Федора Кузькина», «Людей на болоте» свиток народной памяти, уходящей в века. Вот почему Борис Можая, споря в «Литературной газете» с А. Прохановым и В. Гусевым — с их «сниходящим» взглядом на «неисторического» будто бы героя деревенской прозы, — имел право написать: «Отпала необходимость доказывать, что русский мужик не был забитым да темным лапотником с сошкой в руках (конечно, встречались и такие экземпляры), но в массе своей был бойким и сноровистым хозяином, не чуждым участия в общинной и государственной жизни. И технику осваивал быстро, и выгоду хорошо понимал, и от всяких новшеств не отказывался, и в кооперативы охотно вступал... И заводы, и стройки, и всякие ремесла не в диковинку для него были. За короткий срок в начале тридцатых годов наш рабочий класс вырос в несколько раз. Ведь не с луны же свалилось это пополнение. Оттуда же оно пришло, из деревни. Шел на стройки и на заводы не песиголовец, а диковитый русский мужик, имевший за пле-

чами тысячелетний опыт государственного строительства».

«Полесская хроника» белоруса Ивана Мележа пронизана полемическим пафосом утверждения высоких душевных, человеческих качеств людей, живших на болоте, — полешуков. Об этом крае, об этих людях Иван Мележ написал правдивейшие романы, населенные характерами по-настоящему крупными, страстями шекспировского накала. И главная страсть, которой одержим герой мележевской «Хроники» Василь Дятел, это страсть властвовать над землей. Над своей землей — это так, страсть вроде бы собственническая. Но властвовать трудом, отчаянным, безоглядным, как только умел крестьянин трудиться, не зная ни дня, ни ночи, не щадя ни себя, ни близких.

Власть земли, земное притяжение — в разные времена по-разному виделось это и оценивалось с точки зрения прогресса и гуманизма. И действительно, в различных условиях разные были проявления ее, власти земли, над крестьянином. Она и уродовала и убивала душу, но она могла и подымать, распрямлять людей — все зависело и зависит от времени и условий.

А в наше время и в условиях наших?

Один взгляд на эту проблему у Мележа и совсем иной, например, у Макаёнка (хотя Мележ писал о 20—30-х годах, а Макаёнок — о наших днях, но и тот и другой озабочены проблемами именно нашего времени).

В «комедии-репортаже» «Таблетку под язык» о жизни и проблемах сегодняшнего села Андрей Макаёнок вкладывает в уста довольно-таки традиционного деда слова неожиданные. Дед Цыбулька:

«А-а, вот как ты повернул? Выходит, я — контра? А ты Стеньке Разину и Пугачеву — ближайший друг? Ну, тогда получай сдачу. Надо растолковать тебе, если ты способен хотя бы что-то понять. Первое. Когда я стал законным пенсионером, полностью обеспеченным, я оказался как бы без конкретного дела. А это что-о? Для селянина что? Скажу я вам: эх, и тяжелая его работа — сидеть без дела. Как в президиуме. Вот тогда и я задумался... Перепредумал всю жизнь, и свою собственную, и деда, и прадеда своего, и внуков, и правнуков своих, которые есть и которые будут. Раз ты затронул бывшее, то я тебе обратно — раскрою бывшее и думы. Ты потревожил светлые головы Стеньки Разина и Пугачева, народовольцев, героев революции и гражданской войны... Не-е, не раскумекать тебе ета. А потому возьмем кон-

кретно и просто по букварю. Вот ты упроешь моего внука и меня, что мы не любим землю. А за что ее любить? Не за то ли, что эта земля меня, батьку моего, деда и прадеда вековечно, столетиями, тысячетиями, не жалея, горбом награждала, гнула книзу, тащила в грязь, в тину, в болото? Эта земля за тысячи лет насквозь промокла людским потом, намокла горькими мужичьими слезами. Ступи на ее, и она чавкает. Вековечно я стоял перед нею на коленях, по комочку перетер ее всю пальцами, бил земные поклоны, рыдая, молил ее и ласково, и гневно, чтобы прокормила, чтобы пожалела детей. От зари до зари, от ночи до ночи кряком гнул спину, не поднимая глаз на небо, на жаворонку — на красоту. И так века. Дак за это ее любить? Как бы не так... Вот попробуй предложи любому колхознику сейчас девять, пятнадцать гектаров земли. Думаешь, возьмет? Даже бесплатно, за так. Не-е! Дудки! Понял мужик — не в земле счастье».

И даже в микрофон кричит дед Цыбулька вслед внукам, бегущим из села: «Так что, внуки мои, идите! Учитесь! Работайте! И обязательно любите человека на земле! Человека! Идите! Идите вперед и еще более (!) дальше. А я тебя, Юрка, прикрою с тыла. Ад старины прикрою. Вперед! И еще дальше и больше!»

Дед Цыбулька, возможно, и незнаком с цифрами, со статистикой о миграции сельского населения в планетарном масштабе. Но автор-то знает, что в наш технический и химический век сокращение сельскохозяйственного населения неизбежно и даже может служить поводом для проявления энтузиазма. При одном лишь условии: если сокращение количества работников способствует их качественному отбору и увеличению производства продуктов питания для ушедших в города. Почему бы и не прокричать радостно вслед им, как макаёновский дед Цыбулька: «Так что, внуки мои, идите! Вперед!.. И еще дальше и больше!»

Дед Цыбулька цифрами не оперирует, но они вроде бы за него — такое чувство у автора комедии. А чтобы чувство выразить словами, специально для этого в пьесу вставлен внук деда Цыбульки, подкованный политэкономически, Юрка. «Видели, сколько новой техники только вчера прибыло в наш колхоз? Начинается новый способ производства. Ком-му-нис-ти-чес-кий!»

Можно подумать, что задолго до начала нынешней дискуссии вокруг деревенской прозы ее уже «прокрутил» в своей пьесе «Таблетку под язык» Андрей Макаёнок. В

пользу и на стороне А. Проханова. Но верно сказано еще Горьким, что «образ шире идеи». Где дедову внуку Юрке и некоторым участникам дискуссии сослаться можно только на количество машин, там у драматурга в запасе образ — сам дед Цыбулька с его прошлыми мытарствами в горевом прежде колхозе. Тех, кто не согласен с главной мыслью пьесы (бегство молодежи из деревни? — ничего в этом трагического, процесс в целом положительный, поскольку на замену движутся машины, техника), дед Цыбулька легко припрет к стенке — не прямо, так косвенно: «Довольно нас дурачить любовью к земле, сыты ею во как! Ты пожил в городе на всем готовом, пока у нас не было паспортов — теперь паспорта и у нас, слава богу! Мои внуки не хуже ваших!» И верно — не хуже. Попробуй, горожанин, с ним поспорь, ответь ему, ты, лично ты — ему, Цыбульке, а не Макаёнку! Макаёнку отвечать легко: на его цифры да своими цифрами. Тут вы на равных, горожане. Между вами лишь цифры. А между тобой и Цыбулькой — годы и годы, когда не ты, а он жил возле хлеба и без хлеба.

И все-таки хотя и припирает нас Цыбулька к стенке нашим прошлым, не все правда о деревне здесь. И даже не самая истинная правда. Потому что этот Цыбулька не из живой крестьянской плоти, а все-таки из цифр, одетых в плоть. Он рупор авторской идеи. Парадоксальной идеи, ничего не скажешь: крестьянин — и вдруг такое о земле!..

Через деревенскую прозу об этой же стороне жизни нашей узнаешь намного больше. Там всему есть место — даже мстительному нигилизму крестьянина по отношению к крестьянскому труду, — но там жизнь, а не голая идея.

Герои романов и повестей Ивана Мележа, Сергея Залыгина, Владимира Солоухина («Полесская хроника», «На Иртыше», «Владимирские проселки»), абрамовские мужики и бабы и особенно его удивительная, вечная труженица и страдалница Пелагея; «Кончина» В. Тендрякова, «Войди в каждый дом» Елизара Мальцева, «Жизнь Федора Кузькина» Бориса Можаяева и «Привичное дело», «Кануны» Василия Белова — вот оно, прошлое, от которого уйти, не переболев им, литература права не имела. Да и никто не имеет такого права, потому что оттуда тянутся корни и корешки многих и многих сегодняшних проблем, сложностей и трудностей.

Это уже бывало, и не раз, — чье-то стремление и расчет делать великие дела руками

людей идеальных. Но еще В. И. Ленин предупреждал, что в практической работе не следует рассчитывать на идеальных. Это только литература — определенного сорта литература — поставляла таких людей в неограниченных количествах. В государственном балансе рабочей силы они не значились и не значатся. Проходят по ведомству критики: это она их бросает то туда, то сюда и руками их творит чудеса.

Какие они ни есть, герои Белова, Можая, Распутина и прочих «деревенщиков», даже если и не очень «современны» по каким-то меркам критики, они безусловно жи-

вые, реальные люди, и с ними хочется быть. Даже если ты, осмелюсь думать, трудишься на сверхсильном тракторе или на атомной субмарине..

«Русский народ, — написал в конце жизни Василий Шукшин, — за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совесть, доброту... Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни. Будь человеком».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Устинов. В контексте истории.— **Ст. Рассадин.** Советоваться с Пушкиным.— **Владимир Огнев.** Неузнанная любовь.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Игрицкий. Борьба идей в современном мире.— **Д. Биленнин.** Эволюция и разум.

Литература и искусство

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ

В. Новиков. Движение истории — движение литературы. М. «Советский писатель». 1979. 479 стр.

Рассмотрение проблем современного литературного процесса в контексте движения истории представляет собой, разумеется, наиболее плодотворный путь исследования. Но путь этот довольно-таки «каменистый»: не раз можно споткнуться, скажем, и в поиске причинно-следственных связей между движением социально-исторических реалий, и при исследовании эволюции стилистического многообразия. Куда проще найти обходные пути, обойтись без детерминизма, без принципа типизации... Монография Василия Новикова с первых строк ставит проблему типического, его книга задумана как исследование идейного богатства и стилевого многообразия современной советской литературы, автор стремится осветить исследуемый материал с точки зрения форм художественного обобщения, то есть типизации. Этот ракурс позволяет ему соединять идейно-содержательные, социологические, нравственно-политические аспекты литературы с ее имманентными свойствами, на этом пути и достигается подлинное единство идейно-эстетического анализа.

Монография содержит три раздела — «В. И. Ленин и современность», «М. Горь-

кий и современность», «Идейное богатство и художественное многообразие». Основные наблюдения за происходящими явлениями в современной советской литературе сосредоточены в третьем разделе (более половины всего объема книги). В поле зрения автора почти все значительные произведения 60—70-х годов, а равно и наиболее серьезные литературные дискуссии этих лет. Основательному разбору подвергаются произведения Г. Маркова и Л. Леонова, К. Федина и К. Симонова, А. Чаковского и И. Мележа, О. Гончара и А. Нурпеисова, А. Иванова и Ю. Бондарева, В. Кожевникова и О. Куваева, В. Шукшина и Б. Васильева, Ч. Айтматова и многих других известных советских писателей.

Важно, что анализ современной литературы в книге предваряется детальным рассмотрением взглядов Ленина, Луначарского и Горького на формы художественного обобщения. При этом автор как бы раскладывает перед читателем свой теоретический инструментарий, которым будет пользоваться, он убеждает: для нас исключительно важно «умение поставить психологические свойства личности в зависимости от социальных отношений» (что В. И. Ленин под-

черкивал как особенность русского реализма); остается главенствующей художественной традицией и в литературе социалистического реализма умение показать «через лицо, через душу — характерные явления эпохи». Любое отступление от этих магистральных путей реалистического художественного обобщения, связанного с типизацией, ведет к абсолютизации «кривой линии» познания, к модернизму.

В. Новиков убедительно показывает, что модернистские формы художественного обобщения не являются ни самостоятельными, ни новаторскими: «Модернизм заимствует у реализма одну из черточек и доводит до абсурда» («поток сознания», например, или миф).

Пафос новой книги В. Новикова, как и его известных работ, посвященных творчеству Горького, проблемам развития советской литературы, — в утверждении возрастающей роли сознательного, преобразующего начала в жизни социалистического общества и в литературе социалистического реализма. Его интересуют преимущественно те «нервные узлы» литературы, где в сложном диалектическом переплетении соединяются идеальное и реальное начала, должное и сущее, общее и особенное, конкретная суровая действительность и революционная романтика. Именно в диалектическом единстве, без ухода в равно неприемлемые крайности — ни в болото «ползучего реализма», ни в туман «чистого» романтизма.

В самой манере изложения анализируемого материала заложен принцип типизации. В. Новиков ратует за «масштабные формы обобщения», за большую «мыслительную емкость» произведения. Предлагая читателю свои выводы, исследователь нередко

оставляет в лаборатории массу «опытных данных», но закадровое присутствие этой массы чувствуется явственно. Вот, например, В. Новиков пишет о стиле В. Шукшина: «Описательность, объяснение обстоятельств, мотивов действий героев исчезает. Манера изложения содержания приближается к драматической форме. Герой действует в открытую, подчеркиваются его сиюминутные переживания, как на сцене. Он произносит минимум самых необходимых, самых характерных реплик. Действие развивается стремительно».

Отсутствие обширного иллюстративного материала в книге исследователя компенсируется убедительной точностью формулировок-формул, выверенность которых фактами несомненна.

Свои краски и свои аргументы в литературоведческий анализ привносит частое обращение исследователя к смежным искусствам, в частности к экранизации произведений литературы. Так уж получается, что чуть ли не все интересные книги, упомянутые В. Новиковым, экранизированы. «Проверка» литературного произведения на драматургическую и пластическую прочность, происходящая при экранизации, является, пожалуй, новым и эффективным элементом критического анализа, которым широко пользуется В. Новиков.

Точные классовые, партийные позиции, с высоты которых исследуется современный литературно-художественный процесс, делают монографию «Движение истории — движение литературы» ценной не только своими наблюдениями, идеями, выводами, но и самой методологией анализа сложной диалектики художественного творчества.

А. УСТИНОВ.

Алма-Ата.



СОВЕТОВАТЬСЯ С ПУШКИНЫМ

Н. Эйдедьман. Пушкин и декабристы. Из истории взаимоотношений. М. «Художественная литература». 1979. 422 стр.

«Что мы знаем о Карамзине? Увы, не много. Автор «Бедной Лизы», представитель русского сентиментализма. Вот, пожалуй, и все» — нет, это еще не цитата из рецензируемой книги. С такого печального взгляда на нас (и на себя тоже?) один весьма серьезный исследователь начал недавнюю статью в весьма серьезном журнале, и дело, уж конечно, не в том, что читатель, слышавший ненароком еще и про

«Историю» и про «Письма русского путешественника», возьмет и обидится; бог с ним, с читательским самолюбием. Однако и сам-то автор, рассчитывающий на Донельзя «чистую доску», начинающий свой, так сказать, творческий полет со столь невысокой точки, заранее отбирает у себя, как бы ни были велики его личные познания, возможность увидеть и сказать больше, чем сказал и увидел.

Пушкин не Карамзин, и тем не менее если на вопрос: «Что мы знаем о Пушкине?» — последует бодрый ответ «все!» или хоть «много!», он не всегда окажется соответствующим действительности. Как ни странно (не странно, если вдуматься), писатель, о котором мы знаем «все», оказывается иногда не в лучшем положении, чем тот, о котором нам известно, увы, немного; имя, постоянно находящееся на слуху, рождает ту самую иллюзию, которую мы питаем по отношению ко всем старым знакомым, считая, что исчерпали их до доннышка. Тем более что и тот, кто, ответив «много!», скажет при этом чистую правду, и он совсем не обязательно так же хорошо, как о Пушкине, про Пушкина, знает Пушкина.

Решусь даже сказать, что само накопление знаний о Пушкине, естественное и благодатное, связано — в худшем, самом примитивном случае — с опасностью все более оставаться в стороне его самого, его душу, воплощенную «в заветной лире». А в случае лучшем, высшем, делая Пушкина как бы все более понятным это накопление на самом деле углубляет его ни с чем не сравнимую таинственность; о ней и говорит в своей книге Н. Эйдельман: «С годами в определенном смысле Пушкин делается еще более таинственным. Прежде, когда мы знали много меньше, некоторые вопросы не могли быть даже поставлены, многие загадки еще не были замечены».

Причем речь не только о «тайнах прямых», о новонайденных или не найденных автографах и документах, но о глубоководном смысле пушкинского творчества, о том, что Ахматова называла его тайнописью, о том, о чем было сказано в знаменитой речи Достоевским: Пушкин унес с собою в гроб некую великую тайну, которую мы без него разгадываем. Тайну своей личности, своей скрижали, своей гармонии, своего исторического явления...

Новая книга Н. Эйдельмана — о Пушкине, про Пушкина; она насыщена сведениями, соображениями, гипотезами, населена характерами и судьбами (вот они — Пущин и Корф, Рылеев и Витт, Алексеев и Горбачевский, современники, так или иначе попавшие в орбиту его судьбы, или Евгений Якушкин, Павел Анненков, служившие ему посмертно), однако то, что мы называем познавательностью, в книге не более (но и не менее) чем средство, с помощью которого идет постоянное, упрямое проникновение в Пушкина.

Оттого, между прочим, эта книга, вышедшая в издательстве не специальном и уже

тем самым предполагающая обращенность к широкому кругу читателей, отмечена той уважительностью к своему читателю, которая естественно оборачивается требованием иметь вполне определенный образовательный ценз (за что его, читателя, заранее и уважают). Она написана не для девственной *tabula rasa*, но для тех, кто знает Пушкина, и знает хорошо, свободно держа в памяти многое и многое; даже беглая ссылка на то или иное стихотворение ждет, чтобы она тут же обросла для нас живой плотью.

Книга для широкого круга, это так; к счастью, он и вправду широк, но в нем могут почувствовать себя чужими и обманутыми те, что ищут в книгах «про Пушкина» подробностей о Воронцовой или Керн. К тому же книгу не очень легко читать; для знакомых с предыдущими работами Н. Эйдельмана это, вероятно, покажется неожиданным. Хотя и ожидаемое тут сыщется легко:

«До 1870—1880-х годов Пушкин мог бы прожить, в ту пору еще здравствовали некоторые его современники («последний лицеист» канцлер Александр Горчаков скончался в 1883-м, Вера Федоровна Вяземская в 1886-м). Опекушинский памятник в Москве будто отменил некий рубеж, за которым вместо горьких слов: «Пушкину могло бы быть сорок... пятьдесят... семьдесят лет», — стали говорить: «Пушкину сто лет, сто пятьдесят, сто семьдесят пять».

Пушкинское время все дальше, а Пушкин как будто все ближе»...

Это узнаваемая и блестящая эйдельмановская скоропись (узнаваемая — как редко это случается с писателями, не числящимися среди поэтов или «чистых» прозаиков), и она предостаточно явлена в новой книге; но куда менее привычен для знающих «Лунина» или «Апостола Сергея» стиль, на котором они могут и споткнуться, разбежавшись:

«Анализируя чернила, которыми заполнялась первая кишиневская тетрадь, Т. Г. Цявловская выделила четыре ясно различающихся сорта (условно обозначив их «а», «b», «с» и «d»): запись о смерти Наполеона сделана чернилами «b» (желтыми или светло-коричневыми) на полях листа, где стихотворение «Гроб юноши». Однако год — 1821 (после «18 июля») вписан позднее (чернилами «а»).»

И т. д. и т. п. — спотыкаться придется никак не реже, чем воспарять вместе со стилистической легкостью.

Не то чтобы совсем переменялась манера письма. И не то чтобы Н. Эйдельман

отказался в ней от чего-то существенного, зажался, самоограничился, пожертвовал свободой ради специальной задачи; напротив, с моей точки зрения, он многое обрел — и именно в смысле свободы стиля. Артистизм, который так нравился и нравится (в том числе мне) в прежних сочинениях Н. Эйдельмана, не исчез, но, кажется, стал целесообразнее. Новая книга написана даже с особой раскованностью — как раз потому, что автор не боится резко варьировать стиль в зависимости от перепадов и поворотов определяющей его мысли. Не боится показаться «скучным»... хотя, может быть, эта его безбоязненность все-таки недостаток и расположенный рецензент (я то есть) всего лишь лукаво выдает его за удачу?

(Вопрос не совсем риторический. Не говоря о том, что и здесь, как всюду, одно удалось больше, другое меньше, и, в частности, хуже и торопливее главки «Об Онегине», «О поэзии», «О Байроне», связанные с эстетической полемикой, — не говоря об этом, и в отношении стиля есть, как водится, «продолжение достоинств»: чрезмерность сносок, ссылок, цитат. Почтенна добросовестность историка, превосходна его предупредительная внимательность к предшественникам, но все же научный, «диссертационный» аппарат мог быть хоть частично снят по окончании работы, как строительные леса, или перенесен в конец книги. Конечно, это замечание не возникло бы, будь цитаты сплошь необходимы и сплошь хороши, но в них есть и пресное и элементарное. Учетливость — отменная вещь, однако и хорошие манеры могут раздражать своей преувеличенностью.)

Итак, продлим сомнение. В самом деле: только-только началась книга, только прошла перед нами причудливейшая фигура Ивана Липранди, как считают, возможного прототипа Сильвио из повести «Выстрел», человека, который «всеми силами... заставлял себя и других верить в свою необыкновенность» (Пушкина — заставил), бретера и дуэлиста, близкого к бессарабским вольнодумцам, того, кто сбирался, как вымышленный Сильвио или реальный Байрон, в Грецию, а то и дальше, в Южную Америку к Боливару, но стал правительственным агентом и доносчиком (и такую гримасу способен соорудить экзальтированный романтизм!)... словом, только мы вошли в мир заговоров и дуэлей, авантюры и измен, как нас на долгие десятки страниц усаживают за кропотливый текстологический разбор черновиков «Заметок по русской истории XVIII века», писанных Пушкиным в 1822

году («Некоторыми историческими замечаниями» предлагает отныне именовать их Н. Эйдельман, с любопытными основаниями видя в том авторскую волю), и рукописного сборника Николая Степановича Алексеева, пушкинского — по Кишиневу — друга. И это не «архивный детектив» в прекрасном духе Андроникова, хотя и его элементы есть в книге, но именно разбор, анализ, взглядывание, вчитывание, во время которых приходится нешуточно напрягать внимание, порою теряя нить, возвращаясь и перечитывая...

Не довольно ли было поделиться с нами основными наблюдениями, а специальные частности специалистам и оставить? Не довольно; лишись книга текстологической, архивной, литературоведческой «скуки», она многое потеряла бы. Именно для читателя. И именно в увлекательности и эмоциональности.

Н. Эйдельман делится не выводами, а самим процессом исследования, с головой погружая нас в темную глубь черновиков, помарок, прочерков, вычерков и почерков, и, выйдя из этой солоны нам доставшейся купели, мы, может быть, затем по-особенному остро (ибо — по-особенному причастно) воспринимаем то, о чем идет речь дальше: сложные отношения Пушкина с вождями декабризма, дружество с Пушциным, отягченное разлукой тем более мучительной, что во взаимоотношении неизбежно начинало утрачиваться взаимопонимание, или летопись двухсот шестидесяти четырех пушкинских дней между 14 декабря 1825-го и 4 сентября 1826-го, когда ему вручили вызов из михайловской ссылки в Москву, — летопись, воспринимающаяся особенно драматически потому, что пишется без восклицательных комментариев, сдержанно, медленно.

«Прибегнем к „медленному чтению“», — предложил Н. Эйдельман, берясь за пушкинскую запись о последней встрече с Пушкиным, и кавычки, заключившие два этих слова, прилагательное с существительным, не с ветру взяты: в пушкиноведении это почти термин. Ввел его в стародавние времена М. О. Гершензон, восставший против чтения «велосипедного» (ему, наивному, велосипед казался образцом скорости, он не знал, что будет возможно и чтение реактивное), а оспорил Б. В. Томашевский, посчитавший, что таким образом освящается чтение, при котором пушкинское слово изымается из контекста и обрастает субъективными ассоциациями. Но ведь у этого словосочетания, «медленное чтение», есть и не терминологический, «человече-

ский» смысл, он-то и проступает в книге. Н. Эйдельман вчитывается в текст и вглядывается в обстоятельства, при которых тот был создан, и уж он-то не лишает слов контекста — напротив, ищет его. Восстанавливает исторический контекст слова...

Когда-то и кем-то было удачно сказано про пушкиниста, обладающего даром «свежего» прочтения:

— Он воспринимает Пушкина так, будто ему только что, со свежей почтой, принесли журнал, он его открыл и впервые прочитал пушкинские строки!

Дар — без преувеличения — драгоценный, если... если при этом еще и постоянно ощущать, когда, зачем, в каких условиях, исторических и даже бытовых, это писалось. Что до Н. Эйдельмана, то его восприятие пушкиниста определено сознанием: нет, книжка уже не пахнет типографией. И давно. Да не только сознанием, но непосредственным видением, осознанием: «72 голубоватых листа «в четвертку»... водяной знак — «1818»; и лев с мечом в овале: тот же размер — 215×340 мм... большая тетрадь, переплет зеленоватый с красным прямоугольником посередине, а по красному — заглавие: «Записки Ивана Ивановича Пушкина», — вот его «свежая почта». И вот его непрменная задача: вернуть написанное тому времени, тому году, месяцу, если удастся, то и дню.

И тем самым приблизить к нам.

Это не парадокс. Ведь современность — современность для нас, для нынешних — того или иного старого произведения («Имярек — наш современник», как любят называть статьи и книги) не установишь, силком вырывая его из прежних времен и таща в новые. «Имярек» только тогда будет осознан как «наш современник», когда будет понят и как «свой». Мы поймем его отношение к этому времени, не иначе как поняв отношение к тому. И сама отчетливость, с какой сознается расстояние между ним и нами — временное, социальное, психологическое, — уже есть форма близости и связности (потому что — отчетливость, а не туман расстояния, за которым ничего не видеть); именно поэтому Н. Эйдельман и может так прокомментировать подсчеты, что вот, дескать, Пушкину сто лет, вот сто пятьдесят, вот сто семьдесят пять: «Пушкинское время все дальше, а Пушкин как будто все ближе».

Впрочем, время от поэта (такого, как Пушкин) неотрывно; значит, вместе с ним приближается и оно.

Давно привычные для нас пушкинские

произведения воспринимаются заново и «свежо», когда, сопоставляя и соотнося, Н. Эйдельман определяет более точную, с его точки зрения, дату создания элегии «Андрей Шеньев»; когда углядывает в уже упоминавшихся «Заметках» («Замечаниях») явственную полемику с Карамзиным; когда предлагает увлекательную гипотезу, согласно которой рукописный сборник Николая Алексева, открываемый как раз этими «Заметками» и содержащий помимо них иные, разным авторам принадлежащие сочинения на темы истории, списан с не сохранившихся бумаг Пушкина, с которым Алексеев, страстный коллекционер, дружил и даже жил в одной комнате, — стало быть, двадцатитрехлетний поэт намеревался все-таки и надолго углубиться в историю России (затем и занимался штудиями), а «Заметки» были лишь началом. Если же так началом и остались, то оттого, что уже в ту пору усложнились и переменялись недавние, «декабристские» воззрения Пушкина на историю...

Иной раз, впрочем, Н. Эйдельман в пылу этих сопоставлений вдруг испытает нечто вроде смущения. «...точная дата «Андрея Шенье» — вопрос не узкоакадемический: она может открыть, какие события, страсти отозвались в этих ста восьмидесяти семи стихах!» — скажет он, формулируя чуть ли не главную особенность своей книги. И спохватится: «Конечно, миллионы людей получали и будут получать высокое наслаждение от поэзии, не раздумывая, в каком году и месяце написан тот или другой стих; однако «Андрей Шеньев» — один из особенно ярких случаев...» — и т. д.

Разумеется, так: получали и будут получать. Но сколько было и иных случаев — когда догадка исследователя или его комментарий помогали понять, нет, даже почувствовать силу и прелесть стихов, образуя вокруг них поле понимания. И, напротив, отсутствие необходимых сведений, нехватка комментария толкала к произвольному толкованию мыслей (и, соответственно, произвольному восприятию чувств), вложенных в произведение.

Четкое сознание — а порою и восстановление — исторического контекста нужно для понимания не только того, что писал сам Пушкин, но и того, что писал о Пушкине знавшие его, ибо память зависит от множества обстоятельств, она подвижна, следовательно, исторически подвижен и облик того, о ком вспоминают. И даже те мемуары, в добросовестности которых нет сомнения, нужно уметь прочитать.

...Когда в 1853 году Евгений Якушкин, сын

декабриста, приехал в Ялutorовск и впервые познакомился с собственным отцом, отец и его друзья — Иван Пущин, Матвей Муравьев-Апостол, Евгений Оболенский — с удивлением узнали от новоприбывшего, что поэт «их времени», поздние стихи которого они по большей части недооценивали (если не осуждали), да и попросило мало знали, — что Пушкин, оказывается, снова «молод и необходим для нового поколения».

Для нас само их удивление удивительно; между тем так было. Не могло не быть. И только сделав свое открытие, «ялutorовцы начинают усиленно вспоминать», побужденные в тому Якушкиным-младшим; Пущин тот просто адресовал ему свои «Записки», ничуть не помышляя о публикации. Без Евгения Якушкина они не были бы написаны!

Нередкий казус истории: «Только через двадцать пять лет, — замечает автор, — сын одного из декабристов просвещает старшее поколение».

Не только сын и не только их, старых декабристов. Само время, особенно послениколаевское, ставшее опутимым началом пушкинского бессмертия, когда всех знавших поэта станут жадно расспрашивать, породит новые воспоминания о нем, и вспоминать будут «более живо, радостно», чем вспоминали прежде и чем было на самом деле.

«...мы, — замечает Н. Эйдельман, — в основном знаем последние рассказы лицестов о Лицее и Пушкине — то, что собиралось или записывалось в 1850-х и позже; по светлому тону большинства этих рассказов смотрим на всю историю того выпуска...»

Однако многое было не так «светло»; отношения с теми же декабристами, без которых, по словам автора, «не было бы Пушкина», складывались куда сложнее, чем порою говорят (и пишут). — от эстетических стычек с Рылеевым и Бестужевым и затаенной обиды на Пущина, не доверившего другу тайны общества, до унижительной клеветы на Пушкина как на лицо «опасное», в которую еще много лет спустя верил такой замечательный человек, как Иван Горбачевский, декабристский Катон.

Это теперь мы понимаем (вместе с автором книги «Пушкин и декабристы»), что «новая поэзия Пушкина — «Евгений Онегин», «Борис Годунов» — в широком, историческом смысле больше способствовала «общественному благу», освобождению человека и человеческого, нежели его прежние, более прямые стиховые атаки против само-

державия». Это теперь можем повторить (вслед за ним же) о состоянии пушкинского духа в 1825—1826 годах: «среди казней, каторжных приговоров, тюремных сроков, ссылок, надзора — Пушкин держится с прекрасным достоинством свободного человека», добавив, что внутренняя свобода — в духе стихотворения «Из Пиндемонти» — сохранилась не только по отношению к властям, но и к друзьям, с которыми он не сходилась во мнениях, а такая свобода дается мучительнее.

Это теперь; тогда же, в пору его молодости, тяжело было ощутить внезапное одиночество — и во взгляде на искусство («высокой цели» ждали от него и Рылеев и Жуковский, вкладывая в слова противоположные понятия, а он-то знал, что его цель выше, только не мог никого из них убедить) и в отношении к истории, где ему, обгонявшему современную, даже передовую мысль, все меньше находилось единомышленников. А потом, позже разрастется и углубится трагедия, острее станет ощущаться одиночество, усилившееся от сознания, как «далече» те, кто, казалось, был способен понять его больше прочих.

Но и они понимали не вполне. Даже самые лучшие и самые близкие. «Пушкинское «далече» многогранно», по словам автора книги. «Нам, слепым» — так много позже скажет Пущин о себе и о «нас», покаянно объясняя свое прежнее неполное понимание Пушкина; а Н. Эйдельман оценит его признание: «...это должная критика собственных выводов, плод многолетних размышлений при жизни и после гибели поэта».

Однако это значит и вот что: по смерти Пушкина трагедия его, казалось бы столь безнадежно замкнувшаяся, размыкается; приходит понимание, при жизни невысказанное; и в истории и лучшие люди России вновь сходятся вместе.

Книга «Пушкин и декабристы» исторически оптимистична совсем не только потому, что написана в наши дни, когда победа Пушкина над обстоятельствами судьбы столь очевидна. Не потому, что ее автор смотрит из «прекрасного далека», нет, «высока». Ее оптимизм не оптимизм конечного вывода, он воплощен в самом по себе дотошном анализе, в каждой мелочи, он, так сказать, молекулярный.

Не уклоняясь от тяжелых и даже «щекотливых» моментов, не прикрашивая Липранди оттого, что он был приятелем Пушкина, и не скрывая их приятельства оттого, что после он стал шпионом, не обходя клеветы, повторенной Горбачевским, — не

минуть всего этого, книга шаг за шагом, ни на миг не отвлекаясь, «следит», как говаривали прежде, пушкинский подвиг, доставшийся ценою трагедии.

Это книга историка, на каждой странице остающегося историком, а не историческим беллетристом, но ее сила в том, что авторский взгляд, будучи историчным, еще и, если так можно выразиться, *надисторичен* в том необходимом смысле, что великий поэт в ней не просто весьма конкретное лицо, находящееся в дружественных отношениях с Пуцциным и Алексеевым, преследуемое Николаем и Бенкендорфом, выслеживаемое Виттом и Бошняком, но «человек на все времена», способный прояснить многое в нас и в нашей жизни. «...историк должен время от времени советовать с Пушкиным», — говорит Н. Эйдельман; прибавлю, что не только историк-профессионал, но всякий человек, которому необходимо или хоть интересно ощутить историчность своего существования. А без Пушкина, вне его она уже непредставима.

Порою со страхом, может быть забавным, думаешь: что было бы с нами, если бы не произошло чудо рождения Пушкина? Родись он пятью годами раньше или позже — был ли бы он? Он?! Ведь надо было угодить сформироваться духовно как раз между 1812 и 1825 годами, в тот удивительный миг истории российского дворянства, когда оно уже прониклось духом свободы и независимости и еще не получило ужасного урока («средний год рождения» декабриста — 1799-й), — многозначительно отмечает Н. Эй-

дельман; родство Пушкина и декабристов начато природой и подтверждено историей). В тот миг, когда, по словам Герцена, «в обществе стали часто распространяться рыцарские чувства чести и личного достоинства, неведомые до тех пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесенной над народом милостью государей», и когда только и могла возникнуть знаменитая пушкинская *легкость*, понятие не только эстетическое, но нравственное, неотрывное от абсолютного чувства независимости. И легкость его сверстников, декабристов, так естественно пошедших на смерть и на каторгу («...он был легок», — скажет о Лунине Юрий Тынянов).

Домыслы? Возможно. Не зря, впрочем, кто-то сказал, что Батюшков родился стать Пушкиным, но родился слишком рано; при всей относительности подобных допущений в них есть смысл, ибо и в данном случае, даже говоря о чуде, обращаешься к истории. Само чудо исторично.

Да, историку надо советоваться с Пушкиным — не только с Пушкиным-историком, то есть не только с его суждениями об истории, пронизавшими статьи, письма, прозу, стихи, драмы. но с Пушкиным «вообще», «просто» с Пушкиным, с неисчерпаемой тайной его личности и судьбы. Это, может быть, не менее важно, чем накопление фактов, если не важнее, ибо это значит: исторический миг поверить духом историзма, алгебру поверить гармонией.

Ст. РАССАДИН.



НЕУЗНАННАЯ ЛЮБОВЬ

Эрве Базен. *Анатомия одного развода. Роман.* М. «Прогресс». 1979. 267 стр.
Ингмар Бергман. *Сцены из супружеской жизни. Киноповесть.* М. «Прогресс». 1979. 204 стр.

Джон Апдайк. *Давай поженимся. Романическая история.* «Иностранная литература», 1979, №№ 7—8.

В работе профессионального критика бывают случаи труднообъяснимые. Вдруг вторгается он не в «свою» область. И сам озадачен. Что его толкнуло на эту тропу? Взял, например, и написал про то, как мучаются, разрываются между мужем и любовником американка, между законной женой и любовницей — швед, как мстит бывшему мужу французская фурия мести и гнева... И страсти их, в общем-то, давно знакомые и в то же время такие далекие от нас по мотивам, антуражу, причинам и следствиям... Но боль всюду боль. И смута души всюду смута. И саднящее чувство несчастья, захватившего в

свою орбиту людей — и эту взбалмошную американку, и этого резонерствующего шведа, и эту изощреннейшую парижанку, — вдруг выносит их всех разом на некий пустынный берег одиночества среди людей, бессилья справиться с катастрофой в одиночку. А разве не самая страшная катастрофа — измена в любви? И виновник и жертва, если они люди, несчастны. И мир рушится, если они люди.

И может быть, потому у сильных писательских дарований через смерть, войну, любовь, крах любви — через эти, как ныне модно говорить, экстремальные условия бытия — полное и существенное про-

свечивается общественная суть героев, их представления о мире в целом, о призвании человека, о смысле жизни...

Сценарий Бергмана и роман Апдайка во многом сходны: почти полностью повторяется банальнейшая на первый взгляд повесть об адюльтере, «четырёхугольнике», муках совести всех четырех, нерешенный итог.

Г. Бакланов в предисловии к роману Апдайка, опубликованному сначала в журнале «Иностранная литература», подчеркивает социальный момент: обусловленность распада семьи в условиях специфически американских, мотивируя поступки героев условиями среды. Это правильно, но есть нечто общее в кризисе современной семьи, сложности психологической жизни в условиях нынешней цивилизации в целом.

У Бергмана и Апдайка адюльтер теряет свою «классическую» форму XIX века. Измена жене с другой женщиной не столько средство найти в двойной жизни выход из тупика брака, сколько повод обнаружить заведомо двойную жизнь, которую ведет современный партнер в браке даже счастливым, не знаящем измен. В ясном холодном свете всепроникающего разума современного человека не остается места таинственно-недоговоренным красотам, уловкам сознания как-то объяснить, оправдать, мотивировать «случайность» того или иного шага в сторону. Сам адюльтер в наши дни невозможен, говорят художники всем ходом действия. И хотя герой Апдайка считает, что это американская особенность («Любовницы — это для европейских романов. А здесь, у нас другого института, кроме брака, нет»), но и «европейский» роман Бергмана заканчивается, по сути дела, на той же ноте: адюльтеру места нет не потому, что брак стал крепче, а потому, что брак настолько не похож на пристань, с которой увлекательно пускаться в рискованные плаванья по волнам страсти, настолько непрочен и шаток, что тяга к «надежности» хоть какой-то формы связи людей выливается в потребность превратить адюльтер в новую семью. Парадоксальность этой ситуации доведена до логического конца у Бергмана: в форме адюльтера находят временное счастье... бывшие супруги, у каждого из которых есть теперь «законные» муж и жена. Ведь и новые браки шатки и недолговечны.

Не стоит считать, что происходит это по старой причине — запретный плод сла-

док. В горьких встречах Юхана и Марианны больше нежности и грусти, больше тепла и взаимопонимания, нежели жадности страсти. Просто человек создан для любви, и он хочет ее в любой форме, как бы она ни именовалась обществом. Для Юхана и Марианны — мужа и жены — разрыв нарушил естественные связи любви, и герои должны соединиться вновь, хотя бы и в такой фарсовой роли «любовников», изменивших своим новым «законным» партнерам. Для Джерри и Салли — любовников — невозможность брака оборачивается крахом. «Давай поженимся» называется эта «романическая история» Апдайка. Стихийно люди в XX веке хотят «освятить» институтом брака близость и родство свое. Но любовь, как оказывается, ни у шведского писателя, ни у американского не побеждает: ни брак не дает крепости отношениям полов, ни адюльтер не приносит радости взаимного обладания. Бергман, словно не доверяя читателю, сам резюмирует: «...все остается нерешенным, так что никакого happy end, в настоящем смысле слова, конечно, нету». И не может быть, добавил бы я.

Что такое любовь? Этот вопрос так или иначе стоит перед каждым из героев «четырёхугольников» Апдайка и Бергмана.

Марианна у Бергмана: «За всю мою жизнь никто не сумел объяснить мне, что такое любовь». Правда, она вспоминает, что апостол Павел пытался объяснить это людям. Но «в свете его определения очень уж мы жалко выглядим». Это уже ближе к истине. «Она величайшая редкость и нам, простым смертным, практически недоступна».

Почему? Кто виноват?

Салли в Вашингтоне, куда она сбежала к Джерри, на улицах, в отеле, ресторане, музее, всюду видит себя словно отражено — глазами других людей: продавца газет, швейцара-негра, продавца в японском магазине сувениров, официантки. Чувствует обостренными нервами свою причастность к этим людям и одновременно их незаинтересованность ее судьбой. Все натянуто, все дрожит в ней, но мир по-прежнему занят собой. Эта сцена предельно правдива и в психологическом и в философском смысле. Первое, стихийное проявление социальности? Разве в мистифицированной форме не обретается на какой-то миг утерянное почти чувство причастности любви к каким-то высшим формам человеческого единения? Туманно, расплывчато — но просматривается здесь

тоска по братству людей, тревожное осознание чувства одиночества и сиротства в мире практических интересов и разорванных связей... Чья она? Что она, Салли, такое? Все это может прийти на ум только в исключительных условиях. А любовь и есть исключительное состояние человека. В этом неестественном мире только любовь возвращает чувство первозданности, природы. «Из всего, что находилось в поле ее зрения, этот вяз больше всего убеждал ее в наличии космической благодати. Если бы Руфь попросили описать бога, она описала бы это дерево», гигант вяз за окнами спальни. А любовные встречи Салли и Джерри освещены солнцем при свидетельстве океана...

Но люди XX века сами не знают, что творят. У них свой бог. О женщине говорят — «сексуально привлекательна». О мужчине — «сексуально полноценный». Или так — о преимуществе одной женщины перед другой: «животное классом выше». Не надо только попадаться на эту удочку. Им хочется так думать о себе, окружающем мире, они даже верят в это. Но им верить не надо. Они разделяют мысль Назыма Хикмета, хотя и не слышали о ней: «Мне кажется, что жить, не будучи влюбленным в одного человека, в сотни миллионов людей, в одно дерево, во все леса... все равно что не жить вообще». Человек вообще не хуже, нежели он о себе думает. Только так заведено, что когда любишь, кажется, что ты исключение. Салли у Апдайка почти уверена, что она «сумасшедшая», «эксцентричная», раз у нее такая «сладкая мука», такая «раздирающая сердце любовь», которая «возносит на небеса»... Влюбленный Юхан «полон жизненной энергии, жажды действия», он буквально одержим Паулой, своей любовницей. Когда Джерри уже потерял свою любовь, свою Салли, он вспоминает странное ощущение детскости в их отношениях, ванну, в которой «любовница и минутная жена» старательно мыла его. Эта деталь родственной близости потрясла героя как предчувствие потери. Они были чисты, как дети. Но дети растут и при этом уходят от нас. Он почувствовал время, его страшное дыхание, конечность всего, в том числе любви.

Почему же мир так устроен, что человек связывает смерть и конечность счастья с родством души, а в минуты страсти мечтает о вечности? И почему одно отделяет от другого — нежность и доброту к ближнему, самому близкому, от наслаждения и радости обладания?

Бедной Марианне никак не дается «наука страсти нежной, которую воспел Назон». Она считает, что потеряла Юхана по этой простой жизненной логике, обидной в своей примитивности. Руфь у Апдайка «соблазняет» уже ушедшего мужа не чем иным, как старательным и вполне искренним предложением себя как любовницы. Юхан у Бергмана морщится, когда Марианна обиженно говорит ему, что «старается» в постели. Секс, по убеждению всех героев без исключения, видится как первооснова неблагополучия. Иногда не безосновательно.

Но... но главное начинается потом. Опыт в этой области интимной жизни как будто сперва помогает сторонам: Руфь начинает чувствовать в Джерри новые силы, Марианна с удивлением обнаруживает в себе запасы эмоциональности. Но почему же ни «рекордсмен секса», новый муж Марианны, ни Ричард, с которым проходила «образование» Руфь, не волнуют партнерш так, как волнуют их прежние мужья, Юхан и Джерри? Ясно лишь одно: секс не панацея и не причина разлада. Секс — модная по причине доступности для каждого имитация счастья и трудной, настоящей любви. А трудна любовь потому, что она — попытка слияния двух разных миров, двух галактик со своими законами, своими орбитами.

Марианна и Юхан все-таки любили друг друга, сами о том не догадываясь. То, что произошло с ними, разрушило чувство, и неизвестно, оправятся ли они от болезни когда-нибудь. В истории Руфи и Джерри все иначе: они пытаются искусственно оживить прерванные было отношения, опираясь на долг перед детьми, налаженный быт. Но так как чувство любви неуловимо-бесплотно, а обе пары считают секс единственным мерлом естественной проверки влечения, и Марианна и Руфь мечутся от одного мужчины к другому... И хотя в основе тут лежали разные причины — идея упрямой «компенсации» для честолюбивой Марианны, любившей Юхана, не осознав еще этой любви, а для Руфи, холодной к мужу, ошибочно полагававшей, что, кроме «утождения» ему в постели, все остальное идет у них как положено, — хотя исходные причины, повторяю, были разные, финал героев оказался до очевидного одинаковым. Крах семьи.

А какова она, семья, сегодня по Апдайку и Бергману?

Кажется, Сент-Экзюпери сказал, что любить — это не значит смотреть друг другу в глаза; любить — это когда оба смотрят

одинаково на мир. Семье нужна опора. Но «мы подменили опору обрядовостью» (Юхан). Единство двух незримо связано с понятием ритуала. Ритуал установлен обществом. Общение ритуально: пляж, танцы, теннис, волейбол, различные благотворительные комиссии — у героев Апдайка. Родители, друзья, коллеги — у героев Бергмана. Регламентируются страсти и деторождение. Регламентирован быт, машина, автосервис, химчистка, уход за котеджем, погашение паев. Сама трагедия чувства нуждается в ритуале консультаций: с психиатром, сексологом, адвокатом, когда дело заходит слишком далеко. В их среде нет выбора: «Семья — и баскетбол в пятницу вечером».

Но и оставаясь наедине, герои несут с собой проклятые ритуала. Дети — муки совести (и эти уже духовные категории на весах поступков) — воспринимаются часто как часть обряда, не как естественные человеческие чувства, вне морали, принципов органической этики. Понятие семья не облекается в их сознании во что-то реальное, имеющее очертания, вес, силу притяжения. И разрушается ли брак, как в сценарии Бергмана, или «выстоял, туго и прочно», «словно заброшенный храм, в который никто не ходит», как в романе «Давай поженимся», он, этот брак, не действителен по самой своей сути, ибо в конечном счете не приводит к счастью.

Современная семья по Бергману и Апдайку сохранила в качестве рудимента систему табу. Люди хорошо усвоили, что можно, а что нельзя делать, и вместо анализа причин нарушения этих довольно многочисленных табу они еще озабочены формой соблюдения «правил» — неписанных, но тем не менее обязательных.

В «Сценах...», кроме главных героев, есть еще пара, данная поначалу как бы в контраст «счастливому» браку Юхана и Марианны. Питер и Катарина — так зовут эту пару — «выработали нечто вроде правил поведения в аду». Но в современном обществе и сам институт брака, как явствует из «Сцен...» или романа Апдайка, требует подобных правил, даже такой тихий ад, каким было взаимное существование до краха главных героев.

Когда сходятся личности, речь идет не о подчинении одной из них другой (а Бергман и Апдайк исследуют именно такой вариант), счастье достигается особенно нелегко.

Апдайк может даже шокировать, заме-

чая отгалкивающие физические детали в портретах своих «любовников», но не это ли и есть правда любви, при которой лишь непосторонний взгляд чувства способен рассмотреть красоту?..

«А если так, то что есть красота?» Гармонии духовного и телесного совершенства ищет любовь. И когда ее нет или когда она нарушена и люди не в состоянии, торопясь жить, найти ее, намечается трещина. Ее можно не замечать, к ней, наконец, можно привыкнуть. Жизнь многообразна, хаос души способен отбрасывать ложные тени вокруг — мы можем притереться ценою соглашательства, можем убедить себя, что такова жизнь, и утратить энергию понимания, борьбы за счастье. Можем, даже любя, потерять любовь. Кто-то оказывается более сильным, кто-то всегда начинает первый или искать спасение любви, или отрекаться от нее, или видеть ее в другом человеке.

Сходны начала конфликтов. Апдайк:

«— О чем ты, Джерри?»

— Детка, я просто спрашиваю тебя: не совершаем ли мы страшной ошибки, намереваясь остаться в браке до конца жизни?

У нее перехватило дыхание, почудилось, что кожа на лице застыла, как одна из стен этой замкнутой комнаты, ограниченной коричневым подоконником с кучкой монеток, низкими фиолетовыми облаками, на фоне которых бледными тенями вырисовывались веточки вяза, квадратом стекла, исполосованным каплями дождя. Голос Джерри окликнул ее:

— Эй?

— Что?

— Не расстраивайся, — сказал он. — Это всего лишь предположение. Идея.

— Что ты оставишь меня?»

А вот начало объяснения у героев Бергмана:

«Юхан. Неужели на свете так коварно устроено, что вся твоя жизнь может вдруг пойти кувырком? И сам даже не знаешь, как это получается. Вроде бы само собой.

Марианна (тихо). Ты это про нас?»

Сходство в цитатах очевидно — первый звоночек тревоги и робкие попытки подготовить женщину к тому, что ее оставят.

Трудно даже понять тактичность и терпеливость Марианны и Руфи, выслушивающих откровения мужей об их новых возлюбленных. Каждый из мужчин действует здесь, разумеется, в рамках своего кара-

тера, но что-то уж слишком общее просматривается в направлении их мысли.

Герои растеряны, словно поступок их неожидан для них самих. Юхан говорит, что, когда он снова дома, ему хочется послать все к черту — свой роман, свою «любовь» к Пауле. «Один страх и усталость». Еще больше запутывается в чувствах Джерри. Но, кажется, он-то знает, что не любовь к Руфи, а чувство вины, сострадание замучили его — «ни вздохнуть, ни охнуть». Важное признание срывается с его уст, вещее и неглупое: «...мы живем на закате старой морали: она еще способна мучить нас, но уже не способна поддерживать». Джерри сам не понимает, как это верно.

С детства люди должны быть причаемы жить не только для себя — и для другого. Эта мечта Марианны — стихийный протест против эгоизма мужчины — становится символическим выражением морали достойных человека отношений в обществе. Юхан же склонен считать, что опору человек должен искать в самом себе. «Одиночество тотально». Нетрудно понять, чем определяется эта позиция. Каждый человек, по сути, предоставлен сам себе. Вокруг — страх. Дочь Юхана и Марианны Карин боится спать: ей снится, что началась война. В очереди на самолет в Вашингтоне Джерри замечает вдруг страх толпы, почти мистический страх — «от них исходил запах паники». Страх висит в воздухе. У Бергмана в «Сценах...» Марианна рассказывает, как на секретаршу в ее конторе «среди белого дня» напали пятнадцатилетние подонки, избив в кровь. Атмосфера неуверенности, царящая в жизни постоянная угроза насилия передаются и любви. Я вспоминаю поразивший меня в «Молчании» Бергмана символ, одновременно воспринимаемый и как эротический и как знак военного апокалипсиса, нависшего над миром. В сцене любви, грубой и жадной, видим мы ревущий от силы, тычущийся пушкой в узких тупиках переулка танк... Что же удивительного в том, что между физической близостью и звериными инстинктами взаимных избиений обычно полшага у героев Апдайка и Бергмана!.. Как ни сложно и витиевато выражается Джерри в том смысле, что любовь должна исходить не из самой любви, а «свыше», что не может он принять любви без «праведности», объяснить это можно. Старая мораль действительно умерла. Новой нет.

Когда-то «свыше» означало христианскую мораль. Брачные узы скрепляла церковь. Растерянные моралисты наших дней склон-

ны порой кивать на безверие. Но так ли уж скрепляла религия семьи? Страх, стыд, ритуал верности, но не сознательный выбор — счастье в любви — определял поведение сторон в браке. Нет, отнюдь не вера в бога диктовала нравственные нормы личности. Не страхом сильна любовь. И не утрата страха виновна в эрозии чувства. Саркастично высказывание Апдайка по этому поводу: «Когда-то у нее (Руфи. — Вл. О.) было на этот счет твердое мнение (верит Руфь в бога или нет. — Вл. О.) — «да» или «нет», вот только она забыла какое». Религия ни для нее, ни для Джерри не имела значения.

Мораль страха перед карой за грехи умерла. Мораль новая — свободы человека, раскрепощения чувства — отягощена комплексами легкой доступности соблазна. Причитания Джерри о том, что якобы религия заставляет его остаться в семье, утомляют практическую Салли. Она лучше самого Джерри понимает, что дело тут не в его вере, а в растерянности и слабости. «У каждого должно быть свое главное слово, — считает Джерри. — У меня, например, — вера. А может быть, страх? У Руфи, как ни странно, — свобода».

Свобода — это то, что всегда дефицитно. Ее никогда не хватает человеку. Но когда Юхан кричит: «Мне одно важно — вырваться на волю» — он просто бежит от самого себя, от непонимания близкого человека, от ответственности выбора. «Помоему, моей соперницей является возникшая у тебя мысль о свободе» — это слова Руфи, которой никогда самой не хватало внутренней свободы, а потому бегство Джерри к счастью, к себе, своему «я», попытка спасти в себе личность воспринимается ею с единственно возможной, по ее мнению, точки отсчета: поиска раскованности. И она по-своему права, когда предлагает начать заново, перестроить отношения между собой, найти, где жмет, и открыть некие клапаны, как она когда-то открыла их изменой с Ричардом. Джерри тоже «согрешил». Ну и что же. Так они нашли себя, и дальше все «можно уладить»... Вроде бы пора и успокоиться.

Ах, они готовы к компромиссам!

«Маскировка начинается с колыбели и продолжается всю жизнь. Ни одному человеку на свете не дано найти самого себя, как ты говоришь». Юхан бросает эти слова Марианне, адресуя их и себе самому. Но вот привычка ко лжи, выработанная самой природой отношений в браке, поистине вынужденно тотальна.

Ложь — привычка к покою, вынужденная гармония, правило поведения, при котором устанавливаются некие границы откровенности.

Компромиссы — нередкое следствие боязни правды, порой жестокой, способной ожесточить, оттолкнуть, нарушить мнимую искусственную гармонию в браке. Джерри инстинктивно страшится правды, потому что он слабый человек, неуверенный в самом себе прежде всего. Он не любит книги Моравиа потому, что тот, по его словам, говорит читателям и такое, чего не надо говорить.

В то же время герои и Апдайк и Бергмана много толкуют о причинах, корнях, следствиях, мечутся в поисках рациональных доводов своим чаще всего нерациональным поступкам. Поэтому словоблудие — основная черта их ночных пыток друг друга, пыток якобы «правдой». Они вынуждены вторгаться аналитическим скальпелем в тонкие нити интимных отношений, оставляя незаживающие раны.

Когда уже совсем нег сил для доводов, когда хаос инстинктов, месть за взаимное поругание чувств, безволие и неумение выйти из игры в компромиссы достигает апогея, герои просто... дерутся. Причем и у Бергмана и у Апдайка, стоит заметить, не мужчина избивает женщину, как в старые добрые времена домостроя, — драка происходит на равных.

Мужчина вообще теряет традиционное место сильного пола, сильного отнюдь не только в физическом смысле. Мужчина перестает быть опорой в семье, авторитетом моральной силы, твердостью характера. При всей внешней инициативности наших героев и Юхан и Джерри разве что в смелости признания измены остаются мужчинами. Дальше они действуют не по-мужски. На женщин перекалдываются решения, ответственность вообще. Утешают мужей, стараются помочь им жены, любя или жалея, с расчетом или бескорыстно, повинаясь древнему прекрасному инстинкту материнства. Мужчины же бесконечно ноют, меняют свои позиции, каются и в обоих случаях возвращаются в брошенные пенаты. В жестоком свете авторского анализа мужчины прежде всего жалки. Впервые в истории литературы возникают сюжетные коллизии, при которых жены должны чуть ли не помогать мужьям в их адюльтерах! Хотя бы советами...

Феминизация мужчины имеет обратной стороной маскулинизацию женщины. Юхан и Марианна смотрят знаменитый «Кукольный дом» Ибсена. Юхану кажется, что все

это устарело. Он смеется над идиотским, по его мнению, принципом равноправия женщины с мужчиной. Но смеяться — одно, а жить по новым законам жизни — другое. Женщины Бергмана да и Апдайка подчас поставлены действительностью в один ряд с мужчинами, вынуждены быть самостоятельными и сильными. Руфь, очнувшись от первого шока, связанного с новым положением бросаемой жены, «перебирала разные возможности: сбежать, завести нового любовника, пойти на работу, вернуть Ричарда, покончить с собой...» — словом, доказать, «что она существует». Правда, все эти «возможности» внутри того же круга условных ценностей потребительско-бездуховного общества, в котором она вынуждена искать соответствующую «опору» потрясенному сознанию, но все-таки трудно представить себе героиню романа XIX века, которой была бы предоставлена жизнью хотя бы и такая, урезанная программа сатисфакции.

Но самая печальная, на мой взгляд, примета маскулинизации женщины в наши дни — это ее равноправие в вопросах сексуальной жизни, грубая потребность срывать покровы с веками освященной целомудренности и по-мужски менять партнеров, психологически разрушая природою же уготованное неравноправие полов, при котором активной стороной изначально считалась мужская особь. «Во мне нет тайн», — гордо заявляет Салли, сравнивая себя с выпитой бутылкой, на пляже после интимной близости. Всегда «ясна» в этом смысле и Паула, любовница Юхана. Даже интеллектуалка Марианна не видит ничего зазорного в том, чтобы поделиться с Юханом своим опытом в этой сфере «эмансипации». Секс вообще существует сегодня как что-то параллельное любви.

И здесь скрыто крупнейшее и трагичное противоречие, не до конца, по-моему, ясное авторам романа и сценария. Во всяком случае, сексуальная жизнь и любовь берутся как данность, существующие порознь, раздельно, где секс выступает чаще всего в качестве лакмусовой бумажки естественности чувства в лучшем случае, а в худшем — как техника удовольствия, вроде кинематографа или игры в бридж. Сексуальная революция как «провозвестник революции духа» — жалкая пародия на идею свободы. Тем более беспомощно и уродливо выглядит она в деле эмансипации женщины.

Тут возникает одна из наиболее острых и больших проблем века. Никогда еще не прсылались с такой темной силой ин-

стинкты и подсознательные движения души человека, как в наш строго рациональный, вдоль и поперек измеренный и расчерченный разумом век. Это противоречие плохо исследовано и непоследовательно оценено. Навивной вере в цельность мира и человека грубо и решительно противопоставлена жестокая ясность анализа — время обнаружило разорванность мира, сложность и неподвластность ясным определениям души современника душегубок, Хиросимы, открытия космоса, могущества скоростей... Ясности требует наука, уровень знания о себе человека, крушение мифов, а ясность порою страшна. И, главное, не лечит. «И хаос опять выползает на свет, как во времена ископаемых». Хаос души заставляет метаться людей и в своих чувствах.

Спор между свободой и верой, спор Руфи и Джерри, — это спор парадоксальный, ибо сторонник веры — Джерри как раз и рвется к свободе, а сторонница свободы совершенствования мира и личности — Руфь ничего так не хочет, как покоя и слепой веры в незыблемость семейного очага. Но поскольку они бегут от самих себя, они и не встречаются между собой. Они обречены на взаимное непонимание. «Мое единственное желание — чтобы всегда было, как теперь. Чтобы ничего не менялось». Это говорит Марианна, но... пускается во все тяжкие, как только сдвинулась с места земля под ее ногами. Нежности и доброты к ближнему — только и всего хотела она, в то время как Юхан жаждал страстей и задышался от идеалии взаимного «понимания» и веры друг в друга. А каков финал? Жестокой правды опыта, этого молоха XX столетия, требует Марианна, ясности и правды во всем, полнойшей откровенности, доходящей до эксгибиционизма, хочет она теперь. А Юхан? Он устал от холодной этой ясности, бесчувственной и самодовольной правды о себе и ближних своих... «Я хочу во что-то верить», — тихо признается он.

Когда-то разумное и было правдой в понимании людей. Теперь иначе: «Это было неразумно, зато это была правда, и необходимая правда». Неразумен мир. И правда всегда носит негативный характер. Вот почему эта правда тяготит героев. Юхан просто кричит: «Очень умно! Один сознает свое ничтожество. Другой сознает свое величие. Чего еще желать? И почему бы нам, таким умным-разумным, не обсуждать между собой наших мужей и жен? Вот мы и треплемся. Они фактически тоже тут присутствуют. Мы им подмиги-

ваем. Нематериальный, рафинированный групповой секс. Это бесподобно, Марианна! Все проанализировано, все осознано! Ясность предельная. Но для меня это уже слишком». Он забывает, правда, что когда-то сам уповал на самопознание как на единственную панацею от личных бед. Вот Марианна и пустилась по пути самопознания. Без руля и без ветрил. Сделай выбор — поддела. Куда нам плыть — вот и прос.

«Ты говоришь, что знание дает опору. Пустые слова. Знание ставит перед выбором и усугубляет страх» (Марианна).

В свое время Юхан полагал, что главное в том, чтобы выработать некую технику жизни. Научиться плыть по ее течению. Это никому не удастся. Все разбиваются о жизнь. Но разбиваются и тогда, когда пытаются бороться с течениями. И выносит их на берег нового опыта изрядно потрепанными, а не обогашенными, как считает, кстати, автор предисловия к сценарию Бергмана («...облагораживаются, находят внутренние опоры»). Никаких опор у героев Бергмана не прибавилось. Шаткие опоры веры или хотя бы «техники жизни» рухнули, а новых нет. И в помине. «Возделывать свой сад», когда мир «катится ко всем чертям», — еще одна утопия, которой отдал дань Юхан. Свой сад люди тоже обработать не могут. Тотальный крах терпит и герой Апдайк, хотя автор и оставляет лазейку в самой форме романа — у сюжета два конца и мы вправе выбрать победу или поражение любви. Финал — прозрачный ребус — заставляет вспомнить и рассуждение героя Апдайка о смерти, которая лишь отодвинута. Смерть любви.

Французский писатель Эрве Базен написал, пожалуй, повесть еще более печальную. Тяжелое, гнетущее чувство вызывает эта опять-таки банальная история. Более десяти лет продержалась семейная крепость мадам Алины, в девичестве Ребюсто. Муж ее художник (снова художник, они, видно, особенно чутки к красоте, им не принадлежащей!) Луи Давермель полюбил юную, намного его моложе (это вариант новый в рассматриваемых романах, но не такой уж новый в жизни) Одиль. Пять лет «совмещал» брачные обязанности с более трудными обязанностями любовника и наконец, чувствуя, что, говоря словами Джерри, вполне «одержим» одной из вершин этого треугольника, решил срезать второй угол, показавшийся ему лишним. «Анатомия» этой далеко не безболезненной операции и составляет сюжет романа Базена.

Впрочем, в оригинале роман носит другое название — «Мадам Экс». Писателя интересует проблема женщины в разводе, как проблема бывшего министра, бывшей прихожанки, всего, что было чем-то и кем-то, а становится волею сложившихся обстоятельств «экс» чем-то и «экс» кем-то...

У Алины все в прошлом, не только любовь, привычный уклад жизни, но и сознание себя как личности. Потому-то для меня этот роман тотально безысходен. Если, как помним, «брошенная» американка Руфь мысленно перебирала несколько вариантов, по которым может быть выбран тот или иной шаг, то у Алины и впрямь нет выхода иного, чем покориться и «медленно-медленно угасать». Угасать «без борьбы и без страстей, без радостей и без целей».

Отсюда нетрудно сделать вывод, что цели были такие, какие могут быть стерты волею обстоятельств начисто, до основания, что борьба и страсти, радости, испытанные героиней, связаны с целью, обреченной уже загодя.

Так оно и случилось в истории Алины Ребюсто, да, если быть последовательным, и в других историях, о которых здесь ведется речь.

Цель Алины проста — служить семье. Она была примерной супругой в том понимании, какое вкладывалось в это понятие ее окружением. Семья росла от рождения одного ребенка к рождению следующего. Четверка — так в семье называли двух мальчиков и двух девочек, которых к моменту развода супругов насчитывала семья Давермель. Уход за ними, за мужем поглощал все время и все силы Алины. И когда ушел муж и постепенно, вырастая, уходили от нее дети, предварительно расколотые на два лагеря — маминых и папиных, — Алина ощутила одиночество ни с чем не сравнимое, у нее не было никаких других опор, кроме замкнутой ячейки единоверцев, «клана», связанного кровью.

Клан оказался мнимо единым. Пожалуй, проследивая этот процесс разрушения воображаемого единства внутри современной семьи, Базен и внес то новое, что до него, французского «специалиста по семейным трудностям», как окрестила писателя пресса, вряд ли кто сделал так основательно.

Если у Алдайка муки совести Джерри, оскорбленное достоинство Руфи, ее растерянная, но упрямая борьба за сохранение семьи как-то противопоставлены разрушительному наступлению страсти, поколебавшей и затем расколовшей семью Конантов, если у Бергмана напряженная аналитич-

ность героев драмы помогает осветить происходящее крушение семьи и в конечном счете приводит хотя бы к возможности новых решений — в романе Эрве Базена отрезаны все пути отступления с самого начала, а разрыв идет, как говорится, по всем швам.

Алина не в пример Руфи и Марианне, проявляющим женскую тактику и жертвенный такт, сразу же объявляет смертельную войну бывшему мужу, бросая в бой самое сильное, как ей представляется, войско — детей. Весь роман — хроника войны за детей, и в то же время именно они служат орудием наступления и обороны — то тараном, которым взламываются крепости, то воротами, за которыми отсиживается противник. Война за детей, сказал я. Не за детей, а с помощью детей. Дети у Бергмана и Алдайка в боях не участвуют. Они фон, часто более или менее веские аргументы, препона или помощь одной из сторон. У Базена фабула держится на решениях суда о том, кому должна быть передана опека — матери или отцу. И стороны, кажется, уже забывают, что именно стоит за этой борьбой за Агату, Леона, Розу и Ги — любовь к детям, боязнь их потерять или тактический ход в интересах экономических, средство отравить отношения в новой семье Луи — для Алины или гармонически укрепить их — для Луи и понимающей это, выдержанной и дальновидной «разлучницы» Одили.

Нет, конечно же, Алина страдает, когда Роза и Ги отдаляются от матери, когда Агата, ее любимица, добывает ее, уходя к сожителю, но и тут ее разрушительная, мстительная любовь к детям подчинена главной, маниакальной цели — сделать невозможной жизнь Луи с Одилией. Да и у Луи, этого по-своему даже нежного отца, к которому все-таки тянет детей, нет особого места в сердце, отданного отцовским чувствам в том нравственном понимании, к которому мы привыкли как к чему-то естественному, как дыхание. Через рассудок проведены все его мысли и поступки, связанные с выбором, зависящим от его личного решения в отношении маленьких участников разыгрываемой по его и Алины нотам трагедии. Есть что-то противоестественное в самой постановке вопроса: если он, Луи, весь день будет с детьми, скажем, бродить по городу, его не поймут — это покажется признаком «неблагополучия» в семье. Отец, посвятивший день собственным детям, — нонсенс! Всерьез Луи намекал Алине и на то, какую жертву он приносит, он-де мученик отцовского долга. Однако в решаю-

щие моменты чувство обладания молодым существом, годящимся ему в дочери, легко разрушает этот узелок некрепкого морального сопротивления.

Не случайно, что о других «духовных» тормозах, кроме детей, тормозах, как видим, не очень надежных, речи тут не идет. В отличие от Апдайка и Бергмана Эрве Базен рисует вполне счастливый вариант (Луи и Одиль). Хотя Луи и попал в непростую ситуацию (в довершение к прежним расходам, связанным с тяжбами Алины, он должен в конце концов до смерти бывшей супруги содержать и ее, так как она в некоем затмении чувств попала в автомобильную аварию), брак новый выстоял. Одиль оказалась терпеливой.

Герои Базена предлагают некоторые варианты вроде того, что брак должен представлять собой признанную обществом внебрачную связь двоих — тогда не будет и разводов. Но этот союз двоих проще вообще не называть браком. Предлагают функцию сексуальную отделить от функции воспроизводства рода, то есть, просто говоря, узаконить адюльтер, оставив за семьей экономическую общность интересов и воспитание детей. Но легко представить себе подобное «воспитание» личным примером!

Недалеко ходить: Алина не только сама шпионит за Луи, она втягивает «верных» ей детей в дела семейной разведки в доме бывшего мужа, склеивает разорванные на куски конверты одной из дочерей, чтобы прочесть адрес, учит обману малыша Ги, делает, словом, все, чтобы отвлечь от себя детей, а потом пожинает плоды взаимной скрытности и сама становится жертвой холодного обмана. Дочь Алины и Луи Агата вступает в связь с женатым человеком, повторяет на новом витке судьбу своих родителей, но не полностью — она вообще не хочет связывать себя семейными узами...

Перманентность брака становится законом. Мы говорим обычно: прежде чем вступить в брак, надо приобрести специальность, то есть обеспечить материальные основы семьи. В варианте героев Эрве Базена: «Сначала надо приобрести специальность! Для девушки — это свобода!» Специальность — синоним опыта. Опять опыт, как у Бергмана, как у Апдайка. Но только опыт этот ничему не учит...

Что в этих трех произведениях поучительного с точки зрения нашего литературного процесса? В предисловии к роману Д. Апдайка Г. Бакалов вспоминает спор, который вели в мае 1978 года автор «ро-

манической истории» и Джойс Кэрол Оутс. Писательница на провокационные (убежденные?) заявления Апдайка о том, что читателя интересуют только проблемы любовных переживаний, только они, а не любые другие проблемы общества и личности, отвечала, что роман всегда и обязательно социален.

Спор, на мой взгляд, напоминает и наши абстрактные дискуссии. Неразрешим он по очень простой причине: душа человека неразложима на чувства к «ней» («нему») и к «ним» (вообще людям, социальный момент). Не в теме тут дело. В погруженности в духовный мир, в диалектике чувства, в правде характеров, вскрывающей неумолимость поступков и их последствий, в системе отношений общества и человека, в состоянии мира. Сила подлинной литературы и ее отличие от сочинительства, которое в наше время почти на равных чувствует себя с литературой в истинном понимании слова, — в органичности понятий «личность», «духовная жизнь». В том, что художник подлинный знает цену человеку.

Многие помнят имя Джона Донна по знаменитому эпиграфу к одному из романов Хемингуэя о колоколе, который звонит каждый раз по нас, но Донну принадлежит еще и такое высказывание о человеке: «Мало назвать человека малым миром, человек не есть уменьшенная копия чего бы то ни было... Человек состоит из большего числа частиц, из большего числа частей, чем мир...» Сложность человека, его неожиданность, невозможность запрограммировать личность — тоже одно из слагаемых богатств мира, условие прекрасной возможности для художника испытывать вечную жажду познания.

Любовь, как и смерть, как и вечная смена и вечное обновление в природе, тема неисчерпаемая и потому «прописанная» во всех временах. Чем глубже анализ чувства, тем яснее и историческая или национальная «подоплека» их, но тем определеннее и устойчивее, вечное в теме этой. Неполнота правды здесь чревата ложью. Еще Руссо в «Исповеди» писал: «Самые откровенные люди в лучшем случае правдивы в том, что говорят, но они лгут уже одним тем, что говорят не все...»

В деликатном и интимнейшем мире чувств художественный анализ верен только тогда, когда читателю открывается не один лишь верхний слой отношений, но тайная тайных их, — искусство не знает «такта». Не значит ничего «официальная» версия чувства. А проникнуть

вглубь — это и вскрыть механику подсознания, скрытых импульсов поведения человека, не только логику сознания, «разумное» в его действиях, но и «неразум-

ное». Ибо и то и другое одинаково говорит о нем как о личности общественной, объясняет мир.

Владимир ОГНЕВ.



Политика и наука

БОРЬБА ИДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Социализм и идеологическая борьба: тенденции, формы и методы. М. «Наука». 1979. 398 стр.

Фронт идеологической борьбы между социализмом и капитализмом в наше время постоянно расширяется в силу действия многих факторов, и прежде всего роста политического сознания огромных масс людей на всех континентах, увеличения потока информации, возникновения все новых и новых проблем, имеющих глобальное значение. Одновременно, как подчеркнул кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС Б. Н. Пономарев на Всесоюзном совещании идеологических работников в Москве в октябре 1979 года, накал борьбы идей на международной арене нарастает в связи с укреплением позиций и авторитета реального социализма в мире. «Люди на Западе видят, что социалистическое общество зримо, весомо, бесповоротно утвердилось на земле. Растет интерес к идеям социализма, марксизма-ленинизма»¹.

Именно усиливающийся интерес масс к этим идеям и их роли в революционном преобразовании общества побуждает буржуазных идеологов активизировать усилия, направленные на дискредитацию марксизма-ленинизма, практического опыта построения социализма, накопленного в СССР и других социалистических странах. Советские ученые-обществоведы внимательно следят за развитием и видоизменением концепций, направлений и методов буржуазной пропаганды, своевременно давая им отпор, вскрывая их связь с политикой и идеологией империалистических кругов.

Отечественная литература, посвященная критическому анализу распространяемых буржуазной пропагандой интерпретаций реального социализма, пополнилась коллективной монографией, подготовленной Научным советом по проблемам зарубежных идеологических течений и Институтом философии АН СССР. В авторский коллек-

тив, возглавляемый академиком М. Митиным, входят представители различных общественных наук, известные специалисты в области критического исследования буржуазной идеологии и пропаганды. Монография раскрывает несостоятельность концепций и методов, используемых как средствами массовой информации буржуазного общества, так и многочисленными научными центрами крупнейших капиталистических стран. В ней прослеживается взаимосвязь буржуазных и различных право- и леворевизионистских, оппортунистических теорий общественного развития. Немаловажным достоинством рецензируемого издания является выявление преемственности и изменений в теоретическом багаже наших идейных противников, показ постоянного обновления их тактики и методов борьбы против мира социализма при неизменности классово-политических позиций и целей.

Стержнем идеологической стратегии империализма, как показывает академик М. Митин в первой главе монографии «Основные направления борьбы с антикоммунизмом», являлись и являются попытки разобщить революционные силы и тем самым подорвать мировой революционный процесс. Прилагаются усилия, во-первых, расколоть мировую систему социализма; во-вторых, изолировать от нее рабочий класс развитых капиталистических стран; в-третьих, оборвать связи между социалистическим содружеством и национально-освободительным движением в развивающихся странах. При этом извращенное толкование опыта реального социализма, и прежде всего в Советском Союзе, ставилось и ставится пропагандистским аппаратом империализма во главу угла всей его деятельности.

Вместе с тем в различных главах книги подчеркивается, что меняющееся соотношение сил в мире в пользу социализма вынуждает буржуазных идеологов отказываться от доказавших свою неэффектив-

¹ «Правда», 18 октября 1979 года.

ность прямолинейных, грубых методов борьбы и прибегать к более гибким. Общий кризис капитализма, пишет М. Ненашев в главе «Некоторые особенности современной идеологической обстановки и методы буржуазной пропаганды», активизирует критическое восприятие различными социальными слоями буржуазного общества его традиционных социально-экономических и политических институтов, моральных и мировоззренческих ценностей, усиливает идейное и политическое размежевание в лагере буржуазии и ее союзников. Неспособность буржуазной идеологии выработать сколько-нибудь научно обоснованную целостную теорию общественного развития побуждает ее сторонников выступать с эклектических позиций, включающих элементы критического отношения к капиталистическому строю.

Ныне, как подчеркивается в книге, в буржуазной пропаганде нередко наблюдается ее своеобразная «терминологическая деполитизация», перенесение центра тяжести на обсуждение проблем, так или иначе связанных с современной научно-технической революцией, стремление истолковать эти проблемы с так называемых общечеловеческих позиций. Однако хотя и заметна тенденция официальных или полуофициальных пропагандистских органов Запада держаться такой гибкой линии, оставив откровенно подрывную идеологическую работу на откуп радиостанциям «Свобода», «Свободная Европа» и аналогичным им рупорам, обе тактические линии отнюдь не отделены друг от друга непродолимой стеной, а активно комбинируются и взаимодополняют друг друга. Заметим, что особо интенсивная антикоммунистическая и антисоветская кампания, поднятая буржуазными средствами массовой информации с самого начала нынешнего года, наглядно подтверждает этот вывод. Читатель рецензируемой книги найдет в ней (например, во введении, написанном С. Королевым и В. Смоляским, в главе «Государственно-монополистическое управление средствами пропаганды и современная идеологическая борьба», написанной С. Бегловым) данные, показывающие, что почва для проведения этой и других подобных кампаний готовилась не первый год. Президент США Дж. Картер не случайно в 1978 году создал Управление международных связей, объединившее под единым руководством Информационное агентство США (ЮСИА) и курировавшийся госдепартаментом новый отдел по обменам в области культуры, а еще раньше распорядился об увеличении

мощности американского иновещания и строительстве 28 новых передатчиков. Тем самым была реализована рекомендация специальной президентской комиссии о выпуске «концентрированных информационных программ с использованием всех средств массовой информации».

Взаимопереплетение различных идейно-политических тенденций в буржуазном обществе нередко имеет общий стержень — антикоммунизм, антиленинизм. Однако отсюда не следует, что эти тенденции тождественны. Разновидности буржуазного и мелкобуржуазного сознания могут существенно отличаться друг от друга, а в известных условиях и вступать в конфликт друг с другом. С усложнением условий, в которых протекает противоборство двух основных общественных систем современности, увеличивается дифференциация немарксистской идеологии, растет число течений внутри нее. «Бесспорно, что все эти идейные течения расходятся с марксистско-ленинской научной теорией, и идеологические компромиссы с ними невозможны, но расходятся они по-разному... — делает обоснованный вывод А. Соболев в главе «Мировой революционный процесс и идеологическая борьба». — Например, бесспорно, что марксизм-ленинизм и религия противоположны в теоретическом отношении, но коммунисты зовут всех трудящихся верующих к совместной борьбе против всевластия монополий».

Вместе с тем нельзя недооценивать тот факт, что эклектический, разнородный характер многих концепций современной буржуазной идеологии нередко затрудняет распознавание их классовой сущности и требует более внимательного и глубокого подхода со стороны марксистов. Наглядным примером приспособления буржуазных идеологов к реальностям современного мира, и прежде всего к росту влияния марксизма, служит давно подмеченное стремление известной их части заимствовать некоторые марксистские положения и терминологию. «К марксизму, разумеется извращенному и препарированному в духе буржуазного либерализма, сегодня враги революционного и коммунистического движения относятся более или менее терпимо и лояльно, — пишет М. Митин. — «Все мы теперь марксисты», — сказал как-то небезызвестный американский антикоммунист Альфред Мейер, и эта фраза стала крылатой. Основной же смысл всей идейной борьбы, которую сегодня ведут антикоммунисты против марксизма-ленинизма, — **любой ценой, даже любой**

«признания» марксизма, опорочить учение В. И. Ленина».

В переносе буржуазными идеологами пропагандистского огня с «доленинского» марксизма на ленинизм сказывается усиливающееся влияние правых социал-демократических концепций на стратегию и тактику антикоммунизма. Этот характерный для нынешнего этапа идеологической борьбы феномен отмечается во многих разделах монографии. Наши идейные противники, подчеркивает В. Печенев в главе «Социалистический идеал и реальный социализм в современной борьбе идей», нередко гримируются под «чистый», «неискаженный» социализм, декларируя стремление «усовершенствовать» его ради его же блага. Такая позиция импонирует и определенным кругам буржуазии, рассчитывающим, что примеру социал-демократов в данном отношении могут последовать те или иные коммунистические партии.

Основной прием наших идейных противников, пытающихся критиковать реальный социализм «изнутри», состоит в противопоставлении его социалистическому или коммунистическому идеалу, предварительно либо искаженному, либо оторванному от всех конкретно-исторических связей. Аргументация буржуазных и ревизионистских идеологов в этом плане суммируется Ц. Степаняном в главе «Духовная нищета критиков теории и практики научного коммунизма». КПСС адресуются упреки в том, что она-де не смогла обеспечить самую высокую в мире производительность труда, полное изобилие материальных и духовных благ, ликвидировать классы и классовые различия, слить все нации советского общества в единое целое. Несостоятельность этих доводов, пишет Ц. Степанян, заключается в том, что черты, характерные для высшей фазы коммунизма, приписываются нижней фазе с целью дискредитации всей коммунистической формации в целом.

Вопрос о соотношении социальных идеалов и исторической действительности, поднимаемый в монографии, чрезвычайно важен для понимания специфики идеологической борьбы в современных условиях. Пропагандируя идеи о несоответствии теории и практики развития социалистического общества, социал-демократические идеологи исходят из механистических, догматических представлений о возможностях реализации марксистского учения в условиях победившей пролетарской революции, игнорируют сложность процесса строительства социализма. В жизни, совершенно справедливо отмечает В. Печенев, не бывает абсо-

лютного, метафизически понимаемого тождества между логической, общетеоретической картиной развития социализма и его конкретно-историческим развитием, между идеалом и самой действительностью. «Непонимание живой, жизненной диалектики логического и исторического, идеального и реального в развитии социализма, абсолютизация (а иногда и драматизация!) момента несовпадения между ними может стать одной из причин возникновения аналогичных концепций и у отдельных представителей интеллигенции социалистических стран, хотя объективные условия формирования антимарксистских взглядов здесь в основном уже уничтожены». Суть совершаемой в данном случае ошибки заключается в забвении того факта, что Советскому Союзу и большинству других стран в процессе становления социализма пришлось решать задачи, относящиеся по своему происхождению еще к досоциалистической эпохе. Это обуславливает особую трудность изживания пережитков старого строя. Советскими учеными сделан вывод о том, что реализация основных положений марксистско-ленинской теории рассчитана на более длительный этап, чем тот, который уже пройден реальным социализмом².

Равным образом наши идейные противники не в состоянии понять диалектического сочетания общих принципов и национально-специфических особенностей борьбы за социалистическую революцию и строительства социализма в разных странах. Буржуазная пропаганда всемерно преувеличивает разногласия, которые существуют в международном коммунистическом движении, изображая их свидетельством ошибочности марксистско-ленинской стратегии. В действительности, в условиях современного мира, характеризующихся различной степенью развития и зрелости классов, социальной структуры, политических сил, определенное расхождение мнений естественно и неизбежно. Источником возникающих разногласий, поясняет М. Митин, является диалектический характер общественного развития, принимающего острые, своеобразные и сложные формы. «Вопрос заключается в том, чтобы в современных исторических условиях найти правильное сочетание интернационального и национального, чтобы по-ленински учитывать как общие закономерности перехода к социализму,

² См. Р. И. Косолапов. Социализм: к вопросам теории. М. «Мысль». 1975, стр. 354—359.

так и специфические особенности отдельных стран».

Апологетика национализма, изображение его доминирующей формой политического сознания современной эпохи соседствуют в буржуазной идеологии с попытками выдать за единственную действительную альтернативу ему глобальный порядок, тем или иным образом конструируемый и соблюдаемый под эгидой крупнейших транснациональных монополий и их представителей в правительствах, политических партиях, общественных организациях. Крах надежд на внутреннюю «эрозию» и «трансформацию» социалистического общества вынуждает буржуазно-либеральных теоретиков искать иные модели развития всего мира по образцу и подобию капиталистических стран. Именно так вычерчиваются всевозможные концептуальные вариации приемлемого для Запада «глобализма», критически рассматриваемые В. Смоляным в главе «От теории «конвергенции» к «планетарному сознанию».

В этой же главе говорится о росте активности в последнее время идеологов неоконсерватизма, открыто выступающего с апологетикой капиталистического строя и призывами отстаивать его с помощью «твердых мер», но отличающегося от старого консерватизма одновременным исполь-

зованием теоретического багажа буржуазного реформизма. Как и смыкание с буржуазными идеологами оппортунистических, троцкистских и маоистских теоретиков (стратегия и тактика которых рассматривается в главах, написанных В. Мидцевым, С. Королевым, В. Кривцовым), это явление свидетельствует о попытках антикоммунистов и антисоветчиков создать ныне, в период обострения борьбы за рядку международной напряженности, стабильный общий фронт, призванный сдерживать процесс изменения глобального баланса сил в пользу социализма, а по возможности и обратить историю вспять.

Всем своим содержанием рецензируемая книга показывает, что подобные расчеты строятся на шатком, несостоятельном идейном фундаменте и потому обречены на провал. Часы общественного развития не имеют обратного хода, и поскольку «развитой социализм — это сегодня высшее достижение социального прогресса»³, движение от него в сторону дальнейшего прогресса человечества, в сторону коммунизма, невозможно остановить ни с помощью «твердой» политической конфронтации, ни посредством теорий, направленных на размывание идейного фундамента мировой социалистической системы.

Ю. ИГРИЦКИЙ.



ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗУМ

Р. К. Баландин. *Время. Земля. Мозг*. Минск. «Высшая школа». 1979. 238 стр.

Р. К. Баландин. *Геологическая деятельность человечества. Техногенез*. Минск. «Высшая школа». 1978. 303 стр.

Р. Баландин. *Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие*. М. «Знание». 1979. 176 стр.

Все чаще появляются книги, которые трудно отнести к определенному жанру. «Время. Земля. Мозг» аттестована в послесловии как научно-популярная. А она прежде всего ступок идей самого пишущего. И автор послесловия, известный геолог Н. Вассоевич, справедливо уточняет, что перед нами не просто популяризаторский труд, а научно-популярное исследование — «действенное орудие межнаучного обмена и философского осмысления достижений самых различных наук».

Та же история с книгой «Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие». Вроде бы биография. Вглядишься — да это не науковедческое исследование! Неоднозначна и книга «Геологическая деятельность человечества», которая вряд ли отличалась бы от типичной монографии, если бы в ней, как и в других книгах, не просматривался

слог писателя, публициста. Такое вот всюду смешение... Впрочем, так ли уж все это ново? Научные размышления, своеобразные эссе возникли не вчера. Было бы умно, интересно, значительно, определение же — дело десятое.

Перед нами тот самый случай умной интересной литературы. Автор — геолог, который вместе с тем уверенно (ныне это редчайший случай) оперирует данными множества других наук. Но дело не в эрудиции автора. И не в литературной его одаренности, которая яснее всего проявляется в книге о Вернадском. Незаурядное обилие мыслей и обобщений — вот что выделяет написанное Р. Баландиным. В самой

³ «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». Постановление ЦК КПСС от 31 января 1977 года. «Коммунист». 1977, № 2, стр. 6.

насыщенной книге («Время. Земля. Мозг») ощущается даже их некоторый переизбыток, хотя это, возможно, связано с тем, что в ней больше всего неожиданного и спорного. Как, например, отнестись к развиваемой не только в этой книге идее, быть может, замкнутого течения времени в минеральных образованиях?

Но оставим сугубо естественнонаучные разработки автора на суд специалистов. Эволюция в самом широком смысле и ее общие закономерности — вот что более всего интересует Р. Баладина. В самом широком смысле это значит — от планетарных ее истоков к человеку и такому его творению, как техносфера.

Исследуя проблему происхождения жизни, автор не без оснований обращает внимание на то, что в последнее время (оборотная сторона достижений молекулярной биологии!) взгляд ученых слишком прикован к микроуровню эволюционных событий, когда планетарные процессы рассматриваются скорее как побочный агент, а то и вовсе как фон изменений. Р. Баладин доказывает обратное: эволюция земных оболочек не просто подготовила благоприятную для жизни среду, но и сыграла роль стартера. Ведь с ходом геологического времени в первичной массе Земли обособлялись атмосфера, гидросфера, кора. Это усложнение обстановки, все большее разнообразие энергетических, геохимических связей и взаимодействий накаляло информационное поле планеты, что не могло не вызвать ответной реакции органического вещества, закономерно увеличивало степень его организации, вело к усложнению структур и в конечном счете породило жизнь.

Если автор прав, т.е. заметим, становится яснее, почему жизнь не возникла на Марсе или Венере: там не смогла обособиться гидросфера, что, помимо всего прочего, резко обеднило все связи и взаимодействия среды.

Уже сказанное представляет нам Р. Баладина как убежденного противника «эволюционных случайностей», когда речь идет о поворотных событиях земной истории, что вполне отвечает позиции диалектического материализма. Постепенное усложнение уже живого вещества, всей биосферы — это реальность палеонтологической летописи. В ней несомненен переход от одноклеточной к многоклеточным структурам, столь же очевидна цепь усложнения всех физиологических систем организма. Но каков механизм этого прогресса?

Наука XX, отчасти еще XIX века в об-

щем объяснила это. Но далеко не полностью. Р. Баладин и тут вносит свое. Дело в том, что биологи-эволюционисты, генетики чаще всего рассматривают жизнь как бы изнутри, это естественная для них точка зрения. Наоборот, геологи склонны тот же феномен рассматривать извне. Плодотворны обе точки зрения, но в одном случае тушется роль планетарных процессов, а в другом — роль сугубо биологических закономерностей. Конечно, Р. Баладин далеко не первый, кто попытался преодолеть это противоречие и рассмотреть все в совокупности. Однако в его распоряжении оказался и новый фактический материал и современные обобщения кибернетики, теории информации, теории систем. Отсюда новый круг интересных, перспективных, хотя, понятно, кое в чем спорных и уязвимых наблюдений, гипотез, выводов.

В беглом, потому упрощенном пересказе главное выглядит так. Возникнув, жизнь стала новой и со временем мощной планетарной силой, что резко умножило, усилило, преобразовало энергетические, геохимические, информационные процессы во всех оболочках земного шара. Но воздействие неизбежно рождает противодействие. Получается нечто вроде вихря взаимной индукции. Так, стоило жизни освоить фотосинтез и тем обогатить атмосферу свободным кислородом, как разительно изменилась вся геохимическая обстановка. Жизнь резко увеличила свои энергетические возможности, укрепила себя, но это обернулось таким кризисом среды, который революционно преобразовал ее саму. А это переустройство в свою очередь... Так цикл за циклом.

Но всякая перестройка на новый лад — это еще и всплеск информационных процессов. Тут большее накопление информации, лучшая ее переработка дает выигранный шанс той части живого вещества, которая втянута в вихрь перемен. А невероятно пластичное живое вещество обладает еще и уникальными «информационными возможностями». Эта его особенность цикла за циклом преобразует в нем индукционные вихри возмущений в спираль развития от простого к сложному, от примитивных систем переработки информации к мозгу.

Движение к разуму, цефализация, становится закономерным. «Цефализация, — отмечает Р. Баладин, — это не привилегия какой-то одной группы, ветви животных. В той или иной степени она свойственна подавляющему большинству видов позво-

ночных, в особенности высших. Почти всегда предки имеют сравнительно менее развитый мозг, чем потомки... Нечто подобное наблюдалось и до цефализации, прежде чем образовался головной мозг».

Изучая взаимосвязь внешних и внутренних причин прогресса, автор, в частности, заключает, что современная (синтетическая) теория биологической эволюции хотя и верна, но недостаточна для его объяснения. Наверняка так, ибо всякая теория лишь приближение к истине. Ну а верны ли добавления самого автора, оправдывается ли, например, его вариант гипотезы наследования признаков не только путем мутаций и отбора, покажет время. Справедлива, во всяком случае, та мысль, что как случайная игра природных процессов ни за какие миллиарды лет не создаст компьютер, так и случайные перекombинации живого вещества неспособны породить разум. Тут мощно заявляют о себе природные закономерности, которые направляют развитие сложных, способных к эволюции систем. Не только биологических, но и тех, на что Р. Баладин обращает особое внимание, устанавливая черты сходства в эволюции неживого, живого и в эволюции технических систем. Тут самое время обратиться к «Геологической деятельности человечества», не без сожаления оставляя позади массу любопытного, но нетронутого либо бегло очертанного материала книги «Время. Земля. Мозг».

Человечество с запозданием осознало свое превращение в могучую геологическую силу. Вот некоторые данные о ее размахе: «С помощью главным образом машин перепахивается, как бы вовлекаясь в микроциркулятор, более трех тысяч кубических километров почв ежегодно — объем высочайшей горы Джомолунгмы», «Шлак — техногенных горных пород — накапливается на поверхности в 10 раз больше, чем осаждается известковых илов во всем мировом океане», «Сейчас летают над землей самолеты весом в десятки тонн. По-видимому, общий вес этих сверхтяжелых предметов, находящихся в атмосфере, уже превысил вес пыли...» Словом: «В настоящее время деятельность человека значительно больше сказывается на перемещении масс у поверхности Земли, чем все другие геологические агенты, вместе взятые». Результат известен: «Человечеству для его существования на Земле необходима вполне определенная среда. Техногенез создает такую среду. Но одновременно он является фактором, разрушающим эту среду».

К охране природы мы сейчас подходим с позиций экологии, то есть биологической науки, изучающей взаимоотношения организмов со средой обитания. Р. Баладин обоснованно считает такой подход недостаточным, так как деятельность человека — это уже геологический процесс, который охватывает атмосферу (добавим, что, пожалуй, уже и ионосферу), гидросферу, биосферу, литосферу, само человечество. К нему и надо подходить соответственно его масштабу и качеству. Для управления им (иного благоприятного для нас решения нет) прежде всего необходимо точное знание законов развития и взаимодействия всех без исключения систем земного шара, с учетом всех слагаемых деятельности человека. Задача по своему масштабу совершенно новая и даже еще не всеми осознанная.

Тут книга «Время. Земля. Мозг» как бы предвдвывает книгу «Геологическая деятельность человечества». В первой автор пытается осмыслить ход геологических и биологических процессов в их взаимосвязи, понять основные закономерности их развития и двуединства. Во второй он то же самое рассматривает уже на фоне деятельности человека, изучает историю техногенеза как планетарного явления, перед нами триада: природа — человек — техника.

Технику создал человек, без нас (во всяком случае, пока) она существовать и развиваться не может. Значит ли это, что техника — пассивный инструмент человеческой воли, наш раб? Такой взгляд наивен, ибо, как показали классики марксизма, техника строится в соответствии с законами природы, определяется ими, это порожденный социальными и природными началами кентавр. Естественно, столь же далеко от истины и обратное уподобление техники взбесившемуся джину. Но ошибки живучи, в том числе иллюзия, будто с техникой можно поступать по принципу что хочешь, то и ворочу.

Весьма актуальна та часть работы Р. Баладина, где он, сопоставляя техногенез с геогенезом и биогенезом, вскрывает закономерности и стадии техноэволюции в их неразрывной связи с общепланетарными процессами. Некоторые выводы этого анализа решительно опровергают мнение, что всякое развитие и умножение техники есть благо. Не всякое, что, кстати, уже наглядно показал американский опыт безудержной автомобилизации. Р. Баладин не скрывает, что большинство намеченных им закономерностей техноэволюции оставляет «мало» надежд человеку на активное про-

явление своей воли и желания в масштабах такого планетарного процесса, как техногенез». Ибо, поясняет автор, «несмотря на разумность каждого из людей, человечество на Земле никак не назовешь монолитным целым, одухотворенным единством взглядов и стремлений. Отсюда возникает опасение, что человечество все больше попадает во власть могучему и стихийному геологическому процессу — техногенезу».

Словом, современный анализ проблемы лишний раз подтверждает вывод К. Маркса о том, что культура, если она не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню. Возможна ли удовлетворительная стратегия партнерства человека с природой и техникой? Да, заключает Р. Баладин, более того, она уже кристаллизуется в ходе человеческой деятельности, которая постепенно, мучительно, сложно, но закономерно становится все более организованной и разумной силой, обретая в социализме научное плановое начало. В заключительных главах автор анализирует некоторые слагаемые этой оптимальной стратегии, дает практические рекомендации по управлению техногенезом.

Роль науки в этом деле громадна, на ней Р. Баладин сосредоточивает свое внимание, особенно в книге о Вернадском.

Внешне, повторяю, это биография великого ученого. Но Р. Баладина она интересна не сама по себе, а в связи с колоссальными и неотложными задачами, кото-

рые перед наукой ставит жизнь. Как их скорее и наилучшим образом разрешить? Как преодолеть разобщенность знаний, дробность исследовательского мышления, творческую из-за этого ослабленность? Есть человек, чья деятельность стала разрешением этих трудностей роста. Это Вернадский, основоположник ряда новых наук, создатель теорий, значение которых лишь укрупняется со временем, ученый, который задолго предугадал, например, наступление атомной эпохи (в литературе одновременно с ним таким провидцем оказался Г. Уэллс), человек, который глубоко и мощно познавал мир в целом. Все потому, что он родился гением? Р. Баладин полагает, что это не так, что Вернадский сам себя создал таким, каким мы его знаем. Но тогда его опыт, его метод мышления может быть раскрыт, познан, сделан всеобщим достоянием науки. А начинать надо с исследования творческой лаборатории Вернадского, что Р. Баладин и делает.

С теми или иными положениями книг Р. Баладина можно соглашаться или не соглашаться (какой-то процент идей, возможно, просто неверен). Но пройти мимо его разработок было бы не по-хозяйски. Тем более что в его книгах содержатся выводы, прогнозы и рекомендации по многим узловым проблемам научно-технической революции.

Д. БИЛЕНКИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



ГЕННАДИЙ ПАЦИЕНКО. Зал ожидания. Рассказы, повести. М. «Современник». 1979. 336 стр.

Геннадий Пациенко вошел в литературу лишь несколько лет назад. Помню, когда его принимали в Союз писателей, рецензентов поразил своей точностью рассказ «Дым за деревней». Георгий Семенов тогда сказал так: «Прочтите — и вы явственно услышите запахи войны!» Лет по пять-шесть Егорке и москвичке Адке, которую война оторвала от родителей. Они пошли собирать ягоды, и вдруг с дороги потянуло непривычным куревом. «Местное курево отдавало обычно лыком, дегтем, ржаной соломой — всем тем, что держали замаянные стариковские руки. Этот же дым был чужой, растворенно втершийся в утренний луговой воздух». Егорка с его рано обретенным опытом угадывает запахи, обещающие жизнь или предупреждающие о смертельной опасности. Чутким стало ребячье сердце в военное лето.

Этот рассказ о рано повзрослевшем Егорке производит сильное впечатление. Автор ничем, ни единым словом не пытается читателя разжалобить, его почерк предельно строг, но читатель следит за похождениями Егорки с глубоким сочувствием и растущей тревогой.

В других произведениях героев зовут то Васька Лазарев, то Валька Агапов, то Костя Сушин, то Родион, но это все тот же Егорка; из него выросли все главные персонажи произведений Геннадия Пациенко — чистая помыслами, остронаблюдательная, искренняя и на редкость доброжелательная молодежь. Все они по-своему незаурядные, и, хотя судьба их складывается не всегда легко, в любых ситуациях они остаются цельными и человечными.

Чистота и честность натур отличают и героев двух небольших повестей — «Зал ожидания» и «Высокие дни», посвященных воспитанию в молодом человеке рабочей гордости. Для Кости Сушина, для Родиона сознание того, что они могут потерять уважение людей, самое худшее из наказаний. Лиризм, тонко окрашивающий всю ткань повествования, одно из основных свойств этих повестей. Впрочем, эта черта характерна и для других произведений Геннадия Пациенко: какая-то в них есть тихая грустинка — и в дымке от костра, и в запахах леса, и в чистой, не всегда взаимной любви героев. Но именно грустинка, а не тоска; грусть отличается от тоски тем, что в ней есть надежда. А надежда героев Геннадия

Пациенко во внутренней логике поступков, в их спокойной уверенности. Обычно они немножко одиноки, замкнуты не потому, что считают себя неудачниками, а потому, что постоянно погружены в размышления и не хотят навязывать их окружающим.

«Дерево в поле» — так называется эссе в конце книги, исполненное лирики и глубокой любви к родной природе. Одиночество героев Пациенко кажущееся, это одиночество дерева в поле, дающего тень и приют тому, кто в нем нуждается. Это цельные в своих помыслах, гордые и хорошие люди, легко ранимые, но постоянно стремящиеся к нравственному совершенствованию.

В своих произведениях, посвященных и городской и сельской теме, Геннадий Пациенко пишет о том, что знает и видел, что вольно или невольно пережил. В Егоркином возрасте пережил он войну, с юных лет работал, отслужил действительную танкистом, стоял у станка... Его путь в литературе — от жизни, которая так богата впечатлениями и раздумьем.

Владимир Санин.



РУССКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ СКАЗКА. Составление, вступительная статья и примечания Дм. Молдавского. Л. «Художественная литература». 1979. 366 стр.

Английский писатель Р. Олдингтон, переводчик Боккаччо, назвал первое издание книги «Русская сатирическая сказка», выпущенное Дм. Молдавским в 1958 году (заметьте, что нынешнее издание настолько основательно дополнено, что, по словам самого составителя, «ничего общего с первым не имеет»), русским «Декамероном». Действительно, сатирические образы хитрого и удачливого плута, некоторые характерные особенности гротеска, шутовского элемента, «корреспондируют» в фольклоре разных народов. Если же говорить о бесспорных отличительных особенностях, то главной из них я бы выделила всегда ясно осязаемую социальную направленность. Большинство сказок построено на антитезе бедняк — богатч. Причем все симпатии рассказчика неизменно бывают на стороне бедняка — крестьянина, сапожника, швеца, горшени (гончара), солдата, то есть представителя народных низов. Ему противопоставляется богатч. Насмешке подвергается не только деревенский кулак (богатый и жадный кре-

стьянский сын), боярин, глупый и неспособный к труду, воевода, вынужденный спрашивать совета у простого мужика, церковные служители (антиклерикальная направленность сказок неизменна). По-своему обращаются сказители и со святыми и с самим богом. Вот, например, сказка «Как бедняк кума искал». У одного бедняка родился сын. В кумовья ему предложил себя сам бог. «Нет,— говорит бедняк,— бог — несправедливый человек. Один у него богато живет, другой бедно».

Непременные черты устной сатирической сказки — не только смех, высмеивание недостойных явлений и личностей, но и утверждение народных идеалов. Герой из народных низов умен, остроумен, «мозголов», ему чужды лесть, раболепство, с присущей ему наивностью он режет правду-матку в глаза — на равных разговаривает со всеми, стоящими выше по социальной лестнице. Сравнивая русскую сатирическую сказку с аналогичным фольклором других стран (в частности, с итальянским), отмечаешь, что здесь на первый план выступают не традиционные плутни и обман, а именно здравый смысл, помогающий бедняку-простаку взять верх над богатым. Истинную ценность в русских сказках имеют не деньги, богатство и материальные блага как самоцель, которой добивается герой, а именно награда за ум и сообразительность.

В сборнике собрано более 150 сказок. Они различны и по размерам и по сюжету: антипоповские, фантастические, бывальщины, сказки о ловком победителе, глупцах, чертях, притчи прозаические и стихотворные и, наконец, такие, в которых участвует животный мир («Журавль и цапля», «Лиса и журавль» и др.). Их объединяют сатирическая направленность, народная мудрость, понимание нравственного долга человека перед обществом, суждения о добре и зле. И при этом полное отсутствие сентиментальности, неизменная динамичность сюжета; фантастическое здесь сочетается с реализмом бытовых деталей и характеров. Отмечаешь острый диалог как основу повествования, предельный лаконизм, отточенность мысли и выражений (а иногда и стремление говорить в рифму: «Жил был Нестёрка. У него была детей шестерка. Воровать боялся, милостыню просить стыдился...»).

Из уст в уста, из поколения в поколение передается сказка, и каждый рассказчик уснащает ее словами и выражениями своего времени. И вот уже Петр Первый, гуляя, якобы видит: «Из промага идет солдат выпимши...». Пытаясь придать рассказу большую достоверность, рассказчик упоминает и себя как свидетеля («На тех лошадях Богатырь домой приехал. Мы еще выпивали с ним!»). Как бы в скобках дает собственный комментарий: «Он серебряный рубль дал» — и от себя: «А может, и больше дал бы, да с собой не было».

Бедная, почти нищая жизнь старой деревни... Но природное своеобразие, оптимизм, лежащий в основе характеров, ум и здравомыслие положительных героев сатирических сказок, что собраны Дм. Молдавским, говорят о моральном здоровье, истинно присущем русскому народу.

К заслугам составителя следует отнести и серьезное в познавательном отношении предисловие к сборнику, развернутый комментарий и выполненные им самим штриховые рисунки, иллюстрирующие сказки.

Ксения Бродер.

★

А. КРЕЙН. Жизнь музея. Художник В. Кошмин. М. «Советская Россия». 1979. 254 стр.

Эту книгу не читаешь и не рассматриваешь — в нее входяшь, как в дом. Любопытное это чувство, особенно для москвича, достаточно хорошо, казалось бы, знакомого снаружи и изнутри особняк на углу Кропоткинской и Хрущевского переулка, вот уже скоро двадцать лет как ставший Государственным музеем Пушкина и одним из самых притягательных мест в Москве. Книга А. Крейна «Жизнь музея» (десять лет назад автор выпустил в том же издательстве книгу «Рождение музея») заново открывает московский Дом Пушкина, его труды и дни; мы входим в этот необыкновенный дом как бы вооруженные новым зрением.

Раскрывая книгу и погружаясь в процесс нового узнавания, я не мог не вспомнить, как давным-давно — скоро уж будет семнадцать лет — впервые переступил порог дома на Кропоткинской.

В тот день публики не было. По торжественно-пустым залам меня водил самодично основатель и директор музея Александр Крейн. Он сам нашел меня, позвонил («Я прочел в «Вопросах литературы» вашу статью...»), вытаскил меня в музей и повел по залам. То была полноценная экскурсия для одного человека, начинающего пушкиниста, и ее проводил, не жалея времени, руководитель музея, и без меня обремененный работами выше головы. С тех пор этот дом стал и моим домом.

Мой случай не единственный: здесь так работали — и работают — с каждым человеком, который может быть причастен общему делу. Таков уж метод, составляющий душу этого необыкновенного учреждения с оригинальнейшим, неповторимым лицом и уникальной человеческой атмосферой — учреждения, возникшего в полном смысле слова на пустом месте, из ничего. Ведь к моменту официального решения о создании в Москве Музея Пушкина не существовало ни одного экспоната: все пушкинское по незлыблемой традиции сосредоточено в Ленинграде в Центральном музее. Теперь же, спустя два десятка лет... Но я не собираюсь пересказывать книгу, в которой как раз и показывается, каков московский музей спустя два десятка лет с его громадной Пушкинианой, включающей бесценные мемориальные, книжные, изобразительные, фонографические сокровища, с его гигантским собранием бескорыстных даров от сотен людей, для которых имя Пушкина, а стало быть, и Музей Пушкина — святыня, с его богатейшим опытом музейного искусства, «музейной режиссуры», с его напряженнейшей просветительской, научной и художественной

деятельностью. Материал расширяет книгу, как соки дерево, и она прорастает из самой себя новыми темами, размышлениями, замыслами, мечтами о будущем. К дому на Кропоткинской Крейн относится как к существу («Мы его любим и проклинаем... чем дитя труднее, тем оно дороже»). У книги, как и у музея, есть человеческое лицо. Она разговаривает, призывает, жалуется, просит, работает, любит. И это при том, что автор как будто совсем не озабочен какими-то особо художественными средствами создания живого образа. Больше того: он прямо называет книгу сводным отчетом, книгой-планом; соответственно, и слог может казаться суховатым, а то и протокольным. Но это только внешность: рассказ пронизан энергией целеустремленной живой речи, заботящейся не о «завитках», а о сути. «„Жизнь музея“, как и „Рождение музея“, — пишет автор в предисловии, — книги рабочие, они не только повествуют, но и приглашают к сотворчеству. Обе книги — частицы деятельности музея...». «Сухое», деловитое, нагое слово в «Жизни музея» оказывается предельно функциональным, действенным, а нередко и вдохновенным именно в своей энергичной простоте, потому что книга эта не словесность, а деятельность. И притом — Крейн не раз дает это понять — деятельность не только автора, но всего музейного коллектива, всех товарищей по работе. Здесь, в этой коллективности, ключ к тому, что в этой книге лично для меня наиболее удивительно, — к ее жанру. Не углубляясь в теоретизирование, обращу внимание на одну только особенность. Используя и в самом деле материалы планов и годовых отчетов, автор нисколько не боится громоздить целые страницы перечней: экспонатов, даров, книг, докладов, вечеров, концертов и других мероприятий; имен сотрудников музея и его друзей — ученых, артистов, писателей, искусствоведов, художников; без всякого стеснения приводит полностью длинные тексты научных паспортов экспонатов, пространные отрывки из каталогов, изданных музеем; вдаётся в такие тонкости дела, которые могут кому-нибудь показаться и излишними в книге, изданной тиражом 50 тысяч... Поразительно, но все это не просто читается — читается с самым непрофессиональным увлечением! — во всем этом есть нечто неотразимо значительное и стихийно-поэтическое.

И за всем этим любовь к Пушкину, к русской культуре, к тем, кому необходим Пушкин. Любовь к большому, всенародному по своему смыслу делу. Эта любовь побеждает и превращает в поэзию (по крайней мере для нас) любую трезвую и суровую прозу, о тяжести которой А. Крейн с мужественной скупостью говорит: «Самыми трудными для автора были и остаются дела организационно-хозяйственные. Менее всего отвечая личным склонностям (разрядка моя.—В.Н.), они отнимают большую часть сил. Так уж в жизни получилось...».

Это сдержанное личное признание — одно из немногих в книге. А может быть, и единственное.

В. Непомнящий.



А. С. ПУШКИН. Эпиграммы. Художник Н. В. Кузьмин. М. «Художественная литература». 1979. 167 стр.

Взаимоотношения слова и изображения, литературного текста и иллюстрации, случалось, складывались достаточно драматично. «Я терпеть не могу иллюстраций, — писал в свое время Флобер, — особенно когда дело касается моих произведений». Не менее определенно высказывался об иллюстрациях и Гоголь: «Товар должен продаваться лицом, и нечего его подслащивать этим кондитерством».

В начале 20-х годов осознание этого конфликта привело Ю. Тынянова к утверждению принципиальной невозможности иллюстрирования вообще. Именно потому, что существует изначальное отличие языков писателя и иллюстратора, что «конкретность произведения словесного искусства не соответствует его конкретности в плане живописи» (Ю. Тынянов), художникам приходится искать новые пути примирения двух начал: слова и изображения.

Замечательный художник-иллюстратор Николай Васильевич Кузьмин лучше чем кто бы то ни было знает обо всех этих трудностях. «...иногда, — пишет он в своей книге «Штрих и слово», — рисунок может стать барьером между читателем и авторским замыслом». Но как раз ясное понимание принципиальных сложностей иллюстрирования и помогло художнику столь блистательно их преодолеть. «Только при наличии особого «избирательного сродства» между писателем и иллюстратором, — писал Н. Кузьмин, — случается чудо слияния зрительного и литературного образа». В творчестве самого художника это случается буквально в каждой его книге.

Убедительное опровержение знаменитого утверждения Тынянова особенно очевидно в иллюстрации к тыняновскому же «Малолетнему Витушишникову». Секрет заключается в том, что Н. Кузьмин соединяет в себе обе конфликтующие стихии, визуальную и вербальную: ведь он не только художник, но и превосходный писатель, чье творчество, как заметил когда-то Е. Дорош, лежит в русле пушкинской традиции.

В творчестве Н. Кузьмина Пушкин занимает особое место. У Пушкина он учился не только писать, но и в некотором смысле рисовать. Его всемирно известные иллюстрации к «Евгению Онегину» сделаны не столько «в манере Пушкина» (как часто говорят), сколько «в темпе пушкинских рисунков» (как говорит сам Н. Кузьмин).

И вот перед нами новая работа художника — пушкинские эпиграммы. Ее листаешь с особенным чувством, эту книгу даже трудно назвать новой, все в ней кажется давно знакомым — и тексты пушкинских эпиграмм и мгновенно узнаваемый творческий почерк иллюстратора.

Книга начинается большой иллюстрацией к стихам:

...О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных...

Мы видим знакомый по штриховым автопортретам пушкинский профиль, окруженный толпой этих лиц и лбов. Рисунок можно было бы назвать излишне повество-

вательным, но все дело в том, что он выполнен в той самой легкой, словно небрежной манере, какая свойственна рисункам Пушкина на полях («Перо, забывшись, не рисует близ недожженных стихов ни женских ножек, ни голов»).

Обманчивая легкость возникновения этих рисунков заставляет нас вспомнить об обманчивой легкости рождения пушкинских стихов, погружает в атмосферу живого сиюминутного творчества. Поэтому особенно удачны в книге именно, если так можно сказать, маргинальные рисунки — заставки, виньетки, беглые штриховые наброски. Они в отличие от больших иллюстраций лишены цвета, пространства и, представляется, отвечают вкусу самого Пушкина, который, как известно, предпочитал тяжеловесной наглядности гравюры к «Евгению Онегину» декоративные виньетки «без смысла».

Иллюстрации Н. В. Кузьмина читатель любит за то, что их нельзя спутать ни с чем на свете. Мы безошибочно угадываем руку Н. Кузьмина примерно так же, как сам он в детстве угадывал своего любимого Густава Доре, «даже не глядя на его подпись». Слова художника о Доре мы смело можем отнести к его собственному творчеству: «Это более чем иллюстрирование, это — соавторство».

Г. Павлова.



С. В. МЕЛИХОВ. Количественные методы в американской политологии. М. «Наука». 1979. 203 стр.

Рецензируемая работа посвящена марксистско-ленинскому анализу мало изученного у нас достаточно представительного направления в буржуазном обществоведении. Речь идет об обозначившемся сейчас широко применении в капиталистических странах, особенно в США, математических методов в социально-политических исследованиях.

Советские обществоведы считают использование количественных методов мощным орудием познания социальных явлений, одним из приемов изучения объективных социально-экономических процессов, базирующимся на неразрывном диалектическом единстве качественной и количественной стороны этих процессов, на фундаменте марксистско-ленинской теории общественного развития.

В капиталистических странах, как показывает рецензируемая монография, применение математических методов во многих случаях абсолютизируется, выдается за универсальное средство, подменяющее теорию и законы общественного развития. Поэтому изучение и критический анализ усилий буржуазных обществоведов («количественного» направления тесно связаны с постановкой и анализом принципиальных проблем методологии познания социальных явлений и представляет значительный интерес. Монография С. Мелихова подытоживает одно из немногих исследований, затрагивающих эту важную тему. Ее значимость обуславливается также тем, что автор рассматривает применение ряда новых статистических методов в американских ис-

следованиях по такой важной и актуальной тематике, как изучение внутренней политики и международных отношений государств.

Автор детально и квалифицированно рисует картину работ буржуазных политологов, пользующихся математическими методами, формулирует критерии оценки результатов их исследований. При этом он обращает внимание читателя на неформальные общественно-политические теории и концепции, идеологические и мировоззренческие установки, лежащие в основе формально-логического анализа и качественной интерпретации полученных с его помощью количественных результатов. Такой подход позволяет автору выделить неверные теоретические и методологические предпосылки, а также указать на обусловленные ими неверные выводы буржуазных политологов «математического» направления. «Ошибочность подобных выводов, — пишет С. Мелихов, — оказывается прежде всего следствием того, что американские исследователи, используя количественные методы, опираются на ложные «неколичественные» социально-политические теории и концепции традиционной буржуазной политологии». В книге справедливо и аргументированно критикуются попытки американских обществоведов представить количественные методы в качестве универсального средства изучения политики, якобы дающего строго обоснованные и объективные выводы.

Подобные попытки американских политологов порождаются, по мнению автора, их неопозитивистской методологической ориентацией. Последняя приводит к абсолютизации значения количественных методов, пренебрежению глубокой спецификой сложнейшей сферы политической действительности, компрометации плодотворной идеи применения математики в общественном знании, наукообразной маскировке классовых целей американской политической теории и практики, что безусловно отвечает интересам правящей элиты США.

Помимо критического осмысления американского опыта рецензируемая работа содержит интересные мысли о действительной положительной роли и возможностях статистических методов в изучении международных отношений и внешней политики государств. При этом автор делает обоснованный вывод о полезности того или иного количественного приема как дополняющего содержательный, качественный анализ. Он подчеркивает ту вспомогательную роль, которая отводится любому логико-математическому методу в изучении международных отношений. Ведь как выбор темы исследования, так и определение исходной информации, качественных интерпретаций, количественных результатов находятся за рамками формальных приемов. Ведущая роль здесь принадлежит качественным методам анализа международной политики, основанным на подлинном научном фундаменте марксистско-ленинской теории общественного развития.

Рецензируемая работа не охватывает весь комплекс проблем, изучаемых в американской политологии с помощью математики. В ней, например, нет специального разбо-

ра количественных методов, ориентированных на прогнозирование международно-политических ситуаций, не рассматривается методический инструментарий изучения актуальных сейчас проблем принятия политических решений в буржуазном государстве. Вместе с тем она дает достаточно полное представление о состоянии и перспективах «количественного» направления в американской политологии и будет интересна не только для обществоведов, но и для их коллег-естественников, работающих в социальных науках.

А. Румянцев,
академик.

★

К. МОИСЕЕВА. Люди ищут забытое царство. Рассказы об археологических открытиях. М. «Детская литература». 1979. 142 стр.

В полумрак египетских залов Музея имени Пушкина входишь с неизменным чувством трепетного волнения, приготавливая себя к встрече с миром таинственным, прекрасным, загадочным.

Можно войти с таким душевным настроением, а можно...

Шумная толпа подростков, топя и громко обмениваясь репликами, стремительно мчится по залам — греческим, египетским, итальянским, мимо, мимо, мимо, не задерживаясь, не останавливаясь, не восхищаясь, не удивляясь, не задумываясь. Мимо поразительных творений художников немислимо далеких времен, мимо надгробий, стел, сфинксов, фресок, скульптур, мимо тысячелетий, мимо царств новых, средних, древних... И разве только могучий Давид на минуту приостановит этот марафон, чтоб тут же пожалеть об этом: смущенно фыркнув, отвернутся от него девчонки («Надо же — голый!»), снисходительно оглядят победителя Голафа мальчишки, гадая, на кого из штангистов или самбистов смахивает великан.

Воспроизвести эту сцену с натуры — в ней, увы, нет преувеличений — заставило чувство горькой обиды и досады за этих мальчишек и девчонок, которых кто-то привел на запланированную экскурсию, не позаботившись подготовить их к встрече с прекрасным, не разбудив в них интереса к великому прошлому человека.

Нужно ли доказывать, что эстетическая глухота — не от природы данная беда, а просчеты воспитания и среди множества причин одна из важнейших — малое, крайне малое число книг, раскрывающих перед детьми трудную, героическую, увлекательную историю поисков человеком забытых царств. Интерес же к такой литературе огромный. Книги детской писательницы К. Моисеевой, одной из немногих посвятившей свое творчество истории культуры, быта, архитектуры далекого прошлого, мгновенно исчезающие с книжных прилавков, пользуются, по свидетельству библиотек, большим спросом у подростков. Вот эти-то юные читатели — можно с уверенностью

сказать — не останутся равнодушными к истории веков минувших, и, конечно же, залы Пушкинского музея с особой щедростью раскроют перед ними свои неисчислимые богатства.

Достаточно привести названия некоторых книг К. Моисеевой, чтобы представить широту охвата описываемых ею исторических событий: «Дочь Эхнатона», «Караван идет в Пальмиру», «В Помпеях был праздник», «Тайна горы Муг», «В Древнем царстве Урарту»... Следуя за автором, читатель совершает удивительно интересное путешествие — временное и географическое — из XIV века до нашей эры в III век нашей эры, из далеких Помпей в Кушанскую империю или Согдийское царство. Но в какие бы дальние дали ни уходил юный читатель, увлеченный причудливым, порой сказочным развитием событий, повесть неизменно возвращает его к окружающей жизни, вызывая раздумья о нетленной силе добра, человечности, трудолюбия, одерживающих победу над злом, своекорыстием, алчностью.

Обращаясь к последней по времени книге К. Моисеевой «Люди ищут забытое царство», стоящей по жанру как бы наособицу от предыдущих (это очерки, публицистика, как и все, что пишет автор, обращенные к подросткам), убеждаешься в прямой кровной связи ее со всем, что вышло из-под пера писательницы.

Материалы, на сбор и изучение которых ушли десятилетия творческой жизни, на основе которых рождались сказочно увлекательные сюжеты повестей, К. Моисеева изложила в своей новой книге в форме живых емких очерков, не избегая открытых публицистических раздумий над тем, ради чего она рассказывает читателю об археологах, востоковедах, художниках, архитекторах, этнографам, историках-реставраторах, посвятивших себя поискам забытых царств. Почему людям нужно знать, как была открыта древняя Троя, воспетая Гомером, как погиб город Гейшебаини в древнем царстве Урарту, какой бесценный вклад в мировую культуру дали раскопки Пенджикента в Таджикистане?

«Находки и открытия ученых позволили нам, — пишет К. Моисеева, — увидеть жизнь людей, которые, так же как и мы, трудились, искали, творили, сражались. Мы поняли их мысли, их чувства, их идеалы. Мы увидели их во время молитв и жертвоприношений, в труде и на отдыхе. Мы увидели их в последней битве, когда они не пожалели своих жизней для защиты своей родной земли. Они любили свою отчизну и своих детей так же, как и мы...».

Книга «Люди ищут забытое царство» поистине помогает детям Увидеть, Понять, Полюбить. И не только потому, что интересен сам материал археологических поисков и находок. Увлеченность автора, одержимость историей позволяют ей заразить своей одержимостью юных читателей, заронить в их души добрые семена любви и неизбежного интереса к истории культуры человечества, к прошлому своего народа, своей земли.

В. Елисеева.

★

ФАРЛИ МОУЭТ. Кит на заклятие. Перевод с английского В. Паперно. Л. Гидрометеиздат. 1979. 166 стр.

Этого писателя у нас знают. Когда Якутск праздновал свой сорок девятый Октябрь, на демонстрацию пошел и Фарли Моуэт в лучшей своей клетчатой шотландской юбке. А было не жарко. Но... знак уважения к народу, обретенному на своей земле новую жизнь.

Меньшие братья наши, занесенные в Красную книгу, взятые под охрану человеком от... человека. А не себя ли, охраняя, охраняет человек? Собственную свою человечность, потому что «животные — не меньшие братья наши... Они — иные народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть времени; такие же, как и мы, пленники земного великолепия и земных страданий». Так сказал Генри Бестон, предважив этими словами печальную историю кита, умученного населением канадского городка Бюржо, именующим себя тоже людьми. Просто так. За здорово живешь. Посвиста и улюлюканья ради. Да вы только посмотрите: маленький мальчик сидит себе верхом на мертвом ките и буравит спину теперь уже вовсе беззащитного животного перочинным ножом!

Они вбивали в него ножи и дреколя, а раны гноились. Они всаживали без промаха в живую мишень пулю за пулей, а зараженная кровь вскипала. И полуторалитровые инъекции антибиотика трижды в день из метровой иглы не могли уже ничем помочь этой прекрасной и большой жизни, изведенной трусливо и мелко. Ведь на самом-то деле в западне оказался не кит, а его мучители, убивающие не кита, а все естественное в себе самих. Если так пойдут дела и дальше, можно будет очень скоро увидеть «страшное одиночество Человека, ставшего чужим на своей собственной планете и обреченного нести это бремя до самого смертного часа».

Но помилуйте! Неужели в таком маленьком Бюржо такие большие злодеи? Именно в это самое Бюржо приехал Моуэт со своей женой Клэр за покоем и здоровьем для жизни. Вот что записала Клэр в свой дневник: «Как хорошо снова вернуться к людям, живущим простой и здоровой жизнью... Хочется думать, что их никогда не затронут эгоизм и жестокость, завладевшие уже почти всем цивилизованным миром и поглотившие его, точно туман...». Но и в эти северные патриархальные сердца проник «вирус злобы». И писатель Фарли Моуэт это увидел и изучил. Об этом и рассказал. Правдиво. Скупо. Талантливо.

Но что там, за словами о несчастном ките? За ними, конечно же, невысказанные еще, а только складывающиеся в сознании читателя слова-мысли о человеке и человечности, о культуре во всех ее измерениях. Она тоже просит, как тот бедный кит, чтобы и ее отграничили от варварства и отстояли, отбили от всех и всяческих посягательств.

Моби Джо из Бюржо пропал. Пал от пули и ножей под «у-лю-лю» с хрипотцой, оплаканный орланом-блэккальщиком, птицей печали и скорби, взмывшей с белых траурных страниц все той же Красной книги,

куда занесены и синие киты, и киты уса-тые, и грациозные — да-да, именно грациозные! — восьмидесятитонные финвалы (по словам Клэр: «Они же не плывут, они танцуют!»). Наш бедняжка был китихой, которую спасал — близостью своей спасал — ее друг кит, невдалеке от злосчастной бухты проживший все эти длинные развеселые дни.

Так вот. Спасти кита — спасти культуру. Хотя бы в ее потребительски-рассудочном сосуществовании с братьями-животными («иными народами»). Потому что все звенья жизни важны. Потому что эти звенья — вот они: кит — зоопланктон — фитопланктон — три четверти атмосферного кислорода. И только потом китовый ус, китовый жир, китовое мясо. 76 видов млекопитающих как не было. 13 под угрозой. Но есть и надежда, как будто обеспеченная международными санкциями во спасение (серый кит: в 1934 году — несколько сотен, в 1969-м — 11 тысяч...).

Спасти культуру в ее человеческом свойстве, как уважение к чужой — не своей — жизни (а значит, и к своей собственной). Послушайте песенку, какую певал шотландский дедушка своему маленькому внуку Фарли из рода Моуэтов:

Глубоко на дне морском
Жил-был кит с большим хвостом.

А вот какой песенкой выпроваживаю от Ньюфаундленда китовского заступника Моуэта-писателя молодые китоубойцы (-человекоубийцы-самоубийцы):

Моби Джо в дороге дальней,
Не задержится и Фарли...

Частная экологическая проблема, понятая как проблема культуры во всей ее глобальности, погружается в потемки мифа (кит-земледержец), выходит в библейские просветы (Кит и Иона) и вновь подымается на поверхность истории культурного человечества, мучительно трудно обретающего себя. Потому что — будем так думать — не иссякнет радужно переливающийся цвет-фонтан, вздыбленный из фосфорических пучин первоводы китом-жизнепращуром. Так думает автор, во имя приведения к единому всех культурных ипостасей человека XX века рассказавший нам эту педагогическую предостерегающую историю о последних днях кита Моби Джо — историю о нас самих. Автор так думает. А читатель верит автору.

Вадим Рабинович.



П. П. ЧЕРКАСОВ. Агония империи. М. «Наука». 1979. 279 стр.

Это рассказ о крахе «Секретной вооруженной организации» (ОАС), террористической военно-фашистской банды, еще недавно наводившей ужас на мирное население Франции.

Первая часть истории ОАС развевается в 50-х годах в Алжире, когда взбешенные распадом французской колониальной империи реакционные генералы на месте пытаются заставить правительство в Париже отказаться от предоставления Алжиру политической независимости. Не добившись этого ни от министров Четвертой рес-

публики, ни позднее от де Голля, колониалистская военщина, потерпевшая перед тем позорное поражение в Индокитае, затевает мятеж, а затем переходит к разнузданному кровавому террору. За ее спиной стоит местная французская буржуазия — промышленники, землевладельцы и банкиры, более ста лет грабившие страну.

Читая серьезное научное исследование П. Черкасова, то и дело кажется, что вы смотрите бульварный авантюрный фильм в чисто американском вкусе. Бунты, бои, нападения из-за угла, убийства. Драматизм этого жанра ни на день не ослабевает. На сцене фигуры не только известных военачальников, но и самых настоящих подонков — наемников Иностранного легиона, готовых на все парашютистов, дезертиров, содержателей не то кабаков, не то публичных домов. Вот один из эпизодов в «работе» ОАС, о которых рассказывается в книге.

...25 апреля 1961 года мятежные генералы и полковники призывают французских жителей Алжира на улицы. Многие выходят вооруженными. Слышатся крики: «Де Голля на виселицу!» Но уже полчаса спустя путь проваливается.

На следующий день в центре алжирской столицы раздается мощный взрыв, еще день спустя — другой. На стенах домов появляются листовки, в которых говорится: «Мы вынуждены уйти в подполье... Мы должны создать психоз страха у всех голлистских сеидов в Алжире... Там, где мы сможем их уничтожить, мы это сделаем без жалости».

Заговор продолжается. От руки оасовцев гибнет более тысячи человек. Во Франции против одного де Голля делается около 30 попыток покушения. Тактика создания «психоза страха» так ни к чему и не приводит. В 1962 году ОАС разваливается.

Книга П. Черкасова, снабженная богатым материалом, написана интересно и живо. Кое-что в ней дает представление о методике современного военного фашизма вообще (по крайней мере в Европе) — о его силе и его слабости, его авантюристической натуре, его стратегии блещуща и его моральном гниении. В том же, что заговор тогда потерпел неудачу, немалая заслуга демократических сил Франции, не растерявшихся в критические дни, не поддавшихся фашистским провокациям.

Французский народ, пишет автор, «окружил заговорщиков непреодолимой стеной отчуждения и ненависти. Как бы хорошо ни работала голлистская служба безопасности, не ей принадлежит историческая заслуга в разгроме путчистов и заговорщиков... Сражение выиграли миллионы простых французев, показавших на заводах, фабриках, в стенах университетов и на улицах французских городов свою солидарность и решимость отстоять завоеванные демократические свободы».

Это верно. Французы доказали то, что потом было доказано в Испании, Португалии и Греции: что ни о какой непобедимости фашистов в эполетах или без них в наши дни не может быть и речи. «Армия», — сказал на судебном процессе оасовских генералов бывший главнокомандующий французскими войсками в Алжире Ф. Гамбьез, — вышла разбитой из этого дела... Она потеряла доверие гражданской

власти, а быть может, и доверие всей нации». Обвиняемый на том же процессе генерал М. Шалль заявил: «Вторая причина нашего поражения — и это была большая неожиданность для меня — состояла в том, что в войсках, оказывается, были развитые и организованные коммунистические ячейки; казалось, что они были всюду...»

Можно ли полагать, что судьба французского фашизма завершилась с провалом ОАС в 50—60-х годах? Рецензент считает: конечно, нет. Скрытые фашистские силы в этой стране не исчезли, наследники ОАС выжидают свое время.

Речь теперь идет уже не о колониализме. С Индокитаем и Северной Африкой дело покончено, но правая военщина во Франции остается за кулисами. Она ненавидит французский рабочий класс, левую интеллигенцию и боится их. Отнюдь не исключено, что она может решиться пойти на попытку государственного переворота, например, в одной из двух ситуаций: в случае резкого обострения империалистами международного положения или в случае прихода к власти в Париже правительства объединенных левых сил.

Генералы на белом коне все еще не велись в этой прекрасной и много пережившей стране. Но народ Франции тоже не забывает своего революционного прошлого.

Эрист Генри.



Н. И. ПРУЦКОВ. Русская литература XIX века и революционная Россия. М. «Просвещение». 1979. 266 стр.

Книга Н. Пруцкова привлекает широтой, выверенностью подхода к предмету исследования. Развитие литературы рассматривается им в неразрывной связи с изменением народного сознания, а литература воспринимается как живой голос пореформенной эпохи, эпохи «подготовки революции». Исследователь отделяет все здоровое, складывавшееся веками от временного и мало значащего и в самой действительности и в духовном облике писателей. Ему равно чужда и внеисторическая идеализация и безоглядное отрицание уходящего мира: «Распадающийся и уходящий патриархальный мир был в нравственном отношении выше складывающегося и торжествующего буржуазного мира».

Продолжая не утихающий десятилетиями спор о толстовстве, Н. Пруцков видит в нем не только религиозную основу, но и зерно «здорового, живого демократизма». Опираясь на ленинскую концепцию «русского девятнадцатого века», на ленинскую оценку творчества Толстого, автор выясняет суть, политический смысл того реакционного, что проявилось в отношении иных писателей к революции, к социализму. Н. Пруцков стремится объяснить роль художников прошлого в сегодняшнем мире, выдвигая на первый план их отношение к социализму и рассматривая, следовательно, непрекращающиеся политические, философские диалоги писателей XIX века с их потомками, реализующими заветные мечты человечества.

Отражение в литературе глубинных процессов жизни — лишь одна сторона проб-

лемы «русская литература XIX века и революция»; не менее важно для исследователя другое — «как рассматриваемая эпоха направляла литературно-общественное движение» и какова была «роль литературы в истории освободительного движения и идейных исканий передовых поколений». Размышляя об историческом подвиге «разночинцев героических поколений», автор приводит множество фактов, свидетельствующих о том, насколько органична была для России той поры деятельность революционера-демократа, сам облик участников движения, его руководителей, таких, как Чернышевский и Лавров.

Н. Пруцков, обращая к широкому литературному материалу, выявляет основные типологические черты отдельных направлений в беллетристике о «новых людях». Но порой автор настолько увлекается политическим, этическим значением помыслов, поступков «новых людей», что забывает задать вопрос: а как, на каком художественном уровне это воплощено? Литературное произведение становится только иллюстрацией исторического процесса.

В финале книги, правда, автор возвращает нас к высокому идеалу гармонии, революционной этики и эстетики. Идея этой гармонии удачно развита им при анализе очерка Г. Успенского «Выпрямил».

Книга Н. Пруцкова заинтересовывает как своим материалом, так и подходом к явлениям литературы, взятым в широком контексте русского революционного движения.

А. Княжицкий.



А. Л. ЯСТРЕБИЦКАЯ. Западная Европа XI—XIII веков. Эпоха, быт, костюм. М. «Искусство». 176 стр.

Название этой книги на первый взгляд несколько озадачивает. В самом деле, измеримы ли эпоха и костюм, структура общества и быт? Однако, читая книгу, обнаруживаешь, что заголовок очень точно отражает ее содержание, ибо цель А. Ястребицкой — увидеть в конкретных особенностях одежды, быта (как и во многих других приметах повседневной жизни) проявление основных черт эпохи. Замысел автора в том и состоит, чтобы выявить (и объяснить) внутреннюю взаимосвязь таких, казалось бы, не связанных между собой фактов и явлений, как, скажем, форма стола в феодальной замке и структура рыцарской дружины, модные цвета одежды и христианская символика, интерьер церковных соборов и представления о мироздании. Анализ подобных взаимосвязей есть не что иное, как анализ культурной целостности эпохи. Рецензируемая работа поэтому оказывается одной из немногих пока работ о культуре как всеобъемлющей совокупности представлений о мире, самом себе, окружающем обществе, правилах поведения и тех отражений, которые эти представления находят в религиозных, этических, философских учениях, в произведениях литературы и искусства, в предметах быта, интерьере, вообще в материальной культуре.

Отдаленность рассматриваемого в книге

периода создает ряд трудностей в воспроизведении господствовавшей тогда культурной модели. Трудности эти не только в недостатке сохранившихся сведений. Они и в том, что мировоззрение средневековья отличалось исключительным своеобразием. Чтобы понять его, современный исследователь ни в коей мере не может опираться на собственный социальный опыт, на который подчас вправе положиться историк недавнего прошлого. В отличие от него историку-медиевисту приходится отрешиться от привычного восприятия мира: представления и образ мышления средневекового человека могут быть поняты только в специфическом контексте средневековой культуры. (Попробуйте, например, объяснить — вне этого контекста — несовместимые между собой, с точки зрения современного здравого смысла, сочетания идеи христианского равенства и идеи общественной иерархии, идеала безбрежной щедрости и идеала максимального могущества и богатства, представления о суежности всего земного и неизбежного страха смерти и т. п.) Перед А. Ястребицкой, таким образом, встала очень трудная, но тем более интересная задача адекватно воспроизвести совершенно чуждую современным представлениям модель мира.

С общей характеристики этой модели и начинается книга: как понимали пространство и время и почему не спешили жить и не страдали страстью к перемене мест; как представляли себе этот и тот свет и как воспринимали рождение и смерть; в чем видели смысл жизни и насколько отличалось его понимание у крестьянина и сеньора, рыцаря и горожанина, мирянина и клирика, мужчины и женщины. Исходя из различий в образе жизни и в представлениях всех этих людей, автор объясняет затем особенности их одежды, их жилищ, их пищи, их нравов и времяпрепровождения. В то же время книга позволяет узнать о ряде общих черт восприятия жизни людьми разных слоев и классов. Так, например, в соответствии с нравственным истолкованием общей структуры мироздания (совершенному «верхнему» миру небес противопоставлялся «грешный» земной мир) господствовала нравственная оценка и видов человеческой деятельности, каждый из которых признавался «достойным» лишь для какого-либо одного наследственного разряда (хотя нарушение сословной чести не прощалось никому: «честь дороже жизни»); в согласии с этим подходом складывалась и тенденция к этизации и символическому восприятию пространства (поле — место действия сил добра, лес — сил зла), чисел («бог троицу любит»), цветов (белое — олицетворение чистоты и справедливости, черное — «греховности» и неправедности); с общей установкой о предначертанности всего сущего потусторонними силами было связано представление о неизменности социального строя.

При очень широком круге проблем и тем, рассматриваемых в книге на материале всех западноевропейских стран, автору было трудно избежать ряда частных неточностей. Не останавливаясь на них, отмечу лишь один более существенный промах. Описывая такие явления средневековья, как

неравноправие женщины, непонимание детской психологии, жестокость методов врачевания, примитивность географических представлений и некоторые другие, автор не дает им должного истолкования в контексте средневековой культуры; подходя к ним с сегодняшними мерками, автор ограничивается их упрощенно-негативной оценкой. В результате связь подобных явлений со всей системой средневековых представлений ускользает от читателя. А это влечет то самое искусственное очернение средневековья, против которого справедливо выступает в своей содержательной книге А. Ястребицкая.

Ю. Бессмертный,
доктор исторических наук.

★

М. Т. ИОВЧУК, Л. Н. КОГАН. Советская социалистическая культура: исторический опыт и современные проблемы. М. Политиздат. 1979. 208 стр.

Характеризуя суть достижений и преимуществ социалистического строя перед эксплуататорским обществом, мы говорим, что социализм создал новый исторический тип человеческой цивилизации. Коренным образом перестроив отношения собственности, социализм переделал на присущих ему началах все формы взаимоотношений людей, открыл принципиально новые возможности деятельности людей в различных сферах общественной жизни. Ход, результаты, закономерности этого процесса, ставшего основой социалистических культурных преобразований, рассматриваются в книге М. Иовчука и Л. Когана.

Основываясь на анализе работ основоположников марксизма-ленинизма, авторы книги раскрывают место понятия «культура» в системе категорий исторического материализма, тесно связывая ее с такими понятиями, как «базис» и «надстройка», «труд», «субъект исторического действия», «человеческие сущностные силы» и другие. «Культура, — пишут авторы, — характеризует степень творчества, раскрытия способностей и дарований человека... во всех процессах общественной жизнедеятельности. Вместе с тем культура запечатлевает творческую деятельность предшествующих поколений, воплощая созданные ими материальные и духовные ценности как реализацию их социальной сущности».

Книга М. Иовчука и Л. Когана выгодно отличается от многих других теоретических работ по проблемам культуры тем, что авторы не сводят культуру лишь к духовной жизни. Наряду с исследованием истории духовной культуры СССР авторы на большом историческом материале прослеживают становление и развитие выработанных коллективным творчеством советского народа новых форм политической культуры, политических и общественных институтов социализма (партия, комсомол, профессиональные, творческие союзы и другие), итогом развития которых стала новая Консти-

туция СССР. Значительное внимание они уделяют развитию материально-производственной культуры социализма — новой трудовой морали и коммунистическому отношению к труду, наставничеству, массовому движению рационализаторов и изобретателей, а также культуре быта и досуга.

Такая широкая постановка вопросов культуры ныне приобретает особую актуальность. Поставленные партией задачи резкого подъема эффективности и качества производства, дальнейшего развития инициативы масс и социалистической демократии требуют освоения новейших приемов труда, форм организации производства и ведения общественных дел, иными словами — значительного подъема культуры во всех сферах. Именно так рассматривались эти проблемы в выступлении Л. И. Брежнев на июльском (1978) пленуме ЦК КПСС, где говорилось о соединении сельскохозяйственного производства с культурой, понимаемой «в самом широком смысле слова как культура труда, быта, человеческих отношений».

Работа М. Иовчука и Л. Когана нацеливает на комплексное рассмотрение вопросов культуры. В ней вскрываются и недостатки, нерешенные проблемы, главная из которых — преодоление разрыва между высоким уровнем культуры общества в целом и относительно низкой культурой и потребностями отдельных слоев населения.

Революционная сущность социалистических культурных преобразований, впервые в истории осуществленных в Советском Союзе, состоит в том, что культура становится достоянием и делом всего народа, средством всестороннего развития огромного большинства людей. В активную культурную деятельность включают те слои и классы, которые при капитализме были совершенно отстранены от культурной жизни. Например, отмечает М. Иовчук и Л. Коган, на Урале выходцы из рабочей среды ныне составляют 22 процента писателей, 42 процента художников, 26 процентов кинематографистов.

Еще в первые годы существования нашего государства, когда народы нашей страны только приступали к строительству новой, социалистической культуры, один из видных деятелей большевистской партии, А. Мясникян, говорил: «Коммунизм — это целая культура. Коммунист — это самый культурный и одухотворенный всем возвышенным и лучшим человек современной жизни... Культура и дух коммунизма — настоящая, доподлинная, максимальная возможность для современного индивидуума возвышаться и доходить до крайних пределов его умственного и духовного развития». В книге М. Иовчука и Л. Когана, освещающей славный исторический путь советской социалистической культуры, ее выдающиеся достижения и вклад в сокровищницу культурного развития человечества, эти слова еще раз получают убедительное доказательство.

А. Андреев,
кандидат философских наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Очередные задачи Советской власти. 144 стр. Цена 20 к.

В. И. Ленин. Сборник произведений Изд. 5-е. 447 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов. 223 стр. Цена 35 к.

В. И. Ленин. О культуре. Сборник. 336 стр. Цена 85 к.

В. И. Ленин. Вопросы строительства социализма и коммунизма. Сборник. 384 стр. Цена 80 к.

О. Владимиров, В. Рязанцев. Страницы политической биографии Мао Цзэдуна. 127 стр. Цена 25 к.

А. Савчун. Прямой дождь. Повесть о Григории Петровском. Перевод с украинского. 366 стр. Цена 1 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ю. Антропов. Присядем на дорогу. Повести и рассказы. 463 стр. Цена 1 р. 80 к.

Э. Ветемаа. Маленькие романы. Перевод с эстонского. 359 стр. Цена 1 р. 20 к.

Э. Игнатевичюс. Тишина прокосов. Рассказы. Перевод с литовского. 215 стр. Цена 65 к.

И. Кашенева. Незнакомое время. Стихи. 120 стр. Цена 30 к.

В. Панова. О моей жизни, книгах и читателях. 272 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ф. Пудалов. Лопман Кембрийского моря. Роман. 511 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. Торопыгин. Берега. Новые стихи и поэмы. 142 стр. Цена 45 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Д. Коуп. Прекрасный дом.— Золотая иволга. Романы современного южноафриканского писателя. Перевод с английского. 668 стр. Цена 4 р. 20 к.

С. Нерис. Ветер новых дней. Стихотворения. Перевод с литовского. 334 стр. Цена 95 к.

Э. По. Рассказы. Перевод с английского. («Классики и современники») 430 стр. Цена 2 р. 30 к.

М. Стельмах. Гуси — лебеди летят... Шедрий вечер. Повести. Перевод с украинского. («Классики и современники») 446 стр. Цена 95 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ф. Видрашку. Тудор Аргези. («Жизнь замечательных людей») 304 стр. Цена 1 р. 40 к.

В. Захаров. Пламя белое берез Стихи. 95 стр. Цена 20 к.

С. Караславов. Имя твоё прекрасное. Рассказы и повести. Перевод с болгарского. 271 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Маркуша. Щит героя. 224 стр. Цена 60 к.

М. Унамуно. Избранная лирика. Перевод с испанского. 62 стр. Цена 15 к.

А. Фидлер. Белый Ягуар — вождь арава-

ков. Повести. Перевод с польского. 496 стр. Цена 3 р.

«СОВРЕМЕННОК»

Ф. Абрамос. Братья и сестры. Роман. В 4-х книгах. Книги 1—2. («Библиотека российского романа») 558 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Анчишин. Встречный бой. Повесть. («Новинки «Современника») 237 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Верещагин. Приключение. Две повести. («Новинки «Современника») 176 стр. Цена 85 к.

В. Маканин. В большом городе. Повести. («Новинки «Современника») 335 стр. Цена 1 р. 40 к.

К. Меджидов. Сердце, оставленное в горах. Роман. Перевод с лезгинского. 444 стр. Цена 1 р. 80 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Астафьев. Древнее, вечное. Рассказы. («Писатель и время») 64 стр. Цена 10 к.

В. Корнилов. Семигорье. Роман 432 стр. Цена 1 р. 80 к.

Г. Марнов. Моя военная пора. Повесть о минувшем. («Писатель и время») 77 стр. Цена 10 к.

Т. Очирова. Николай Дамдинов. Литературный портрет. 112 стр. Цена 25 к.

«ПРОГРЕСС»

З. Быстрицкая. Контузия. Роман. Перевод с польского. 286 стр. Цена 1 р. 60 к.

П. Вежинов. Барьер. Повесть. Перевод с болгарского. 150 стр. Цена 65 к.

Ж. Киуртис. Парадный этаж. Повести. Перевод с французского. 197 стр. Цена 1 р. 10 к.

Повести и рассказы вьетнамских писателей. 60—70 гг. Переводы с вьетнамского. 408 стр. Цена 2 р. 90 к.

К. Села. Семья Паскуаля Дуарте.— Улей. Романы.— Повести и рассказы. («Мастера современной прозы». Испания) 429 стр. Цена 2 р. 80 к.

Современная иранская новелла. 60—70 гг. Перевод с персидского. 380 стр. Цена 2 р. 30 к.

Современная шведская поэзия. Стихотворения. Перевод со шведского. 306 стр. Цена 1 р. 90 к.

«НАУКА»

М. Баркин. Архитектура и человек. Проблемы градостроительства будущего. 239 стр. Цена 2 р. 70 к.

В. Компанец. Художественный психологизм в советской литературе. 1920-е гг. 112 стр. Цена 50 к.

Ф. Наркьерьер. Французский роман наших дней. Нравственные и социальные искания. 342 стр. Цена 1 р. 40 к.

Г. Торо. Уолден, или Жизнь в лесу. Перевод. Издание подготовили З. Е. Александрова, А. И. Старцев и А. А. Елистратова («Литературные памятники») 455 стр. Цена 2 р. 40 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва, Малый Путинковский пер., д 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 31/III 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 29/V 1980 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)
А 03408. Тираж 320.000 экз. Зак. 1097.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Раданська Украина», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02515

Цена 20 коп.

70636